

НОВЫЙ
МИР

9

1933

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е В Я Т А Я

С Е Н Т Я Б Р Ь

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 3

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. В—59524. Объем 16 печ. лист. по 64.000 зн. Техн. ред. В. Белокопъ. Зак. 2463.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Остепанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Л. НИКУЛИН. — Дело Жуковского, повесть	5
2. В. ЗАЗУБРИН. — Горы, роман, продолжение	16
3. К. ГОРБУНОВ. — Лень, рассказ	29
4. Павел ВАСИЛЬЕВ. — Соляной бунт, поэма, часть 2-я	50
5. Бруно ЯСЕНСКИЙ. — Человек меняет кожу, роман, книга 2-я, продолжение	64
6. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ. — В плену у англичан	110

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

7. П. ШИРЯЕВ. — Высокая земля, часть 2-я	131
8. Р. ФАТУЕВ. — Хава	163
9. Д. ФИБИХ. — Люди, сталь, золото	178

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

10. П. РОЖКОВ. — О социалистическом реализме	187
11. А. СТАРЧАКОВ. — О «Венере Милосской» (К 50-летию со дня смерти И. С. Тургенева)	215
12. К. ЛОКС. — Письма Флобера	224
13. Л. НЕКОРА. — Литература современного Египта	227
14. Е. ВИХРЕВ. — Пушкин и Горький в искусстве Палеха	234
15. А. ЭФРОС. — Об Аристархе Лентулове	243

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

М. МАЛИШЕВСКИЙ. — Семен Кирсанов «Товарищ Маркс»	250
В. БОЙЧЕВСКИЙ. — В. Вересаев «Сестры»	252
Ф. РАСКОЛЬНИКОВ. — «Звенья». Сборник первый	254

Дело Жуковского

Повесть

Л. НИКУЛИН

Эта повесть написана для того, чтобы люди не представляли себе жизнь проще, чем она есть в действительности. Записал я эту историю главным образом для того, чтобы, кроме несложных и на первый взгляд ясных причин, вызывающих поступки человека, мы искали бы другие сложные и скрытые причины этих поступков. Для примера то, что казалось мне простым и несложным двенадцать лет назад, сейчас явилось передо мной совершенно в другом свете.

История, которую я назвал «Дело Жуковского», не вспомнилась бы мне, если бы я не получил однажды утром письма с китайской маркой и штемпелем «Шанхай». В продолговатом конверте лежал плотный лист бумаги, и на нем знакомым почерком, без обращения, написаны следующие слова:

«Вы еще существуете, убийца? Оказывается, вы существуете. В одном журнале я прочитала вашу фамилию. Ваше имя сочеталось со словом «искусство». Что общего у вас с этим словом, палач? Я думала, что вы умерли, что вас убили, но вы живы, и вот я пишу вам в последний раз, чтобы сказать...»

Я встал из-за стола и открыл ящик, где лежали старые фотографии и письма, и нашел фотографию — портрет женщины.

Был выходной день. Я устал от ощущения незаполненного, пустого дня. Лицо Елены Евгеньевны сияло передо

мною меланхолической прелестью. Красивое, странное лицо... Ну что ж...

Я поглядел в окно. Ветер кружил снежные пелены. На крышах лежал сахарно-белый, белый до приторности снег.

... твое лицо в его простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Фотография и фатальное письмо лежали передо мной. На фотографии был год 1920-й, на письме — 1932-й. Двенадцать лет.

Не могу сказать, что меня ничуть не тревожит эта женщина, блестящие черные волосы и опущенные вниз глаза.

«... садист и убийца. Я не могу забыть той ночи, когда вы вернулись из трибунала. Я приготовила вам чай. Чай ждал вас. Я еще надеялась». Правда. Все правда, Елена Евгеньевна. Вы приготовили мне чай. Я пил его без сахара, но зато с пышками вашего приготовления. Потом я лег в шинели, как-был, на хрупкий диванчик. Вы посмотрели на меня и, кажется, поняли все. Впрочем вы ничего не поняли.

«... Ошибка состояла в том, что я видела в вас человека из нашей среды, человека нашего общества...»

Вы льстили мне, Елена Евгеньевна, но дело не в этом. В октябрьский день семнадцатого года, когда стал осыпаться и рушиться быт старой России, в тот самый октябрьский день перестала жить ваша среда и общество. В той

стране, которую вы помните, Елена Евгеньевна, были классы и были сословия — дворяне, купцы, мещане. Но люди, которых вы называете вашей средой, были вне этих сословий. Они даже утверждали, что не принадлежали ни к классу капиталистов, ни к классу пролетариев. Эта небольшая, по количеству, группа людей дала стране великих ученых и великих писателей, но еще больше дала мнимо-образованных людей, адвокатов и философов, художников и музыкантов. Бывало так, что великий человек из вашей среды достигал славы Льва Толстого или Менделеева, и тогда его знали за рубежом больше, чем на его родине. Люди меньшего масштаба были известны несколькими десяткам тысяч людей только по имени. По-настоящему знали их несколько тысяч людей, составлявших именно то, что вы называли вашей средой и обществом. Они жили замкнуто, и, хотя от народа их отделяла непроницаемая стена, они почему-то называли себя мозгом страны и думали, что выражают ее волю. Когда-то эти люди были студентами, молодость и песни молодости связывали их с новым поколением — молодыми людьми в студенческих тужурках и девушками Бестужевских курсов. И когда старшее поколение появлялось на кафедре или на трибуне государственной думы, то студенты и девушки смотрели на них горящими глазами и гулко били в ладоши. Они просили автографов и писали длинные письма, и просили научить жить, и посылали им в складчину телеграммы в дни юбилея. Поэтому литераторы, адвокаты и художники думали, что они сохраняют связь с народом, что девяносто миллионов крестьян и миллионы рабочих знают их и вверяют им свои чаянья и тоску о земле и воле.

И я был когда-то одним из тех студентов, которые просили автографов и посылали телеграммы властителем дум, и я был из тех молодых людей, которые принимали на себя атаку городских в годовщину похорон Льва Толстого. И я был первокурсником, беспартийным студентом, провинциалом и почтитель, до поры и времени, адвокатов Зарудного

и Маклакова, Художественный театр и альманах «Шиповник». Но все это прошло, и об этом стоит вспомнить теперь только потому, что при вашей помощи, Елена Евгеньевна, я однажды вошел в ваше общество и вашу среду. Но вошел тогда, когда уже я был не тот и общество было не то.

«... пока вы валяли дурака в клубах и на улицах, устраивали феерии и суды над дезертирами, судили актера, загримированного дезертиром, и требовали для него пули, это было просто глупо и нелепо...»

Правда, я стоял на эстраде гарнизонного клуба. Передо мной сидел актер по фамилии Гальский. На нем была ватная, защитного цвета кацавейка и стеганые штаны с тесемками. За столом, покрытым красным сукном, — судьи, настоящие судьи: председатель инсценированного суда, рабочий-металлист, он был действительно и рабочий, и металлист, красноармеец-бедняк, он был действительно бедняк и красноармеец команды связи. Судьи не играли, они были угрюмо-серьезны. Прокурор был я. А в зале гарнизонного клуба сидели красноармейцы, бойцы N-ской бригады, курили самокрутки из махорки и слушали речь прокурора. Я говорил, как мне казалось, понятно и просто. Я начал с описания славной гибели наших товарищей Рябко и Михалевского, они остались у пулемета и задержали на левом берегу раз'езды белых, пока орудия выбирались на правый берег. Они снимали все живое, что появлялось перед мостом, и, когда кончилась лента и пулемет перестал стучать, они перестали жить. Я рассказал о подвиге Рябко и Михалевского и перешел к обвиняемому. Я и судьи видели грим актера Гальского, но из зала он выглядел типичным дезертиром, нагловатым и вместе с тем напуганным парнем с волчьим взглядом и выглядел, надо сказать, отвратительно. «Вот, товарищи, — сказал я, — какие есть бойцы и как они понимают свой долг перед рабоче-крестьянской властью... А есть и такие, — сказал я и показал на актера, — есть и такие, которые плюют на товарищей, оставляют боевой пост и

бегут к своей бабе на печку или в леса < зеленой сволочи и продают своих товарищей, рабочий класс и Красную армию. Что же с такими делать, как с такими поступить? » — сказал я и посмотрел в зал.

«Расстрелять» — сказала тысяча ртов, и воздух поколебался, и Гальский, актер красноармейской труппы, циник и весельчак, невольно побледнел под гримом. «Да, товарищи, — продолжал я, — вы произнесли то слово, которое произнесут обвинитель и революционный суд... Расстрелять».

«В тот вечер, когда вы пришли из клуба после инсценированного суда, я посмеялась над вашим дебютом. Гальский сидел у нас и смешил меня. Но вы молчали, и Гальский сказал: «А у вас, Борис Васильевич, есть природныe данные... Вот бы вас в трибунал обвинителем...» И вы опять промолчали».

Я молчал и думал о другом. В ту самую минуту, когда я говорил свою речь, произнес суровое слово и сел на свое место, я увидел в первом ряду окружного комиссара Ивана Емельяновича. Он сделал мне знак и вышел. «Зайди ко мне завтра» — сказал он. Я вернулся на сцену. Гальский говорил написанное заранее и выученное наизусть последнее слово, затем судьи ушли совещаться. Утром пришел в кабинет Ивана Емельяновича и застал там человека, которого знал в лицо, но не помнил по фамилии.

— Должна быть ясность в обвинении, — говорил Иван Емельянович. — Нужно, чтобы каждый красноармеец, который сидит в зале, был заодно с обвинителем. И в таком, сравнительно пустом деле, как дело фельдшера, который украл аптечный спирт и сменял его на подошву и кожу, и в таком деле, как дело товарища Жуковского, гражданина Жуковского, я хотел сказать. Надо объяснить, в чем особый вред этого человека и за что надо таких людей карать. Вчера, Боря, — продолжал он, обращаясь ко мне, — ты правильно говорил, хотя это был театр и в то же время митинг, показательная инсценировка, и вот мы рассудили, что сле-

дует тебя попробовать на трибунальском деле... Скажем просто, на деле Жуковского. Обстоятельно ты договоришься с товарищем Тарасовым.

— Иван Емельянович, — сказал я, — тут есть особое обстоятельство...

— Какое? — спросил окружной комиссар и стал надевать фуражку.

— Дело Жуковского я бы не хотел брать на себя. Есть одно обстоятельство...

— Какое еще обстоятельство?

— Жуковский — муж Елены Евгеньевны.

— Муж Елены Евгеньевны... — повторил Иван Емельянович, — я, собственно, не пойму, какой он муж, когда ты с ней.

— Да, но он бывший ее муж. А мне его обвинять.

— Так что же, ты его выручать, что ли, будешь?

— Нет, но все ж таки...

— Пожалуйста, — без тумана. Оставь, пожалуйста. Понятно?

— Понятно, — сказал я и ушел.

«... Володя, Владимир Михайлович. Вы не заслуживаете быть прахом у его ног. Он знал столько, сколько вам не узнать вовек, и если «в буйной слепоте страстей» я могла оставить его для вас...»

Раз она дошла до «буйной слепоты страстей», то я должен сказать, что и страстей не было. Она встрегилась со мной и пошла со мной в холодную, закопченную дымом печки-буржуйки комнату в общежитии и осталась у меня, рассуждая, умничая, философствуя даже в те минуты, когда ей следовало быть в буйной слепоте.

Вы помните спектакль военно-театрального комитета, балетный спектакль для моряков и красноармейцев. Публика в полукруге партера делится на два сектора. Темный сектор — бушлаты матросов, светлый — гимнастерки красноармейцев.

Петроградский двадцатый год. Гостиный двор с заколоченными лавками. Снеговые траншеи на бывшей Офицерской. Ночь, оттепель, улица, похожая на пустую камеру шлюза. Вода бежит по обмерзшим отвесным стенам. Мрак

и холод за обледенелыми стеклами домов...

И вдруг — оазис, свет, влажное тепло, кашель простуженных людей в серебристо-голубом зале театра. Мотыльковое трепетание смычков, спираль вальса и Люком, в лебединых крылышках, плывет из-за кулис на авансцену.

(В эту минуту позади отворяется дверь ложи и входят мужчина в форменном френче и валенках и женщина.)

Шелковое трико блестит, как изморозь, на легких, стройных ногах балерины. Девушки превращаются в лебедей, лебеди в девушек, принц несет через всю сцену Одетту, последний принц в этой стране.

(Вчера умер в подвале настоящий принц, ровесник царя и свойственник нецарствующему дому.)

В антракте я увидел в ложе знакомого — командира батареи Жуковского.

Я спросил его, давно ли он приехал из О... и кого он видал из знакомых, попржнему ли Крюков — комиссар дивизиона, и увидел с Жуковским женщиной. Она смотрела на меня сердито и вежливо, протянула руку и сказала: — Жуковская.

— Да, Люком, — оживился Жуковский, — Дега, голубые балерины... Вы помните, в Шукинском, Дега, балерины...

— Пойдем в курилку, — еще сердитее сказала Елена Евгеньевна, и мы спустились в курилку и стояли очень близко друг к другу, потому что вокруг нас был народ и было почти темно от табачного дыма, и во влажном дыму тускло мерцала люстра. Мы не сказали друг другу ни слова. Потом мы вернулись в ложу, и я был удивлен и взволнован, когда она позвала меня после балета к себе, то-есть к ним, к Жуковским. Хотя в то время люди легко и просто знакомились и сближались.

Мы долго шли через весь город, скользя и цепляясь друг за друга. Три огня горели вдоль Невского. Грузовик промчался и свернул на Садовую, пронзительно и отрывисто воя, точно он мог кого-нибудь задавить в пустынной и мертвой улице. Решительно не помню, о чем я говорил с Еленой Евгеньевной,

хотя мы не молчали ни минуты. Мы поднимались вместе по черной лестнице. Почему-то не горело электричество. Жуковский шел впереди, зажигая отсыревшие спички. И вдруг я нашел локоть Елены Евгеньевны, и мы целовались четыре раза, пока поднялись и пока Жуковский открывал дверь. В квартире тоже не горело электричество, багровый отсвет железной, раскаленной печки отражался в зеркале, в красном дереве и бронзовых завитушках канделябров. Жуковский ушел на кухню, и, когда мы услышали треск раскаляемых дров, мы снова целовались, искали тепла, прижимаясь друг к другу. Странно было то, что меня не удивляла готовность и решительность женщины, которую я видел в первый раз в жизни. Мы пили пахнущую бензином настойку, спирт, настоенный на сухих лимонных корках, и ели кашу из железного горшка. За обледенелыми окнами была полярная, стынущая декабрьская ночь. Я держал в руке руку Елены Евгеньевны и маялся, и томился желанием, глупо отвечал на вопросы и не понимал холодной, бесстрастной готовности этой женщины, и мучился от присутствия ее мужа.

— Надо уходить? — наконец спросил я.

— Не надо, — странно ответила Елена Евгеньевна. Она все еще удерживала мою руку в своей, хотя Жуковский стоял совсем рядом и поправлял покосившуюся свечу.

— Не надо, — продолжала Елена Евгеньевна, — вы уйдете утром. Сейчас ночь, и вам далеко до дому.

— Конечно далеко до дому, — сказал Жуковский, не глядя на нас, — я вас устрою, вы можете лечь в кабинете.

Я взял шинель и вышел. Он вел меня за локоть по коридору и открыл дверь в страшно холодную и темную комнату. Я нащупал рукой скользкий кожаный диван и лег. Холод погасил все мысли об Елене Евгеньевне.

Я проснулся от странного толчка в грудь. Но это был не толчок, а сердцебиение. Дико и страшно билось сердце. Мягкая, теплая ладонь коснулась моего лба. Я молчал и думал: «Все еще сон».

— Елена, — сказал я еще во сне, проснулся и понял, что она здесь.

— Я принесла подушку, — шопотом сказала она.

— Спасибо, — я не узнал своего голоса, — спасибо.

Подушка упала на пол. Я протянул руку и отдернул ее, обжегшись о тепло тела. Но Елена нашла меня в темноте.

«... Вы ничего не поняли. Никогда вы не поймете, почему я пришла к вам в первую же ночь, и мы узнали друг друга».

Не торопитесь, Елена Евгеньевна. Может быть, я не понял этого тогда, но сейчас, думаю, что все понял. Но я не стал бы думать об этом, если бы не письмо с китайской маркой, которое пришло через двенадцать лет.

Впрочем мне кажется, что я начал кое-что понимать уже в то утро, когда увидел вас рядом с собой, под шинелью, на кожаном диване.

Я встал и огляделся. Это была большая комната, род библиотеки в богатой петербургской квартире, отданной на попечение Жуковским.

Я осмотрел зеркальный, застывший лак шкафов красного дерева и книжные корешки за стеклами.

Все стыло от холода и во всей квартире был давний, застоявшийся запах жилья и человека, табачный дым, копоть железной печки. Дверь в спальню Жуковских была открыта. Одежда была смята и сброшена на пол. Комната была пуста, и на овальном столе, рядом с пустым графином и жестяным чайником, лежала написанная карандашом записка:

«После того, что произошло вчера, Елена...»

И кончалась записка так:

«Духовно твой Владимир».

«Дело Жуковского» заключалось в том, что он, бывший прапорщик артиллерии, командир батареи, однажды утром не явился в дивизион и был обнаружен патрулем губкомдезертира, две недели спустя, на станции Ясень. На допросе в комиссии он заявил, что после долгих размышлений твердо решил больше не принимать участия в гражданской войне.

Командира батареи Жуковского знали в дивизионе, он хорошо исполнял свои обязанности, четырнадцать месяцев служил в Красной армии и имел даже некоторые боевые заслуги. Трудно было понять, что его заставило дезертировать. На следствии он сказал: «Я пришел к заключению, что путем насилия невозможно установить на земле справедливость, и потому не буду принимать участия в боевых действиях». Держал он себя на допросе мужественно, но не без рисовки. В дивизионе были солдаты-артеллеристы старой армии, помнившие Жуковского по империалистической войне. О нем не говорили ничего дурного. Поступок Жуковского вызвал толки и дивизионе и гарнизоне, и дело его было необычным, нелегким делом.

«... Все об'яснилось на следующий день, когда вы пришли и сказали, что будете обвинять Володю. Обвинять Жуковского, моего бывшего мужа. Вы, человек, который живет с женой Жуковского, будете требовать для него смерти. Это было настолько чудовишно, что я не поверила. И вдруг одна мысль пришла мне в голову: «Прекрасно. Чудесно». Я подошла и обняла вас и сказала: «Я все понимаю. Благодарю.» Но вы посмотрели на меня с идиотским видом и сказали: «Я не понимаю».

Я действительно не поняла вас, Елена Евгеньевна, потому что раздумывал над тем, как возможно проще и яснее об'яснить гарнизону поступок Жуковского.

Я проследил его жизнь начиная с детских лет до 1920 года. Он был сыном мелкого чиновника, хорошо учился в реальном училище, кончил университет по юридическому и поступил на филологический факультет. Он говорил убедительно и красиво, несмотря на то, что у него был дефект в речи. Он умел располагать к себе людей, женщины с ним дружили. Елена Евгеньевна вышла за него замуж в первый год войны, когда он приехал к ней на дачу в форме прапорщика-артеллериста. Он был похож на умного и доброго артиллерийского офицера, в роде Тузенбаха из «Трех сестер». И вот теперь его судят и мне приходится обвинять бывшего коман-

дира батареи Жуковского в том, что он дезертировал из части накануне отправления артиллерийского дивизиона на фронт в ту минуту, когда белая Польша и Врангель угрожали существованию республики.

Я перечитал дело Жуковского. В то время на судопроизводство не расходовали много бумаги. Дело Жуковского состояло из показаний, данных им следователю, и письменного заявления относительно его разочарования в том, что социальная справедливость может быть установлена на земле силой оружия. Показания о его прошлом совпадали с тем, что я уже знал. Итак, недоучившийся двадцатидвухлетний студент должен был разобраться в деле человека, окончившего два факультета, читающего в подлиннике Аристотеля и Платона, видевшего четыре года империалистической и четырнадцать месяцев гражданской войны. Наконец все это осложнялось эпизодом с Еленой Евгеньевной и, чего уж тут скрывать, тем обстоятельством, что недоучившийся студент любил эту женщину. Перед трибуналом и обвинителем будет стоять не тип, которого изображал актер Гальский, не кулацкий сын, убегающий к зеленым, а философствующий интеллигент, с двумя факультетами и Платоном, стихами Уитмэна и Верхарна, скрипинист, знаток Шукинской галереи и при всем том непротивленец... Как тут ни верти, какие-то элементы этого интеллектуального хаоса я ощущал и в себе. Легко ли было мне произнести слово и представить себе, что данный кашляющий, дышащий, почесывающий переносицу человек превратится в ничто, «перестанет жить», как говорили древние. Кому не случилось выпускать пули из карабина, менять обоймы, лежа в поле за кочкой, но тогда вы не видите лицом к лицу врага или видите его абстрактно, как плакат, нарисованный нашим карикатуристом. Наконец вы видели врага — наемника Антанты, врага в английской куртке и русских погонах. Это — выразитель идеи реставрации, белой идеи. А тут перед вами человек, выражающий нечто бесплотное, прекраснородушно-глупое и притом

человек, которого привык видеть рядом, за общей работой.

Все это я сказал окружному комиссару Ивану Емельяновичу, когда мы ехали на место взрыва огнеприпасов на северном посту.

— Пожалуйста, не осложняй, — сказал Иван Емельянович, — видишь, какое время, подходи проще, рассуждай понятнее. Найдешь время — подумаешь. А теперь вот... — и он показал мне на скрученные в моток рельсы и смятый, как жестяная игрушка, паровоз.

«... Вы сказали, что всегда говорите то, что думаете, и в данном случае для вас инсценировка суда и суд одно и то же. И все это вдруг объяснилось на следующий день».

В апрельское утро я стоял у покрытого кумачом стола и смотрел на Владимира Жуковского. Он сидел на садовой скамейке, положив ногу на ногу, и смотрел в голубое небо и пышные белые облака. Капли талой воды висели на голых ветвях клена против готического окна. В зале барского особняка плечом к плечу сидела тысяча красноармейцев гарнизона. Жуковский поглаживал усы, морщил брови, и тогда отчетливо выступал на лбу шрам, он получил это ранение под Каховкой, в наших рядах.

— Имя. Отчество. Фамилия.

— Жуковский, Владимир Михайлович.

Я не буду отвлекать ваше внимание формальностями, хотя в революционном судопроизводстве они были упрощены и не отняли много времени. В обвинительном акте кратко излагались факты, имевшие место с того дня, как командир второй батареи Жуковский не явился в свою часть, и кончая тем днем, когда патруль губкомдезертира задержал его на станции Ясень и, не обнаружив отпускных и командировочных документов, направил в распоряжение коменданта. Его спросили, почему он дезертировал из части, и он повторил то же, что сказал позже на следствии: «Вооруженной рукой нельзя установить справедливость на земле».

— Что вы называете справедливостью? — спросил председатель.

— Справедливым порядком я называю в конце концов такой строй, при

котором не будет лиц, эксплуатирующих чужой труд. Короче — социализм.

— Четырнадцать месяцев вы были в Красной армии и помогали нам вооруженной рукой установить справедливый порядок на земле.

— Да. Тогда я думал, что можно достичь цели таким образом.

— Гражданин Жуковский, — спросил я, — вы служили почти четыре года в старой армии. Отчего же в царской армии вам не приходила мысль о том, что империалистическая война ничуть не приближает установления справедливого порядка на земле? Вы служили царю и, не раздумывая, исполняли свои обязанности. Вы принимали участие в империалистической войне, прекрасно зная ее цели.

Ему задали еще несколько вопросов. Он отвечал на них туманно, путанно, и мне показалось, что он больше обращал внимание на то, как он произносил слова, чем на самый смысл ответа. Что-то канжеское, проповедническое, поповское появилось у него в лице. Манерность и поза, которых я раньше не замечал у него, вызывали во мне злость.

— Ясное дело, — сказал наконец председатель и дал мне слово. Я говорил, по-моему, достаточно просто, языком воззваний и фронтовых газет, который был близок и понятен тысяче человек, сидевшим в зале.

«... В то время, когда Красная армия, истекая кровью, отражает натиск Польши и Врангеля, командир батареи Жуковский, накануне отправления дивизиона на фронт, дезертирует из части. Поступок Жуковского заслуживает строгого наказания потому, что разлагает, деморализует молодых бойцов накануне выступления на фронт. Если заслуживает смерти дезертир, не уяснивший себе целей, за которые он сражается, то вдвойне виновен образованный человек, сознательный командир, которого не легко заменить другим накануне боевых действий».

«.. вдумаемся, товарищи, в причину дезертирства, которую указывает Жуковский. Он сказал: «Вооруженной рукой нельзя установить на земле справедливый порядок». Спросили его, ка-

ким же образом можно установить на земле социализм. Он ответил: «Внутренним убеждением и работой над собой». Представим себе, что мы поступаем так, как хочет Жуковский. Мы оставляем винтовки и ждем, пока сила внутреннего убеждения не перевоспитает генерала Врангеля и генералов Антанты, их офицеров и солдат. Что же произойдет? Вы знаете сами, что произойдет. Через две недели земля будет возвращена помещикам, фабрики и заводы — фабрикантам и заводчикам, а рабочие будут тонуть в собственной крови. Что же, гражданин Жуковский этого не понимает? Он хорошо это понимает, но еще лучше понимает то, что его лицемерная поповская проповедь помогает нашему врагу. И делает он это, видимо, сознательно».

— Нет, — сказал Жуковский и, как бы защищаясь, поднял руку.

— Если «нет», то какая другая причина заставила вас так удачно выбрать время накануне выступления части на фронт. Но есть на вас, гражданин Жуковский, еще вина, и она увеличивает ответственность за главное ваше преступление. Если бы причина дезертирства была только трусость, желание уклониться от опасности на фронте, простое шкурничество, вы заслужили бы сурового наказания, но, кроме этой вины, на вас есть другая. Дело в том, что вашим поведением перед трибуналом вы продолжаете агитировать в пользу ваших идей, разлагающих и деморализующих бойцов. Вы держите себя как сектант, как проповедник. Ваше «мученичество» должно заронить сомнение в душу судей и всех присутствующих на суде. Но здесь — революционный трибунал, и там в зале сидят люди, на которых не действуют елейный тон, взгляд ввысь и руки, сложенные крестом на груди. Эти наивные приемы вызовут в ваших прежних товарищах только ненависть к человеку, который вздумал играть с огнем в тот час, когда решается судьба республики. Они заплатили миллионом жизней за те самые идеи, которые вы пытаетесь заменить вашей жалкой философией. Гражданин Жуковский! Вы не темный крестьянин,

не сектант-духобор, вы образованный, но не очень умный человек, возможно, потерявший вкус к жизни, ищущий нового и рокового ощущения. Вы устроили себе последний прощальный спектакль и выбрали для себя эффектную, но довольно подлую и опасную роль. Вот почему, товарищи, гражданин Жуковский как дезертировавший из части накануне отправления на фронт, как явный враг, пытающийся деморализовать и разложить наши ряды, должен быть расстрелян».

«Найдешь время — подумаешь...» И время нашлось через двенадцать лет после того, как жизнь вынесла и привела в исполнение суровый приговор Владимиру Жуковскому и его соучастнице. В этом случае изгнание и смерть — равносильная мера наказания. Я знаю эту женщину и могу сказать, что для нее в этом случае Шанхай равен смерти.

На этом собственно и кончается дело Жуковского. Здесь можно было бы поставить точку, если бы в самом начале повести не было сказано: «Эта повесть написана для того, чтобы люди не представляли себе жизнь проще, чем она есть в действительности».

И кончается «дело Жуковского», и начинается дело его соучастницы Елены Евгеньевны Жуковской.

Представьте себе девушку двадцати лет, дочь адвоката, которой дали хорошее образование и внушили мысль о том, что нет ничего выше ее чувств и мнений, что она «аристократка духа», — «аристократия духа, а не крови», как тогда выражались. С семнадцати лет она вела переписку с Владимиром Жуковским, кандидатом прав, затем филологом, оставленным при университете и имевшим успех в том кругу, где росла эта девушка. Она вышла за него замуж, потому что он хорошо рассказывал о своем путешествии в Италию, утверждал, что в музыке выше всех Скрябин, что надо изгонять из музыки мужественность и силу, потому что это плоть, что поэзия должна быть «как песнь друидов». В этом человеке спугался русский символизм с немецким импрессионизмом, затем нищестанство, затем фи-

лософия Марбургской школы, Пшебышевский, Врубель, театр Комиссаржевской, балеты Фокина, вся Горемыкинская эпоха. Впереди была карьера, лекции по эстетике для богатых купеческих дочек, место консультанта, советчика в лучшем в России театре. Он понравился гениальному дилетанту, создавшему этот театр. Даже форма артиллерийского прапорщика не сделала его земным и обыкновенным. Она придала ему ореол обреченности, она создала у его близких страх за него, хотя он благополучно провел почти всю войну в запасном, тяжелоартиллерийском дивизионе. И нашелся человек, женщина, которая разочаровалась в нем через месяц после того, как легла с ним в постель. Это была его жена, Елена Евгеньевна. Это была умная женщина. Особенно умна и изворотлива она была в мелком и ничтожном, потому что ничтожное и мелкое она считала единственно важным и великим. Однако она сразу открыла секрет его академического красноречия. Вокруг ясного и простого понятия он умел нагромоздить ворох метафор и цитат. Он кусал губы, ломал пальцы, хватал руками воздух, отвечал невидимым собеседникам, спорил с собой, в середине горячей реплики театрально замолкал и вдруг с изумлением смотрел на своего собеседника, точно его видел впервые. Она открыла, что он очень мало знал, очень мало читал, что его хватало ровно на один разговор с образованным и умным собеседником. В следующую встречу он терял академическое красноречие и принимал облик человека, глубоко ушедшего в свои мысли. Неожиданно он произнесил отрывистые, не имеющие отношения к беседе фразы: «... пузыри земли. Да... пузыри земли! Подумайте!» — и изумлялся. Или вдруг восклицал: «Зурбаран! Испанские мастера! Зурбаран!..» — и опять уходил в свои мысли, как бы удивляясь присутствию собеседника. Когда Елена Евгеньевна была девушкой, она умилялась и трепетала, она была как загипнотизированная от этих недоговоренностей в спорах, от его странных и вместе с тем бессмысленных восклицаний и неврастенического подер-

гиванья губ: «Не знаю, не знаю... Может быть, так, а может быть, не так... Не знаю». Она мучилась и ревновала его к неряшливым молодым актрисам и девицам, служившим в музейных ведомствах. Через месяц после свадьбы она разлюбила этого эгоиста, самовлюбленного, позирующего, даже перед самим собой, сноба. Она лежала рядом с ним на постели, лежала со сжатыми губами и нахмуренным лбом.

Его теплый, уже отвисающий живот грел ее, она злилась и беззвучно плакала и думала о том, что все напрасно, что все будет напрасно и она не вытащит его на поверхность и не сделает его известным даже тем тридцати-сорока близким знакомым, у которых революция пока еще не отняла ни положения, ни авторитета. Она с ужасом думала о том, что все откроется, и однажды все скажут о Жуковском, что он «зеро», ноль, ничтожество, просто муж Елены Евгеньевны.

С двенадцати лет она выдумала себе будущее. Она выбрала себе будущее и решила, что ей суждено быть женой великого человека, подругой гения. О таких женщинах сто лет спустя пишут книги. Дневники этих женщин выходят на восемнадцать языках с предисловием и статьями академиков. Ей дано все для этого будущего: решительность, ум, наконец наружность, лицо, в котором будут искать разгадку ее дневников, писем и поступков.

И вдруг «зеро», ноль, ничтожество, жена Жуковского, о которой сначала будут говорить: «Леночка, она много обещала, наша милая Леночка», а потом забудут в ее кругу, в ее среде и обществе.

Уже была революция, и революция случалась прикладами в двери квартир ее общества, и флаги ударяли кумачевыми полотнищами в окна, завешенные шторами. И они уже жили пять лет во вражде, лжи и фальши и постоянной, мучительной игре. Они прожили пять лет, не сказав друг другу ни одного искреннего слова. Она все же была умнее, хитрее и настойчивее его и очень скоро навязала ему роль безнадежно, несчастно влюбленного в нее. Дальше

я расскажу о том, как они вдвоем сочинили легенду неразделенной любви и разыгрывали ее перед тридцатью, сорока зрителями. Она была «земная, острая, чувственная», а он влюбленный в нее мыслитель, отдающий «всего себя» ради этой неразделенной любви. Хорошая подруга, она сделала все, чтобы он не был разоблачен до конца перед сорока людьми, составляющими ее общество. Она попробовала ввести меня в этот круг, где собирались незнакомые люди. Она знакомила меня с ними, называя каждого по имени и отчеству. Я заметил, что в этом обществе как-то особенно значительно произносили имена и отчества людей: «Валентина Николаевна», «Игорь Александрович», «Борис Петрович» — и не только в присутствии людей, о которых говорили, но даже в их отсутствие, когда человека можно было назвать по фамилии. Они называли по имени и отчеству человека, который доставал спирт по подложным рецептам, и человека, о котором говорили, что его труд — вклад в Моцартиану. (Хотя иногда этот труд и вклад была двадцатистрочная заметка в газете «Жизнь искусства».) Так как их осталось немного в городе с населением в миллион человек, то они в общем знали все друг о друге. И то, что случилось в ту ночь, когда я остался ночевать у Жуковских, они тоже знали и уже давно решили, что Елена Евгеньевна прекрасна в своем зверином «я». Но еще более прекрасен и «духовно высок» Жуковский, который все это понимал и, «плотски далекий, стал ей еще ближе духовно». («Духовно твой Владимир».)

И оказывается, Жуковский совсем не «зеро», ноль (как уже догадывались некоторые), а высокий ум, сложный интеллект и аристократ духа. Так все было решено, и потому, когда я был введен в дом некоей Ксении Андреевны, то у меня было уже свое место, своя полочка, я был тот самый варвар, недоучка, молодой скиф, с которым сейчас Леночка. Они были слишком хорошо воспитаны для того, чтобы глазеть на меня, но я чувствовал скользкие, щупающие взгляды, обрывки прерванных разгово-

ров, атмосферу пренебрежения и любопытства.

Я ушел из дома некоей Ксении Андреевны, и в ту же ночь произошел такой разговор между мной и Еленой Евгеньевной:

ОНА. Это глупо. Они вполне лойальные, корректные люди.

Я. Плевавал я на их лойальность. Лойальные, потому что трусы.

ОНА. Ах, боже мой... Какой Сен-Жюст! Ну, как хочешь...

Она вывела меня в свет, показала и утвердила в умах сочиненную ею легенду. Она возвеличила Жуковского в глазах тридцати, сорока знакомых. Для них она жила, хитрила, боролась и лгала. Для них она прожила с Жуковским пять лет.

Когда же они разошлись, то часто встречались и вели долгие «интимные» беседы, разбираясь в прошлом и обсуждая причины разрыва. Это было похоже на театр и опять-таки на пьесы Чехова. Меня удивляли странные отношения этих людей. Она говорила:

— Володя — прекрасный, мудрый и значительный человек.

— Володя — мужественный и добрый.

Я слушал, подумывая о том, что это игра, что, пожалуй, он надоед ей до смерти за пять лет их супружества. Но тут же я пугался этих мыслей и думал: «Это — ревность. Ты ревнуешь ее к прошлому, возможно, этот человек ближе ей, чем ты, хотя ты сейчас спишь с ней, а не он». Впрочем в то время в нашей лагерной, бивуачной жизни я мало думал о том, что связывало и что разлучило Елену Евгеньевну и Жуковского. Но и тогда уже я знал, что она возвеличивает, возвышает свои чувства, чтобы не показаться ничтожной в своем пятилетнем браке и короткой любви. Когда же тридцать знакомых понемногу перестали верить в легенду о неразделенной любви, в звериное «я» Елены и в «высокую духовность» Жуковского, она выдумала новую, более опасную для Жуковского пьесу, и эта новая выдуманная ею пьеса стоила жизни Владимиру Жуковскому.

Они начали игру еще в то время, когда белые стояли у Пулкова.

Генерал Юденич не пожелал взглянуть на Петроград с балкона дачного домика («Завтра я буду на Невском»), а они играли высокопарную комедию и произносили пустые слова, точно их было только двое в этом огромном, голодном городе, точно рабочие и матросы не умирали на подступах к городу.

ОН. Я думаю о бессмертии, Елена. Значит, смерть близка.

ОНА. Как много смерти вокруг.

ОН. Мы соединимся в бессмертии, Лена. Но и там вы будете моя, а не его.

(Музыка играет траурный марш. Проходят воинские части. Они провожают убитых под Петроградом. Молчание.)

«Болтун, думает она, болтун и актер. Военспец, демобилизованный офицер из прапорщиков... И даже не способен оказаться среди заговорщиков...»

«Между тем смерть Андре Шенье, смерть заговорщика... Какой финал для Ксении Андреевны и для нас всех. «Высокая духовность», «крупный интеллект» и такая смерть...»

И она уже слышала все то, что говорится в таких случаях шепотком и на ухо. «Одним преступлением больше» — скажет Игорь Александрович. «История отметит» — скажет Валентина Николаевна. «Он мог бы дать миру...» — скажет Борис Петрович и вздохнет при мысли о том, что мог бы дать миру Жуковский, если бы...

Она вошла во вкус своего неписанного творчества. Авторское самолюбие жалило ее. Неужели же она не сможет навязать Жуковскому придуманную для него эффектную, хотя и несколько опасную, роль. Она была достаточно энергична и настойчива и трудилась над этой ролью месяц, месяцы, год.

Но она не была кровожадна. Трагическая развязка причинила бы ей угрызения совести. Она рисовала себе громкий процесс, резонерский монолог о том, что «нельзя силой оружия установить справедливость», напряженное молчание, затем адвокатский рассказ о заслугах Жуковского. И вздох облегчения, движение в зале, растроганные

судьи. Наконец жизнь указала ей еще одно острое положение. Появление нового действующего лица в финале пьесы. Это действующее лицо должно было обеспечить благополучный финал.

Если бы дело Жуковского разбиралось через двенадцать лет, я бы добавил к своей речи следующее:

«Я думаю, что гражданину Жуковскому было важно произвести впечатление на кого-то третьего, на третье лицо. Он вынужден был осуществить то, что неоднократно обещал сделать. Я полагаю, что здесь была как бы попытка самоубийства. Есть самоубийцы, которые оставляют в обойме только один заряд в расчете на то, что револьвер даст осечку, есть такие, которые бросаются в море на глазах матросов и в двух шагах от спасательной станции. Кстати, его прошлая работа в наших рядах была шансом на сохранение ему жизни».

В то утро, когда я уходил в трибунал, Елена Евгеньевна показала мне записку Жуковского:

«Не трогайте моих чертежей»—сказал Архимед солдатам. Не вмешивайте третьего в нашу трагедию. Я умру, оставив в простых и восприимчивых сердцах память о мужественном человеке, мученике, который не хотел больше крови. Это может для них оказаться опаснее наивных офицерских заговоров в тылу. Прощайте. Я думаю о бессмертии, Лена... Пусть будущие подумают о нас».

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА. Теперь вы понимаете? Нельзя, чтобы он умер. Я показала вам это письмо против его воли. Вы сомневаетесь?

Я. Да.

ОНА (в некотором смущении). Но ты же знаешь... Я оставила его ради тебя. Значит, твой долг...

Я. Я понимаю свой долг.

На этом кончился наш разговор в то утро. Она посмотрела на меня с тревогой и сомнением. Может быть, она усомнилась в третьем действующем лице пьесы, сочиненной двумя опытными авторами?

С Жуковским поступили по закону революции. То, что я сказал, признали достаточным. Но через двенадцать лет я бы добавил к моей простой обвинительной речи еще и следующее:

«Главная вина этих людей заключалась в том, что они играли свои личные трагикомедии в то время, когда на глазах у всего мира происходила единственная в истории человечества величайшая трагедия гибели одного класса и восхождения к власти другого класса. Когда миллионы человеческих жизней были отданы для социалистического будущего человечества, двое мелких, самовлюбленных людей наскоро доигрывали свою личную и жалкую трагикомедию».

«Прощайте, убийца. Я никогда не забуду вашего взгляда и голоса, когда я спросила вас: «Что? Условный расстрел? Условный?» Прощайте, палач! Если я сумела испортить вам на полчаса ваше самодовольное бытие, если вы устыдились того, что предали его, меня, нас, знающих высшую правду, если вы ощутили горечь и тоску о прошлом, — я буду счастлива.

Шанхай. 1932 год. Рождество».

Я положил письмо в конверт, порвал и бросил в угол. Его выметут завтра утром. Затем я порвал портрет...

Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

Горы

Роман

В. ЗАЗУБРИН

(Продолжение ¹)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Безуглый, босой, заспанный, сидел на пороге. Голова у него напоминала растрепанный ветром сноп пшеницы. Он обеими руками приминал свои упрямые вихры. Анна стояла спиной к нему у кухонного стола. На столе, на подоконниках и на лавке были расставлены листы с белыми сырными шаньгами. Анна круглой деревянной ложкой накладывала на шаньги сметану. В печи стреляли сухие еловые дрова. Огненные зайцы прыгали на тесте и на голый до локтя руке женщины. Безуглый через плечи Анны видел в верхней половине окна раскаленный полукруг солнца. Солнце было похоже на пылающее чело русской печи. Снежные вершины вспучивались пышными шаньгами в розовых пятнах печных огней. Ложка Анны поднималась выше гор. Безуглому казалось, что Анна мажет сметаной горы. Он подошел к ней сзади, обнял. Его руки хватнули ее за полные груди, спустились ниже к крутым бедрам. Анна широко потянула ноздрями воздух.

— Иван Федорыч, сдурел? Ночь-то тебе коротка была?

Она взяла со стола решето и, не обертываясь, надела его ему на голову. Безуглый чихнул. Мучная пыль попала ему в нос, в глаза, запачкала щеки. Он

засмеялся, сбросил с головы деревянную шляпу, вышел из избы.

На заднем дворе Безуглый увидел серого коня Анны. Серко стоял, расставив ноги и приподняв хвост. Он с громом извергал помет и мочился. Безуглый снимал пояс, смотрел на могучее тело коня, на обильную, шумную его струю и думал:

— Далекое мне до тебя, дружок, далеко конько.

Конь подошел к жердяным воротцам, заржал, скосил на Безуглого свой выпуклый темный глаз. Безуглый вытащил из ворот две верхних жерди. Конь перескочил через ограду, рысью побегал к реке.

Безуглый, выходя из дому, не заметил у крыльца маленькую, сухенькую старушку в черном платке. Она чинила растянутую на изгороди рыбацью сеть. Он столкнулся с ней лицом к лицу, возвращаясь с заднего двора. На плече у старушки сидел сизый золотоголовый петух. Безуглый остановился. Петух захлопал крыльями. Старушка поклонилась и сказала:

— За петушка-то извините меня, Иван Федорович, стара стала, утрами просыпаю, вот и завела будильничек.

Она подала ему руку.

— Анфия Алексеевна Пряничникова, а попросту бабушка Анфя. Слышали от Анны Антоновны?

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 6, 7—8 с. г.

Безуглый ничего не знал об Анфии Алексеевне. Он прошел в дом. Анна объяснила ему:

— Заходит она ко мне. Когда неделю проживет, когда и поболее. За хозяйством присматривает, за Никитой. Думаю, не обест она меня. Еда-то ее в семье незаметна. Никита до ее сказок страсть охоч. Все около нее трется. От соседей иной раз ребятишек наберется десяток цельный. Век свой она в чужих людях. Родова-то ее давно начисто перемерла.

Анна загремела заслонкой, заглянула в печь.

— Муж у ней политик был, только не нашей партии. Она с им при царской власти все по ссылкам ездила. В остроге он и зачах, до германской войны еще однако.

Безуглый передернул плечами. Он вспомнил свою сырую камеру, кандалы. Ему не захотелось говорить с Анной. Он опять вышел на крыльцо. Никита соскочил с полатей, выбежал за ним следом...

Тамбовской губернии помещику Отрыганьеву понравилась пестрая борзая сука его соседа, помещика Красменова. Дед Безуглого по матери, крепостной крестьянин Отрыганьева и лучший его садовник, был отдан Красменеву в обмен на собаку. За дедом и его родом утвердилась уличная фамилия Собакиных.

После падения крепостного права дед Алексей женился и посадил за своей избой пять яблонь. Он стал сажать их каждый год. Его сыновья селились с ним рядом, загораживали свои сады. Внуки шли за дедом след в след — начинали с посадки плодовых деревьев. Собакины расселились на половину села Отрадного. Отрадное и в уездном городе, и в окрестных деревнях перекрестили в Собаковку.

Отец Безуглого не удержался на узкой полосе чернозема. Надел свой сдал в аренду кулаку и ушел бурлаком на Волгу. Жизнь он раскидал по кабакам и публичным домам. Умер тридцати лет — пьяный замерз на крыльце винной лавки. Иван и Федор росли с

матерью. Мать стирала белье на помещиков Красменовых. В деревне болтали, что у нее и до замужества, и после ухода мужа на Волгу была тайная любовь с молодым баринном, студентом Глебом, и что старшему ее сыну Ивану надо бы носить фамилию своего настоящего отца, помещика Красменова. После смерти мужа Дарья Безуглая с обоими сыновьями уехала в уездный город. Вдову взял к себе на квартиру брат покойного Яков — слесарь железнодорожного депо. Мать по настоянию дяди и с его помощью отдала сыновей в гимназию. Дети не понимали, почему она прятала от них заплаканные глаза и расстиранные в кровь руки.

В Собаковке Иван бывал наездом. Однажды болтун и пьянчужка Сидор Кривошеев обругал Безуглого барчуком и очень подробно объяснил ему, почему вся Собаковка считает его сыном ученого барина Глеба Алексеевича Красменова. Безуглый дома спросил мать. Она долго плакала, потом сказала, что любила только одного человека — Федора Безуглого.

Дядя Яков поручал племянникам разбрасывать и расклеивать листовки. Старшего он ввел в организацию. На каторгу Яков и Иван пошли вместе. Царский суд осудил их за принадлежность к «преступному сообществу» — российской социал-демократической рабочей партии большевиков.

С матерью после каторги Безуглый увиделся только в восемнадцатом году. За несколько дней до приезда сына она сходила в загс с Глебом Алексеевичем Красменевым. Безуглому не понравилось, что отчим или отец (он так и не знал точно) при регистрации взял себе фамилию его матери. Помещик Краснев теперь был членом коллегии защитников Безуглым.

У деда, как и у матери, Безуглый бывал редко. Безуглый в двадцать пятом году встретил его таким же, каким помнил в пятнадцатом, — розовая лысина, голубые блестящие глаза, белый клин бороды. Восьмидесятивосьмилетний старик сидел за столом, с неизменной своей солдатской выправкой, веселый, широкоплечий, прямой, как юно-

ша. Он легко ходил на лыжах за зайцами и редко давал промах по бегущему зверю. Вальдшнепы, неосторожно залетавшие к нему в сад, никогда не уходили от его длинной, букетной дамской, шомпольной двухстволки. Безуглый прожил у деда погожую предсезонную неделю.

Дед стучал по дорожке кожаными калошами. Ему их шил сапожник по особому заказу. Он вел внука в дальний угол сада. Они сели на широкую скамью. Многорукие яблони тяжело наваливались на скрипучие костыли-подпорки. Родовые муки раздирали крепкие тела деревьев. Яблоки скатывались с их опущенных холодных лбов, как крупные капли пота. Дед положил тяжелую пятерню на колено внука.

— Ваня, слушай сюда.

Пальцы старика были тверды.

— Мальчонкой махоньким ел ты тут на скамейке яблоко. Одно семечко выпало тебе в горстку.

Дед тербнул бороду.

— Повеселил ты мое сердце, внучек, в землю-то семечко воткнул. Память, думаю, по себе Ванюшка в саду сажает. Не с пустыми руками пойдет по земле, делу дедовскому будет наследник.

Дед показал на большую яблоню около скамьи. Золотые спелые плоды мигали в ее листьях, как утренние звезды. Безуглый с гордой радостью смотрел на мир, созданный его рукой. Он посадил. Он, который считал себя гостем в саду. Безуглый тогда же ощутил в себе горечь зависти к деду. Его сады разливались и шумели, как реки. На зеленых берегах перекликались крикливые толпы его детей и внуков. Дед после смерти будет жить в их рассказах, в их походке, в чертах лица, в окраске волос и глаз. Яблони, посаженные им, долго будут цвести и ронять на землю отвердевшие румяные капли сладкого сока. Безуглый не посадил своего сада. Он расчищал тайгу для других. На пасеке у Андрона в двадцать первом году только время оброну несколько недель и для него.

Безуглый сидел на крыльце, держал в коленях Никиту. Он смотрел на свое

золотоголовое, вихрастое детство. Отец и сын покачивались друг против друга, как две волны бессмертного человеческого океана. Одна поднимается к своему пределу. Она скоро закудрявится сединой и исчезнет. Другая повторит ее путь — долго будет играть на солнце золотыми брызгами. Отец так думал о себе и о своем сыне.

— Тятя, а яблоки сладкие?

— Сладкие.

— Слаже арбуза?

— Кислее.

— Как квашена капуста?

— Слаще.

— Мы к дедушке поедем?

— Поедем.

— Он маленько не умный?

— Почему?

— А пошто он дался на собаку промениваться?

— Тогда такие законы, сынок, были. Людей меняли и продавали, как скотину.

— Наши партизаны дали бы им законы.

— Ну!..

— Они Отрыганову етому башку бы оттяпали, а нето ишло и напополам его пилой распилили.

— Почему пилой?

— А дядя Михей с теткой Пелагеей колчаковских буржуев толстопузых чем пластали?

— Неправда.

— Ты наскажешь, слушай тебя. Я от роду не врал, честное ленинское. Думаешь, я маленький, без понятия.

Никита высвободился из отцовских колен. Он прыгнул через все четыре ступеньки крыльца, схватил хворостину и погнался за свиньей Оксей. Окся мешала бабушке Анфимии, лезла носом в сеть. У бабушки вокруг глаз и губ заиграли морщины. Она, поглядывая на мальчика, говорила Безуглому:

— Никита первый мой помощник. В прошлом году мы с ним сажали картошку. Я стара стала, не вижу. Он меня поправляет: «Бабушка, у тебя ямочки криво пошли. Бабушка, опять ты вбок поехала». Посмотрю — и верно, свильнула с борозды, слепая.

Безуглый слушал старуху и смотрел на поля. За поскотиной лежали холсты, как узкие полоски снега. Вечные снега на вершинах казались длинными холстинами. Безуглый сидел во всем белом, на выскобленном добела крыльце. Свежие сквозняки проносились между резных балясин. На Безуглом трепыхалась рубаха.

Из двери высунулась Анна. От работы у огня щеки ее горели. Она насупила брови и, подражая сельисполнителю, зазывающему на собрание, закричала:

— Граждане, в избу, шаньги поспели, самовар на столе!

За столом Безуглый и Анна переглядывались, беспричинно фыркали. Он рычал на нее:

— Баба, чайку мне погушше.

Они озорничали. Безуглый был зачинщиком. Анна подносила ко рту блюдце. Он стучал по столу кулаком.

— Жена!

Она вставала, поджимала губы, складывала на животе руки, кланялась и спрашивала:

— Что прикажешь, батюшка Иван Федорович?

Безуглый топал ногами, хохотал.

Самовар был выпит. С большого деревянного блюда исчезли все шаньги. Безуглый обеими руками похлопал себя по животу.

— Лям-пам-пама! Не звучит. Прямо беда. Как я с таким брюхом хлебозаготовками буду заниматься? Крестьяне скажут, помещик российский нас обирать приехал.

Анна ставила в шкаф вымытую посуду.

— Ты бы, гражданин помещик, навоз из стайки у коровы убрал. Дело это самое ваше мужичье.

Анна стояла спиной к Безуглому. Он не видел ее смеющихся глаз.

— Навоз? Вилами?

Анна уткнулась лицом в закрытые дверцы шкафа.

— Ужели топором?

Безуглый пошел к двери.

— Можно. Я это умею.

Безуглый провозился на дворе целый день. Анна заставила его вычистить все

стайки. Он починил поломанное звено изгороди, вывез за деревню навоз, вымел ограду.

На закате Безуглый открыл ворота, вышел на улицу. Руки у него были обожжены, в спине и в ногах мешала тяжелая теплота. Анна остановилась на дворе. Она держала подойник и белое полотенце. С Оградной горы сбегало стадо. В пыли мелькали задранные хвосты, морды, рога. Скот ревел. Он точно попал в серую снежную лавину, и его несло вниз, на крайние избы Белых Ключей.

Селом стадо шло медленно. Вымена у коров были полны, сосцы напряжены. За стадом на дороге стлались мокрые молочные нити. Скот нес в своей шерсти знойные запахи молока и пота. Воздух в улице сразу нагрелся.

Горы поднялись и закрыли солнце. Сумерки и тишина отделили землю от неба. Земля замолчала мгновенно. Безуглый услышал тихие всплески в подойниках и спокойные вздохи коров, отрывающихся жвачку.

Анфия Алексеевна кормила цыплят. Безуглый подошел к ней, присел на корточки. Цыплята заскочили ему на колени, на плечи, стали клевать у него пуговицы рубахи. Безуглый брал в руки и внимательно разглядывал теплые, пушистые, пикающие комочки мяса. Гусыня привела с реки стаю гусят. Гусята щипали растопыренные пальцы Безуглого, повсистывали. Коровы легли рядом, тяжелобрюхие и громоздкие. Серко в дальнем конце двора фыркал и хрустел сеном. Безуглый заглянул в амбар, зачерпнул в закроме горсть холодного золотого зерна, пощупал его, попробовал на зуб. Амбар Безуглый запер, ключ положил себе в карман. Он долго еще потом ходил по огороду, смотрел на свежую зелень овощей, на могучие побеги сорняка вдоль изгороди. Огород рос на глазах, как будто из земли на поверхность непрерывно выметывались упругие зеленые струи.

Вечером река была слышнее. Безуглый стоял между гряд, слушал. Ему казалось, что он слышит шум зеленых ростков, струящихся у него под ногами. Безуглому хотелось навсегда остаться в

Белых Ключах, в своем доме, с своей женой и с сыном. Он хотел обсеменять землю и собирать зерно в закромы.

Анна стучала в избе посудой. Она собирала ужин. Безуглый уверенной походкой хозяина поднялся на крыльцо. Ступени закрипели под ним. Он открыл дверь и шагнул в темное и теплое нутро избы.

Ночью Безуглый положил свои руки на живот Анне и слушал долго, как пахарь землю, потом спросил:

— Анна, ты понесла?

Анна повернулась к нему лицом.

— Пустоколосая я, Иван Федорыч.

Она горячодохнула ему в ухо.

— Заждалась я тебя, перестоялась, словно пашня без дождика.

Безуглый с горькой завистью снова подумал о деде. Он хочет, чтобы и у него дети пахали свои поля рядом с его полем, чтобы и его внуки сеяли со своими отцами. Он хочет жить вечно.



Фома Иванович Игонин возвращался в Белые Ключи с аймачного совещания секретарей сельских ячеек. Пегий мерин под ним шел спокойным широким шагом. Игонин сидел в седле, бросив поводья. Он усердно набивал махоркой громадную немецкую трубку.

Фома Иванович знал толк в табаке и покурить любил. Он прожил большую жизнь — табаков попробовался всяких. Живал он и в Европе, и в Америке. Иноземные табаки казались ему или сладкими до приторности, или слишком горькими, или вовсе пресными. Выше всякого иностранного курева он ставил сибирскую махорку-самосадку. Ей он утешался в трудные времена, ее закуривал в веселые минуты. Он уверял, что она очищает голову, когда поутру нечем опохмелиться. Она в дурную погоду унимала у него лому в правом раненом боку. Махоркой Игонин укрощал голод, утолял жажду, боролся с усталостью, разгонял сон, с ней ходил на фронтах в атаке. В одном только случае — во время деликатных разговоров с женщинами — он не прибегал к ее помощи. Тогда Фома Иванович предпочитал действовать благо-

вонными и сладкими заморскими табаками. Однако делал это исключительно в угоду женской слабости. Сам же был убежден непоколебимо, что с махоркой по вкусу, по аромату, по крепости и по особому лекарственному воздействию на человеческий организм ни один заграничный табак сравниться не может. Фома Иванович пренебрегал даже высокосортной моршанской полукрупкой, считая, что в нее подмешивают древесные опилки. Он доверял только табаку, выросшему у него на грядках. Махорка собственного производства выглядела, правда, неказисто. Игонин был самым занятым человеком в Белых Ключах, поэтому все, что касалось удовлетворения личных потребностей, делал торопливо и даже неряшливо. Махорку он обычно крошил топором на доске. Крошево получалось в роде плохого силоса. В нем часто попадались куски, не влезавшие в грубку, похожие и на обрывки лопуха, и на репейное палочное былье, и просто на мусор и пыль. Всю эту смесь перед употреблением Фома Иванович, насупив брови, долго разминал в кисете своими жесткими желтыми пальцами. Лицо у него прояснялось, как только трубка, по размерам тоже весьма близкая к силосной башне, туго и доверху наполнялась табаком. С первой затяжкой Фома Иванович преображался. В карих косо прорезанных глазах начинали играть все семь цветов радуги. Улыбка медными отсветами бродила от тонких бритых губ до широких монгольских скул. Черные волосы на голове становились особенно блестящими.

Игонин распустил такую дымовую завесу, что исчез в ней вместе с конем. Издала казалось, что по дороге перекачивается серое облако, упавшее с неба. Ни седока, ни лошади видно не было. Комары и мошки облетали его стороной. Неосторожные насекомые, попав в сферу действия могучей трубки, падали замертво. Громадные и жадные пауты взмывали вверх со злобным жужжаньем. Медведи, сосавшие малину в километре от дороги, фыркали и убежали в горы.

В селе Игонин слыл завятым табачником. Молодые кержаки и кержачки

при встречах с ним плевались, старые крестились. Духом табачным от него, действительно, шибало на целую улицу. Лепестинья Филимоновна утверждала, что у Игонина от табачного жара кровь в жилах спекается, оттого и лицо у него цвета темной меди, словно у нечистого.

Пегий мерин Игонина был стар и мудр. Чудодейственную силу трубки хозяина он отлично знал, поэтому хотя и чихнул, хлебнув табаку, но на седока покосился глазом, увлажненным слезой благодарности.

Фома Иванович так до самой поскотины и не взял поводьев. Он машинально сжигал трубку за трубкой, по рассеянности принимая обильные дымные извержения своего курительного инструмента за колеблющуюся полдневную испарину над полями...

Конечно не за одну только трубку не любили Игонина кержаки. Не нравился им и его язык. Игонин умел говорить. Он часто на собраниях начинал со сказки, с шутки, прикидывался простачком. Однако богатые мужики никогда не смеялись от его рассказов. Игонина они слушали настороженно и злобно. Его считали настоящим коммунистом, поэтому и ненависть к нему у кержаков была большая.

Не всегда его иносказания находили уместными и в аймачном комитете партии, и в ячейке, где он был секретарем.

Игонин был недоволен своим выступлением на совещании. Его дельных предложений не приняли, отмахнулись от них, как от очередной выходки чудаковатого коммуниста. Фома Иванович утешался одной мыслью, что Иван Федорович Безуглый его поймет и что вместе с ним он хорошо поработает в селе. Игонину сильно хотелось поговорить с Безуглым. Они до отъезда, одного на охоту и другого на совещание, виделись только мельком.

Игонин приехал в Белые Ключи под вечер, дома наскоро поел и ушел к Безуглому. У Безуглого сидели избач Улитин, об'ездчик Рукбиллов и школьный сторож Хромькин. Игонин распахнул дверь. Анна стояла у порога. Она стукнула его кулаком в спину.

— Иди, жених неотвязный, Расскажи Ивану Федоровичу, как ты ко мне сватался.

Игонин запнулся за половик. Безуглый встал ему навстречу из-за стола, загроможденного книгами. Игонин мотнул коротко остриженной лобастой головой, с силой сдвигая руку Безуглого.

— Не огорчайтесь на меня, Иван Федорович, в крестьянском деле без сабы полный прорыв.

Смех подсек у Анны колени. Она села на скамью.

— У тебя каждый год новая баба.

Она дернула его за рваную штанину.

— Вот и ходишь с прорывами.

Игонин сел с ней рядом.

— Смысл жизни, Анна Антоновна, не в штанах.

— А где же он? У бабы в юбке?

Анна схватила со стола самовар, спрятала за ним свои покрасневшие щеки. Игонин взглянул на Безуглого. Безуглый смеялся во весь рот.

— Мечтаньям женским я, Иван Федорович, с молодых лет был подвержен.

Анна вышла в кухню и оттуда крикнула:

— Мечтательный жеребец ты, Фома Иванович!

Игонин отодвинул от себя книги, облокотился на угол стола.

— Знал я, Иван Федорович, направляясь к вам, что придется мне обрисовывать свою линию в женском вопросе. В виду такого случая, извиняйте, выпил для облегчения языка.

Улитин щипал жидкие рыжие усики, дергал бороденку, усмехался.

— Уставом всесоюзной коммунистической партии большевиков выпивка будто не предусмотрена?

Игонин покосился на избача.

— Не южи под руку, Касьян Сергеевич, возжа мне нонче под хвост попала.

В его глазах бродили золотые огни. Он смотрел на закат в окно через голову Безуглого.

— Дедушка Гаврила первый заразил меня своими сказками. В Анделейском царстве-государстве, говорит, жила царевна. Никто до нее доступить не мог — ни купец, ни генерал, ни принц. Один сибирский солдат Иван всеми ее

деньгами-капиталами завладал и самую за себя замуж взял.

Игонин молчал минуту. Он не знал, с чего начать рассказ о себе.

— Стою я на военной службе в Питере на часах в Зимнем дворце и мечтаю царевну попробовать. А Татьяна, царская дочь, шуршит юбками по лестнице, и запах ее сладкий голову мою обдуряет. Одна она мне глянулась из всех.

Прочитал я в то время в книжке, что каждый солдат носит в ранце палочку маршала, возмечтал себя Наполеоном. Войну почел за счастье. На фронте, думаю, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Однако ни того, ни другого не случилось, и попал я к немцам в плен без всякого геройства.

Игонин плотно сжал губы, опустил голову. Закат потемнел на его щеках.

— Про Германию много рассказывать не стану, как решил я объяснить свои женские дела, упомяну только об немке Эльзе.

Отдали меня в батраки старушке одной с дочерью, девкой. Сын ее в окопах. Стал я у них хозяйствовать. В руках у меня все плясало. Конишку раскормил — яйцо на спину клади, не упадет. В ограде иголку брось — не потеряется. Старуха мне на стол белую скатерть. Дочь ее со мной рядом. Сын приходит на побывку, дивуется. На пашне мы с ним весь его отпуск робили, ровно родные братья. В последний день, как ему обратно отпрапляться, дает он мне руку и говорит: «Русский, бери мою сестру и оставайся за хозяина». Старушка плачет и становится нам кофий.

Ладно, сошлись мы с Эльзой мнением, сделались в роде как муж и жена. Спим на перине, периной покрываемся. В субботу лезу я в ванну. В воскресенье у меня кофий с молоком, а через губу весится матерущая трубка. Густав, шуряк, подарил на память. Теща меня по плечу хлопает: «Зер гут, рус». Жена на ухо шепчет: «Ду, майн зюсер», — сладкий, значит, мой. Не жизнь мне была, а царствие. Взяло меня сомнение по всем линиям. Вижу я, что никакого немца нет, начальство его выдумало. Разговор, верно, не наш, а работа и

думка с нами одна. Одинаковые с нашими в немцах имеются простые люди и полиция, и кулаки есть, и помещики. Отличка только в одежде да в обличьи. Народ у них шибко чисто ходит и наголо бреется. Духовенство, и то бритое.

Прижили мы с Эльзой сына. Карлом по-ихнему окрестили. И зачала тут казна народ обижать. Хлеб, картофель давай солдатам, а себе только норму. Я конечно урожай свой спрятал. У соседей, погляжу, суп — вода. У нас — ложка в горшке стоит. Дома я так не жил, как там довелось. Останусь, думаю, с немцами навечно. Язык наш забывать стал. Еж по огороду бежит, жена спрашивает: «Как по-русски?» Я: «Игель, игель», а по-своему и не могу назвать. Она закатывается, смеется: «Ду бист айн дойче». Обидно мне было. В горле аж заперхало. Ночью только вспомнил. Эльза спала. Я ее в радости кулаком по боку и ору: «Еж! Еж!»

Игонин вытащил из кармана трубку. — Однако ошибся я в себе. В одну ночь убег в Россию, не простился с женой, с сыном. Земляк беглый забрел и самустил. Три года я до него слова русского не слыживал.

Хромькин заскрипел зубами.

— Ты, дорогой товарищ Игонин, объясни Ивану Федорычу про свои немецкие манишки-галстучки.

Хромькин повернулся к Безуглому.

— Он у нас, Иван Федорыч, совсем было склонился к буржуазному классу. Мы его всей ячейкой брали в работу, сдергивали с него немецкую сбрую.

Улитин сплюнул сквозь зубы и сказал:

— Хромькин у нас хоть и в коммунистах ходит, а в политике, можно сказать, зеленого от желтого не отличает.

Обида затрясла у Хромькина нижнюю челюсть.

— Я, гражданин Улитин, твою хромому на правую ножку давно заприметил, хоть ты и первый книжник. Растолкуй мне, неграмотному партейцу, какая у человека политика получается, если он в своем одноличном хозяйстве начинает водопроводы налаживать, сортирчики утеплять.

Безуглый взял Хромыкина за плечи, усадил его на скамью.

— Товарищи, давайте условимся не прерывать Фому Ивановича.

Игонин точно не слышал нападок Хромыкина. Он сидел спокойно, подперев голову. Голос у него был ровный. Лицо неподвижно. Глаза, как у слепого, бесстрастны. Игонин напомнил Безуглому слепца-сказочника Гаврилу. Он его видел и слушал в двадцать первом году на пасеке у Андрона. Гаврила был родным дедом Игонина. В сумерках внук показался Безуглому обритым стариком.

— На родину я угодил к самой Февральской революции. Слышу, царь с семейством заарестован. Я в Питер, в село, и добиваюсь наряда к дворцу. Опять стою в Царском Селе и вижу — полковник Романов лопаткой лед с панели скалывает. Врешь, думаю, будет твоя дочь моей. Хоть и бывшая царевна, а все-таки лестно.

Поехал я с ними в Тобольск, в Екатеринбург. Татьяна у них за главного холопа по всем делам. Нужно царю вино или царице сладости какие, — она к караульному начальнику. Отказу им в продуктах никакого. Однажды заявился Белобородов. Татьяна спрашивает его: «Вы кто такой будете?» Он ей отвечает: «Председатель областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Она смотрит на него. На глаз бойка была деваха. «По-старому вы, значит, генерал-губернатор?» Он смеется и говорит: «В чем у вас надобность имеется?» Она высказывает: «Газеты нам надобны». Посулил он ей «Правду» и «Бедноту» и ушел в канцелярию.

Первого мая загуляли по городу демонстрации. Романовым слышать и музыку, и песни, а увидеть ничего невозможно. Окна у них за высоким забором. Татьяна моя, смотрю, на подоконник, на цыпочки, вытягивается в нитку и объясняет: «Красная гвардия идет. Детей на автомобилях везут». Николай вдруг, слышу, спрашивает ее: «Какой у них праздник первого мая?» Никому бы не поверил, что царь не знал дня Интернационала. Она между тем скоренко, ровно ученица урок затверженный, вы-

читывает ему: «Первое мая—международный праздник труда. В этот день рабочие всех стран выходят на улицу с красными флагами». С того разу у меня глаза больше стали. Вот, думаю, они какие, цари-то настоящие, без прикрасу. Вышел он после на двор дрова пилить с учителем-французом. Мне и глядеть на него с души воровит Сам себе дивлюсь, как раньше не видел, что личность у него совершенно скудоумая. Не мог я долго в толк взять, почему люди самого обнаковенного рыжего человека в зеленой гимнастерке почитали за земного бога.

В дверях царских комнат были прорезаны окошки. Занавески задергивались утром на десять минут и вечером на десять. Из коридору у нас все семейство всегда на полном виду, ровно рыбы сонные в стеклянных банках. Верно говорю, руками, ногами они шевелили, а жизнь в них была очень ничтожная. Николай с Александрой словом не перемолвится. С Алешкой тоже все молчком. Сядут оба на пол, ноги раскорячат и цельный день в шашки играют. На полу конечно медвежачьи шкуры настланы. Александра губы подожмет и в потолок глядит. Поп у них свой — обедни, всенощные служил. Никто с ним не молился. Так один, бывало, и поет петухом. К дочерям, к фрейлинам допускаться с воли два князя. Придут, поздыхают, ногами поширкают, ручки переделуют и уйдут.

Стучу я прикладом на коридоре у Романовых, читаю книжки, как сменяюсь, и думаю свою думу. С Татьяной мне не то, что сговориться, слова молвить нельзя — запрещение и надзор строгие. Скучаю я об ней и вычитываю на тот случай, что у Наполеона жена была не царского звания. Вижу, в революцию власть надо брать не бабьими руками. Силу военную если займешь, то и простую крестьянку можно произвести в императорши. Летна боль задави, думаю, мою царевну. Будет фарт, испытаю ее сладости, не будет, и так проживу. Однако интересуюсь я глядеть в щелку на царских дочерей, когда они раздеются. Все ищут, нет ли у них отлички какой против наших девок. Ве-

чером раз гляжу и сомневаюсь. Навешивают они на себя свои дорогие ценности — каменья, золото. Под юбки поддеют теплые штаны. К чему бы это, думаю. Конечно, по правилу гарнизонной службы вызываю разводящего, тот к караульному начальнику, тревогу, обыск. Находим под шкурой прорезь в полу, лезем — подкоп, лезем далее — купец Агафуров с двумя сынами сидят на карачках и ожидают получения чина Сусанина. Дали мы им высшую премию и через ихний дом обратно явились. Спрашиваем Николая: «Ваше намеренье было?» — «Нет, — говорит, — мне предложили». Стоят они с опущенными головами, тли беспомощные. Одна Александра глядит прямо. Глаза у нее, как на пружинах, ходют. Цари, думаю, самодержцы по-готовому убець не в силах. Сколь же знаменитей вас тот арестант-политик, который последнее белье с себя рвал, ладил веревочную лестницу и по ней из острогу от ваших висельниц спасался. А вы колечки, брошечки, подштанники пуховые. Сердце у меня сделалось в огне, скулы морозом сводит. Все я тут припомнил — и японскую войну, и германскую. Понял я, что от слабости и от неразумности своей они на крыльце у себя девятого января тысячи людей убили. Отольются, думаю, вам народные слезы свинцовыми пулями. На Татьяну я и глянуть не пожелал.

Улитин схватился обеими руками за голову.

— На сказку твои раскрашенные слова находят.

Игонин остановил на Улитине повеселевшие глаза.

— Сказка не бывает без прикраски.

Игонин отвернулся.

— Тебе, книжный читака, неподсильно будет раскумекать полную мою автобиографию.

Рукобиллов согласился с Игониним.

— Для складу, Фома Иваныч, иной раз и в нашем охотничьем промысле, случается, соврешь. К примеру стрелишь тетерю сидячую, а товарищу объяснишь, что сбил на полету. Обскажешь и как она пыхнула, и как пала. Откудов только и слова эти красные

в рот заскочут. Глаз языку, видно, не хозяин. У него своя особенная имеется пружина.

Игонин шутливо спросил Улитина:

— Можно мне слово предоставить?

Улитин махнул руками. Игонин смял улыбку.

— В скорости судьба Романовых была вырешена уральским советом. Наехало ночью к нам начальство наше разное — Белобородов, Сыромолотов и другие товарищи. Николаю смерть вышла льготная. Приказали мы ему одеваться. Он спрашивает: куда, мол, меня требуют? Об'ясняем, что переводим его с семейством в другой город. Он собрался, вышел на двор, шаг какой шагнул, нет ли, и пал мертвый. В затылок его стрелили. Александра выходить не захотела, с кровати не встает и кричит не своим голосом. Я ее за косу. Коса ее у меня на ладони и сейчас горит, как вспомню. Алексей спал, ничего не слышал. Его в постели кончили. В коллудоре пришло еще старичишку, камердина Николая, пристрелить. Вредный был такой, липучий холуй. Царь ходит по комнате — он стоит в дверях. Царь сядет, и он на кончик стула задницу свою сухую повесит. Царь пальцем шевельнет — он ему трубку тащит, спичку зажигает. Схватил он Белобородова за ноги: «Допустите меня к его величеству. Вы недоброе замыслили». Ну, что ты с ним будешь делать. Дочери и фрейлины услышали стрельбу, и пошел у них визг. Война, прямо, получилась с ними настоящая. Ухватки никакой на эти дела в ту пору у нас не было. Шуму мы лишнего много распустили. Татьяну я успел выцелить и сшиб с одного выстрела в самое сердце. Приду, думаю, домой в деревню, расскажу, как служил Фома Игонин в некотором царстве-государстве. На царевой дочери, правда, не оженился, но царицу за косы таскал и царевну своими руками довел до смерти. Тела царские мы сожгли и праху не оставили. Белобородов за одну ночь с лица побелел, ровно известью умылся. Утром поехал он на прямой провод отбивать о происшествии телеграмму в Москву во ВЦИК Свердлову. Свердлов, слышим, обозвал его дураком, но между

прочим согласился. Положение у нас тогда очень строгое было — белые подступали, кругом измена. Город пришлось отдать врагу.

Глаза Улитина стали похожи на два шила. Остриями они были устремлены к Игониному. Улитин томился неукротимой жаждой обличения.

— Позволь тебе заметить, Фома Иванович, рассказываешь ты действительно завлекательно, но не согласно с официальной версией.

Усы, борода, волосы торчали у избача огненными колючками.

— Насколько я припоминаю, в «Известиях ЦИК»...

Игонин сморщился, зачесал широкий нос.

— Опять ты, Касьян Сергенч, со своей книжной правдой. Теорист ты узкоумый.

Игонин постучал пальцами по столу.

— Не люблю я людей становить к стенке, хоть и знаю всю ихнюю страшную вредность. Способнее мне будет их в суматохе ликвидировать.

Он встал, подошел к окну.

— А ты версия. Ты человека пойми.

Он стоял спиной к собеседникам. Улитин, Рукобилов, Хромыкин стали вертеть цыгарки. Хромыкин хлебнул крепчайшей самосадки и, давясь дымом, сказал Игониному:

— Ошибку ты поймел, Фома Иванович, с товарищем Белобородовым. Вам надо бы башки ихние не жечь, а по всему нашему союзу возить. Народ тогда бы не сумнялся. А то по деревням есть которые и нонче думают, что царь расстрелян не настоящий.

Игонин опять сел на скамью.

— Верно говорит народ, нестоящий был царшко. Царского в нем — только чин да корона.

Игонин попросил у Анны воды. Хромыкин крикнул:

— Об галстучках чего молчишь?

Игонин пил большими, громкими глотками. Анне он вернул пустой ковш, руками обтер губы.

— Далась тебе мои галстучки. Немецких у меня давно нет, изношены. Американские, верно, имеются в полном порядке.

Игонин набил свою большую трубку. — Судьба у меня на женщин обширная, Иван Федорович. Жалею, не вел я дневника.

Трубка вспыхнула и задымилась у него в зубах.

— Доскажу, что помню. В третий раз обернулся я, значит, в Питер. Дурь женская из головы у меня не выходит. Приглядел одну, дознался — настоящая столбовая графиня. Свела меня с ней старуха, бывшая ее стряпка. Насильничать я не любитель, купил ее за два пуда ржаной муки и фунт сала свиного. Выдача пайковая ей была легкая, как нетрудовому элементу, на день осьмушка семечек подсолнечных. Возшел я в графскую спальную. На полочках безделушечки, недотрожки. Постеля — узоры, цветочки, кружева. Взял я свою графиню за белы рученьки, повалил на подушки. Сапоги из озорства не снял. Простыни, одеяло вывозил дегтем и грязью, ровно по ним мужик на телеге проехал. Не поглянулась мне графиня.

Встал я с постели в сердцах, плюнул и матерное выражение сказал. А на Невский вышел между тем в большой гордости. Революция, думаю, она нам, солдатам, ласковая мамка. Мужик ведь я и поймел такое счастье с большой дворянкой, как своей бабой, распорядиться. На проспекте никому не даю дороги. Наступаю на ногу ученому лицу в очках. Спихиваю с панели барыню с редикулем. Опять припоминаю, что Наполеон через революцию пришел, из простых выслужился. Может быть, думаю, она, и наша-то, для того случилась, чтобы мне, сибирскому солдату, весь мир под свои руки положить.

Улитин хихикнул, закрыл рукой щербатый рот. Игонин кулаком стукнул себя по колену.

— Ничего смешного в своих словах не усматриваю, Касьян Сергенч. Наполеоном, может, и ты имел намеренье сделаться и многие другие. Один только вот за всех вас нашелся рассказчик.

Игонин оглянулся на Безуголого.

— Иван Федорыч, дальше желаете слушать?

Безуглый кивнул головой.

— И даже очень.

— Живу я в Питере. Революция идет на углубление. Я изучаю все ее происшествия, как прошедшие, так и настоящие, и нахожу полное утверждение своим надеждам. На юге поднялись краснолапсные Наполеоны — Корнилов, Каледин, Деникин. Из нашей Сибири по-суху плывет черноштаный адмирал Кольчак. В Красной армии один маленький Наполеонишка выискался — бывший полковник Муравьев. Ума только у них дворянского нехватило на большие дела. На Кольчака я пошел в уверенности и его разбить в мелкие дребезги, и самому встать командующим всей Красной армии. Втолкал я тогда себе в голову, что Наполеон должен быть из рядовых. Между тем и вторую войну провоевал я опять без особенных подвигов. Домой, выходит, я заявился Наполеоном без войска. Баба моя, пока я по фронтам мотался, прижила двух ребят от раздрых мужиков. Я ей слова худого не сказал, как сам не воздержан был, от немки имел сына. Порча у меня только от роскошной военной службы получилась в мыслях. Не смог я со своей бабой жить. Уж очень она мне простой показалась. В деревне, гляжу, одна скука и идиотство. Бросил я бабу. Брюхо ей набил и ушел на рудник. Путался с женщинами разных классов и партий.

Не фартовый, думаю про себя, не вышел в Наполеоны. Однако замечаю, у нас в советских республиках никто и помимо меня Наполеоном не об'явился. Власть в руках партии. Начинаю посещать собрания ячейки. Месяц походил и всю свою дурость, ровно грязь, разглядел на себе. Обрадовался я новому направлению своего ума и подал заявление на кандидата в члены. Дивно мне, как в Красной армии я о наполеонстве промечтал, а коммунизма не заметил. Бывало, политрук или комиссар весь мир по нитке раздергают, раз'яснят все от начала земной и небесной жизни до Октябрьской революции и далее. На ячейке повстречался я с Сухорословой, с Бурнашевой и прочими сознательными гражданами и понял, что не в юбке у бабы смысл дела. Хотел сойтись с

Сухорословой — отказ. Верю, говорит, всякому зверю, а тебе, кобель, погожу. Сватался к Анне Антоновне. С ума ты соскочил, отвечает, как я за тебя пойду от живого мужа?

Без бабы, без ребят жизнь — чашка пустая. Весной затоскую я шибко по домашности, по патне, наберу в кооперации ситцов, обутков, пряников — и домой. Бидарев Семеч Калистратович увидит меня, и сейчас поклон: «Мужичье счастье в земле. Пахать тебе надо, Фома Иванович». Поживу с семейством, отсеюсь, отожду и назад.

Игонин быстро протянул через стол руку, нагнулся к Безуглому, схватил его за плечо.

— Болтаю я все пустое. Не об том шел я к тебе разговаривать. Давай, Федорыч, думать, колхоз ли, чего ли у нас начинать надо.

Безуглый положил свою теплую ладонь на его жесткие пальцы.

— Давайте думать, товарищ Игонин.

Лицо Игонина было рядом. Безуглый чувствовал его горячее дыхание у себя на усах. От него совсем не пахло вином. Безуглый не утерпел, спросил:

— Неужели вы пили сегодня?

— Капли в роту не было.

— Зачем же вы тогда?..

— Наврал я тебе, Федорыч, чтобы ты меня за дурака болтливого не понял. — Не понимаю.

Игонин отпустил плечо Безуглого.

— Может, я и царицу только мертвую за волосы потрогал.

В темноте Безуглый не видел ни глаз, ни лица Игонина.

— Заганул я тебе, Федорыч, загадку.

Анна зазвенела стеклом от лампы. Улица за окнами была черна и тиха, как заброшенная шахта.



Инженер по гидроустановкам Лия Борисовна Берг кончила свой доклад в московской радиостанции, отошла от микрофона. Безуглый снял наушники, откинулся на спинку стула. Он знал о выступлении Лии. Она сама предупредила его телеграммой. Лия говорила о проекте гидроцентрали на Золотом Озере. Безуглый был знаком с первыми

наметками работ по электрификации Алтая. Доклад мало его интересовал. Он слушал голос Лии...

Безуглый с Лией свернули с Пречистенки на набережную. На Лии было скрипучее прорезиненное пальто. Портфель женщины-инженера толстомордым мопсом тыкался Безуглому в колено. Она курила. Дым папиросы мотался над ее головой, как вуаль, задранная ветром. К ним подошел мальчик, продавец цветов.

— Гражданин, купите гражданке.

Безуглый молча улыбнулся ему. Мальчик свистнул и отошел.

— Если кто с понятием, всегда купит.

— Понимаем, маленький гражданин, и очень даже, только в карманах у нас...

Безуглый тоже свистнул. Мальчик вернулся и быстро сунул Лии в руку несколько белых астр.

— Нате вам, красивенькая гражданочка, от меня. Кавалер-то ваш свистун несчастный.

Лия блеснула зубами. Ноздри у нее дрогнули. Она отдала мальчику коробку из-под папирос с серебрушками и медяками трамвайной мелочи. Безуглый топтался на месте и не знал, куда девать лицо и руки.

На другом берегу Москва-реки, у Каменного моста, на постройке, топали паровые молоты. Полчища строителей ломались через старую кривобокую Москву. Кварталы низеньких домишек сдирались с города-матери, как вонючие пыльные юбки. Купола храма Христа торчали оголенными грудями толстой купчихи. Город горел в кострах завоевателей. С Кремля, с заплесневелых зеленых черепичных крыш полз на реку сырой ветер. На реке баба в подоткнутой красной юбке полоскала белье. Стук ее валька был древен и необычен в шумах миллионной столицы.

Безуглый жил на набережной Кропоткина. Лия не хотела терять времени на поездку к себе в Сокольники. Рано утром ей надо было опять возвращаться в Хамовнический район. Она осталась ночевать у Безуглого.

Они не один раз спали вместе. Любвишками никогда не были. В подполь-

ной типографии после ночной работы падали на диван и засыпали, как брат и сестра. Они мало думали о себе.

Безуглый погладил стриженный колючий затылок Лии и поцеловал ее круглое загорелое плечо. Она скосила на него мудрые человечьи глаза. Ему показалось, что на них блестит тонкая пленка льда.

— Вы это о чем, товарищ?

Безуглый застыдился, спрятал голову в подушку.

Разбудил их ласковый голос преподавателя физкультуры.

— Доброе утро! Начинаем утреннюю зарядку! Доброе утро!

Можно было подумать, что он руководит своей аудиторией из угла комнаты, из-за платяного шкафа. Радиоприемник у Безуглого был хорошо настроен.

Безуглый и Лия в одних трусиках стояли на маленьком коврикe, махали руками, приседали, выгибали спины. Они оба были опытными физкультурниками. Неизвестный товарищ заботливо направлял их движения.

— Вдох! Выдох! Раз! Два!

У умывальника они повозились немного, потолкались, поплескали друг на друга водой. Умылись тщательно до пояса. На улице вылетели бегом. На подножке трамвая Безуглый и Лия висели последними. Москва, как баба вальком на реке, стучала перекрестками и переулками, трясла свои пестрые кофты домов в старомодных мелких кружевах окошек. Безуглый и Лия смеялись и лезли в плотную злую толпу на площадке вагона...

Безуглый прошагал по комнате от стены до стены и снова сел за стол. Он взял ручку, бумагу, открыл чернильницу.

«Белые Ключи.
15/V.

Милая Лия, говорят, что провинциалы любят большие письма и долгие разговоры по душам. Я сейчас снова стал провинциалом, поэтому тебя не должно удивить мое громадное послание. Вся эта писанина конечно только до хлебозаготовок, — когда они начнутся, мне

будет уж не до друзей. Жара тут получится прямо среднеазиатская.

В Москве перед отъездом на Алтай мне не удалось повидаться с тобой (ты была в командировке), поэтому тебе не известна самая последняя потрясающая новость международного значения... Можешь себе представить — я женат, у меня семилетний сын, изба, пашня, лошадь, корова, разная яйценосная тварь и всякая вообще домашность. Подробные объяснения (как сие случилось) будут Вам даны, уважаемая читательница, по получении от Вас конверта с подробным адресом и маркой на ответ. Все это совершенно серьезно, несмотря на несерьезный тон письма.

В селе меня встретили как старого коммуниста, командированного из Москвы, как уполномоченного по хлебозаготовкам. Местные партийцы мне в рот смотря, ждут. Казалось бы, все ясно, и любой пионер скажет, что я тут должен делать, о чем думать. Между тем я начал выдумывать чорт знает какие глупости. Неожиданно обнаружил в себе большую склонность к... ведению единоличного хозяйства. Вообразил себя пахарем, сеятелем, одним словом настоящим крестьянином. Деда вспомнил, его сад и почувствовал в себе сильнейшее желание получить оное фруктовое древонасаждение как законное наследство. Составляя списки кулацких хозяйств, вдруг с какой-то подлой жалостью подумал, что в Собаковке теперь тоже уполномоченный заготавливает такой же список и что деду моему Алексею его не миновать и, следовательно, никогда мне садом не владеть. До того ожадел, что во сне даже дедовские яблони считать стал. Ночью, раз так размечтавшись, просыпаюсь от шестиста бумаги и вижу: Анна (жена моя) сидит за столом босая, в одной рубашке и, шевеля губами, старательно выводит каракулями очередную свою заметку в областную газету. Стыдно мне стало как-то сразу. Сразу я тут нашел

и себя, и свое место среди кучки подлинно новых людей в этом далеком, как принято выражаться, медвежьем углу. Ты теперь догадываешься, что изжил я свои собственнические вождедения, если так откровенно пишу тебе. Тем не менее сам и сейчас не могу понять, как мог я так попятиться назад, прямо чуть на четвереньки не встал. Невероятная собственническая отрыжка. Никогда я с дедом не жил, никогда не думал о его саде. Особенно мне стыдно было за себя, когда я встретился с секретарем местной партиячки Игониным. К слову, человек он исключительно интересный. Он, к сожалению, не на хорошем счету в райкоме. Его недолюбливают за склонность к некоторому подвиранию и разным фантазиям. Чорт, мол, его знает, куда он завтра повернет. Наполеоном хотел сделаться, в партию вступил, может быть, в монахи пойдет. Я не согласен с такой характеристикой Иголина. Мне кажется, что он теперь навсегда с нами. Если же свои прошлые поиски личного счастья при расказе он и облекает в полусказочную форму, то кому и какой от этого убыток? Впрочем я пишу тебе об Игонине, как будто ты его давно знаешь. Скажу коротко — есть тут мне помощники.

Завтра в первый раз я собираю яичку. От разговоров перейду к делу. Я поставлю вопрос прямо — если мы кулака ограничиваем, вытесняем, то мы должны его и заменить, то-есть создать вместо его хозяйства свое коллективное. В колхоз, по моему мнению, первыми должны вступить коммунисты. Если завтрашнее собрание пройдет хорошо, то это будет первым моим осязательным достижением в Белых Ключах. До сих пор я тут только занимался разговорами и охотой.

Хотел написать тебе много, но вижу, что не выйдет. Пришли за мной из сельсовета.

Большой тебе привет, Лия. Жму руки.
И. Безуглый».

(Продолжение следует)

Лень

Рассказ

К. ГОРБУНОВ

В гуще ковыля давно отыграли свои громкие свадьбы пернатые таборяне. Подрастив выводок, они снялись со становищ и уплыли в полуденную сторону, простившись со степью взмахами бесчисленных крыльев...

Осенняя тишина целый день томила пустынную равнину. К вечеру внезапно засвистел резкий ветер. Потоки его, крепко прогоркшие прелым полынком, стремительно несли обрывки тончайших нитей паутины, пенились белыми пузырьками позднего одувана. Одинокий покатун тронулся с места и неуклюже закувыркался ежистыми колючками по дороге, сопровождаемый легкими струйками пыли. Дружно шелохнулся выгоревший ковыль. Насколько глаз видит, помчался степью рыжеватый вал, где-то на горизонте плеснулся он о голубой берег, и сухой шелест этого прибоя слышался у шалаша.

Жук — небольшой черный пес — вскинул голову и, тревожно поиграв ноздрями, заскудил. В дрожащих подвываниях так понятно звучала тоска, что Лушка оторвал бездумные глаза от костра, огляделся вокруг... Ничего особенного. Прямо перед ним повис на железном крючке треножника котелок с картошкой. Языки пламени суетливо облизывают с его боков жирный нагар. Немного левее сгорбатилась крыша шалаша, истлевшая от зноя и непогоды. На колышке у входа уныло опрокинут вниз горловиной кувшин с отбитой ручкой. В обруче калды, скрученном из тонких жердущек и лыка, пестреют разношерст-

ные спины телят. Возле шалаша лениво разлеглась дорога, вдалеке она, несколько оживившись, взбирается на склон кургана. Вершину кургана тяжело нахлобучило чугунное облако, обогривленное со щербатого края холодной ржавчиной заката. Окрест, под стынущим осенним небом, раскинулась дикая степь. Ветер, гнетущее одиночество... Скоро приползут со всех сторон белесые сумерки, и от них, как от дыма, будет пощипывать у мальчишки глаза, першить в сдавленном горле. Все по-старому...

Но Жук не унимается, — припав на передние лапы, лихорадочно царапает землю. Из-под когтей брызжет в ноздри пыль, корешки трав, собака брезгливо фыркает и чихает вперемежку с воем. Подозрительно держится и стадо. После вечернего водопоя телята обычно лежат, старательно жуют жвачку. Сейчас все они на ногах, сбились в круг: головами — друг к другу, хвостами — к ветру. Белоснежная Резвушка, задиравшая подруг даже ночью, забилась в самую гущу косяка, понуро свесила к земле голову. Сдержанная и спокойная Красуля без надобности хлещет хвостом по рыжим, крутым бедрам. Вожатый стада, пестрый Галах стоит на отлете. Положив морду на жердущку, бычок печально смотрит вдаль огромными, синеватыми глазами; на широком лбу его, там, где пробиваются рога, вздулись, будто от глубокого раздумья, жесткие бугорки.

— Жук, — позвал пастушонок, — ты чего на мое сердце тоску наводишь? — Голос у Лушки от постоян-

ных криков на пастьбе хриплый, точно простуженный.

Пес подполз на брюхе к хозяину и оскалился, скрив подобие смущенной улыбки. Лушка ободряюще потрепал его ершистый загривок.

— Чай, не первый день нам в степях сидеть.

Что может ответить Жук? Да, не первый день несет он свою хлопотливую службу... Годовалым телятам утомительно пастись в общем стаде, — к тому же коровы забодают, — и молодняк угнали на все лето в луговую степь. Для охраны этого живого богатства отрядили взрослых люди маленького, состарившегося Жука и не по летам широкоплечего Лушку; телятам сделали калду, Лушке и Жуку — шалаш.

Каждый рассвет встречается ударами кнута. Восток пугливо бледнеет от громовых раскатов. Жук, зябко стяхнувши холодную росу, бежит в калду, озабоченно снует в ногах стада, помогает выгонять его на пастьбу. В полдень степь молчаливо изнывает от зноя, земля суха и горяча... Доведенный жарой и слепнями до иступления, неразумный телок ударился, задрал хвост, куда глаза глядят. Надо нестись стрелой и притворно яростным лаем, прыжками перед самой мордой заворачивать беглеца обратно. Едва приляжешь после этого, жарко высунув язык, знакомо слышится приглушенная команда:

— Жук, ищи!

Значит, колеблющиеся верхушки разнотравья выдали бесшумного дергача, — подкрадывайся к нему, да чтоб собственное дыханье не было слышно.

Степная призрачная ночь сдержанно дышит под звездами тысячами робких шумов и шорохов. Жук бодрствует на клочке сена у калды, чутко слушает шопоты ночи и в случае надобности отвечает угрожающим рычанием.

Сладкие часы отдыха выпадают лишь после вечернего водопоя, пока не смерклось. Можно лежать, подставив бок ласковому веянию от костра, и дремотно прищуренным оком наблюдать загадочную игру пламени, нюхать остро пахнущий дым. Хороши еще дождливые дни: не надо беспокоить стадо. В полутемном

углу шалаша грезятся под мягкое шуршанье в крыше сытные обеды и беззаботные утехы далекого детства. Но много ли дождей летом в степи?.. Очень тяжела собачья жизнь! Однако Лушка не может пожаловаться: изо дня в день Жук честно выполняет свои повинности; только сегодня вот не может совладать с собой, — в коричневых глазах мерцают огоньки испуга, хвост поджат. Что же поделаешь, если смутная тоска обуяла сердце...

Ветер загустел. Ковыль колотится головками о землю. Курган, нахлобученный облаком, похож на огромный гриб, мрачно выросший от земли до неба.

Тревога собаки незаметно передается и Лушке. С затаенной грустью смотрит он на дорогу, курящуюся пылью. Скоро ли можно двинуться по ней впереди стада к родному Агапкину и окинуть продажным взором покидаемое пастбище? В эти часы улицы села оживлены. С граблями и вилами на плечах возвращаются с гумен молотившие люди. Они веселы и говорливы от сделанной работы, предстоящего ужина и отдыха. Трубы курят сладковато-сизые кизяки, пахнет разогреваемой пищей. Замигают в сумерках первые огоньки, от околицы тронет за сердце тихий всхлип гармошки, и поплывет в темнеющее поле задумчивая песня. Поужинать бы горячей лепешкой с парным молоком, покурить со взрослыми на посиделках, а потом выйти на берег речки, вдохнуть полной грудью ночной туман и — спать, спать на сеновал, под теплый тулуп! В просонках услышишь, как шевелятся за стеной на шестах куры, сопят две овцы; напоследок стукнет мать засовом запираемой на ночь калитки... Здесь же люгует ветер, шумит трава, щемит сердце одиночество.

Лушка решительно тряхнул головой — так, что закачались черные лохмы на огромной барашковой шапке, подбросил в костер охапку сена. Пламя вымахнуло над котлом, медный блеск разлился на обветрившемся и курносом лице пастушонка.

— Жук! — нарочно громко позвал он. — Нельзя, дело строгое, общественное.

Собака насторожила уши. За шалашом, на дороге послышался дробный стук колес. Подросток посмотрел на свой календарь, что маленьким частоколом расположился возле костра, и просветлел: из семи палочек шесть надломлены, — нынче суббота; должно быть, подъезжает бригадир скотного двора дядя Обросим Толоконкин, везет хлеба; возможно, останется ночевать и утром — тут радостно торкнулось в грудь Лушкино сердце — скажет:

— Ну, погоним показывать правленцам нашу заботу.

Колеса смолкли. Пастушонок проворно вскочил, и радость погасла, зачадив дымком огорченья. Из-за шалаша показалась лысая, фыркающая морда чужой лошади. Лушка вздрогнул: лошадь разнуздывал Перфишка Бардин.

«Сейчас драть будет» — перепугался парнишка.

В детстве Перфишка упал с телеги под колеса и на всю жизнь остался со следами увечий. Красный шрам перекошил ему верхнюю губу, а срощаяся сломанная нога стала короче. При каждом шаге Перфишка порывисто опускает левое плечо и поднимает правое. От шрама кажется, что он все время улыбается калечеству своему безжизненной, нехорошей улыбкой. Девушки и ребята не любили его за уродство, а главным образом за отцовскую кляузность и злопамятовство в характере и дразнили Трегубым. Он старался купить расположение водкой, синим картузом и витиеватыми речами, кои перенял из плохих книжек и от городской родни, но это не помогало. В конце угощенья приятели старались улизнуть, а девки о нарядах его отзывались: «Корове и бархатное седло не к лицу». Весь холостой век скоротал парень озлобленно и одиноко. При сватовстве не спасло и богатство отца: родня долго и бестолково околачивалась в домах, где были невесты; напоследок остановились на длинном и костлявом перестарке. Незадачливая женитьба не принесла почета среди пожилых и увеличила насмешки молодежи. Уродство мешало Перфишке мстить взрослым обидчикам, оставалось срывать всю злобу на ребятишках. Сна-

чала преследовал только того, кто кричал ему вслед унижительное прозвище, впоследствии возненавидел все непоседливое и верткое племя малышей. Страшная кара обрушивалась на каждого встретившегося подростка. Затрещина была бы пустяком, — Трегубый не бил, а истязал: задира маленькие волосики на затылке, «показывая Москву»; чужонными ладонями жал виски, допрашивая: «спелый арбуз, трещит?» — и прекращал пытки лишь после того, когда жертва, изошедши воем, полумертвой грохалась к его ногам.

Недалеко от Лушкина стана Перфишка для опыта посадил на дикой земле картошку. Утром Лушка выкопал несколько курней, и сейчас именно эта картошка варится в котелке. Хозяин возвращается вероятно с осмотра своего клина, воровство конечно обнаружено; вор налицо. Униженно молить о пощаде бесполезно, и Лушка стоял, затаив дыхание, нелюдимо поблескивая потупленными глазами; беда нагрянула так неожиданно, что мысль о бегстве не успела даже возникнуть.

Повернувшись на пятке здоровой ноги, Перфишка заковылял к костру. На безбровом лице его сияет равнодушная улыбка. Лушка знает ей цену: улыбаясь таким вот образом, парень схватил прошлой зимой на улице ни в чем неповинного пастушонка и драл за уши до тех пор, пока из мочек не брызнула кровь; в заключение натер уши снегом и пригрозил:

— Всем зябликам будет такая мука.

Перфишка приближался, похлопывая кнутовищем по сапогу. Невольно взглянув на рубцы, остающиеся от ударов на пыльном голенище, Лушка сцепил зубы, прошептал:

— Ни за что не сознаюсь.

Против ожидания истязатель миролюбиво предупредил:

— Не бойсь, не трону! По банным дням я людей не мучаю, буде всем прочим известно.

Подойдя вплотную, снял, как перед взрослым, картуз, насмешливо поклонился:

— Мухе-ягоде сердешное представлень!

Лушка не ответил, у него подрагивали тонкие губы.

— Чего гордишься, если я до тебя первый снизошел? — упало сверху ему на голову.

— У меня имя есть, — глухо отозвался пастушонок. — К чему отвечать на всякое прозвище.

— Имя! — воскликнул Перфишка, презрительно прищурясь. — Какое твое имя? Нистожность и рабство. Так, для отлики от мира животных только, истинная правда. — С трудом опустился на корточки, бесстрашно взял из костра тупыми пальцами уголь. Чмокая губами окуроч, бубнил: — До Лукьяна не дорос, Лукашка — утомительной, вот и кличут тебя по-бабьи: Лушкой. — Парень оглядел нескладную фигуру пастуха и заключил: — Как перед господом, правильно делают. Фасад у тебя демисезонный, словно у девки на выданьи, — зад толстый, а ноги в заду короткие. Откровенно говоря, как хошь, так и клади. Что, — зычно жаргал он, — резкая копия с масляной карточки?

Похабства в характеристике Лушка не уразумел, однако заподозрел в ней такую обиду, что, задохнувшись от собственной храбрости, сдержал:

— Какое ни на есть — имя, другие вплоть до женихов с прозвищем гуляют.

Намек был прозрачный, но Перфишка ограничился благодушным кивком на кнут, зажатый подмышкой.

— А все-таки робко трепещешь?

— Тебя во сне, и то испугаешься.

— Определенно, — согласился парень. — Я — мрачный... Скушные мечты у тебя здесь...

— На гармошках не играют.

— И дикие волки, должно быть, воют по ночам?

— Ручные здесь не водятся, — и пастушонок, осмелев от первой прошедшей безнаказанно дерзости, добавил, приронувшись к уху: — Другой человек хуже зверя.

— Помнишь еще? — самодовольно осведомился калека, и заговорил, сладострастно наблюдая, как бледнеет лицо парнишки: — Это допотопный факт, что иной человек кровожадней зверя. Вообразительно, решил я возрастить пло-

ды — картошку — и мечтаю ее кушать. Волк пробежал — не тронул, лев прошелся — понюхал только. Непреложно! Скажи мне теперь, беспощадный кулик, какой это сукин сын выдрал на моем участке двадцать курней?..

— Не двадцать, а только пять, — неожиданно для себя угрюмо признался Лушка. — Вон она, варится в котле. По штукам перечти и возьми, если жалко.

— В сыром естестве отдай. Слышишь?

Лушка молчал, сам томясь своим молчанием. Перфишка утешил:

— Ладно, жри. Сказал, не бью — и твердый факт. Вернешься в деревню, за все перетерпишь. Изобразю я для зябликов новое мордование. Называется «снятие со Христа плащаницы». Нравится?

Из котелка густо валил пар: вода выкипала. Кожура верхней картошки ядрено треснула, обнажив рыхлый желток. Набить бы рот его густо посоленной, горячей мякотью, да разве полезет в горло кусок при Перфишке. Лушка украдкой глотал голодную слюну. Трегубый в упор смотрел на него серыми, холодными глазами, придумывая какое-то погубительство.

— Страшно тебе тут живется?

— Скоро дядя Обросим придет, хлеба привезет.

— Ни в коем разе. Они теперь сами жрут, а народ для них физически пощай. Матери твоей, скажем, за все лето куса не брякнули, а тебя — малую дитю — политически в степь на растерзание сослали.

Лушка знал, что матери выдавали за работу зерно, о ссылке своей держался тоже особого мнения, все же выжидал с ответом, стараясь разгадать, куда ведет лютый мучитель. Тот, осторожно оглянувшись, вполголоса продолжал:

— Ныне в степях большого страх знобит, не то что малолетка. Сказывают, повелась здесь отчаянная зверуга: восемь ног, три башки. Безусловно. Жила семьсот годов на горе Афон и щипала травку, а как теперь и там пошли колхозы, то житья ей не стало, и сошла та зверуга на землю. Чуешь?

— Мало ли что болтают, — уклонился Лушка.

— Привирают, — охотно согласился рассказчик, — науку на колхозных собраниях превзошли... Да ведь если две башки, и то тяжело... Увидела она, что на земле тоже советский факт, и заскучала. Ходит в расстройстве по ночам, встретит человека, — хрясь! — голова направо. Непрекословно!

Он помолчал, чая насладиться впечатлением. Лушка скучающе шевелил палочкой угли в костре.

— Сел бы ты сейчас со мной на лошадь, — неожиданно предложил Перфишка, — и домой. В бане бы нежно помылся, постригся. Поди, нечистот расплодил, опять же волосы не текущего дня: что у монаха.

— Как придет зима, отмоюсь и подстригусь.

— Непредвиденно. Если живность сохранишь, так они тебе двор чистить запрягут. Поедем, что ли?

Пастух недоверчиво покосился, а искатель продолжал:

— Я в страсти прихожу, когда разнервят, а по нутру — жалостливый. Гляжу, мальчишку в запустенье привели... Завтра праздник.

Праздник!.. В читальне целый день веселая толчея, придет кино. Один только день побыть на людях, встретиться с приятелями, а после — опять сюда. Неужели за все лето не заслужено это удовольствие? Встать завтра рано утром, надеть чистую рубашку, новые ботинки... Ботинки! Лушка в замешательстве поправил шапку. Под рукой, в тулье, зашуршала знакомая бумажка и вернула к жизни.

В конце зимы в кооператив привезли пять пар подростковых ботинок. Желаящих купить их оказалось много больше. Чтобы не делать среди колхозников раздора, кооператив передал обувь комсомольской ячейке. Четыре пары распределили комсомольцы самым нуждающимся школьникам, а пятую, что побольше и самую нарядную, оставили при ячейке. На другой день секретарь Осярка Горюнов — парень, сам знающий толк в форсе, — вызвал Лушку на комсомольское собрание и обратился к мальчишке с такой речью:

— Лукьян, тебе тринадцать лет, и ты — полное дитя революции. Три года батрачил ты в подпасах на кулацкую часть населения, но теперь колхозная система нарушила такое противоречье. Твоя огромная теория и практика животноводства подсказывают тебе, что молодняк нельзя пасти в общем стаде. Всесторонне обсудив вопрос, ячейка решила, Лукьян, доверить тебе на все лето охрану подшефных телят. Хороший нагул скота и его целость — значит хорошая про нас слава. Погубишь хоть одну голову — враг ударит в ладоши. Держись, Лукьян! — воскликнул Осярка и, передохнув, продолжил: — И мы решили дать тебе авансом за твердую службу вот эту маленькую премию.

При гробовой тишине оратор достал из стола ботинки и вручил их Лушке. Хром отливал черным гляncем, пышно пахла хорошо проделанная кожа, и блестяли металлические застёжки. Парнишка прижал к груди обеими руками подарок, а секретарь закончил:

— Ходи в этих ботинках по ярким следам комсомола. Попасешься — будет тебе от нас главная отлика: ты получишь тот комсомольский билет, о котором усиленно мечтаешь, невзирая на твою молодость. Крепко помни про наш наказ. Теперь иди домой и обдумай всесторонне свою задачу. У нас начинаются сейчас закрытые дела, про которые ты будешь знать, когда получишь тот билет.

Кто-то восторженно кричал над ухом Лушки, хлопал по плечу, а он, потрясенный всем происшедшим, молча прижимал подарок, и слезы накрапывали с его дрожащих ресниц. Захваченный торжеством не меньше Лушки, Осярка взял его за руку и вывел на улицу. Он, как во сне, покорно последовал за ним, так и не сумев ответить ребятам ни одного слова благодарности за устроенный для него светлый праздник.

Дома Лушкина мать Елизавета — женщина худая, смолоду пожелтевшая от лошадиного батрачества на богатых, — без слов приняла ботинки и отнесла за перегородку в сундук. Выйдя из чулана, сердито заправила под платок первую поседевшую прядь и вновь

набросилась на чугуи, протирая его толченым кирпичом, разговаривая с посудиною:

— Вот и ты, сирота, в люди вышел и начал сам себя обувать. У вдовы— мозоль, а сирота на вершок выше. Вот и не погасли ночные мои думы.

Бросив чугуи, подбежала к сыну, привычно крикнула:

— Пожри да спать ложись!

Лушка не стал ужинать, не лег спать; смотрел на лампу, губы его беззвучно шевелились, грудь распирало гулкое ликованье сердца. Если бы в эти минуты начали заряжать при нем самую большую пушку, то и это не вывело бы его из сладкого забытья. Скоро сядет он на скамейках рядом с взрослыми ребятами разбирать дела всего колхоза, поднимет руку за то, что нравится, и против того, что сочтет ненужным; может попросить даже слова и высказаться, а все будут молча слушать...

Когда мать, почему-то забыв погасить лампу, улеглась, Лушка взял бумажку и по памяти записал речь, произнесенную Осяркой; некоторые, наиболее высокие слова при переписывании врезались в голову на всю жизнь. Он подпорол у шапки тулью и спрятал записку. В тоскливые минуты одиночества в степи доставал бумажку, перечитывал; это утешало его...

Вот и теперь, при обдумывании коварного предложения Перфишки, бумажка шуршанием своим напомнила Осяркину речь.

— Ходи по ярким следам комсомола, — пробормотал Лушка.

— О чем ты? — полюбопытствовал Перфишка, падкий на всякую вновь услышанную заковыристую.

— Горюю, дядя Перфил, кто скот наш будет беречь, если домой уеду?

— Нисходительно наплюй. С тебя спросу по росту.

— А потом что? — вызывающе осведомился пастушонок.

— Помчимся в баню.

На всякий случай Лушка отступил несколько шагов и, выпрямившись, насколько мог, заговорил, бесстрашно глядя прямо в лицо врагу своему:

— Вот я скажу, что дальше будет. Повезешь ты меня по всему селу и будешь крепко держать, чтоб не прыгнул. Всякому встречному и поперечному покажешь на меня и закричишь: «Вот какой ваш колхозный пастух, глядите! Бросил телят, убежал. Пропадете с вашими порядками...»

— Явно все с голоду подохнете! — грубо оборвал Перфишка.

— Сперва тебя задавим! — отчаянно гаркнул Лушка.

Трегубый поднялся с неуклюжей поспешностью, взмахнул кнутом.

— Только выполз, а зубы, как большой, обнажил.

Жук ошетинился, зарычал. Лушка отбежал в сторону и, приостановившись, продолжал кричать:

— Ты не смей, слышь. За картошку можешь бить, никому не скажу, а за это не смей. Нажалуюсь. Тебя за это вдогонку за папашей пошлют. Ты лучше уезжай без греха.

Ожесточенно матерясь, парень заковылял к лошади. С телеги, потрясая кнутовищем, грозил:

— Превосходно! Ты у меня заявись в село, я над тобой восхищусь. Опыты со смертельной каруселью приведу. Будьте покойны!

Вздрагивая от возбуждения, Лушка без сожаления провожал взглядом дымящую пылью телегу, слушал затихающий перестук колес. В костре зашипело, он бросился к своему вареву и во-время: вода выкипела, и чугуиный котелок угрожал треснуть. Разостлав в шалаше мешковину, пастушонок вывалил на нее разомлевшую картошку, снял с колышка кувшин и пошел за водой.

На склоне оврага покоится огромный белый камень. Вековые морщины его густо запылены пылью, отдохавшие птицы покинули на нем серебряные грибенники помета с присохшими пушинками. Из неведомых глубин земли звонко булькает у подножья камня прозрачный, знобящий зубы родник. По желобку, выстланному толченой галькой, вода льется в круглый водоём, а переполнив его, стекает через край на дно оврага; там, неумолчно болтающим ручейком, извивается среди ярко зеленеющих лез-

вий осоки и пик чакана в человеческий рост. Нога на бережках ручья мягко утопает в поседевший от древности мох. До поздней осени солнечно горят на склонах оврага крупнейшие ромашки.

Лушка нагнулся с кувшином к водоему и тут же отпрянул. В зеркальной его глубине безрадостно отразилось мутное небо, ползли по нему тучные облака, клубясь белой дымкой. Отражение так неумолимо дышало стужей и несчастьем, что сделалось страшно. В овраг нечаянно залетел шальной порыв ветра, шумно шархнулся по осоке, загремел чаканом и подстерегающе загаилялся. Сверху провыпалась на лицо и руки горсть крупинок толченого риса.

— Снег!

Позабыв набрать воды, Лушка единым духом вымахал со дна темного логова. Многое изменилось вокруг за время разговора с Перфишкой: ветер захолодал еще больше, небо помрачнело и грозило вот-вот ударить непогодой.

«Скорей, без оглядки — домой, к людям, пока не нагрязнула в степь ночь, пока не погасли последние мерцания света».

Но у шалаша остановился, — на сердце сделалось легче. Пунцово лоскутится догорающий костер, обжитой кажется утолченная вокруг него земля, Жук радостно увивается в предчувствии ужина, — это говорит о том, что на становище проведены долгие недели, месяцы и ничего не случилось плохого. Лишь несколько минут назад сидел на корточках человек у костра, правда, неприятный, злой, а все же человек; говорил, размахивал руками, остался после него крохотный желтый окурочок, вдавленный в землю. Значит, не совсем еще затерялся Лушка в степи, не навсегда оторван от людей, — скоро встретится с ними и заживет такой же полной жизнью, как и они. А что если ночью разбудит знакомый возглас дяди Обросима:

— Вставай, телячий хранитель!

Лушка поднял увесистый кнут и, широко размахнувшись, ударил по земле. В студеном воздухе хлопок не расколол. В всю степь, а замер около ног. Но все-таки ободрил.

— А ты говоришь, страшно! — пристыдил пастушонок собаку, и даже досадно ему стало, что убежал из оврага, не набрав воды.

В шалаше разломил через коленку последнюю окаменевшую горбушку, меньшую половину бросил псу, другую ставшей жевать сам, прикусывая похолодевшей картошкой. Покончив с ужином, зарылся в шумном сене, подогнув колени к подбородку. Стало тепло, даже жарко. Жука в эту ночь не выгнал на дежурство, а оставил при себе.

За шалашом гуляет ветер. В щель, между косяком и дверью, видно, как выхватывает он из-под треножника рдеющие угли, обжегшись, бросает, снова мчит, и они беззвучно гаснут на лету в надвигающейся темноте. Ночь просачивается в шалаш, а вместе с нею — опять тоска и обида на близких людей.

«Ходи по нашим следам... На людях не очень я нуждаюсь в хороших твоих словах. Ты сюда наведайся, здесь их скажи... Хорош и дядя Обросим: знает, что хлеб весь, погода к зиме, и глаз не показал. Бригадир! Стащили волки со скотного двора двух ягнят, а он рядом спал. Говорили — сменить надо, нет, застоял Иван Андреич: «простим последний раз». Зря не сместили долговязого...»

Память требовала справедливости. На дворе осень: как и в прошлом году, вероятно разогнали всех ребят по селам проводить кампании, а Осярку — в первую голову... Правда, до работы дядя Обросим не охоч, но разве сказано им за лето хоть одно грубое слово? Тяжелая его ладонь не раз опускалась на вершинку, и это были не побои, а молчаливая ласка. На слова бригадир скуп, зато если расщедрится, так за несколько часов беседы чувствуешь себя выросшим на пять лет. В те немногие ночи, когда оставался Обросим на стану, перебивал Лушка вместе с ним на царской войне, в германском плену, бил белых, громил помещика. Только неожиданное что-нибудь могло задержать его очередной субботний приезд; может, захворал... Они не позабыли, помнят конечно. Придет утро, взойдет солнце, и растают ночные страхи...

Успокоившись, Лушка тянется слухом за посвистами ветра в просторы степи, делается все легче и легче, и незаметно для себя покидает шалаш. Идет уже он вдоль дороги по направлению к селу, а рядом, согнувшись, медленно движется мать. Она широко шаркает свежешумящим веником, сметает с дороги пыль. Рой прохладных пылинок из-под веника обдает его лицо. День жаркий, и от брызг не холодно, приятно освежают они вспотевшее под шапкой лицо. Странная работа матери удивляет, хочется спросить — зачем она ей далась? Язык не слушается, и Лушка, помимо своей воли, передвигает тяжелые ноги. Шалаш остался далеко позади. Дорога подбирается к остову кургана; перекинувшись через него, резко сбегает вниз, снова тянется по равнине. Солнце западает, становится холоднее, а мать все метет. Пылинки начинают беспокоить, попадают за ворот, стекают, как бы растаяв, по спине и неприятно щекочут кожу.

— Ты что же, — с трудом выговаривает Лушка, — на весь свет подрядилась работать?

— Кому-то надо, — коротко отвечает мать, не разгибаясь, и продолжает шуметь веником.

Кажется Лушке, что идет с матерью целую вечность, не помнит, когда начала она мести, не знает, скоро ли кончит. Веник не шумит уже, а пронзительно взвизгивает голыми прутьями. Пыль вылетает из-под него облаками, порошит в лицо, заклепывает глаза. Мать метет, метет. Дороге не видно конца...



Наяву дорога, проколесив за курганом несколько километров, вливается прихотливым ручьем через ворота околицы в широкую и прямую реку агакинского прогона. За плетнями маячат сарай, грузные силуэты стогов сена и соломы, дальше начинают попадаться окраинные, убогие избенки, амбары. В темноте все это расплывается, теряет формы и напоминает развалины древнего городища.

Ни огонька, ни собачьего лая. Жизнь теплится только в середине села, на

площади. Вокруг обезглавленной церкви, приспособленной под склад зерна, ходит невидимый страж и глухо бубнит колотушкой. Окна бывшего поповского дома скупо цедят желтоватый свет, умирающий в темноте, возле завалинки. В просторной канцелярии колхоза семи линейной лампочки еле хватает на освещение стола да передней стены; дальние углы заполнили пухлые тени.

Председатель Иван Андреич Кошкин спит, неловко извалив голову на спинку стула. Кошкин настолько мал ростом, что если смотреть на него от порога, то увидишь из-за стола лишь лысую голову. В колце лампы одиноко пасется по недописанному листу бумаги зазимовавшая муха. Встретив на пути своем очки, она перебралась было на председателю лысину, но, вспугнутая скрипом двери, исчезла в потемках под потолком.

Вошел рослый бригадир скотного двора Обросим Толоконкин, вечно озабоченный молчаливым разрешением внутри себя каких-то важных вопросов, которые нельзя доверить окружающим. Синие глаза его рассеяны, движенья медлительны и часто не впопад. Кажется, что все выполняемые дела считает Обросим несостоящими, и если относится к ним серьезно, так для видимости, дабы не раздражать людей.

Бригадир нерешительно потоптался у порога, раздумывая — будить спящего или неслышно выйти вон? Наконец осторожно приблизился к столу, нутжно кашлянул. Встрепенулся лист бумаги, — маленький председатель не пошевелился. Обросим прикоснулся к его плечу пальцем и боязливо отступил, будто тронул задремавшего опасного зверя.

— Председатель!..

Тот вздрогнул, начал протирать ребром ладони красные глаза, точно надудило в них ветром с песком.

— Умен! — вымолвил он, близоручко рассматривая позднего гостя.

— Не дурак, — степенно подтвердил Толоконкин. — После отца парнишкой остался, однако хозяйство не нарушил.

— Мало бил тебя покойник, — ядовито пожалел председатель.

— Не скажи, — в прежнем тоне ответил бригадир. — Любил вкладывать, ты его знавал.

— Значит, богатство большое оставил, коли привык вертопрашить.

Ехидная журба была непонятна. Задумчиво лаская седые украинские усы, Обросим попросил раз'яснить:

— К чему все это?

— А все к тому, к старому: с'ели мы с тобой пуд соли, успел я за это время облысеть, а ты в уме так и не прибавил. Сколько раз говорил: береги корм. Норму сыпь, не жалей, а зачем на шапке уносишь?

— Дык, Иван Андрич...

— Не дыкай, а слушай, — как по сердитой книге отчитывал Кошкин. — В колхозе триста душ, если каждый после замески лошадям по щепоти... — Он не дочитал фразу до точки и оторопело потянулся к очкам: что считать обрывком сна — муку на шапке или то, что она быстро тает под его недобрым взглядом?

— Это же снег, — добродушно сообщил бригадир.

— Снег?

— Света не видно, с ног валит.

Несправедливое обвинение в бесхозяйственности не омрачило даже тенью сбиды голос Толоконкина. Ну, что же, — как бы думал он снисходительно, — на то и председатель, чтобы дело, не в дело ворчать.

За окном плакался ставень, и лилось вдоль стен шуршанье, будто истекало сухой листвой большое дерево.

Председатель заломил руки, сладко потянулся. В подтверждение своей правоты Обросим снял шапку и с размаху хватил ею о козырек высокого валенка. Нерастаявшие снежинки, мелкие капли посыпались во все стороны, угодили в лампешку. Стекло негодуяще крякнуло, еще гуще зачадил трепетный язычок огня.

— Стоерос, — укоризненно качнул головой Иван Андрич.

— А новое купим, — беспечно утешил бригадир. — Сколько ему цены? В колхозе триста душ, полгроша на душу обойдется.

Но председатель снова уже раскрыл свою книгу:

— И везде у нас так, в каждом деле. Другим первопуток, — нам горе От'ездили по-летнему — сюда колесо, туда оглобля. Топчи, ломай: не наше, общественное... На скотном дворе ноги повиديرгаешь...

— Прибраны колеса, Иван Андрич...

— Колеса прибраны, так дровни не готовы, вязки поломаны...

— И вязки починили. Я вот о телятешках немного расстраиваюсь.

— Какие еще телятешки?

— Да отгонники же, — невозмутимо пояснил Обросим, — которые с Лушкой. Цена им не велика, а все-таки жалко: живность.

Маленький председатель начал медленно багроветь, краской зарделась даже лысина.

— С-слушай, — заикаясь просипел он, — если ты пришел меня развлекать, так неурочный час выбрал и плохой предмет... Я ж утром настрого распорядился — пригнать.

— Такое дело, — смущенно развел руками бригадир, — сам не рад. Ты приказал, а меня без приказа на моченые яблоки, признаюсь, позвало. Влез в погреб, гляжу, — батюшки! — переводина надломилась. Я под нее — соху, а сохе надобна яма. Вылез за лопатой, вижу, подувать стало. Ну, думаю, управлюсь да поеду... А после обеда разморило с устатку, скажи ты на милость — ни рукой, ни ногой...

Кошкин прыгал перед ним, потрясая крохотными кулачками:

— После рюмочки моченые яблочки! За яблочками — обед, а перед обедом рюмочка... Ты что говоришь, кому?! Ведь с нас шкуру сымут за это дело!

— Именно, — подтвердил мужик, взирая на гневного своего начальника сверху вниз, как большой лягаш на расходившуюся дворнягу. — Шибко народ шуметь будет, особенно Тереха, он — крикун. Чего же теперь... Ну, виноват, говорю.

Председатель выдохся. Мелкими шапками отбежал к окну и остановился, глядя в темноту. Там куролесила

непогода. Что-то смутное бешеной лавой мчалось мимо, всклокочив седые гривы; шарахалось о стены, гремело ставнями; тихо позванивало вздрагивающее стекло.

— Значит, и Лушка в степи? — посыпалось от окна.

— Где же ему быть? Ребятишки — не печаль, их хватит: у меня не прощенный, немоленный четвертый явился. Вот скотная задача, — действительно, трудная.

— Немедленно поезжай, — ледяным голосом приказал Кошкин.

— Верная погибель, Иван Андреич. Мое предложение до утра обождать, ночи все равно с воробьиный нос осталось.

— А утром?

— Утром, что ж, — замялся бригадир, — как народ, так и я... Конечно шкура кажному мила.

— Народ, народ... Нашкодил не народ, а ты...

Председатель повернулся от окна. Лицо его спокойно, трелько под кадыком напряженно бьется синяя жилка. «Вот стоит, — размышлял он, — один из близких моих помощников, содеявший преступление. Можно орать на него, топтать ногами, стращать наказаньем. Хватит ли этого, чтобы наутро отшелушилась с него шкура безразличия и даже некой иронии в отношении к пороченному делу? Вряд ли... Теперешнее легкое смущенье сменится, может быть, растерянностью... так это не от сознания вины, а от боязни наказания. Нет, одной суровостью не разворошишь мужика». Кошкин осушил платком вспотевший лоб.

— Как только забрезжит, поехать тебе, хочешь не хочешь, придется. Кстати приведи ко мне Осярку.

— Это правильно, — согласился бригадир... — Он — комсомол, скотный шеф. Он Лушке ботинки подарил, ему и забота.

— Комики, — горестно прошептал председатель, — когда вас людьми сдлаешь? — Увидев, что Толоконкин занес на порог ногу, остановил: — Поймай! — Догнал его и схватив за руку, потащил к столу. Мешковатый брига-

дир безропотно следовал за ним, как грузная баржа на причале за бойким буксиром.

Запрокинув голову и оставив круглые очки прямо в седоусое лицо Толоконкина, Иван Андреич говорил:

— Слушай, Обросим, слов нет, хозяйство ты хорошо знаешь, если захочешь, но я охрип кричать на тебя целую жизнь... Дьявол! — завопил он, — ты же знаешь, что это не барахло, а дорогое наше добро! Ведь если бы твой теленок или мальчишка мерз в поле, так ты за сто верст пешком пошел бы. Понимаешь! Если бы даже взорвался погреб твой, и то пошел бы! Что ж это такое, а?

— Не хорош — другого назначьте, — помрачнев, ответил бригадир.

— И волюнку с другим с азов заводи? А ты подохнуть, что ли, таким собрался, Обросим?

— Ну, в темницу сажайте, коли так, — совсем уже отчаянно предложил он.

— Так ведь там тебя кормить надо, а здесь хоть на хлеб зарабатываешь... Без шуток, куда это годится?

Бригадир, тяжело вздыхая, долго терзал усы, затем заключил:

— Казенная вещь.

— Что это такое?

— Очень просто: казна-матушка. — Толоконкин умоляюще приложил руки к груди. — Прошу, Иван Андреевич, отпусти ты меня. Завтра хлопот по горло, поспать надо. — Надев шапку на кулак, стукнул по груди, впервые за весь разговор повысил голос: — Не мучай, говорю! Что я с собой сотворю, сам казнюсь. Валяется клоч сена, поднять бы да конюшку холку нагреть, не тут-то было: лень. Знаешь, лень!

— Ну, да, погреб дороже. Зачем же к нам пришел? Уходи тогда.

— Это ты брось! Это я знаю, зачем пришел. А вот лень. Ночей не сплю, борюсь: она меня, я ее, а она опять меня. — Ноги бригадира подгибались, видимо, впервые исторгал он свои сокровенности. — Вот и подумай. Если уж я совсем нуль без палочки, тогда что же... Тогда гони, такая, значит, будет мне цена.

Оба продолжительно молчали: Толоконкин нашаривал что-то в глубоких карманах полушубка, сердито сопел, может быть, порицая себя за то, что устыдился резонов. Иван Андренич, потупившись, перекладывал с места на место недописанный лист бумаги.

— Тут еще — новая работа: агроном в устроительных чертежах напутал, придется в район ехать.

Обросим шумно выдохнул тяготившее недовольство собою, с прежней уравновешенностью заметил:

— Интеллигенция, одним словом: путает, что в поле, что на бумаге.

— Ты при мне этого не говори, — строго отрезал Кошкин, — я об ней другого мнения держусь.

— Известно, надел очки, прошел в партию. От крестьянства оторвался совсем, только и знаешь, зудишь нашего брата.

— Я в тех очках свет увидел и тебе советую.

— Себя ты ко мне не приравнивай. Ты — особь статья: рос — ни пуха, ни пера; нынешние повадки, как одежду на голое тело надел... А у меня, как-никак, хозяйство было...

— Ну знаешь, — ответил Кошкин, — можно поспорить, это — другая тема для длинного разговора.

Обросим поспешно отступил к выходу:

— Вот мне и некогда его вести. Значит, первым делом — Осярку.

Он ушел, а председатель остался коротать последок ночи с невеселыми своими думами.



Лушкин сон оборвался очень неожиданно. Чтобы утихомирить бушевавшую мать, он попросил:

— Тише ты шаркай!..

Она повернулась к нему и вместо ответа смазала по лицу мокрым, холодным венником. Лушка открыл глаза. Над ним сидит Жук и, тихонько скулит, лижет щеки, губы. В шалаше голубовато-рассеянный свет. Трудно определить, гнутся ли все еще вчерашние сумерки, или светает. Ощущение холода связало сон с действительностью;

особенно озябли руки, они нестерпимо зудели от колючих мурашек. Натягивая варежки, пастушонок нечаянно взглянул на дверь: у притвора возвышалась пирамидка снега и острой вершиной своей тянулась вверх по щели. Покатую крышу шалаша и стенки обтекал глухой шум, резко просекаемый свистом.

Лушка толкнул дверь. Она рванулась наружу, точно пытаюсь взлететь, но, удержанная пеглями, брякнулась о переднюю деревянную стенку. Знакомые глазам несколько метров земли у шалаша неузнаваемы: выбоинки и бугорки сравнила пенящаяся поземка, из-под нее сиротливо торчали концы сбитой треноги. Даль выхрилась чадом, в сувертках его творилось распутное гульбище бесноватых. Проносилась, очертя голову, бесконечная орда взерошенных призраков. Трепыхались и хлопали на ветру лоскуты рваных одежд, дымно стлались вослед распущенные косы. В припляску мчались своры пьяных музыкантов, — звякали медными тарелками, выли на дудках, гнусно хрипели в губные гармошки. Сверху на весь этот ералаш шумно рушились какие-то столбы, своды. В белом прахе мгновенно возникали и кувыркались визгливые волчки.

— Метет, — испугался Лушка.

Если тащиться домой вместе с косяком, то занесет последние приметы пути, пока доберешься. Бросить все и, захватив Жука, мчаться к людям, в тепло. Паническая мысль мелькнула на один только миг. Вслед за этим очень ярко представилось, как непривычно итти по улицам, не слыша за собой многоногой поступи стада. Навстречу выбегут из домов встревоженные хозяева, в один голос спрыт:

— Где ты растерял наших телят?

На крыльце стоит Перфишка; страшно улыбаясь, указывает на него пальцем:

— Все подохнете!

Ведь для того Трегубый и уговаривал вчера поехать домой, чтобы потом в волю поиздеваться над ним и людьми, доверившими парнишке большое дело.

Вечером вызовет в ячейку Осярка, при всем собрании подкорит:

— Разве для того дали мы тебе ботинки, чтобы ты быстрее бежал в них от стада?!
 Множество глаз вопьются в Лушку, ожидая ответа.

Позор столь страшно противоречил всему, что пережил пастух, слушая памятную речь Осярки, что казалось милее очутиться без всякого прикрытия в самом кипятке метели.

«Продрогли наверно, — со страхом подумал он о телятах, — а может, разбредись даже» — и опрометью кинулся к калде.

Припав грудью к жердушке, стоял по колено в рыхлом сугробе, напряженно разглядывал запорошенных телят. Сосчитав, облегченно вздохнул:

— Тридцать один, в целости.

Подошел Галах и, утробно мыкнув, дохнул в лицо теплом. Тут Лушка почувствовал, что ветер прохватывает до костей сквозь утлую одежку. Почти вплавь бросился сквозь буран обратно в шалаш, там сорвал с себя пиджак, начал обертывать грудь опорожненным от провизии большим мешком. Ожидать приезда дяди Обросима больше нельзя. Чтобы не заморозить телят, надо гнать их домой сейчас же. Лушка не думал, — пробьется ли через пургу и что станет с ним, с телятами, если покинут его силы в середине пути? Главное — скорее гнать, а как — не важно.

— Вот и готово! — известил он Жука, ту же затягивая подпояску вздрагивающими руками. — Ты еще кнут бросил бы... пастух! За свое добро — один ответ, за общественное — вдвойне. Такие дела. — Вернувшись к калде, с трудом распахнул ворота, крикнул: — Выходи!

Но телята ждали условного хлопка, хлопнуть же не было никакой возможности.

— Возьми, — послал тогда пастушок Жука.

Пес ринулся с хриплым лаем в калду. Первым, недовольно косясь на ветер, выступил Галах, за ним осторожно следовала Красуля и тянулася весь табун с присмирившей Резвухой в хвосте. Выбрав место, где предположительно

проходила дорога, Лушка подождал косяк и двинулся вперед. Позади мужественно шествовал маленький Жук, подгоняя отстающих; он, не колеблясь ни одной секунды, отдавал свою жизнь рискованному замыслу хозяина.

Ветер и снег били прямо в лоб. Лушка шатался под их ударами, закрывал лицо от ожогов; порою останавливался, чтобы, отвернувшись от ветра, вздохнуть полной грудью, для бодрости пытался взмахнуть кнутом.

— Шагай-пошагивай!

К его лицу приближался широкий лоб тоже приостановившегося Галаха, сквозь иней ресниц успокаивающе мерцали большие глаза бычка. Лушка двигался дальше. Щеки затянуло тонкой ледяной коркой и покалывало калеными иголками, в каждый укол стремительно в'едалась острая соль, заставляя скрипеть зубами от боли. Пастушок решил пятиться, повернувшись спиной к ветру. Угадывать направление стало труднее, зато на виду телята и отдыхало измученное лицо.

Пора уж появиться бы знакомому кургану. Лушка все чаще останавливался, разглядывал из-под руки даль, но ничего нельзя было понять в густой мгле, из которой бешено роилась сухая, жальная мякина.

Пастух шел час, два, может быть, больше... Тяжелеющее тело уже подгибало ноги, будто замотанные туго портянки набиты в середине мягкой паклей. Казалось, что и в голову наливалась холодная муть, что с шипеньем кипела вокруг. Постепенно охватывало безразличие — куда итти, зачем, лишь обрести бы скорее где-нибудь тишайший уголок и на один только миг присесть, дать отдых каждому суставу, кричащему об усталости...

Вдруг он почувствовал, что нога не находит за спиной опоры, и кувыркнулся вниз. Паденье не испугало, а даже обрадовало: наконец-то не надо больше итти. Сидел, отплеывая набившийся в рот снег, лениво вытряхивал его из рукавов. Над головой отвесно возвышался бурый, слегка припорошенный снегом обрыв.

«Крутой Дол, — узнал Лушка, вспомнив глиняные берега грубокого оврага, размытые дождями. — Эх, куда принесло, почитай, за версту от дороги».

Неохотно попытался было карабкаться вверх, но опять скатился, смыйтый шквалом ветра, при падении потерялась варежка, обнаженную правую руку лопило. Он уполз за выступ, и, выбрав местечко, где нет ненавистного снега, лег, привалившись спиной к обрыву. Здесь было тихо, голая глина выглядела совсем пол-летнему, и будто струилось от нее тепло.

«А ведь телята наверху остались» — вспомнил пастух. Даже эта мысль не заставила его двинуться с места. Сладкая истома налила все существо. Представлялось, что сделано все возможное, а теперь придет кто-то большой и сильный и обо всем позаботится. Все же для очистки совести, крикнул, не поворачивая головы:

— Жук, сюда гони!

Пес с готовностью отозвался сверху. Вскоре с левой стороны показался на отлогом спуске Галах. Вожатый сполз в овраг почти на хвосте, круто упираясь передними ногами, и привел косяк прямо к Лушке. Телята окружили его полукольцом, остановились.

«Хорошо бы дать им сенца, да и мне под бок положить, — думал Лушка. — Все, что ли?.. Резвухи опять нет, отбилась. — Он умилился, услышав обрывки лая Жука — Заворотит. Умный и старый, не выдаст... А то дядя Терентий страх сердитый...»

Умиленье наполнило сердце и оттого, что вот лежит он и отдыхает, отдыхает... Никакие силы не заставят его подняться с места. За него работает Жук: носится среди вьюги, заворачивает Резвуху; холодно не ему, Лушке, а Жуку, Резвухе. До слез радовался даже тому, что дядя Терентий — хозяин Резвухи, самый сутяжный в колхозе человек и в случае пропажи теленка сживет со света не только пастуха, но и бригадира Обросима, председателя Ивана Андревича, соседей.

«То-то шума будет» — безмятежно усмехнулся Лушка.

Обрывки мыслей шевелились мерно и неохотно, как пчелы в улье зимой.

«И пусть ругается дядя Терентий. Прыгает, руками машет... смешной. Я не железный. Отдохнуть надо... да, да. А Резвухи все нет. Пусть нет. Жук пригонит. Пригонит...»

Зажал руки коленями, откинулся. Над ним, почти касаясь влажными губами лица, свесилась дышащая парная морда Галаха.

Зимний рассвет незаметно проник через посиневшие стекла в колхозную канцелярию. Тени в углах растаяли, и поблекнул огонек все еще горевшей на столе лампочки. На улице зябко скулила метель. Через пазы ползла в избу стужа, мохнатой плесенью оседала на основном пластиннике.

Маленький председатель сидит все еще на прежнем месте. Лицо его язвится рябинками, будто ошпаренное когда-то зарядом бекасинника, но огромный лоб чист, а лысая голова отливает розоватой полировкой. Очки мешают понять — спит председатель с полукрытыми глазами или напряженно смотрит на дверь.

Рядом с ним, уронив голову, горестно сторбилась женщина. Лица ее не видно, из-под платка выбилась седая прядь волос и упала через руку и угол стола. Женщина очень худа: над лопатками выпукло пузырится спинка овчинного пиджака. На лавке, опершись руками и подбородком на падог, сидит древний старик Селиверст Вохрушин, мелко трясется, и плывут по дряхлым щекам его одна за другою крупные слезы; деду вряд ли что надо от жизни, привела его сюда посеведаша вместе с ним привычка — послушать, о чем говорят на миру. По горнице беспокойно рыщет высокий, чернородый мужик, иногда приостанавливается и, глянув исподлобья на председателя, судорожно сжимает тяжелые кулаки. В углах и вдоль стен жмутся еще несколько человек, боязливо перешептываются, будто возле покойника.

Перед столом суетливо толчется лядущий мужичонка Терентий Галкин,

прозванный за непоседливость Плясуном, и твердит Ивану Андреичу одни и те же слова:

— Доработались, зовется! — Синеватые губы его и обшипанная бородка жалобно дрожат.

Окаменевший председатель молчит в ожидании чего-то.

— Ты мне скажи, доработались или нет?! — повторяет Тереха.

Не спуская глаз с двери, Кошкин склонился к женщине, скороговоркой бросил:

— Главное, вида не теряй; ты же — старая колхозница.

Она не ответила.

— Дедушка Селиверст, — поинтересовался председатель, — какого числа в прошлом году снег упал?

— На Кузьму — Демьяна, — прошамкал он. — А ныне месяцем раньше.

— Ты брось отлынивать! — надрылся Тереха. — Я — такой член или нет?!

— Ну? — возрился председатель, как бы впервые заметив его.

Плясунок стукнул по столу кулаком.

— Отдай телку!

В горнице сделалось тихо. Люди повдвинулись из углов вперед.

— Сейчас родить буду твою телку, — спокойно пообещался Иван Андреич.

— Не смейся, — угрюмо вставил чернобородый, — тут плакать впору.

— А он что, насмех пристает? — Председатель оглядел всех колхозников, как бы прикидывая, поймут ли его слова. — Я не заставляю Тереху Галкина отвечать вместо меня за весь колхоз, такой ответ — мое дело. Но я не собираюсь подставлять свой лоб под каждую шишку, которую полагается носить другому. С телятами прошляпил бригадир скотного двора, его мы и заставим их выручать. Надо подождать. Он сейчас будет здесь.

Тереха метнулся к людям.

— Чего там ждате! Народ, что молчите? Последнюю живность волку в зубы! Дедушка, — подскочил он к Селиверсту, — где порядок?

— На небеси, сынок, — ласково ответил старик.

Сизоносый мужик в чапане отозвался: — Для того писались, чтобы здесь их завести.

Плясунок снова уже надоедал перед столом:

— Ехать надо! Слышь, что ли...

— Обязательно, — подтвердил Кошкин.

— Кому-то пострадать за общество, — откликнулись справа.

— На то председатель есть! — выпалил сизоносый давно приготовленную фразу.

Иван Андреич открыл для чего-то ящик стола, с хлопком задвинул его и увесисто ответил:

— Председатель есть на то, чтобы давать правильный распорядок, а вы — исполнять. Вот я и даю: если Терехе не хочется ждать бригадира, пусть заложит Малыша и едет немедля к стаду.

Мужик раздвинул плечом соседей, испуганно юркнул к порогу.

— Сунься, кому жисть недорога.

У двери столкнулся с бабами, дружно ввалившимися в горницу. Впереди, размашисто передергивая углы серой шали, шла полная красноармейка Марфа Пуговкина:

— Пропали телята! — пожаловался ей Тереха.

Она, даже не взглянув на него, широко зашагала вперед. Бабы, как неотступный выводок, последовали за ней.

— Ты за столом развалился, — завопила Марфа в лицо председателю, — а мой муж на Востоке стоял и опять постоит! А у моей Красульки волк последний бок лупит!

— Мы те выдернем из-за стола на вольный свет! — еще злее поддержала другая.

Кошкин, невозмутимый и находчивый перед мужиками, на сей раз поежился и тоскливо оглянулся по сторонам, как бы ища поддержки. Рука в замешательстве вертела в столе ключ, и тот звонко стрелял по нападавшим.

Сидевшая рядом женщина поднялась. Кто-то прошептал:

— Лизавета.

Худая, с желтыми, болезненными пятнами на скуластых щеках, она выпрямилась и сказала бабам:

— Телку дерет! У меня снегом последнего сына заносит. — Голос у нее каркающий, как после бессонной ночи. — Над кормильцем могильный горб растет, и не знаю, где крест поставить.

— Каждому свое, — ответила Марфа.

— Вот он и мой, — рванула Елизавета на груди полушубок. — Кусок мяса, ножик в сердце! Своим молоком поила, а у тебя об коровьем забота. Стыдно! Шли, чтоб радости пополам, а при горестях терпеть.

— Не хочут! — сквозь слезы завизжала Марфа. — Поезжай, очкастый сыч!

Бабы напирали. Чернобородый угрожающе перегнулся через скрипнувший стол, неопределенно прогудел:

— Придется тебе ответить...

— Сейчас, — ответил Иван Андреич. Поднявшись на цыпочки, впился через головы людей в открывшуюся дверь и облегченно вздохнул.

— Насилу разыскался! — объявил ему вошедший Оброем Толоконкин.

— Ага! — набросился на него взешрошенный Тереха. — Сейчас мы тебя спросим.

Люди отхлынули к порогу. Обросим, точно подхваченный водоворотом, вертелся среди них, тщетно пытаясь пробиться к столу. С лица его смыло вчерашние невозмутимость и безразличие, бригадир обескураженно признавался:

— Ну, виноват... Ну, чего же теперь? Куда деваться?...

Вслед за ним показался комсомольский секретарь Осярка Горюнов в кожаной ушанке и стеганом пиджаке, подпоясанном широким ремнем.

Парень отличался от всех ребят в ячейке начитанностью, бойкости и предприимчивости у него — хоть отбавляй; в общем он приносил немало пользы колхозу. По молодости Осярка несколько переоценивал собственные достоинства: держался самоуверенно, даже с надменцей, черную работу любил сваливать на других, своим же уделом считал большие масштабы; дермантиновый портфельчик его всегда набит до отказа громковещательными резолюциями, набросками капитальных планов,

большинство коих составлено, к сожалению, преждевременно.

— В чем неувязка? — спросил комсомолец, и в тоне вопроса слышалось: «Ну, вот я и пришел, сейчас распутаю все ваши мелочишки».

Председатель молча вышел из-за стола и, махнув парню, скрылся за печкой, оставив бригадира держать перед колхозниками ответ.

За печкой оказалась соседняя небольшая комната, холодное обиталище мышей. В углу стояло, свернутое на шесте, запыленное вишневое знамя, на полу валялось несколько старых рогожек и полуразбитых ящиков.

Иван Андреич плотно прикрыл дверь, взял Осярку за пуговицу пиджака, тихо сказал:

— Они правы конечно: каждый шел сюда не затем, чтобы терпеть... Ты им, Осип, докажи, как заботится комсомол о пастухе.

— Можно, — с готовностью согласился секретарь. — Все в порядке. Дали премиальные ботинки, выписали газету, а когда провозжали на пастбище, вручили ряд нужных брошюр. Это не при старом руководстве — у нас все записано, — и начал расстегивать портфельчик. — Как вернется, утвердим в ячейку...

— А если не вернется? — перебил председатель.

Комсомолец, как бы не расслышав, старательно колупал капризный замок. Иван Андреич сокрушенно покачал головой.

— Ох-хо-хо, гляжу я на тебя два года: умница ты, много хороших слов научился говорить, бумагу за троих изводишь...

— А что? — вскинулся парень, приговорясь обидеться.

— Ветра много в голове, вот что. А еще: поезжай-ка сейчас с Обросимом за Лушкой.

Осярка отпрянул, прихватив подмышку так и нерасстегнувшую сумку.

— Ну, знаешь, в такую... Рядовых работников, что ли, для этого нехватит?

— Одно знаю, на таких делах люди проверяются, — неумолимо доби-

вал Кошкин. — Работников конечно хватит, но как партиец говорю, я боюсь проводить Обросима без верного глаза: может вернуться с полдороги, наговорит до небес — и взятки гладки.

— Тебе же известно — я составляю теперь план объединения сорокадцати колхозов...

— Не болтай! — раздраженно оборвал Иван Андреич и начал медленно краснеть.

— Я не могу, — попытался разжалобить Осярка, живнув на хромоту свои сапоги, никак не приспособленные к степным путешествиям в метель.

— Валенцы дадим.

Осярка ухватился за последнее.

— Иван Андреич, ты пойми! Я — не трус... А если что случится?.. Мне ведь в будущем году учиться надо ехать.

— Никуда ты не поедешь! — холодно отказал маленький председатель и прислушался.

За переборкой воцарилась тишина. Говорил кто-то один, гнусаво и просяще. Весь подобрившись, точно готовясь к прыжку, Кошкин распахнул дверцу...

Народ стоял в канцелярии молчаливым полукругом. В середине перед дедушкой Селиверстом согнулся в полупоклоне Перфил Бардин, — совал в дрожащие руки старика смятую рублевую бумажку и просил.

— Смирненно возьми, дедушка, и не рыдай. Определено. У меня такая манера. Кто твою немощ пригреет?

— Балаган! — хихикнул Тереха, увлеченный зрелищем.

Взволнованный Перфиска в каком-то иступлении вертелся среди людей на пятке здоровой ноги, забрасывал вопросами и сам отвечал на них, убедительно прикладывая руки к груди и кланяясь.

— Кто в нынешней холодной жизни пригорюнется об старике? Ни одно должностное лицо. Моя правда! Где последний вздох телка? Погас — все видят. Как вам прозябать теперь на земле? Так вот: кто роскошной щедростью — рупь, кто — полтинник. Я вперед иду навстречу власти! Кто за мной? Вызываю!

К нему подбежала, пылая возмущением, Елизавета. Вырвала из рук деда бумажку и бросила ее к Перфискиным ногам.

— Без подачек проживем.

Трегубый поднял рубль, бережно расправил.

— Потуши гордость, тетя Лиза. И об тебе забота нужна, для того тебя в артель добровольно пригнали. А у вас что? Погибель! Резкий факт в лицо бросаю. Твоего юношу политически заморозили. Кто теперь к вам пойдет? Бежать от вас надо. Возьми рупь, а то подохнешь.

Не вставая с места, дедушка Селиверст притронулся к его плечу падогом.

— Парень, негоже делаешь. У народа горе, а ты травишь. В те поры, когда отца в холодные края провожали, мир тебя по младости пожалел. А ты что? Негоже!

Перфиска возопил:

— Граждане, избирательные голоса! Чем я оскорбил? Взаимопомощи учу. Что у вас творится? Людожорство! Вчера еду по степу, а у шалаша младенчик тети Лизы прозябает и с голодной природы пальчик сосет. Плача, умоляет: «Подвези, дядя Перфил, домой, ноги отнялись». А у меня на возу перегрузка, сам пешком шлепаю. Ударил меня бессильная слеза. Куда, отвечаю, посажу я тебя, зяблик? На, говорю, тебе, колхозник, последнее от единопличника, и пожертвовал ему собственную краюху.

— Врешь! — заорал вдруг Осярка, — у комсомола трусов нет.

— С голоду — это неправильно, — заметил чернобородый. — Мы тоже свое самолюбие имеем. Об мальчишке заботимся и ботинки ему подарили.

— Ну, да, — с готовностью подхватил Перфиска, — а я о чем говорю? Уютные ботинки в сундук спрятали, а в горьких лаптях в степь прогнали! — Увидев председателя, закричал ему, точно желая обрадовать: — Где же ваше братство, товарищ председатель? Гибельный позор. Судное дело! Об этом надо в газету писать. И найдутся грамотные добровольцы, напишут.

Кошкин неторопливо направился к нему, но на третьем же шагу сорвался: скакнул, лоя на лету падающие очки.

— Иди! — просипел он, багровея, и схватил его за руку. — Иди отсюда вон!

— За что? — уперся Перфишка. — Разве теперешнее государство учит не говорить правду, как же оно может понукать массаами?

— Вались вон! — кричал Иван Андреевич. Откуда-то из глубины этого тщедушного человека прорвался оглушительный голос. — Или вслед за папашей хочешь на теплые мурманские воды прогуляться?

— Уходи от греха, Перфил, — предупредил чернобородый. — Дело, как говорится, наше, и ты в него не мешайся.

— Жалельщики! — заголосила Марфа. — Жалел бы, когда я у папашки твоего на огородах спину ломала.

Осярка распахнул дверь, вырвал у Перфишки рукавицу и, выбросив ее вон, приказал:

— Куси! — при этом стукнул зубами, будто в ознобе.

— По каким статьям, — начал было Трегубый, но бригадир Обросим нажал плечом и вытеснил его за дверь.

Старик подвинул падогом ближе к себе забытую Перфишкой бумажку, заключил:

— Так и бывает, две собаки из одного дома дерутся, а чужая не лезь, а то шерсть полетит. Закрой дверь, Обросим.

Осярка поднял над головой руку. Молодое, немного дерзкое лицо его пылало румянцем отчаянной решимости.

— Предложенье! Трудностями не дадим волынить. Еду на выручку! Зову последовать бригадира скотного двора.

Около него засуетился Тереха.

— Я же говорил, без меня охотники найдутся... — Приник к плечу комсомольца. — Родня, куда ты в голяках? Вот они — валенки, тепло, печка! — и запрыгал на одной ноге, стаскивая серый сапог.

Их заслонил бригадир Обросим Толоконкин, необычно охваченный смятением.

— Также и мне слово. Меня не вызывайте...

Упругий вал снега и ветра ударился об избу. Что-то, загудев, тяжело обрушилось на чердаке. Над головами людей отрывисто дрогнул потолок.

— Кажись, дымоход обвалился, — испуганно заметила красноармейка.

Нетерпеливо протонав, Елизавета опустила на лавку:

— Да скорее же!..

Обросим сбивчиво выдавливал из себя слова, стараясь не пропустить минутной тишины.

— С думами борюсь. Всю ночь думал. Когда же мы перебором лень к общественному добру? Перфишка об чем язвит? Скотный бригадир промахнулся, так и всему нашему делу конец? А мы не допустим. Я надумал. В жертву себя приношу, в жертву! — самозабвенно повторял он. — Отцы, птицы-голуби, готов пострадать за вас! Вот я какой! — Бригадир нелепо раскинул длинные руки, точно приготовясь пойти на распятие.

— Ну развеел страданье, насмех людям! — недовольно поморщился Кошкин, занимая свое место. — Запрягать надо! — Председатель успокоился, общая взволнованность его не трогала. Опыт заранее подсказывал ему, чем кончится вся эта канитель: будут колхозники шуметь, валить на чужую голову трудную повинность, а потом взорлят от какого-то неизбежного толчка; за три года случалось так неоднократно. Сегодняшние события лишней раз подтвердили уверенность председателя. Она только дважды колебнулась в нем: при нападеньи баб и в соре с Перфишкой.

Все повеселели, оживились. Чернобородый рассоловел и, покачиваясь, как пьяный, взволнованно повествовал:

— Обчая сила, дедушка! Где там одному сломить. Как мы тогда встали в ряд, как в тридцать кос ж-жахнули, — куды цветы, куды ягоды! Луг в один день ветром сдуло.

У красноармейки Марфы появился большой каравай хлеба. Она совала его Обросиму:

— Допрежь накормите, с хлебом ж жисть придет.

Несколько баб натягивали на Осярку тулуп. Одежина потрескивала подмышками.

— Тихонько, родные, тихонько, — страдала хозяйка, — последняя... — а сама прихорашивала сзади складки подола.

— Готова подвода! — яростно возгласил появившийся Тереха.

Колхозники двинулись гурьбой к выходу. Впереди шел Обросим. Глаза его, обычно рассеянные, горели торжественной озабоченностью. Бригадир внешне прикрывал ее говорливостью, быстротою движений. Он молодо сбежал по ступенькам.

Тереха украдкой вручил ему посудину с водкой:

— На-ка для резвости. Мальчишке запасной тулуп в плетюшку бросил... Да запахнись же ты.

Обросим зычно распорядился:

— Волоки хвороста и сена да побольше!

— Зачем это? — удивился Осярка.

— Зелен, — подмигнул бригадир.

В другое время эта пренебрежительность кровно обидела бы секретаря, но в данном случае он смолчал. Последние десятки минут на него повлияли благотворно: парень поскромнел, стал деловитей, будто вырос.

У крыльца стояла запряженная пара: рыжий, с поджарыми боками мерин Малыш и тучная матка Грачиха — в корню. При каждом шорохе снега степные лошади прядали ушами, косились. Ветер неистово трепал их гривы и хвосты, раздувал у мужиков чапаны; бабы торопливо обдергивали веявшие подолы.

Принесли хворост и сено. Сборы по сути дела закончились, однако Обросим медлил: долго копался в упряжи, вдобавок явно без надобности нырнул под брюхо мерину. Осярка, томясь задержкой, похлопывал рукавицами, припрыгивал.

К возку, опираясь на падог, медленно подошел дедушка Селиверст, снял шапку и сказал:

— Ну, Обросим...

Тот живо выскочил из-под лошади, также обнажил голову. Они стояли друг

перед другом, исполненные строгостью, волосы их пересыпало снегом. Старик низко поклонился, притронувшись голыми пальцами к сугробу.

— Прости Христа ради.

— И меня прости на всяк случай, — бултыхнулся бригадир, а поднявшись, встряхнул русым кружалом. — Тут об семье позаботьтесь, если чего. А я за народ — с радостью, куда ж теперь денешься?

— Бросьте представлять, — нахмурился Осярка.

Дедушка осуждающе посмотрел на него.

— Одно дело — здесь плеформа, другая статья — вот тут обстоятельство. — Старик ткнул палкой в сугроб, словно загадочные эти «плеформа» и «обстоятельство», объясняющие поведение его и бригадира, таились зарытые у ног под снегом.

— Понял? — осведомился Обросим и лихо прыгнул в плетенку.

Осярка не постиг дедовой премудрости, да и некогда было. Лошади без позыва дернули. Бригадир с размаху плюхнулся на вязанку сена.

Из канцелярии выбежал в одном пиджачишке председатель и залился:

— Эй, погоди! Ты, смотри, лошадей у меня не запори, — вы такие!.. Казенное — значит, гони.

— Не маленький, — отмахнулся бригадир кнутовищем. Что-то вспомнив, натянув вожжи, закричал председателю в ответ: — Скажи там конторщику, чтобы трудодень не позабыл мне выписать. То-то! Вы — такой народ: не мое, общественное, значит — за здорово живешь, без копеечки.



У околицы от плетня к плетню вздымалась алебастровая запруда, а там, за ней, вихрились холодные смерчи. Лошади грудью вломились в сугроб. Снег из-под оглобелей хлестнул в плетюху, как волна через борт лодки, взвился вслед за полозьями. У седоков на минуту захватило дыханье. Когда выбрались, Обросим откинул воротник тулупа, припал к уху спутника, стараясь перекричать непогоду:

— Вся артель, а мы — две за нее жертвы. Вот тебе — сердце и бог, вот тебе — дедушкина загадка.

— Теперь понял, — кратко ответил Осярка, — но не согласен.

— Найди другое слово, если умен! — подзадорил бригадир.

Секретарь был спорщиком не из последних и нашел бы что возразить. Лушка например где-то замерзал, потому что не бросил тридцать одного теленка, из которых лично ему не принадлежал ни один. Ни о какой добровольной жертве тут и речи быть не могло, наоборот, мальчишка вероятно делал все возможное, чтобы спастись. Его, Осярку, заставило переломить минутную трусость не чувство жертвенности, а желание насолить Перфишке; спасая стадо, он конечно постарается остаться невредимым. Но вязаться в спор не хотелось. Сейчас... Осярка больно прикусил губу, вспомнив позорное свое поведение перед Иваном Андренчем. Сейчас без лишней болтовни надо выполнять поручение, сделав же, скромно отойти в сторону и не бахвалиться, как раньше.

Обросим держался по-иному: каждый рывок ветра будто вдыхал в него долю вьюжного озорства. Мужик возился в плетюшке; потряхивая вожжами, бодал Осярку локтем в грудь.

— А ну, докажи, коли не согласен! Когда за спиной стали тонуть в дымной мороке очертания гуменных стогов, он придержал лошадей. Скрутил из длинной осоки жгут, завязал узлом на хворостине и воткнул ее в сугроб.

— Вот и любо: направление не потеряем, Лушку не найдем, так наши телеса по этим приметам отыщут.

Секретарь не выдержал:

— Боевая задача — по этим заметкам обратно добратся.

Бригадир заломил шапку.

— Э, смерть страшна за даря, а тут сказано: мирское дело.

Осярка крутил жгуты, как бы стараясь проворством рук ускорить медлительный путь. Обросим держал подводу прямо против вешки и, как только начинала скрываться она, ставил новую.

Село вместе с близкими людьми, с каждодневными заботами, со всем, что

заполняло жизнь, будто кануло бесследно в глубины мутного половодья. Только возок, подобно утлому ковчегу, настойчиво пробивался сквозь взбаламученные хляби. По сторонам, через головы путников, шумно перекатывались седогривые валы, шлепали в лицо хлопьями студеной пены, обдавали колючими, как толченное стекло, брызгами. Хляби, коварно расступившись, давали путь вперед, за спиной же смыкались поспешными всплесками. Бестолково металась вокруг сонмища птиц, злорадно посвистывая над ухом белыми крыльями. Все же позади оставалась узкая лазейка, отмеченная маячками вешек.

В ложбинах теплее, лошади вязли по брюхо в снегу. Взбираясь на пригорок, ободранный ветром до травы, животные тяжело дымили боками. Первым подударом непогоды замялся горячий, скоро выдохшийся Малыш. Грачиха тоже встала, повернула к седокам притомленную морду. Она бережливо третила свои силы, и взгляд ее говорил: «Не я виновата в задержке, помощник у меня глуповат».

— Ну, отдохните, — ласково разрешил Обросим.

Переключка между ним и кобылой звучала совсем по-домашнему. Обросим беззаботно весел, на лице даже подмерзшие усы шевелились от оживления.

— Осип, ученая ты голова, скажи: отчего мне так легко? Дорога наша не простая, дохлая дорога, а меня песни подмывает петь.

— Гони, гони, — заторопил комсомолец, — отдохнули уже... Я тоже не грущу.

Обросим тронул пару.

— Тебе и не полагается грустить: молодежь в нынешней жизни — как под гору на салазках. А я: шаг шагул — и след полон пота, вздохнул — и клок волос выпал. Кажется мне, что я восемь тысяч годов прожил. Не знаешь, почему?

— В читальне, хватит вечеров, на говоримся.

— А я знаю! — похвалился бригадир. — Не ученый, а знаю. Два раза только себя так чуял: когда с фронта

бежал да как в артель писался. Теперь третий... — Он прогремел в самое ухо парню: — Леня была! Семьдесят семь ночей не спал— все думал, а на семьдесят восьмую вырвалась из меня нечистая сила и улетела. Теперь дорога моя ровная, до самой новой думы. Но, ходи, птицы-голуби!

Грачиха шарахнулась круто вправо.

— Не балуй! — осадил ее Обросим.

Кобыла упрямо мотнула головой и снова легла на правую оглоблю. Мужик сердито рванул вожжу. Не помогло. Он дал лошадям успокоиться, но, как только тронул вперед, коренная подалась в прежнюю сторону. Бригадир взял кнут, впервые полоснул ее по сытому заду. Она вздыбилась на месте. Обросим сразу изменился в лице. Ловя какой-то ускользящий мотив, растерянно перебирал вожжи, потерявшие для него и лошадей прежнее звучание. Седок чувствовал себя, как музыкант, внезапно утративший слух во время игры. Обросим нежно упрашивал, ругался... Старуха непреклонно утвердилась в непопняном решении. Малыш не участвовал в борьбе: подавался за коренной, когда та ворочала вправо, вместе с ней вздрагивал телом при ударах кнута.

Обросим выпустил вожжи, тоскливо спросил:

— Что ты будешь делать?

Осярка понял, что кураж и лихость у мужика наиграны. Не сгусток воли, а слепая обреченность толкнула его поехать; за промах свой, за ленцу выдумал, чудак, откупиться мученичеством; недаром раскидывал в правленьи перед колхозниками руки, точно предаваясь судилищу. Следующее обращение еще больше встревожило секретаря.

— Вот и приехали!

Около полозьев начал холмиться наметаемый снег. Остывая, подрагивали лошади.

— Всыпь ей до горячего! — посоветовал Осярка.

— Ну, раз нейдет, — пожаловался кучер и покорно добавил: — Так вот и гибнут.

Секретарь встал, за спиной у него взмыли огромными крыльями полы ту-

лупа. Искорки гнева тлеи в его глазах, он сдвинул плечо бригадира.

— Слушай! Ты брось христа обыгрывать. Словами шути, а дело делай! — Нечто от Ивана Андрейча жестко громынуло в его словах.

— Разве обратно попытать? — неуверенно предложил Обросим.

— Не смей! — обозлившись, прикрикнул Осярка. — Следи за вешкой, под уздцы поведи! — и единым махом выскочил из возка.

Через минуту от него донеслось.

— Гляди-ка сюда!

Обросим не успел еще подбежать к нему, а он уже окунулся без слов в омут метели, вправо, куда так настойчиво звала Грачиха. Возле нее и дальше, в сторону убежавшего Осярки, снег заметно ноздрился множеством круглых лунок, какие остаются в земле после выдернутого частокола.

Секретарь появился из пурги, закрытая прихваченное ухо, по-мальчишески в однодышку сообщил:

— След! Сгореть на этом месте — табун недавно прошел! Замести как следует не успело... Рискнем, что ли?

Обросим раздумывал одно только мгновенье, с вернувшейся бесшабашностью махнул рукой.

— Айда! Семь смертей не бывать...

Осярка сам схватил вожжи. Метель хлестала теперь в щек. Грачиха без напоминаний старательно месила снег, уверенно вела за собой Малыша.

Парень толкнул своего спутника.

— Слушай!

Сбоку, из снежной мглы и сумятицы, к ним долетел вопль гибнущего зверя, зовущего в последней надежде помощь на чужом для человека языке. Он слышнее возник снова, воющей струей высоко полился над голосами бурана.

— Господи, крест! — широко размахнулся бригадир на правое плечо.

— Это же собака будет! — определил секретарь. Кувыркнулся из возка, побежал, призывая: — Жук! Где ты, Жук?!

Черный, крутящийся комок вырвался из мутного кипятка, хрипло захлебываясь от счастья, скакнул на грудь, обо-

рвался — упал на бок. Осярка схватил его, прижал. Старый, маленький пес карабкался из рук, просился вперёд.

— Дядя Обросим, сюда!.. — в тот же миг секретарь кувыркнулся под обрыв, куда полчаса раньше слетел Лушка.

— Давай тулуп! — Откуда-то из преисподней услышал Толоконкин.

На дне оврага, за уступом, скупились телята. В самой гуще их, около приунывшей Резвухи, стоял на одном колене Осярка, придерживая сонную Лушкину голову. Потом вырвал тулуп и, широко расстелив его вверх шерстью, положил пастушонка; помня когда-то вычитанное из плаката, начал поднимать и опускать его руки.

— Это все пустяки, — сказал Обросим, вышибя из посуды пробку, — на-ка вот поважнее.

Секретарь растерзал на груди пастушонка одежду, сорвал онучи; захватывал полные горсти снега и, обильно поливая их водкой, сильно тер ему лицо, грудь, ноги, — до тех пор, пока не заструилась из-под ладоней горячая испарина.

— В горло, — вмешался Толоконкин.

Лушка поперхнулся и сморщился. Комсомолец далеко отбросил опустевшую бутылку.

— Что ты тут делаешь, малыш? — спросил бригадир, слезливо взирая на левую его щеку, что мертвенно отличалась от пылавшей правой.

— А вот, гоню, — слабо отвечал парнишка. — Там Резвуха отбилась... Догнал, что ли, ее Жук?

— Лушка! — изумился секретарь, — зачем ты, не щадя жизни, погнал? Почему не ждал нас на стану?

— Домой хочу.

Осярка опомнился, свирепо накинулся на Обросима:

— Заворачивай телят, христослав! Чего стоишь!

Комсомолец завернул пастуха в тулуп и, прижимая к груди драгоценную свою ношу, стал подниматься вверх, туда, где над головой его занималось ясное небо.

Толоконкин гнал телят, рассеянно бормоча:

— Дети не резон, хватит их, а вот учиться у них трудов стоит.

Обратно ехали молча. Резво рысили лошади. Еле успевали за ними продрогшие телята. Осярка правил. Обросим придерживал на Лушке тулупы, — он своим еще укрыл пастушонка. Когда замаячило в просветлевшей дали село, секретарь повернулся и нравоучительно произнес:

— Не с того конца ты начал лень свою ломать: иная жертва только землю унавозит, подумай-ка...

— Вас, чертей, надо, разумись, бегом догонять, — сумрачно ответил Обросим.

— Умереть успеешь, драться умей, — добавил секретарь.

Бригадир промолчал. Он думал.

Соляной бунт

Повма

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ¹⁾

7 „Сражение“ у Шапера

Кто видал,
Как вокруг да около
Коршун плавает
И, набрав высоту,
Крылья сложит,
Падает с клетотом,
Когти вытянув на лету.
Захлебнется дурная птица
Смертным криком,
Но отклик глух,
И над местом, где пал убийца,
Долго носится
Белый пух.

Увидали кочевники — нет путей:
Тыщи их,
Но нечем сразиться.
В ливне сабель,
Пик
И плетей
Казачи налегали
Лютей и лютей,
Дикошары, багроволицы,
Выпучив глаза
И губы скосив,
Ничего не видя
Перед собою.
Им запевала
Над пляской грив
Хрипящая труба разбоя.
Им запевала в уши кровь,
Сладкая пробегала
По спинам мурашка,

И мелькали в разбеге
То зубы,
То бровь,
То копыто,
То вострая шашка.
Недомчав в перехлестанном гике
(Гай-да!), разом
Спустили курки.
И передних взяли
На пики,
Как на играх
С трухой мешки.
Сабли заработали: куда ни махни —
Руки,
Головы,
Глотки и спины;
Сабли сменялись, — знали они,
Что сегодня —
Их именины.
Откормленные, розовые,
Еще с щенячьим
Рыльцем, казачата —
Я те дам! —
Рубили, от радости
Чуть не плача,
По черным, раскрытым,
Орущим ртам.
Меньшиков устал —
Глядя по усам —
Шашкой своей
Высекать огонь,
От крови
Красноногий сам,
И под ним
Краснобокий конь.
Он Устюжаниным крикнул: «Ишь,
Какая выдалась

¹⁾ См «Новый мир», кн 5. с. г

Работа, брат,
 Как ты здесь
 С киргизом наговорншь,
 Бьешь его
 По темени, —
 Не умирают!..»
 Устюжанины
 Резали наголо,
 Подбирали пиками
 То, что бегло.
 Федька Палый
 Видит: орет тряпье —
 Старуха у таратаек, —
 Слез с коня
 И неспеша пошел на нее,
 Весело пальцем к себе маня:
 — Байбача, отур,
 Встречай-ка нас,
 Да не бойся, старая!
 Подошел — и
 Саблей ее весело
 По скулам — раз!
 Выкупались скулы
 В черной крови...
 Старуха, пятясь, пошла, дрожа
 Развороченной,
 Мясистой губой,
 А Федька брови поднял: «Што жа,
 Байбача, што жа с тобой?»
 И вдруг завизжал,
 И ну ее, ну
 Клинком целовать
 Во всю длину.
 Выкатился глаз
 Старушечий грозен,
 Будто бы вспомнивший
 Вдруг о чем,
 И долго в тусклом,
 Смертном морозе
 Федькино лицо
 Танцовало в нем.
 Рядом со знатью,
 От злобы косые,
 Повисшие на
 Саблях косых,
 Рубили
 Сирые и босые
 Трижды сирых
 И трижды босых.
 И у них наделы
 Держались на том,
 И у них скотина
 Плодилась на том,
 И они не хотели

Своим хребтом, —
 А чужие хребты
 Искать кнутом.
 — Б-е-й!
 Григорий Босой было
 Над киргизской девкой
 Взмахнул клинком, —
 Прянула
 Вороная кобыла,
 Отнесла, одетая в мыло...
 Видит Григорий Босой: босиком
 Девка стоит,
 Вопить забыла...
 Лицо потемнело,
 Глаза слёпы,
 Жалобный, светлозубый оскал.
 Остановился Григорий:
 Где бы
 Он еще такую видал?
 Где он встречал
 Этот глаз поталый?
 Вспомнились
 Сенокос,
 Косарей частокол...
 И рядом с киргизской девкой встала
 Сестра его, подобравши подол,
 Говаривала:
 — Стомился Гришка, —
 Зазывала под стог
 Отдохнуть, присесть.
 Эта!
 Киргизская Настя!
 Ишь ты,
 Тоже, гляди, так и братья есть.
 — Бе-ей!
 Корнила Ильич вразброс
 Вымахал беркутом над лисой:
 — Чо замешкался, молокосос,
 Руби,
 Григорий
 Босой!
 Шашка зазвенела вяло,
 Зашаталась, — как подстреленный
 на бегу, —
 Руки опустив,
 Девка стояла...
 — Атаман?!..
 — Руби!
 — Не могу...
 Да Корнила Ильич
 Потемнел от крови,
 Ощетинился всей своей сединой,
 У переносицы
 Встретились брови,

Как две собаки перед грызней:
 — Руби, казак!
 — Атаман, нельзя...
 — В селезня,
 В родителей,
 В проб!
 Гольгтьба! Киргизам
 Попал в друзья!
 И раскроил, глазами грозя,
 Григорию плетью лоб
 (с а б л я!).
 Был атаман,
 И не был,
 Безнадельный,
 Хромой,
 Смел посметь...
 И упал атаман,
 И в ясное небо
 Перерезанной глоткой
 Стал смотреть.
 Не увидать больше
 Ни жены, ни дома...
 Ходит смерть козырем с плеча!
 Так довелось Григорию Босому
 Уходить Корнилу Ильича.
 У таратаек не шла расправа, —
 Летали стаи плетей,
 Бунтовщиков валяли на траву,
 Били до полусмерти, а те
 Только поднимали руки:
 — Не тронь!
 Но не упасет от убийц ладонь,
 И ходил разбой: кудаки в бока,
 Подмигивая глазом рябым,
 А кой-где
 Уже стлался сизый дым
 Костров и тонкий дым табака.
 И уже начинали шутки ходить,
 Кровью от них пахивало: «И-и,
 Я на него шашкой, стало быть,
 А он кулаками, братцы мои!»
 «У проторенной дорожки
 Закуривай козьи ножки»,
 «У рябого милую
 Отберу я силою»,
 «Есть у милой сторожа,
 Опречь острого ножа»,
 — Ну, какà, никакà песня,
 А лучше драки,
 Какà, никакà мила
 Лучше собаки:
 ... Пылают, светают
 На яру костры,
 Белы гуси

В воде плещутся.
 (Подпевалы:
 Загоняй гусей во двор.)
 Было у казака
 Три красы-сестры,
 Смирены растут:
 Ой, не натешатся!
 (Подпевалы:
 Береги, казак, сестер!)
 Ой, да смиренны растут...
 Тут же рядом,
 Свернув сапоги калачом,
 Мастерится ходок по загадам,
 Перемигиваясь с плечом:
 «Сто двадцать одеж,
 А поверху — плешь,
 Посоли да с'ешь» —
 Угадай-потешь:
 Чо тако?
 «Под зеленым гарусом
 Висит красным ярусом...» —
 Чо тако?
 Чо тако?
 Гармонь затряслась,
 Далеко-о
 Отдались ее лады-лады:
 «Росла у воды,
 Да ушла в сады». —
 Чо тако?
 «Смирены были,
 Ой, обманные...»
 Караванные курганы, дороги...
 Пахнет караванная
 Ночь зимой:
 Ой пурмой...
 А Корнила Ильич
 Лежит немой,
 Дырявой рогожей
 Закрывают ноги.
 Зарезанный,
 Ничему не рад,
 Царевой службы саженные мощи.
 Знамя царево
 Над ним полощет,
 На груди медали
 Тихо блестят.
 И, словно поп
 По церкви пустой,
 Ходит над ним месяц
 От тучи к туче...
 Так вот и лежит,
 Простясь с маятой,
 Усопший раб
 На телеге шатучей.

Так вот лежит!
 И, когда рассвет
 Лучища
 Вытянет по степи,
 Ты не раскроешь
 С треском
 Глаз своих, нет!
 Не расправишь
 Черствые кости.
 И такая будет
 Большая роса,
 И такой на заре
 Гусей перелет,
 И набьется ветер
 Тебе в волоса,
 И такое
 Россия
 Вдруг запоет...
 Что уж лучше
 И не вставать атаману,
 И такой полетит
 Широкий лист,
 И такого жизнь
 Напустит туману
 Утром рождений,
 Любви,
 Убийств!
 Так вот лежи!
 Слепошарый вояка,
 Ты — убивавший —
 Убит, убит,
 Ты не услышишь,
 Как утка закрикает
 И селезень
 Вслед за ней прошумит.
 Ты не услышишь,
 Как в теплом дыме
 Зари, сквозь холодок и теплынь,
 Друзья твои,
 С руками такими ж,
 Девочек киргизских
 Потащат в полынь.

Ты лежишь,
 Ни о чем не споря,
 Ничего не желая
 Больше знать.
 И если
 На карачках
 Киргизское горе
 Подползет
 И в глаза тебе
 Будет плевать,
 Ты смолчишь,

Не поднимешь
 Мертвой руки,
 Заслуживший
 Награду такую сам,
 И медленно будут
 Ползти плевки
 От мертвых скул
 К сивым усам.
 И задолго до того,
 Как в каменной
 Церкви
 Поплывет по рукам
 Безвесельный гроб
 И, от натуги
 Лицо исковеркав,
 Зауспокойную
 Грянет поп,
 И дюжинами
 Волчьих свечи
 Зажгутся
 Возле христовых ног,
 И слезы уронит
 Человечьи
 Мать твою
 В припасенный платок, —
 Тебе зажжена
 Панихида волчья,
 Сеявшему десятины мук...
 Мир
 Останку
 Царевой сволочи,
 Мир
 Праху
 Твоему!

Спеленали веревками
 Гришу Босого,
 На телеге сидит он,
 Супя глаз, —
 Так сидят
 На привязи совы
 Ярмарочные,
 Вывезенные напоказ.
 Спеленали веревкой
 Босого Гришу,
 На телеге сидит он,
 Супя взгляд, —
 Так на ярмарках
 В Заиртышьи
 На побитых ворах
 Шапки сидят.
 Смотри, казак!
 Степь широка-а-а,
 Жестока степь,

Ой, жестока-а-а!
 Далеко-о-о,
 Возле травяного песка,
 От станиц в леса
 Уходит река-а-а.
 Далеко у реки
 Станицы птички,
 Солнце через реку
 Ходит в брод.
 Сынка дожидается
 Матка с отличьем,
 А сын к ней
 С петлей на шее придет,
 И хворобой
 Выщипанные брови,
 Отец, нахмуря,
 В глаза поглядит,
 И целый ушат
 Потемневшей крови
 Плеснет ему
 В дряхлые щеки стыд.
 Ой, стыд,
 Ой, стыд Босого породе!
 С головы до ног
 Огадил отца.
 .. А возле телеги
 Меньшиковы ходят,
 По-волчьи смеются,
 Ку-ра-жа-т-ся.
 — Чо говорить!
 Гольгтыбу гольгтыба
 За версту видит.
 Этот не первый...
 Чо с ним
 Канителиться, пра,
 Взять ба,
 Да и прирубить
 Босяцкую стерву.
 И разворачивали кисеты,
 Мимо колючий пустив дымок.
 Ветер же
 Будто нарочно
 Гретый,
 Легкий и махонький,
 Как мотылек.

К вечеру
 Потянулись домой,
 Но позади
 Нету добычи.
 Кто проживится
 Киргизской сумой?
 Хоть пограбить —
 И славный обы-чай!

Ленты повыплетались из грив,
 Цепкие
 Расползлись саксаулы,
 Шли впереди,
 Башку заломив,
 Меньшиков
 И с ним есаулы.
 Вслед за ними —
 Сам атаман,
 На кибитке,
 С глоткой черной,
 Сотен
 Раскинутый караван,
 Черствых копыт
 Перестук упорный...
 А позади
 То шагом,
 А то бегом,
 Вэнзуданный
 Хмурыми матюгами,
 Гришка тек за кобыльим хвостом,
 Часто всхлипывая сапогами.

8 Гульбище

Подымайся, песня, над судьбой,
 Над убойной
 Треснувшей
 Снедью,
 Над тяжелой
 Колокольной медью
 Ты глотаешь
 Воздух голубой.
 И пускай
 Деревья бьются
 В стекла,
 Пляшет в бочках
 Горькое вино,
 Бычьей кровью
 Празднество намокло, —
 Звездами
 Хмель тебе дано.
 И пускай
 Гуляет по осокам
 Рыба стрельма,
 Птица огнестрел —
 Ты, живая,
 В доме многооком
 Радуйся,
 Как я тебе велел.
 Есть в лесах
 Несметный
 Цвет ножовый,
 А в степях

Растет прострел-трава
 И татарочник круглоголовый...
 Смейся,
 Радуйся,
 Что ты жива.
 Если ж растеряешь
 Рыбьи перья
 И солжешь,
 Теряя перья, ты, —
 Мертвые
 Уткнутся мордой
 Звери,
 Запах потеряв,
 Умрут цветы.

— Где ты был,
 Табашный хахаль?
 Не видала
 Столько дней
 Из ружья
 По уткам
 Ахал
 Иль стерег
 В лугах
 Коней?
 У коня
 Копыта сбиты,
 Пыль
 На сбруи серебре,
 Жемчуг,
 Сеянный сквозь сито,
 На его горит
 Бедре.
 — Не ласкай
 Рукой ослаблой
 И платочком
 Не махай.
 Я в походе
 Острой саблей
 Сек киргизский
 Малахай!
 (А киргизы,
 Прежде чем
 Повалиться,
 Пошатывались
 В последний раз,
 И выкатывались
 На лицах
 Голубые орехи глаз.)

Сек киргизов
 Под Джатаком,
 А когда
 Мы шли назад,
 Ветер — битая собака —

Нашим песням
 Выл не в лад.
 (Песня!
 Сердце скреби
 Когтями.
 А киргизы,
 Когда он их сек,
 Все садились
 С черными ртами
 Умирать
 На желтый песок.)

Сначала,
 Наклонив
 Рогатые лбы,
 Пошли быки,
 И пошли дубы.
 Потом пошли
 Осетры на блюдах,
 Белопузая нельма,
 Язь
 И хранившаяся
 Под спудом
 Перемытая медом
 Сласть.
 Светлый жир баранины,
 Мясо
 Розоватых
 Сдобных хлебов,
 Хмеля скопленные запасы
 В подземельях погребов.
 Пива выкипень ледяная,
 Трупы пухлых
 Грибов в тесках,
 Кожа
 Скрученная,
 Сквозная,
 Будто грамога, на окороках.
 Ладен праздник
 Коровьими лбами
 И румянцами
 Бабьих щек!
 Кошки с блещущими зубами!
 Возле рыбьих
 Урчат кишек.
 И собаки,
 За день об'евшись,
 Языками,
 Словно морковь,
 Возле коновязей
 Почерневших
 Лижут весело
 Бычью кровь.
 Лишь за этой

Едой дремучей
 Люди двинулись —
 Туча-тучей.
 Сарафанные карусели,
 Ситец,
 Бархат
 И чесуча —
 Бабы, за руки взявшись,
 Пели
 И приплясывали, свища,
 Красотой бесстыжей
 Красивы,
 Пьяны праздничною кутерьмой,
 Разукрашенные на диво
 Рыжей охроу
 И сурьмой.

(А казаки-мужья,
 В походе том
 Азиаткам
 Задрав подол,
 Их отпробовали
 И с хохотом
 Между ног
 Забивали кол.)

Вслед за бабами
 Парни,
 Девки
 В лентах,
 В гарусе
 Для красы.
 Сто гармоний,
 Время запевки!

И, поглаживая усы,

Позади их
 Народ старшинный,
 Все фамилии и им на:
 Хвастовство,
 Тяжба,
 Матершина,
 Володетельность,
 Седина.
 Им почет, почет,
 Для них мед течет.
 О них слава
 Ходит,
 Что смелы
 В походе,
 Им все сбитни
 Сбиты,
 Ворота
 Раскрыты,
 Сыновья их тешатся на дворах,

Дочери качелей пугаются: «ах!»
 А качели
 Г-у-у-дят,
 Как парус в бурю,
 Ветер щеки хлещет —
 Острей ножа, —
 Парень налегает,
 Глазища
 Щуря,
 Девка налегает,
 Во-всю визжа.
 И саженная плаха
 Нараспев
 Начинает зыбать,
 Кренясь неловко.
 Парень зубы скалит,
 Как волк, присев,
 Девка, словно ангел,
 Висит на веревках.
 И — раз!
 И веревочная
 Тетива
 Выпустила стрелы
 С пением
 Длинным.
 Девка уносится
 Вверх чуть жива
 И летит оттуда
 С хвостом павлиньим.
 И — два!
 И, птичий
 Вытянув клюв,
 Ноги кривые
 Расставив шире,
 Парень падает,
 Неба глотнув,
 Крылья локтей
 Над собой топыря.
 Мир под ними
 Синь и глубок,
 Остановиться
 Оба не в силе,
 Ноздри раздулись,
 Волос измок,
 И зрочки
 Глаза застелили!

Так от качелей
 К реке и рощам,
 От реки
 К церквам
 Празднество шло.
 Так оно
 Крепостную площадь

Хмелем и радугой
 Подожгло.
 И казалось,
 Что на Поречьи
 Нет пудовых
 Литых замков,
 Нет глухой
 Тоски человечьей,
 И казалось,
 Что бабы — свечи
 С пламенем
 Разноцветных платков.
 И казалось —
 Облачной тенью
 Над голосами
 И пылью дорог,
 Чуждый раздумию
 И сомнению,
 Грозно склонился
 Казацкий бог.
 Вот он — от праздника
 И излишка
 Слова не может сказать ладом,
 И перекачивается отрыжка, —
 Тысячепудовый
 Сытый гром.
 Ходят его чубатые дети
 Хлестко под кровом
 Его голубым.
 Он разрешает — гроз володетель —
 Кровь и вино
 Детям своим!

«Казаки!
 (Под Ходоненовым
 Пляшет конь.)
 Враг отечества
 И Атбасара
 Вами разбит, казаки.
 (Г а р м о н ь.)
 В бигве,
 Возле Шаперого Яра,
 Доблестно...
 Пал...
 Атаман...
 Ярков!..»
 В землю ударили
 Всплески подков.
 И пошли круги
 По толпе,
 Будто бы ветер
 Подрезал шапки.

Скоро и вечер
 Подоспел.
 Он разобрал
 Людей по охапке,
 Он их нес
 В дома и сады,
 В зарево
 Праздничного бессонья...
 Улицы перекликались,
 Словно лады
 Заночевавшей в кустах
 Гармони.
 От ворот к воротам ходил
 Старый хмель,
 Стучался нетвердо,
 И если женщин
 Не находил,
 То гладил в хлевах
 Коровьи морды.
 Он потерял
 Кисег с табаком,
 Фуражку с кокардой,
 Как оглашенный,
 Сопровождаем
 Тенью саженной
 И не задумываясь
 Ни о ком.
 Шел желтоглазый,
 Чумной,
 Казенный.
 Он плевать хотел на дела
 Людей и ветров,
 Шумящих окрест.
 На то, что церковь
 Стоит бела
 И над ней —
 Золотой
 Сияет крест,
 На то, что
 Ему бы надо зваться
 Хозяином...
 Воздух пах
 Кожей девической,
 Задыхаться
 Девки начали
 На сеновалах — впотьмах.
 И чудились
 Их ноги босые,
 Тихий смешок перед концом,
 И ухажеров
 Брови косые,
 Губы, сдобренные винцом.
 Старому хмелю
 Их не надо-о-о

Белогрудых цапать, —
 Ему теперь
 Осталась
 Только одна улада:
 Ввалиться — ага! —
 В закрытую дверь,
 Поднять хозяина,
 Чтобы он сам,
 От бабы отхлынув,
 Потный, голый,
 Поднес еще раз
 К измокшим усам
 С питьем развеселым
 Ковшик тяжелый.
 Чтоб под усталый
 Собачий лай,
 Рясу
 Располосовав
 О заплоты,
 Пузом осел
 Отец Миколай
 И захлебнулся
 Парной блевотой:
 — Го-о-споди,
 (Два жирных
 Пальца в рот)
 В-в-ерую в тя...
 (До самой гортани.)

Две ноги
 И на них живот
 И золотого креста блистанье.

И из соседнего
 Окна
 То ли свет,
 То ли горсть зерна,
 И ходят
 В окне том, топоча
 По полу
 Каблуками литыми,
 Над свечками,
 Что пошире меча,
 Танцоры,
 Хватившие первача,
 Обросшие
 Махорочным дымом.
 И бабы,
 Руки сломив в локотке,
 Пльвут в окне — тяжелые павы.
 Там хвост пегушинный
 На половике,
 Там полные рты
 И горсти забавы.

А ну еще!
 Еще и еще!
 Щелканье. Свист.
 — Дорого-мило!
 А ну еще,
 Еще
 Вперещелк,
 Чтоб как волной
 Выносило!
 А ну еще
 Напоследок
 Взмахни
 Гульбище подолом сгопудовым,
 Осени,
 Погасившей огни,
 Черным деревьям,
 Лунам багровым!
 А ну!
 Еще!
 (Киргизы спят
 В ковчеге, в худом,
 Сплошь побиты.)
 Еще и еще!
 Сто раз под ряд
 Ноги в пол стучат,
 Как копыта.

И только где-то
 У Анфисы-вдовы,
 На печке скорчившись,
 Сын юродивый,
 Качая
 Рыжий кочан головы,
 С ночью шепчется:
 — Диво...
 Ом, как большой
 Черноротый птенчик,
 Просит жратвы
 И, склонившись вниз,
 Слушает д-о-о-лго
 Божий бубенчик,
 Который тут же
 Рядом повис.

9 Арсений Деров

Что же Деров, —
 Он других поране
 Край этот хлебный
 Облюбовал,
 И недаром
 Его поманивал
 Зеленоголовый
 Иртышский вал.

На Урале купечество
 Крепко встало
 Над угрюмой,
 Хребтовою крутизной,
 Как пожары и грозы,
 Шли капиталы,
 Подминая Урал,
 Горбатый, лесной.
 Что ж,
 Арсений Деров
 Сватался к дочке
 Воротилы яицкого —
 Не пошла, —
 Золотом у нее
 Оттянуты мочки,
 И приданого
 Полподола.
 Туго в ту пору
 К Дерову шли, —
 Хоть и радел,
 И забыл про отдых, —
 Звонкие,
 Оспенные рубли
 И ассигнации
 В райских разводах.
 Он забыл, забыл
 Про девический смех,
 Про клубы
 Багровой, душистой сирени,
 И ему не осталось
 В мире утех
 Никаких, кроме тех! На поту!
 Сбережений!
 Он держал их,
 Как держат камень в руке,
 Как рогатину
 Держат перед берлогой,
 И ему уже
 Виделась вдалеке
 Фирма,
 Посланная от бога!
 Затаился и ждал
 Смекала, лобан,
 И когда заскрипели
 Счастья ступеньки,
 Он одернул сюртук
 И пошел ва-банк,
 На иртышские волны
 Поставив деньги.
 И его понесла
 В медвежьих шкурах
 Трактом
 От заработков и знакомств
 Пара

Заиндевелых,
 Каурых,
 Собственных,
 Через Тюмень и на Омск.
 В самую глушь
 Он себя запрягал,
 Тысячный
 Накрутил оборот,
 И для него, Дерова,
 Курбатов
 По Иртышу пустил пароход.
 И «Святой Николай»
 С «Товар-Паром»
 Дьяконским «внемли»
 Ширили рев,
 Славил
 Ярмаркам и базарам:
 «Славься вовек,
 Арсений Деров!»
 В сотни тысяч
 Выросли тыщи,
 Ставил ва-банк
 И убил, с того ль
 Был он, Арсенька,
 Смолоду нищим,
 Встал на соли —
 Соляной король
 Встал на соли
 На Иртыше,
 На Ишиме,
 Грабил ладом,
 Строил ладом,
 Был возвеличен
 Между другими
 И в Атбасаре
 Вымахал дом.
 Дом!
 Домище!
 О трех половинах,
 Темный, тяжелый в крестцах, —
 Ничего!
 Там на взбитых горой
 Перилах
 Счастье погашивало его
 Счастье его —
 От горькой земли,
 От соляного
 Того приплода,
 От Улькунали,
 Кишкинтайали.
 Пять рублей
 На голову шли,
 Тыщи несла
 Голова доходу.

И уже
 Под Урлютюпом
 Румяные слепцы
 Пели ему в честь
 С прибадами сказы
 Про завоеванные солонцы,
 Про его, короля, лабазы:
 «Слава, слава накопителю
 Арсению Ивановичу!»
 И губернатор Готтенбах
 Сказал про него
 (Так огласили):
 — Держится на таких головах,
 Господи, благослови, Россия.

После гульбища
 Дождь ударил,
 Расстелил по небу
 Мех заячий.
 Пасмурно стало
 В Атбасаре —
 Целое утро
 Дождь хозяйничал,
 Ветреный, долгий.
 В самую рань,
 В зорю галочью,
 Красную до крови,
 Метла шатались
 У темных бань,
 Бились в окна
 Березы мокрые.
 У Дерова же, золотел,
 В сумеречную хмарь
 На столе
 Самовар гудел,
 Всем самоварам
 Сущим —
 Царь.

На ночь вчерась
 После праздника
 Пьяные сказочники
 Привели
 Сказку к нему
 И, с вымыслом
 Дразнясь,
 Дерова тешили,
 Как могли:
 «...В городе Атбасаре
 Кобылица
 Поймана на аркан,
 А на той кобылице парень
 Целый день
 Торчит на базаре —
 То ли русский, то ли цыган.

Попона не вышита, бедна,
 Заломана папаха,
 Рожа красная без вина,
 Сатинетовая рубаха.
 По-русски матерится,
 По-цыгански торгуется,
 А под ним кобылица
 Пляшет, волнуется
 В городе Атбасаре
 Бабы ладные на базаре,
 Румяные, белые,
 Словно дыни спелые,
 Со сладкой утробой,
 От любви потяжливые.
 А кто их отпробовает?
 А кто их обхаживает?
 А их отпробовают мужья,
 А их обхаживают друзья!
 В городе Атбасаре
 Продают гусей на базаре,
 А те, что не проданы,
 В траве за огородами
 В крепки крылья хлопают,
 Бойкой ножкой топаят,
 Собралися и кричат:
 Замели наших ребят!»
 Оборвал хозяин,
 Послал спать
 На двор, в саманки, —
 Пустомель,
 Долго потянулся
 И позвал: «Мать,
 Дремлется что-то,
 Стели постель».
 А на самом рассвете
 В дожде косом
 Пожаловали гости —
 Станичная сила:
 Меньшиков,
 Усы разводя,
 Как сом,
 Ярковы
 И прочие воротилы.
 И супруга Дерова,
 Олимпиада,
 Прислуг шугнула,
 Серьгой бренча,
 Гостей улыбкой встретив как надо
 Всех оделила
 Глаз прохладой
 И заварила
 Фамильный чай.
 Вынесла в вазах витых варенье
 Самых отборных,

Крупных клубник,
Пахшее лесом,
Овражной тенью...

Ягодной кровью
Цвел половик,
В старых шкафах
Грелась посуда,
На сундуках
Догорала медь,
Чинно она
Рассадила блюда
И приказала им
Смирно сидеть.
Кушанья слушались.
Только гусь
Тужился, пух
И — треснул от жира.
А за окном
Мир
Долила грусть,
Дождь в деревьях
Поплескивал сырый.
Так начинался день среда.
И не спроста
По скатерти белой
Хозяйка (видно, добытый
Со льда)
Плыть пустила
Графин запотелый.
На Олимпиаде
Душегрейка легка,
Бархат вишенный,
Оторок куний,
Буфы шелковые
До ушка,
Вокруг бедер
Порхают тюник.
И под тюником
Охают бедра.
Ходит плавно
Дерова жена,
Будто счастьем
Полные ведра
Не спеша
Проносит она.
Будто свечи
Жаркие тлятся,
Изнутри освещая плоть,
И соски, сахарясь, томятся,
Шелк нагретый
Боясь проколоть.
И глаза, от истом
Обуглясь,

Чуть не спят...
Но руки не спят,
И застегнут
На сотню пуговиц
Этот душный,
Телесный клад.
Ей бы в горесть
Тебе, раскол,
Жить с дитем в руках
На иконе.
Села. Ласковая.
Локоть на стол.
И щекой легла
На ладонь.

ОЛИМПИАДА. Сонный день. Осень. .

МЕНЬШИКОВ. О-осень.

ОЛИМПИАДА. Афанасий Степаныч,
Пирога-а.

МЕНЬШИКОВ. Можно.

ОЛИМПИАДА. Рюмку с холода.

МЕНЬШИКОВ. Скосим.

ОЛИМПИАДА. Приятная ли?

МЕНЬШИКОВ. Ага.

ОЛИМПИАДА. Гости, потчевайтесь
ЕСАУЛЫ. Что жа,

Что жа!

МЕНЬШИКОВ. Ну и пирог,
Ну и пирог,
Ну и жена у тебя —
Гладкокожая,
Арсений Иваныч, гу-
стой медок!

ДЕРОВ.

Иш ты...

Ты на бабу не зарься,
Баба.—
Полный туяс греха,
В бабе сквозняк, ата-
маны.

ОЛИМПИАДА. Арся!

Х-хо!

ЕСАУЛЫ. Ха!

Х-ха!

ДЕРОВ.

Баба —

Что дом,
Щелистый всюду,
Ночью ж она
Глазастей совы,
Только доверься
Бабьему блюду,
Была голова —
И нет головы.

ОЛИМПИАДА. Будто...

ДЕРОВ.

Пример-от этому бли-
зок,

Слышал я,
 Может, и не беда —
 Падким сделалось
 На киргизах
 Наше казачество, оспо-
 да!

Слышно,
 Из-за этого,
 Из-за товара
 Голову
 Обронил атаман.
 (За версту, не более,
 От Атбасара
 Гром хромал — степей
 Тамерлан.

Божьи горсти
 Дождя летели,
 Падали тучи
 Вниз лицом.)
 ДЕРОВ. Поговорим, казаки,
 О деле —
 О Григории-свет Бо-
 сом.

МЕНЬШИКОВ. Босые?
 Разве это порода?
 ЯРКОВ. Выщипы!
 ТЫЧИНИН. Кошмы!
 ЕСАУЛЫ. Безродные!

МЕНЬШИКОВ. Сброд!
 Сорный народ,
 ЕСАУЛЫ. Беспамятный...
 Сроду!

МЕНЬШИКОВ. Сроду беспамятный!
 ДЕРОВ. Со-орный народ...
 Седни одна голова

Скатилась,
 Завтра остатные
 Береги.
 То ли не щастье
 Считать за милость,
 Если да вольницу
 Да в багоги!
 Как яйцо облупят,
 Только взяться!
 Пойдут с топорами,
 Пойдут с косой,
 Будут киргизы
 Вольницей зваться,
 А государнтъ —
 Гришка Босой.
 Вот-те щастье!
 Дрянъ-дело, дрянъ.
 На вилы подымут,
 Петлей удушат.

Под бок пустили
 Гостить Рязань,
 Самару и Пермь — со-
 ленные уши.

Киргизам резню бы!
 Резню бы!

ОЛИМПИАДА. У-ужас...
 ДЕРОВ. Народ-от нежалостлив,
 Бит
 И дик.

Подумают, встанут
 И, понатужась,
 Возьмут казаков
 За самый кадык
 МЕНЬШИКОВ. Не бывать!

ДЕРОВ. Берегись, сосед.
 МЕНЬШИКОВ. Не бывать!
 ДЕРОВ. А вдруг да будет,
 А вдруг вас, допро-
 щиков,

На ответ?
 А вдруг вас
 Киргиз на пику
 Добудет?
 И пойдут, Афанасий
 Меньшиков,

Твои кони
 Ог крепких загонов,
 Пылью пыля,
 Разномастные,
 С золотом на попоне .
 Чьи здесь земли?

ЕСАУЛЫ. Наша земля!
 Наша земля!
 Наша, наша!
 МЕНЬШИКОВ. Если надо, то от-
 стоим.

Саблями
 Всю, степную, вспа-
 шем,

Пиками выбороним!
 Дело хочу говорить!

ЕСАУЛЫ. Дело!

Дело!

МЕНЬШИКОВ. Ты, Арсений Иванович,
 Шибко прав.

Мы порешили,
 Что время пришло

Наш,
 Нутряной,
 Показывать нрав.

Мы не робки —
 Четырежды в силе —
 Вожжи

- Намотаны на руках.
Мы промежду собой
Порешили
Кончить Босого
Босым на страхе!
- ОЛИМПИАДА. Ах!
ДЕРОВ. Без суда?
МЕНЬШИКОВ. Станицей всей!
Всем казачеством,
Всем есаульством!
(Ой, Деров,
Сиди, не сутулься,
Иль тяжело
Голове твоей?
Ходят глаза,
Как рыбы в воде,
Ходят руки по столу,
Ходят губы,
Смех стекает по бо-
(роде.)
- ДЕРОВ. Ну бы прикончили
Гришку, ну бы. .
- МЕНЬШИКОВ. И конец!
ДЕРОВ. А власть и закон?
МЕНЬШИКОВ. Властно иль нет,
Прикончить заразу?
ДЕРОВ. Пойман
И связан вами,
Но он
Все же подлежит
Суду и приказу.
Суд наш правый
С ним решит.
Суд решит,
И, где бы он ни был,
Будет Босой
Цепями пришит
К нарам в тюрьме
Иль пущен на небо.
ЯРКОВ. Нам бы кончить. .
ДЕРОВ. За-ла-ди-ли!
А, по-моему, все ж
Вот лучше как:
Ты его, Меньшиков,
На баржу и пошли
В Омск,
В кандалах,
Погостить голубчика.
ТЫЧИНИН. Кончить бы. .
ЕСАУЛЫ. Кончить!
Кончить!
- ДЕРОВ. И-и-их,
Поберегите
Петлю и плети,
У нас в России
Кончает таких
Сам. Государь
Александр Третий.
Мы с ним
Имеем думу одну,
В его соседстве
Мы не ослабли,
Мы охраняем
Эту страну —
Закон охраняет наши
сабли.
- МЕНЬШИКОВ. Ладно, закон,
Он, конечно, ладно...
Пошто ж он пройдет
Мимо наших рук?
Чтобы другим
Бунтовать неповадно,
Надо ж Босому
Сделать каюк.
С грамотой!
Всей станицей!
ДЕРОВ. Смотри.
МЕНЬШИКОВ. Мы всей управой
Дело то сладили,
Чтобы на завтра же,
До зари,
Гришка погуливал
На перекладине.
ДЕРОВ. Дело ваше!
МЕНЬШИКОВ. Мы в ответе!
(Дождь по лывам хле-
стал вразброс,
В окна
Рогатые лезли ветви,
Угли сыпались на под-
нос.)
- МЕНЬШИКОВ. Что ж,
Арсений Иванович, кон-
чать?
- ЯРКОВ. Нам бы..
- ОЛИМПИАДА. Пей, остывает чай-то,
Весь измотался...
- ДЕРОВ. Спасибо, мать.
- МЕНЬШИКОВ. Кончить, что ли, Ива-
ныч?
- ДЕРОВ. Кончайте!..

Человек меняет кожу

Роман

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

Книга вторая

(Продолжение ¹)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шесть экскаваторов скребли буржестое дно канала. Меж крупных отвалов текла ночь сухим паводком электрического света. Затрепыхал свисток, и экскаваторы, послушно повернув головы, застыли в напряженном ожидании.

Кларк, скользя по камням, сбежал вниз:

— Ну, что есть? Тут тоже скала?

Андрей Савельевич поднял большой осколок породы, отколушнул кусочек ногтем, растер в пальцах и попробовал на язык:

— Конгломерат. На вкус — в роде как глина, а начнешь копать — камень. Экскаватор ее не возьмет, только ковши изуродуем. Придется рвать.

— А сколько тут такой грунт?

— Вплоть до семнадцатого пикета. Как выберут 9—10 метров, так кончается галька и начинается вот эта, извините за выражение, дрянь.

— Как это есть возможно? В плане стоит галька. Весь план построен на выемку экскаваторами. Если всюду конгломерат, — весь план к черту. Тут геологически разведки кто-нибудь делал?

Андрей Савельевич сочувственно покачал головой:

— Знаете, как у нас все: торопись! торопись! Сегодня начал класть фунда-

мент, завтра покрывай крышей. Вот и поторопились. Посверлили в двух-трех местах: галька и галька... А теперь, по-ди, за них расхлебывай!

— Торопись не имеет отношения. Надо торопиться и хорошо делает. Темпы и качество, да! Без темпы и без качество нет социализм.

Андрей Савельевич посмотрел на американца обалделыми глазами и ничего не ответил.

— Возьмите с каждого пикет в разные места кусок конгломерата и дайте в лабораторию. Завтра четыре часа чтобы был анализ. Сейчас перевести Менк VI на тринадцатый пикет и Бьюсайрус 70 на девятый. Попробуем там.

На рассвете, докопавшись до скалы, встало двенадцать экскаваторов.

Выбираясь из канала, Кларк переживал невразумительную кашу из русско-английских проклятий. Он присел на камень, настроил короткий рапорт главному инженеру и послал его с нарочным на второй участок. Все управление строительством перешло туда после окончания дождей. Отправив посыльного, Кларк зашагал в городок. Городок подкатил уже вплотную к головному сооружению и, захлестнув пустыри, разбурлся вдоль реки длинной отарой баков.

На головном сооружении размеренно стучали бетономешалки, возможно, выстукивали цифры каких-то новых все-союзных рекордов. Кларк устало провёл

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 5, 6 и 7—8 с. г.

рукой по глазам. Где-то, на кухне, сбивают утренний гоголь-моголь. Серый гоголь-моголь, который вольют в горло магистрального канала. Головное сооружение приближается к концу. А выемка? Он нагнулся над загородившим дорогу ручьем и освежил лицо водой. Река за сбывом шумела неугомонно, как при-мус. Кларк так привык к ее шуму, что перестал его замечать. И сейчас, услышав его в хрупкой утренней тишине, не сразу сообразил, что это такое.

Городок медленно просыпался. На пороге барачков появлялись мужчины в цветных майках. Они тут же справляли свои мелкие надобности, другие споласкивали сон ведром студеной воды.

«Почему не устроят здесь человеческих писсуаров? При такой близости реки ничего бы не стоило провести канализацию. Отсутствие элементарных культурных потребностей. Эти камышевые коллективные уборные можно бы показывать в музее средневековых ужасов».

Взмучив прозрачную голубизну воздуха, мимо продребезжал грузовик.

Новый барак ИТР, куда переселился из местечка Кларк, стоял на отлете, в ближайшем соседстве с рекой. Кларк толкнул рукою дверь.

— Это ты, Джим?

— Я, Мэри. Я тебя разбудил?

— Ты только сейчас вернулся? — Полозова, жмурия глаза, приглаживала взъерошенные волосы.

— Да, вся ночь — одни сплошные неприятности.

— Что-нибудь случилось? — спросила Полозова по-английски.

— На глубине девяти метров вместо гальки оказался конгломерат. Придется рвать.

— И много?

— По приблизительным подсчетам не меньше семидесяти тысяч кубометров.

— Что ты говоришь! Но ведь это очень задержит работу!

— Минимум на три месяца.

— Как же это? Неужели никто не знал об этом раньше?

— Я вот тоже спрашиваю. На основании проведенных разведок, по плану, на всем этом отрезке значится галька.

— Подожди, я сейчас вскипячу чай... Ну, и что же будет?

— Посмотрим. Послал рапорт Киршу. Пусть он решает. Придется срочно переоборудовать всю трассу работ.

Он взял со стола белый лист и, облокотившись на стол, рассыпал по бумаге косые вереницы цифр.

— Садись, попей со мной чаю. Ты очень расстроен?

— Радоваться нечему, к сроку не закончим.

— Ну, не надо сразу сдавать позиций. Может быть, еще найдется какой-нибудь выход. Подбросят побольше рабочих...

— Механизмов нет. Наши экскаваторы для этого грунта не годятся.

Она погладила его руку.

— Я очень рада, что ты так глубоко, по-настоящему, болеешь за строительство. Ты стал уже совсем советский инженер: даже по три дня не брешься.

Он смущенно провел ладонью по подбородку.

— Извини, Мэри, сейчас побреюсь. Это не по-советски, это просто неряшливо. Мурри говорит, что наши американские солдаты даже в окопах, между двумя атаками, находили время побриться.

— «Наши американские солдаты»? Это те, которые потрошили бошей?

— Не лови меня на слове. «Наши» в смысле государственной принадлежности.

— Не поправляйся, а то запутаешься еще больше... Слушай, Джим, у меня есть для тебя две новости: хорошая и печальная. Вчера весь день тебя не видела, не могла сообщить.

— Какая ж это печальная новость?

— Почему не спрашиваешь сначала про хорошую? Ввели меня в бюро комсомольского комитета. Ты не рад?

— Рад. А какая же печальная?

— Перебрасывают меня на второй участок. Придется нам на некоторое время раз'ехаться, возможно, до конца строительства.

— Кто ж это тебя перебрасывает и почему?

— Комсомольский комитет. У Мурри уехал переводчик. Выписывать нового нет уже смысла: пока приедет, пройдет

два месяца. Нет никого под рукой, кроме меня. Это одно, не главное. А главное: назначили меня секретарем комсомольской ячейки второго участка. Подумай только, какая большая, интересная работа!

— Я вижу, ты очень рада.

— Мне немножко грустно, что не будем жить вместе, но самой работе очень радуюсь. Ты не понимаешь, какое это большое доверие со стороны комсомольской организации. Ячейка — сто двадцать человек. Я даже боюсь, справлюсь ли с такой большой работой.

— И ты думаешь серьезно туда ехать? Переводчицей к Мурри?

— То-есть как, думаю ли ехать? Я же тебе говорю, что я уже назначена. Сегодня еду. Ты недоволен? Ну, Джим, не надо хмуриться. Будь умным. Это же совсем близко, всего двадцать километров. Можем по меньшей мере раз в декаду навещать друг друга, а то и чаще. Ведь и сейчас по целым дням мы не видимся. Почему ты не хочешь понять, что для меня это очень большая и ответственная работа, которую мне поручают в первый раз и с которой я должна справиться во что бы то ни стало. Ну, Джим!..

— Я не спорю, что роль постоянного адъютанта Мурри для молодой женщины — очень интересная работа. Но я считаю, что для моей жены это работа неинтересная и неподходящая.

— Джим! Ну что это такое! Ревность? Как тебе не стыдно! Неужели ты серьезно недоволен?

— Я не недоволен, а я категорически против.

— Но почему же? Потому, что мы не будем вместе, или потому, что я буду работать с Мурри?

— И по тому, и по другому. Я считаю, что Мурри имел столько же времени научиться говорить по-русски, сколько и я. А если ему не хотелось, то это — не основание, чтобы моя жена покидала мой дом и служила у него переводчицей.

— «Моя жена, мой дом, наши американские солдаты», — из тебя помаленьку вылезает весь твой старый лексикон. Неприятно слушать. Ну, Джимка!

Не глупи! Какой хвостун! Он мог выучить русский язык, а Мурри не хотелось! Во-первых, положи руку на сердце и скажи: выучился ли бы ты так быстро по-русски, если бы не закрутил со мной романа? Да к тому же у тебя было достаточно много времени, когда ты лежал в больнице. А во-вторых, кто же может заставить Мурри учиться по-русски, если ему, допустим, не хочется? А переводчика строительство ему дать обязано. Без переводчика он работать не может и даром будет получать деньги. Весь вопрос: нужен Мурри строительству или не нужен? Ты сам хорошо знаешь, что нужен, следовательно надо поставить его в такие условия, чтобы он мог дать строительству возможно больше. Роль переводчика Мурри, даже для «твоей жены», как ты изволишь выразаться, не содержит ничего унижительного или несерьезного. Это такой же участок строительства, как любой другой.

— Хорошо, если строительство обязано предоставить переводчика Мурри, в такой же степени оно обязано предоставить его и мне. Я такой же американец, как и он.

— Вчера ты еще обижался, когда тебе говорили, что ты такой же американец, как все. Кто это говорил Синицыну: «я не американски, я советски»? А потом ты, миленький Джим, говоришь уже прекрасно по-русски, и никакой переводчик тебе не нужен.

— То, что я выучился по-русски, это мое частное дело. Я тоже не был обязан учиться и имею такое же право пользоваться переводчиком, как и Мурри. Я не возражал, когда твой уход на другую работу не требовал твоего ухода из дома. Но если в награду за то, что я сам изучил русский язык и отказался от переводчика, у меня хотят отнять жену и сделать ее переводчиком Мурри, — я сегодня же пойду к Морозову и попрошу вернуть мне обратно переводчицу.

— Кто у тебя отнимает жену? Что ты болтаешь? Ты просто не высцался и перепутал, кажется, где ты живешь. Не ходи ни к какому Морозову, если не хочешь поставить и себя, и меня в смешное положение. Пора бы тебе уже знать,

что по советским законам жена и муж не могут работать в одном предприятии в непосредственной зависимости друг от друга. И о какой эго награде ты болтаешь? Извольте видеть, научился говорить по-русски, и считает, что сделал всему строительству огромное одолжение, все должник ему быть благодарны: сократил штат строительства на одну переводчицу. Тоже рационализатор!

— Я не говорю еще достаточно совершенно по-русски, чтобы обойтись без переводчика.

— Кого ты хочешь обмануть? Морозова? Строительство? Партию? Как тебе не стыдно! Посягнули на свягиню, жену, видите ли, хотя с ним разлучили на несколько месяцев, и сразу схлынули с него все его советские чувства. Готов, как мелкий лгунишка, обманывать во имя защиты «домашнего очага».

— Можешь надо мной измываться сколько угодно. Я думаю, если люди живут друг с другом, то должны немного считаться один с мнением другого. Я запрашиваю тебе туда ехать! Понятно?

— Вот таким языком надо было говорить с самого начала, тогда нам не о чем было бы вообще спорить. Я, дура, раскрываюсь, радуюсь, говорю о комсомоле, о большой работе, а у него одно: «Моя жена не смеет покинуть мой дом». Тебе очевидно кажется, что титул «моя жена» дает тебе право и в наших условиях распоряжаться мною, как вещью. Ты ошибся. Возвращаю тебе его обратно. Когда мы сошлись, ты не уточнял условий, а я такой ценой покупать этот титул никогда не собиралась. Я жила с тобой до тех пор, пока считала тебя действительно своим, нашим человеком. Оказывается, все твой сугубо советские установки — только внешняя скорлупа. В первый раз поскребли поглубже, и сразу вылез из тебя пошленький мелкий буржуа. До свиданья, мистер Кларк. Если при вашем несовершенном знании русского языка вам понадобится переводчица, поищите себе другую.

— Если ты сейчас уйдешь, предупреждаю, можешь больше не возвращаться. Советую тебе подумать.

— Спасибо за совет, я уже подумала. Мои мелкие вещи, если вам не трудно,

отошлите с шофером на второй участок. Всего вам доброго, мистер Кларк.

Об оконное стекло заунывно, в нос, звенела муха. Окно выходило на Вахш. По краешку стекла ползла звенящая тварь. Нет, это была не муха, это была большая полосатая оса с тонкой талией лезгина. Она, урча, упорно продвигалась вверх. Оса явно состояла из двух самостоятельных частей: миниатюрный трактор с прицепом. На столе в разрисованных пиалах бесповоротно стыл чай Кларк взял карандаш, придвинул листок с цифрами и попробовал проверить вычисления. Вереницы цифр бежали перед глазами косые, как дождь. Он свернул листок и засунул в карман. Кто-то открыл входную дверь:

— Тут живет инженер из Америки?

— Чего нужно?

— Просюль срочно к главному инженеру.

— Хорошо. Сейчас приеду.

Полозова, выйдя из дому, машинально пошла к головному участку. Время было раннее. В комсомольском комитете наверное никого еще нет. Машина на второй участок уходила тоже значительно позже. Полозова пошла вдоль реки Горечь обиды свела судорогой сухие губы, жгучей сухостью горела в глазах: «Дерьмо! Как я могла столько времени прожить с таким человеком?»

Не доходя до головного сооружения, она неожиданно натолкнулась на небольшого человека в зеленой тубетейке, сидящего на валуне у обрыва.

— Керим!

— А, это ты, Мариам?

— Что ты здесь делаешь?

— Приехал с третьего участка. С утра будет много работы. Спать ложиться не стоит. Присел тут над рекой. Прохладно и пыли нет. А ты куда так рано?

— Я?.. Я тоже вышла немного пройтись. С утра тихо, хорошо. Вот подожду машину, поеду на второй участок.

— С сегодняшнего дня приступаешь к работе?

— А чего ж откладывать? Там ведь ячейка осталась почти беспризорная. Чем скорее наладим работу, тем лучше.

— Да, это правильно.

Разговор не клеился. Полозова чувствовала: лучше было не останавливаться, сказать, что куда-нибудь торопится. Но сказала ведь сама, что не торопится никуда, и уходить было неловко. Она подняла глаза на Нусреддинова.

— Керим!

— Да, Мариам?

— Слушай, Керим. Я давно уже хотела с тобой поговорить... — она солгала и остановилась.

— О чем, Мариам?

— Видишь, все это как-то нехорошо вышло... Тогда, после твоего приезда... Я хотела как-нибудь это объяснить, и все не было времени... Нет, я неправду говорю, дело не во времени, а просто мне самой трудно было об этом говорить. Вот и сейчас, решила, начала, а... а слов-то нужных нет.

— А зачем говорить, Мариам?

— Нет, сказать надо, обязательно надо. Видишь, тогда, на узкоколейке, мы жили в такой напряженной атмосфере, так дружно, на такой какой-то высокой ноте... нет, я не то говорю, но ты меня понимаешь, минуты такого коллективного подъема бывают не так часто. Я этой недели никогда в жизни не забуду. Даю тебе слово, Керим, никогда в жизни!

— Я тоже никогда не забуду, Мариам.

— И видишь, я тебя, вас всех очень тогда любила. Нет, это опять не то. Я ведь и сейчас всех вас очень люблю. И тебя очень люблю, Керим... как товарища, очень люблю. Но тогда, в эти дни, я любила вас больше, чем когда-либо. И тебя в особенности. Ты ведь был душой всего этого... необыкновенного. Ну, я не умею сказать, но ты понимаешь, ты ведь чувствовал то же самое. И вот эту нашу исключительную большую дружбу... мне тогда показалось... я приняла за любовь, как женщина любит мужчину. А потом я поняла, что это не так, что я тебя люблю, очень люблю, но иначе. И я думаю, хорошо, что я поняла это до того, как мы сошлись.

— Я тоже так думаю, Мариам.

— И ты на меня не сердись?

— За что же мне на тебя сердиться? Разве можно себя заставить полюбить того, кого не любишь?

— Видишь, Керим, когда ты приехал, мне как-то трудно было тебе это объяснить. Тем более трудно, что я это поняла именно тогда, когда полюбила другого человека. А ты мог просто подумать, что я плохая, распутная девчонка.

— Я так не подумал, Мариам.

— Я знаю, ты — хороший товарищ, Керим... И потом еще так сложилось, что этот человек не был нашим товарищем, а что это был иностранный инженер. Ты мог подумать, что я, комсомолка, променяла испытанного, хорошего товарища на какого-то иностранного буржуа.

— Наши ребята, Мариам, подымали этот вопрос и спрашивали меня, имеет ли право комсомолка жить с человеком чужого класса, но я им сказал: раз Мариам с ним живет, значит, это не чужой человек, а наш человек. А если он еще и не совсем наш человек, то Мариам сумеет ему помочь стать нашим до конца.

— Ты так им сказал?

— Да. Больше они этого вопроса не подымали.

— Ты правильно сказал, Керим.

Внизу лениво чавкнула вода. На голловном размеренно, как бабы вальками, стучали бетономешалки.

— Ну, а тебе, Мариам, хорошо? Ты счастлива?

— О, да... Понимаешь, ты очень правильно сказал: он конечно еще не совсем наш человек, но я должна суметь, и мне кажется, я сумею ему помочь стать нашим до конца.

— Ты в этом не совсем уверена, Мариам?

— Каждый из нас может ошибаться... но мне думается, я не ошиблась.

— Если тебе, Мариам, когда-нибудь нужна будет поддержка и помощь, не забудь, что у тебя есть хорошие, испытанные товарищи.

— Я всегда об этом помню, Керим.

— Я пойду в комитет. До свидания, Мариам. Налаживай работу на втором участке. Дней через десять засду посмотреть, как у тебя там дела.

— До свидания, Керим. Думаю, что справлюсь.

Вечером на квартире у Морозова состоялось экстренное совещание. Кроме самого Морозова, Кларк застал Кирша, Уртабаева и начальника взрывпрома, грузинского инженера с трудно запоминаемой фамилией.

Морозов вкратце сообщил известную уже всем новость: вместо предполагаемых семидесяти тысяч кубометров конгломерата оказалось двести сорок тысяч. Нужно было срочно обсудить возможные варианты выхода из создавшегося положения. Морозов любезно спросил мнение Кларка.

— Я не понимаю, кто тут делал геологически разведки, — пожал плечами Кларк. — Это не есть недосмотренность, это есть вредительство.

— Вы совершенно правы. ОГПУ недавно раскрыта вредительская организация в планирующих органах и в среднеазиатском аппарате Наркомзема, имевшая свое ответвление и в системе водхоза. Не подлежит сомнению, что в период планирования нашего строительства и предварительных изыскательных работ здесь был допущен целый ряд сознательно вредительских актов. Прямой их целью было поставить наше строительство в наиболее невыгодные условия и максимально затормозить его развитие. Что ж хотите, классовая борьба есть классовая борьба, а здесь поставлена на карту хлопковая независимость Союза. Должен вас предупредить, что до окончания строительства нам придется очевидно столкнуться еще не с одним таким сюрпризом. Сегодня при пробном бурении на семнадцатом пикете на глубине двенадцати метров обнаружена подпочвенная вода. Этого тоже разведчики из геологического института «не заметили» и не предусмотрели, и это тоже в немалой степени затормозит наши работы по выемке конгломерата.

— Значит, мы должны будем одновременно рвать и откачивать вода?

— Придется. Менять трассу канала поздно. Надо так перестроить план работ, чтобы, несмотря на неожиданные затруднения, уложиться в намеченные сроки.

Кларк вытащил из кармана сложенный лист бумаги.

— Я тут подсчитал, что есть возможно сделать с нашими механизмами, будучи как они есть. Я не брал в счет подпочвенной вода. Это немного меняет картину. Нужно много больше тракторов. По моим вычислениям, чтобы выбрать в минимум срок эти двести сорок тысяч кубометр конгломерата, нужно: Первое — увеличивать номер рабочих на втором прорабстве до тысяча пятьсот человек. Второе — перебрасывать со второго участка еще два экскаватора. На этой глубине выбрасывать грунт вы должны в два приема — один экскаватор внизу, другой наверху. Третье — поставить на девяти пикет второй конвейер. Транспортер и ролики мы имеем. Четвертое — поставить на семнадцатый пикет второй бремсберг. Все вместе: один конвейер дает три тысячи кубометр в месяц. Один бремсберг дает две тысячи кубометр. Один экскаватор-лопата — шесть тысяч кубометр. Двенадцать экскаваторы с перекидкой это шесть экскаваторы полна нагрузка, в среднем по пятнадцати тысяч кубометр, — вместе: девяносто тысяч кубометр. Один Менк VI — двадцать тысяч кубометр. Все — сто двадцать один тысяч кубометр. Минус время взорвать, колоть конгломерат, ручная погрузка, непредвиденны простои. С такой организацией мы заканчиваем работы в конгломерате в два месяца вместо намечены один месяц, не считая возможны задержки с откачкой воды.

Кларк отложил карандаш и протянул Морозову лист с вычислениями.

— Что ж, это реальный план, — похвалил Морозов. — Теперь надо перестроить его так, чтобы уложиться в месяц.

— Это есть невозможность. Наши механизмы для этот грунт совсем не подходящи. Больше дать невозможно.

— А вот сейчас подумаем. Какие у вас соображения, товарищ Кирш?

— Я присоединяюсь к наметке, которую выработал и уже показывал мне товарищ Уртабаев.

— Выкладывайте, товарищ Уртабаев. Уртабаев в свою очередь достал лист бумаги.

— Моя наметка построена с таким расчетом, чтобы уложить во что бы

то ни стало все работы по выемке конгломерата в один месяц, не трогая экскаваторов, работающих на втором участке. Иначе ликвидируя один прорыв, мы создадим другой.

— Это нет возможно. Наши экскаваторы, с исключением один Менк VI, могут взять максимум глубина от семь до одиннадцать метр. Канал в этой части до восемнадцати метр глубок.

— Я знаю, товарищ Кларк. Это цифры, установленные фирмами, так сказать, цифры для каталога. Нормальную глубину захвата наших экскаваторов можно значительно увеличить, удлинив их тросы. При соответствующем удлинении тросов нормальный Менк V или Бюсайрус 50 вместо семи метров сможет брать породу с глубины до двенадцати метров, а Менк VI и до восемнадцати. Это освободит нас частично от двойной перекидки и позволит не трогать экскаваторов, занятых на другом участке. Тросы, в зависимости от класса экскаватора, можно удлинить до тринадцати с половиной, а в отдельных случаях, до двадцати трех метров. Это одно средство. Теперь другое: ковши Менков, как нам хорошо известно, не приспособлены для наших грунтов и дают очень малую производительность. Поэтому я предлагаю заменить их ковшами от поломанных Бюсайрусов со значительно большей кубатурой, — 1,5 кубометра вместо 0,7—0,9, частично же ковшами, изготовленными в наших мехмастерских. Это значительно повысит производительность экскаваторов и даст нам возможность поднять ее в среднем до двадцати и даже до двадцати пяти тысяч кубометров на экскаватор, в иных случаях даже до тридцати тысяч. Цифры, которые я привожу, — не теоретические цифры. Они проверены мной в процессе работ на опыте нескольких экскаваторов.

— Разрешите заметить.

— Пожалуйста.

— Товарищ Уртабаев, вы — хороши инженер. Вы хорошо знайт, что каждая машина имеет свой проектны мощность, который неможно превышать. То-есть превышать его можно, но вы этим изнашиваете машину. Машина будет слу-

жить пятьдесят процент меньше время. Это барбарски, нерациональны способ использовать машин. Я в таких условиях не отвечаю, за что случится с механизмами.

— Дорогой товарищ Кларк, — улыбнулся Уртабаев. — Мы с нашими импортными машинами делаем много такого, о чем не снилось во сне заграничным фирмам. Наши бетономешалки на головном и на сорок шестом пикете дают в смену в два раза больше замесов, чем это предусмотрено в каталоге. Если придерживаться проектных рамок, то для выемки нашего грунта нельзя бы вообще применять дреглейны. Нам пришлось бы отправить все наши дреглейны обратно и ждать, пока нам пришлют экскаваторные лопаты.

— Использовать дреглейны есть необходимость. Перегружать машины и заставлять их работать на глубину, к которой они не приспособлены, — не есть необходимость.

— Это тоже необходимость. Иначе не закончим строительство к сроку.

— Лучше опаздывать один месяц, чем нерационально изнашивать дорогой механизм. Ваше правительство платит за них золото, и у вас есть еще другие строительства, где они тоже будут нужны.

— Видите, товарищ Кларк, — вмешался Кирш, — это очень старый спор, и сейчас, пожалуй, не время начинать его сызнова. Поймите простую вещь: для нашей страны, которая каждую минуту может ожидать нападения извне. важнее в кратчайший срок создать свою индустриальную базу, чем рационально и экономно эксплуатировать дорогие механизмы. Когда у нас будет база, мы сможем производить их уже сами. И потом, это на первый взгляд варварское обращение с механизмами, если изучить практику наших строительств, оказывается на поверку вовсе уж не таким нерациональным. Мы осваиваем сложнейшие заграничные машины не затем, чтобы производить у себя точно такие же, а затем, чтобы создавать еще более совершенные и пригодные для наших нужд. Изнашивая их, путем экспериментов, мы одновременно создаем все

необходимые предпосылки для осуществления таких новых, усовершенствованных механизмов, проектная мощность которых будет включать в себя уже эти новые, небывалые показатели. Иными словами, наше варварское использование заграничного оборудования, как это на первый взгляд ни парадоксально, толкает вперед развитие новейшей техники...

— Давайте, товарищи, отложим этот диспут, — перебил Морозов. — Сейчас лучше займемся ликвидацией прорыва. Насколько я тут успел прикинуть, ваша наметка, товарищ Уртабаев, все же не обеспечивает окончания работ по конгломерату в один месяц.

— Совершенно правильно, я еще не кончил. Не считая установки нового конвейера и бремсберга, предусмотренных уже в наметке товарища Кларка, я предлагаю применить погрузку вручную на автокары. Состояние нашей автобазы позволяет нам выделить для этой цели шестнадцать грузовиков. Проведение по наклону канала дороги, по которой автокары могли бы съезжать на самое дно, не займет много времени. Достаточно поставить на эту работу две-три бригады ручников. Считая в среднем, при бесперебойной организации работ, на каждый автокар по двадцать — двадцать пять рейсов в смену, это должно нам дать не меньше пятнадцати тысяч кубометров. В остальном — слово за взрывпром и за ручниками. Если рабочие объявят штурм и повысят нормы выработки на пятьдесят процентов, что практически вполне осуществимо, в течение месяца с выемкой конгломерата закончим.

— У кого из товарищей есть еще предложения? Нельзя ли рационализировать какую-нибудь отрасль работ?

— У меня есть предложение.

— Говорите, товарищ Кирш.

— Нужно наконец устранить неувязку между взрывными и бурильными работами. Взрывными работами руководит взрывпром, бурильными — прорабство. В результате такого двоеначалия качество взрывов получается никудышное. Подрывники сваливают вину на бурильщиков, бурильщики — на подрыв-

ников. При создавшемся положении взрывные работы необходимо поставить в центр внимания. От налаженности и быстроты этих работ зависит реальность всего плана. Предлагаю обязать взрывпром перенять у прорабства все бурильные работы и к завтрашнему дню представить нам разработанный план подрывных работ по конгломерату.

— Что вы скажете, товарищ Табукашвили?

— Нэ возражаю.

— Значит, завтра к одиннадцати часам представите план?

— Наш план зависит от того, как у вас будет налажена выемка.

— Пока что выемка на скале все время хромает из-за плохой работы подрывников, — огрызнулся Уртабаев — Вчера опять Менк VI простоял три часа. Из семидесяти шести скважин взорвали только шестьдесят шесть, про остальные десять «забыли».

— Нэ забыли, а аммонала нэ хватило. Тры дня нэ можем допроситься, чтобы отгрузили с пристани. Сегодня нэ отгрузите, завтра совсем рвать нэ будем.

— Но, но, рвать-то будете. Товарищ Кирш, распорядитесь по телефону, чтобы немедленно отгрузили аммонал под личную ответственность завбазой. Есть еще какие-нибудь предложения?

— У меня есть предложение.

— Говорите, Табукашвили.

— Поднять производительность рабочих на пятьдесят процентов, это приказом нэ делается. Со снабжением стало хуже. Тебе, Морозов, снабжение наладить надо. Обещали ударникам повысить норму хлеба, а хлеба вчера совсем нэ оказалось.

— Хлеб уже нашелся. Завснабжением арестован.

— Это хорошо. Судить его надо, сукина сына... Я думаю, поскольку штурм будет трудный, работа тяжелая, работать придется в воде... ага! надо еще заблаговременно распорядиться, чтобы отгрузили из Сталинабада резиновые сапоги! Так вот, поскольку штурм будет трудный, нужно, чтобы трэугольник обратился к рабочим с воззванием: указать, что, если скальная выемка нэ

будет в срок закончена, нэ дадим воды к поливу, восемьдесят тысяч гектар египетского хлопка пропадет. Подчеркнуть, какой это будет позор перэд всей страной, — ну, ты сам знаешь, как это надо написать, чтобы каждого до печенок пробрало. Правильно гозрю?

— Правильно! — поддакнули в один голос Кирш и Уртабаев.—Обязательно надо.

— Все? Значит, товарищ Кирш, пожалуйста, до завтра составьте с товарищами Уртабаевым и Кларком подробный план работ по конгломерату, чтобы послезавтра можно было довести его до каждой бригады... Товарищ Кларк, вы едете на головной? Захватите меня с собой, у меня машина в ремонте.

Автомобиль летел по избитой трактурами дороге, подпрыгивая на выбоинах, словно сотрясаемый мучительной икотой. Кларк молчал. Морозов пробовал раза три заговорить с ним, но, не добившись ничего, кроме односложных звуков, замолчал тоже. «Обиделся, что ли? Чудной дядя. Хороший инженер, работяга, по всем данным как будто свой парень, а к нашим условиям все еще никак не привыкнет. Наверное всех нас считает сумасшедшими». Морозов закрыл усталые от бессонницы глаза и тотчас же забыл о Кларке.

Новый толчок машины заставил его встрепенуться. Высоко, над головой, блестящими звезд светилось небо, неестественное и четкое, как планетарий. Большие, жирные звезды зажигались и гасли, в роде электрических лампочек. «Не небо, а прямо телефонная станция...» Он припомнил телефонную станцию, которую занимал с десятком красногвардейцев в октябре семнадцатого. Перепуганные телефонистки сбились в кучу, очумело хлопая глазами, а крохотные лампочки на осиротевших аппаратах беспомощно зажигались и тухли, зажигались и тухли: тысячи каких-то неведомых людей безрезультатно добились соединения.

Морозов еще раз посмотрел на небо. Большими познаниями в области астрономии он никогда не блистал: сызмала не мог отличить Большой от Малой

Медведицы. «А вот на Марсе,—подумал он, глядя на Венеру,—есть ведь настоящие каналы, целая оросительная система, наверное в тысячу раз больше нашей. Чорт их знает, может, у них есть там и какие-нибудь свои сверхмощные экскаваторы, а мы тут с одним мизерным каналом в сорок пять километров мучаемся». Он закрыл глаза и уснул, равнодушный к икоте машины.

Проснулся от щемящего ощущения, словно падает с самолетом в воздушную яму. Машина летела радиатором вниз, по почти наклонному отвесу. Потом небо, исчезнувшее позади, вынырнуло опять, теперь перед самым носом радиатора. Это были «американские горки», ряд крутых ложбин, пересекающих плато. Ложбины шли одна за другой, как волны. Машина, очутившись на минуту на гребне, опять плавно полетела вниз. Морозов зажмурил глаза. Острое воспоминание теплой волной подступило к горлу и кровью ударило в голову. Он вдруг уяснил себе, что эти последние дни, взбираясь по отвалам канала, качаясь на машине, надрываясь на бесчисленных заседаниях, он только и делал, что катил и сталкивал вниз, на голову одной упрямо взбиравшейся мысли глыбы тяжелых, неотложных дел. И сейчас, стремясь на головной, куда до окончательного утверждения нового плана можно было бы и не ехать, он, сам в этом не сознаваясь, покорно шел за этой мыслью, выбравшейся наверх и потащившей его на поводу.

Началось все это давно, месяцев пять тому назад, кажется, в октябрьскую годовщину. В клубе первого участка проходил торжественный вечер, премировали лучших ударников. Морозов вызывал по списку отличившихся и вручал им награду: кому почетную грамоту, кому денежную премию. Седьмой по списку значилась ударница Дарья Шестова, бригадир женской бригады копальщиц, давшей исключительно высокие показатели. Шестова, став на прорыв с лопатой в руке, выбрасывала до двадцати шести кубометров в смену при норме в девять кубометров, за что награждалась денежной премией в сто рублей.

Зачитав показатели премированной, Морозов тут же использовал случай, чтобы сказать короткую речь о роли женщины-работницы на строительстве, о незаслуженно пренебрежительном и косном отношении к ней со стороны иных прорабов и самих копальщиков, которые могут многому научиться и должны учиться у таких ударниц, как Шестова. Обращаясь к премированной, он поднял глаза, и взгляд его встретился со смеющимися глазами красивой, на славу слаженной девки с беспокойными русыми ресницами. «А красивая шельма» — подумал невольно Морозов.

От прикосновения ее наглых, насмешливых глаз он неожиданно смутился, скомкал конец речи и, уже не глядя на нее, сухо протянул ей премию. Шестова не тронулась с места и, улыбаясь, качала головой:

— Мне ваших ста рублей не надо. — сказала она, не спуская насмешливых глаз с Морозова, подметив, видимо, его смущение. — Нам денег хватает. Понадобятся — сами выработаем. Вы лучше Луганкину додайте. Они жалуются, что у них выработка маленькая, больше шести кубометров выкинуть не могут.

В зале прокатился одобрителный смех.

— Ты нам не указывай, кому премии давать, сами знаем, — сурово отрезал сидевший в президиуме Андрей Савельевич. Замечание Морозова о некоторых прорабах он принял на свой счет. — Дают премию — и бери. А зубы скалить тут не место.

— Не нравятся тебе мои зубы — не смотри... Вот он говорит, что ударникам не вредно у баб поучиться. А почему же тогда драгерам-ударникам почетные грамоты выдали, а как до бабы дошло, так — на сторублевку и радуйся! Ежели я такая же ударница, как и они, то мне тоже грамота полагается. А за деньги наше вам спасибо.

— Правильно! — раздалось в зале несколько женских голосов.

Шестова сделала шутовской поклон и сошла с эстрады.

Морозов смущенно мял в пальцах сторублевку.

— Пусть товарищ начальник не обращает внимания, это от озорства. Денег девать им некуда, — склонился к нему почтительно Андрей Савельевич.

— А ведь, по существу, она права, — поднял на него строгие глаза Морозов. — Почему ей не дали почетной грамоты? При следующем премировании надо дать.

Впрочем он скоро забыл о строптивой ударнице.

Как-то, неделю спустя, об'явив войну антисанитарному состоянию рабочих жилищ, Морозов вместе с участковым врачом обходил бараки. В одном из барак, фанерными перегородками и ситцевыми занавесками переделанном из общего в семейный, на него наскочил десяток вз'ерошенных баб.

— Просим товарища начальника! С комендантом никакого толку не добьемся...

— Сам путается с этой лахудрой!

— Подожди, Петрова, подожди! Я товарищу начальнику по порядку все расскажу.

— Успокойтесь, гражданки, — защищался Морозов. — В чем дело? Пусть одна говорит.

— Второй месяц добиваемся выселить из нашего барака эту суку. Тут барак семейный, не годится такой срам разводить. А комендант сам с нею путается и говорит: не имею права, меня, говорит, это не касается.

— Не по закону это! Раз барак семейный, значит, незамужним шлюхам тут жить не полагается. И никакого акта о выселении не надо. За космы — и вон!

— Подождите, я все еще ничего не понимаю.

В одной из каморок отодвинулась занавеска. У входа показалась Дарья Шестова. Она стояла подбоченясь и смеясь смотрела на Морозова:

— Это они про меня. Все уши прожужжат. Давайте лучше я расскажу

Женщины зашипели хором, как масло на сковороде.

— Мне в ихнем бараке, товарищ начальник, как ударнице дали отдельную каморку. Так они, ведьмы, жить не дают, за мужей своих трясутся. Вдруг

со мной который схлестнется. Мужья у них кобели, проходу не дают, венником не отгонишь. Да мне от этого чести мало: посмотрите, товарищ начальник, на них, на красавиц. Ведь мужик, самый плохонький, от таких сбежит. Вот и пристали, как репей к кобыльему хвосту. Думают, если меня здесь не будет, сами за красавиц сойдут.

— Врет, все врёт! Сама, шлюха, никому проходу не даст, к каждому мужику липнет.

— Моего сколько раз к себе в каморку затаскивала?

— Был барак, как барак, а как в'ехала сюда, лахудра, ни дня ни ночи, — собачья свадьба. Кобелей от дверей не отгонишь.

— Не кричите, товарищи, прошу всех замолчать! — перебил Морозов. — В-первых, это не дело администрации. Выберите себе барачный комитет, и пусть он у вас занимается делами внутреннего распорядка. Вот! А вторых, товарищ Шестова — лучшая ударница на строительстве, премированная. Отдельная каморка ей полагается. Выселять ее никто не имеет права. Вот! Хотите, договаривайтесь как-нибудь по обоюдному соглашению. Понятно? Мне кажется, если бы все женщины, живущие в этом бараке, работали и работали, как товарищ Шестова, то у вас не было бы времени на кухонные дразги, и атмосфера в бараке была бы значительно здоровее. Вот!.. Пойдемте, доктор, посмотрим еще седьмой и восьмой бараки.

Морозов, не оглядываясь, пошел к выходу.

— Суке — каждый кобель защитник! — крикнул кто-то вдогонку.

Возвращаясь к себе на участок. Морозов думал о Шестовой. Весь инцидент был ему глубоко неприятен. «А какое мне дело в конце концов! Что я тут, нравственный наставник, что ли? С кем хочет, с тем и путается».

Два дня спустя, возвращаясь ночью с обхода головного участка, он наско-чил на кого-то в темноте. Морозов нажал кнопку карманного фонарика и так же быстро потушил. Это была Шестова.

— Здравствуй, начальник, — заговорила она, надвигаясь на него в темноте. — А я вот сама разыскать тебя хотела. Спасибо сказать.

— За что спасибо? — отодвинулся Морозов, стараясь придать своему голосу возможно сухое и официальное выражение. Вопрос прозвучал преувеличенно резко.

— За то, что в бараке за меня заступился, ведьм этих отчитал. А я ведь из ихнего барака сама вчера в общий переехала. Пусть подавятся своей каморкой. Нужна она мне, как рыбке зонтик. Я ведь им назло не уезжала, а то подумали бы, что на своем настояли.

— Что переехала, это хорошо, — сказал уже мягче Морозов. — Только гонор этот твой бабий ни к чему. Зачем их дразнишь? Девка молодая, на чорта тебе чужие мужья сдались...

— Ноне не старое время. Что женатый, что неженатый. На то и свобода! — Очень уж ты по-своему свободу-то понимаешь.

— Знаю я вашего брата...

— Ты бы вот вместо того, чтобы путаться с кем ни попало, общественной работой занялась, — сухо оборвал Морозов. Выражение «вашего брата» показалось ему неуместным. — Прыги у тебя, видно, много. Примерная ударница, а в общественной работе никакого участия не принимаешь. Не годится.

— Кто общественную работу языком делает, а кто лопатой. Небось, вся общественная работа на то и заведена, чтобы выработку поднять. Ежели я других уговаривать стану, а сама меньшую выработку дам, поди, ты первый недоволен будешь.

— У тебя странные взгляды и на свободу, и на общественную работу. Ты бы в политкружок записалась, там бы тебе многое объяснили.

— Была я на политкружке. Два раза пришла, на третий раз политрук, жиденький такой, — стали мы выходить, — говорит мне на ухо: «Ты ко мне на дом заходи, я тебе там все лучше расскажу». — Она засмеялась. — А это я сама знаю. Для этого мне политруков не

надо. Для этого и грамоте-то знать не обязательно.

— Ну, я пошел, у меня дела, — смущенно заторопился Морозов...

В следующие дни, обходя работы на головном участке, он часто ловил себя на том, что разыскивал глазами среди рабочих женскую бригаду Шестовой, но, встретясь глазами с Дарьей, отворачивался, будто ее не замечает.

Как-то, приехав на головной, Морозов вынужден был поставить в ремонт сломавшуюся машину. Он обещал приехать к двенадцати часам вечера на совещание прорабов третьего участка. Пришлось взять грузовик. Чтобы машина не шла пустой, он распорядился погрузить юрты, предназначенные для городка третьего участка.

На головном Морозов задержался до вечера. Когда он собрался уже ехать, в канцелярию заявила жена одного из инженеров третьего участка, приехавшая как-раз из Сталинабада, и попросила подвести ее на машине. Морозов согласился без особого восторга. Он рассчитывал выспаться в дороге, а незваной даме приходилось уступить место в кабине. Так или иначе, отказать было неудобно. Пока они собрались, наступила уже глубокая ночь. Морозов залез на платформу. Шофер возился около радиатора. Тогда неожиданно из темноты вынырнула еще одна женщина и попросила подвести ее на второй участок. Морозов сразу узнал Шестову. Он пробурчал невнятно, что на грузовике ехать никому не воспрещается, и приказал шоферу трогать.

Машина, подпрыгивая, покатила в ночь. Морозов хотел постучать шоферу в окошко и сказать, чтобы тот остановился у городка второго участка, но окошко кабинки оказалось завалено кошмами. Он решил, что окликнет шофера, когда будут проезжать городок. Ночь выдалась на-редкость темная, безлунная. Платформа на неровной дороге ходила ходуном, надо было изо всех сил держаться за раму. Морозов молчал, стараясь не смотреть в ту сторону, где на тюке кошм чернильным пятном вырисовывался силуэт Шестовой. Он не видел в темноте ее глаз, но

лицо ее было повернуто в его сторону.

Внезапно грузовик нырнул радиатором вниз и полетел по отвесному наклону. Это были только «американские горки», но это было, как будто на одну секунду опрокинулся весь мир. Потеряв равновесие, Морозов скатился по дну платформы на ворох кошм, сехавших к стене кабинки, и ощутил под собой горячее, тугое тело. Цепкие руки оплели его шею. В другой край платформы, от внезапного толчка, они покатались уже вместе, и, когда грузовик, на минуту очутившись на гребне ложбинной волны, опять нырнул вниз, Морозов, повинувшись движениям машины, летел уже, не пытаясь задержаться, в гулкую, жаркую муть. Невидимые волны вздымались и падали, укачивая на своей спине пляшущий плот платформы.

Потом пришла большая тишина. Только по неровным толчкам машины и по ветру, свистя скользящему по лицу, можно было понять, что грузовик продолжает мчаться с прежней скоростью. Они лежали, тяжело дыша, крепко прижавшись друг к другу, и холодный ветер опахивал их горящие лица. Морозов подумал, что случилось непоправимое и что вряд ли был смысл против этого бороться. Он не ощущал ничего, кроме огромного спокойствия и тишины.

Первая заговорила Дарья:

— Что, теперь уже не будешь от меня отбрыкиваться?

Он ответил, не открывая глаз:

— А ты этого очень хотела?

— Хотела. А ты, может, не хотел?

— Нет. И я хотел, — сознался он чистосердечно.

— Ты что, сам живешь? Как тебя звать-то?

— Звать меня Иван. А живу сам.

— И жены у тебя нет, или там, в Москве, осталась?

— Нет.

— И не было?

— Была.

— Ушла или ты ушел?

— Ушла.

— Разлюбила, значит?

— А тебе интересно?

— Интересно.

— Очевидно, разлюбила. Последние четыре года посылали меня то туда, то сюда, то на Урал, то на Дальний Восток, то на Северный Кавказ... Ждала, ждала, потом написала: так и так, живу с другим. Думаю, оба мы отвыкли друг от друга, и сходиться заново нет смысла.

— Обидно было?

— Обидно.

— Ты мне ее карточку покажешь?

— Что ты! А тебе зачем? Да и нет у меня никакой карточки...

— Врешь! Есть. Жenu ты, видно, очень любил. Всегда карточки бережете.

— Брось глупости! И не разговаривай со мной, пожалуйста, во множественном числе.

— Что?

— Говорю, брось со мной эти разговоры: «вы бережете», «ваш брат». Оставь это для других.

— Обижаться нечего. Не буду. А как же так живешь, один, без бабы?

— Без бабы.

— И не путаешься тут ни с кем?

— Ни с кем.

— Врешь?

— Очень мне надо тебя обманывать. Это у тебя под юбкой горит, а у меня работы хватает. Нekoгда глупостями заниматься.

— А со мной больше встречаться не хочешь? Тоже времени нет?

— Нет, почему не хочу? Хочу.

— Хотя на том спасибо. А где же встречаться-то будем? Ты шевели головой поскорее, а то огни уже видно. Скоро приедем.

— Где встречаться? Да, это сложный вопрос... Приходи ко мне.

— Ты один живешь, без товарищей?

— Один. Только у меня часто по вечерам заседания. Раньше часа ночи никогда свободен не бываю. Ты вот что, прежде, чем постучать, кинь всегда камешком во второе окно. Если открою форточку, значит, у меня люди, — нельзя. А если никого нет, прямо выйду и отопру... Что это, никак уже третий участок? Тебе же надо сойти на второй...

— Ничего мне не надо. Нужно же мне было что-нибудь выдумать. Скажи

я, что проехаться с тобой хочу, ты бы меня, поди, и не взял... Ты тут долго задержишься?

— Да, часа три по меньшей мере.

— Ничего, я где-нибудь покручусь. Когда будешь уезжать, погуди. Только не забудь, а то мне к утренней смене на головной надо. Вот и приехали.

...На обратном пути Морозову пришлось сесть в кабину. Как назло, на этот раз не надо было отвозить никакой дамы. Он попробовал было сказать шоферу, что предпочитает ехать на свежем воздухе, но шофер посмотрел на него удивленно (юрты выгрузили, сидеть на плагформе было не на чем, погода собачья), и Морозов, не желая возбуждать ненужных подозрений, махнул рукой и сел рядом с шофером. Он успел шепнуть устроившейся уже на платформе Дарье:

— Ты меня, Даря, извини. Мне придется ехать в кабинке. Неудобно перед шофером...

Она стала приходить к нему по ночам, когда не работала ее смена и когда у него не было затяжных ночных заседаний, а ночи такие случались нечасто. Морозова удивляла и трогала ее деликатность. Не было случая, чтобы она постучалась в окошко в то время, когда кто-нибудь еще находился в его квартире. Она ждала, притаившись где-то там, за окном, пока не уйдет последний гость и не уляжется тишина. Просыпаясь на рассвете, Морозов не заставал ее уже рядом. С наступлением весны их короткие ночи стали еще короче.

Они говорили мало, — на слова не оставалось времени. Днем, сталкиваясь на участке, они держались, как чужие. Не видя ее несколько ночей, Морозов начинал терять обычное спокойствие. Он задумывался не раз над этой странной связью. Если связь их должна была продолжаться, надо было найти какие-то формы, которые разрешили бы им видеться и жить «легально». Но форм таких, Морозов не находил. Взять Дарю к себе и начать с ней жить официально? Он подумывал об этом, особенно тогда, когда промежутки между их

встречами становились более длительными. Но всякий раз он неизбежно задавал себе вопрос: что он знает о ее жизни в эти промежутки? и отвечал, что не знает ничего. Даря на все вопросы отвечала неизменно с каким-то зазорным, злым гонором: «Небось, я тебе не жена. Что хочу, то и делаю». На строительстве Даря при своей славе ударницы пользовалась как девка очень дурной репутацией. И прораб, и десятники в присутствии Морозова отзывались о ней весьма нецензурно. Морозов чувствовал, что краснеет, и именно потому никогда не решался резко осадить развязного прораба. В такие минуты он понимал, что никакое оформление его связи с Дарей невозможно. Если даже в разговорах десятников было много преувеличенного и незаслуженного, все равно его официальная связь с Дарей непоправимо пошатнула бы его авторитет среди рабочих. Он решал тогда, что надо подождать окончания строительства, а там, если окажется, что действительно он жить без нее не сможет, забрать Дарю с собой и начать с ней жить открыто в другом окружении. Всякий раз после хлесткого словечка у него подымалась против нее мутная злоба, и тогда ему казалось, что вовсе он к ней и не привязан и прекрасно сможет без нее обойтись.

Так было и в эти дни. Со времени их последней ночной встречи прошло две недели. Правда, много ночей Морозов провел на участках, и Даря могла заходить и не заставлять его. Но все же три последних ночи он был дома, ждал, — она не пришла. И теперь, мчась с Кларком в его машине по крутым волнам «американских горок», вспомнив ночь на летящем плоту платформы, Морозов уяснил себе, что едет на головной не столько смотреть трассу работ по выемке конгломерата, сколько в смутной надежде встретить там Дарю. Ему захотелось остановить машину, повернуть обратно, но он с облегчением вспомнил, что машина не его, а Кларка, и, успокоенный этой нехитрой отговоркой, откинулся на спинку и закрыл глаза.

Возвращаясь с обхода с головой, полной скрежета дреглейнов, Морозов услышал за собой торопливые шаги. Кто-то схватил его за плечо и потянул за выступ отвала.

— Кто это?

— А ты что, узнавать перестал?

— А, это ты, Даря? Разве сейчас твоя смена?

— Была б моя смена, я бы тут не торчала. Моя смена в двенадцать. Место, где сегодня моей бригаде работать, посмотреть надо? Вот и пришла пораньше.

— Давно тебя не видел. Почему не заходишь?

— А тебя куда черт носит? Дома не ночуешь. Я к тебе даром с головногого на второй бегать не нанималась.

— А ты разве пешком отсюда ходишь?

— Нет, на автомобиле своем езжу. Только шофер у меня в ремонте.

— Ты, серьезно, все это время, и зимой, ходила ко мне пешком? Ведь это же часа три ходьбы.

— А ты не знал.

— Не знал.

— Ну вот, теперь знаешь. Поди, с завтрашнего дня будешь за мной свой автомобиль присылать. Небось, не одним наркомам барышень катать дозволено.

— Я думал, ты как-нибудь с оказией, на грузовике устраиваешься.

— Когда идет, устраиваюсь. На бочках с бензином не очень-то устроишься.

— Чего ж ты никогда не сказала? Можно это было как-нибудь организовать.

— Разве чтопустишь для меня специально автобус с головногого на второй, да чтобы только ночью ходил.

— Что ты крысишься? Слова сказать нельзя. Надо будет что-нибудь придумать...

— Ты вот думай о том, какой мне транспорт снарядить, а я буду думать, как воду пустить к поливу.

— Брось дурить. А может, вообще не хочешь ко мне приходиться? Тогда прямо скажи.

— Не хотела бы, не ходила бы!

— Ну, значит, надо тебе переехать жить на второй участок.

— Это как, с бригадой или одна?

— Нет, почему же с бригадой? Одна.

— Ага! А я поняла — с бригадой: работу нам какую-нибудь придумаешь.

— Ничего тут смешного нет. Если тебе так забавно не встречаться со мной целыми неделями, можешь не заходить хоть совсем. Или это у тебя так, для разнообразия: два раза в месяц поспать с начальником.

— Наплевать я хотела на твое начальство! Ну и сволочь же ты, Иван! Сколько раз даром, по слякоти, туда и обратно я протопала. Ты меня даже предупредить не подумал, что на другой участок уедешь...

— Извини меня, Даря.

— Ладно уж!..

— Я же тебе говорю, переезжай на второй.

— Вместо домашней работницы взять меня хочешь? Что ж, это тоже дело. Только я готовить не умею.

— Ты для того меня окликнула, чтобы надо мной поиздеваться?

— Не, сказать тебе хочу: один парень тут, из рабочих, пронюхал, что мы с тобой путаемся.

— Кто ж это такой?

— Бригадир один, Тарелкин, на скале работает. Я до того, как с тобой сойтись, с ним гуляла. Теперь у него на меня зуб. Проследил, куда я это по ночам пропадаю... Ничего, я ему уже пригрозила. Пикнет слово, морду перед всей бригадой набью. Не быть ему после этого бригадиром. Не скажет, побоится. Он может только при случае перед рабочими насмех тебя поднять, так ты язык за зубами не держи. Напомни ему, если что, как это он в прошлом году забастовку устраивал. Сразу с него спесь слетит.

— Что же нам, по-твоему, из-за твоего Тарелкина больше встречаться нельзя.

— Это уж тебе видней. Не хочешь, не будем./

— Хочу. Подожди, надо только придумать, как.

— Ничего ты не придумаешь. Очень видно, на выдумку тяжел. Ладно! Только, чтобы мне даром не бегать, давай мне знак какой-нибудь. Если знаешь,

что ночью будешь дома, и хочешь, чтобы я пришла, — ходи днем на работах в тубетейке. А знаешь, что будешь занят, либо тебе не до меня, — надевай свою белую фуражку. Запомнишь? Ну, мне некогда, скоро смена.

Она исчезла в темноте. Захрустела осыпающаяся галька.

Поздно вечером, запершись у себя в комнате, Комаренко включил радио. С момента получения из Москвы многоголосого ящика уполномоченный перестал даже играть в пинг-понг и, возвратясь с работы, целыми часами просиживал за приемником. Уступая категорическим возражениям жены, просыпавшейся каждые полчаса от оглушительного свиста и грохота, Комаренко занавесил дверь одеялом, но упражнений своих не прекратил. Он никогда особенно не любил музыки и, поймав очередную станцию, не дослушивал до конца ни одной передачи. Его увлекал сам процесс нащупывания в пространстве поющих и гремящих волн. Под нажимом пальцев, вращающих регулятор, аппарат кашлял, стрелял, пиликал, где-то — тютю-тютю-тютю-тютю — по беспроволочным линиям бежали таинственные, нерасшифрованные радиogramмы, земля вращалась со свистом, послушная мановению пальцев, и каждая ее параллель, натянутая, как струна, пела на своем непонятном языке.

Комаренко повернул гофрированную кнопку. Опять в комнате протяжно зашвистел планетарный ветер, донося разрозненные обрывки звуков. Звуки сгущались, росли, пока не перешли в хриплые раскаты косяязычной английской речи. Комаренко уловил слово Калькута. Грохнул дребезжащий джаз. На осколках глиняных барабанных звуков, как кот на черепице, раздрающе замыкала труба, пронзительной жалобой затосковала гавайская гитара и, стуча по паркету деревянными башмачками, разбежались врассыпную перепуганные трещотки.

Шелонулось одеяло на дверях. В комнату вошел Мухтаров и, огоршенный, остановился на пороге.

— Заходи, заходи! — заглушая визг радио, прокричал Комаренко. — Поймал Калькутту! Слышишь, как мяукают? Это англичане жалуются, что дела у них плохи. Подожди, я тебе сейчас поймаю Пешевар.

— Погоди, потом поймаешь. Дело у меня к тебе есть.

Комаренко выключил приемник.

— Что нового?

— Насчет «Красного Октября» поговорить с тобой хотел.

— Всегда готов, как говорят наши товарищи пионеры.

— Вот какое дело. Они там скоро начинают сев, кончат на-днях вторую вспашку. И оказывается, тридцать га лучшей земли, пригодной под египетский хлопок, правление отвело под пшеницу, а хлопок собирается сеять на земле, заведомо непригодной...

— Что и требовалось доказать.

— Что?

— Говорю: что и требовалось доказать. Помнишь, я тебя предостерегал насчет этого колхоза еще месяц тому назад?

— Да, ты оказался прав.

— Ничего, не расклеивайся, все к лучшему. Ну и что, все колхозники об этом знают и молчат?

— Многие не знают. План, представленный правлением, общее собрание утвердило. Но собрание, как и в тот раз, созвали нарочно в такое время, когда большинство колхозников не могло на нем присутствовать. Так или иначе, план формально утвержден. Чтобы обеспечить себе поддержку колхозников, правление распускает слухи, что не позже августа месяца будет новая война. Вот и говорят: посеете хлопок на хорошей земле, с голоду подохнете. Раз война, значит, никакого подвоза хлеба не будет. Надо самим позаботиться о том, чтобы кишлак до будущей весны обеспечить своим хлебом. Ну, а большинство дехкан — народ темный, к тому же не вполне устойчивый, — середняки. Одурачить их нетрудно. Самое интересное, отгадай, кто все это дело раскрыл.

— Рахимшах Олимов?

— А ты откуда знаешь?

— Я? Да я так, по другой линии знаю.

— Олимов тебе говорил?

— Нет, не Олимов. Один дехканин говорил. Какая тебе разница?

— Чего ж ты мне об этом не сказал?

— А я сам узнал только сегодня.

— И что ты об этом думаешь? Помнишь Рахимшаха Олимова? Первый председатель колхоза, тот, что европейские плуги для парада держал, а пахал омачами.

— Ну и что ж тут удивительного? С тех пор два года прошло. Если б у нас дехкане не росли, на что бы тогда сдалась советская власть? Ты мне вот что скажи: какие указания ты дал Олимову?

— Пока никаких. Приказал ему вести индивидуальную раз'яснительную работу среди колхозников и добиться пересмотра плана без вмешательства района.

— Правильно. И никаких других мер, пожалуйста, пока не принимай. Иначе все дело испортишь. В крайнем случае, если им не удастся добиться пересмотра плана, пусть орудуют так, чтобы эти тридцать га начали сеять в последнюю очередь. Сначала, мол, надо хлопок, а то перед районом неудобно, а хлеб успеет потом.

— Я ему приблизительно так и сказал.

— Правильно. Теперь так: в колхозе создается здоровая ячейка из советски настроенных дехкан, — Рахимшах Олимов, Хаким-неудачник, вдова Зумрат, Мансур Насыров, еще пять-шесть человек менее сознательных. Это вполне закономерный процесс. Обрати на это внимание. Всю раз'яснительную работу в колхозе нужно, естественно, проводить через них. Рекомендую тебе особенно вдову Зумрат, — очень толковая женщина.

— Знаешь, за этот колхоз мне прямо в морду самому себе плюнуть хочется.

— Ничего, бывает. Ты не горюй. Помаленьку почистим. Актив вот растет, это главное. У тебя, брат, на этих тридцати гектарах целая коммунистическая ячейка вырастет, а ты еще в обиде. Ну, садись, давай ловить Пешевар...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

По узкому кавалеру, над зияющим ущельем магистрального канала, продвигалась гуськом небольшая группа людей. Впереди, перепрыгивая с камня на камень, шел Морозов в расстегнутой, мокрой от пота рубашке. За ним, надрасно пытаясь уловить ломаный ритм его прыжков, почти бежал запыхавшийся человек в синем гасконском берете в сопровождении Кларка и Андрея Савельевича. Человек в берете был иностранный писатель, молодой член зарубежной коммунистической партии, приехавший на строительство по заданию крупной левобуржуазной газеты. Иностраный писатель пробыл в СССР уже шесть месяцев, видел немало строителств и неплохо говорил по-русски. Все эти месяцы он жил в состоянии какого-то неослабевающего, напряженного восторга. Все, что он видел, было настолько грандиозно, что передать это способны были лишь слова благородного пафоса.

Накануне своего приезда в Таджикистан писатель получил письмо от редактора пославшей его газеты. В письме в чрезвычайно любезных выражениях сообщалось, что его корреспонденции, при свойственном ему блестящем стиле, рисуют жизнь Советской России в слишком пристрастных красках. Редактор предлагал писателю взглянуть на реализацию «великого русского эксперимента» более объективными глазами. В противном случае, несмотря на все уважение к его яркому и столь оригинальному таланту, редакция будет вынуждена к своему большому огорчению отказать от его корреспонденций, желая удовлетворить запросы читателей, требующих о новой России информации, абсолютно объективной и беспристрастной.

Писатель был немало озадачен. Ему не хотелось потерять большую и ответственную трибуну. Он не мог объяснить этим людям, что о здешних, пропитанных страстью днях нельзя писать беспристрастно. Он решил уделять больше внимания недостаткам, но, приехав на новое строительство, забыл о своем решении. Его увлекла эта

страна у заповедных ворот Индостана, страна, где среди хлопковых равнин ему показывали древние курганы, насыпанные рукою хромого Тимура, где пересекающие плато симметрические овраги оказывались следами древней, тысячи лет тому назад сооруженной оросительной системы. Его воображению рисовались полчища полуголых рабов, согнанных в эту пустыню волей безымянного хана выгребать самодельным кетменем в закорузлой земле овраг длиною в десятки километров, тащить на спине на высокие отвалы огромные кули породы.

Он видел сегодня в этом месте новый канал головокружильной глубины, осуществляемый во всеоружии новейшей техники людьми, единственно свободными в мире. В голове писателя зарождались десятки сравнений и исторических параллелей. Над ним, с птичьим верещанием лебедек, кружили нагруженные ковши экскаваторов. Перед ним по гладкому подьему конвейера карабкались вверх без помощи человека глыбы взорванной породы. Писатель остановился у конвейера и посмотрел вниз. Транспортер напоминал движущийся подьемный тротуар в Галери Лафайет. Где-то позади, по наклону, с грохотом пролетел бремсберг.

Морозов с деловитой точностью, указывая иностранцу на механизмы, называл тут же их проектную кубатуру, отдельные рекордные показатели, достигнутые на строительстве в результате социалистического соревнования. Писатель торопливо записывал в блокнот. Морозов не заглядывал в записки иностранца, а если бы заглянул, наверное удивился бы. На ряду с разрозненными цифрами он нашел бы там длинный, беспорядочный список технических терминов: шандоры, флюдбет, дреглейн, бункер, берма, думпкар. Иностранный писатель ооаивал технику через освоенные непонятных металлических слов.

У себя на родине техникой он никогда специально не занимался. Он видел Эйфелеву башню, в торговых портах ему случалось созерцать грузо-подъемные краны, с компанией туристов он посетил заводы Форда и Ситроена.

Он воспринимал машину как декоративный элемент, как элемент стиля «нашей эпохи», открытый современникам полотнами Леже и Делонея. В ежедневной практике он ощущал технику как рычаг современного комфорта. Попав в эту страну, он впервые увидел, что техника из «элемента стиля», из «рычага комфорта» может стать еще орудием раскрепощения человека. И когда страна раскрепощенных людей в ответ на его пламенное приветствие, полное литературных метафор, заговорила с ним на языке техники, он не сразу усвоил ее речь.

После трех месяцев пребывания он понимал уже, что нельзя быть поборником построения социализма и воспринимать бетонную арматуру как ручки от зонтиков, говорить о бесклассовом обществе и представлять себе паровой молот в виде изображаемого на знаменах, с приделанным к нему паровым шатуном. Тогда он стал жадно овладевать техникой, загружая память сотнями колючих терминов, ставших в этой стране обиходными, как хлеб и вода, а в его голове превращающихся в сплошной железный гул...

В том месте, где остановился Морозов, глубина канала достигала шестнадцати метров плюс метров двенадцать высоты отвала. На дне неровной скальной расщелины рабочие киркой и ломом крошили взорванные глыбы скалы и, подкатывая их на тачках, сваливали в воронки бункеров.

— Посмотрите сюда, — повернулся к иностранцу Морозов. — Это одна из наших лучших бригад, исключительно из рабочих-персов, бежавших от прелестей своего режима. Чемпионы по выемке скалы. Обосновались в Таджикистане, где каждый дехканин понимает их язык. Вы наверняка знаете, что таджики и персы говорят на одном и том же языке фарси, разница очень небольшая, преимущественно в произношении. Эти — сами организовались здесь в бригаду и закрепились до конца строительства.

— Персидские эмигранты! — воскликнул писатель. — Как интересно! У вас здесь — настоящий интернационал.

— Да, у нас почти Вавилонская башня. Андрей Савельевич, сколько у нас на строительстве национальностей?

— По подсчету постройкома шестнадцать.

— Подождите, сейчас проверим: таджики — раз, узбеки — два, казаки — три, киргизы — четыре, русские — пять, украинцы — шесть, лезгины — семь, осетины — восемь, персы — девять, индусы — десять, — да, да, есть и индусы, тоже эмигранты. Афганцы — одиннадцать, — афганцев несколько бригад, здесь и на третьем участке. Двадцать процентов шоферских кадров составляют татары, — это уже двенадцать. В мехмастерских есть немцы и поляки, — это четырнадцать. Среди инженерно-технического персонала есть грузины, армяне, есть евреи, — это уже семнадцать. Есть два американских инженера, один вот как-раз начальник участка, — это восемнадцать. Кого я еще забыл?

— Есть турки, товарищ начальник.

— Да, есть турки и есть туркмены. Двадцать национальностей. Статистика постройкома никуда не годится. Вот вам, товарищ писатель, маленький наглядный пример того, что социалистическое строительство у нас, на любом республиканском отрезке, производится действительно солидарными усилиями трудящихся всех национальностей...

Внизу, на дне расщелины, у крутой скальной стены, персы размеренными ударами дробили обломки породы. Внезапно в этом месте отклеился кусок стены, и огромный блок бесшумно сполз вниз, накрывая собою людей. Крика не было слышно. Несколько рабочих успело отпрыгнуть и застыло в остолбенении. Из-под отколовшейся плиты, извиваясь, как рыбы, напрасно пытались высвободиться двое людей.

Иностранец писатель смотрел расширенными глазами, не в состоянии сообразить, что именно случилось. Первым заметил происшествие Морозов:

— А, черт! Человека придавило! И не одного.

Он уже бежал по каменистому желобу конвейера, и скользящие из-под ног камни, опереживая его, с цоком

катились вниз. Кларк и Андрей Савельевич кинулись вслед за ним.

Иностранный писатель остался один на вершине отвала. Он не решался спуститься по головоломной дорожке: с'ехать на задку с высоты тридцати метров ему вовсе не улыбалось. Он продолжал стоять и, вытыгивая шею, бледный, смотрел вниз. Там, внизу, прошла сейчас смерть. Иностранный писатель был на войне, видел немало убитых. Вид смерти не производил на него слишком сильного впечатления. То, чего свидетелем он сейчас оказался, на языке техники называлось — несчастный случай. Он подумал, что, описывая строительство, обязательно нужно будет описать и этот случай. Тогда по крайней мере его не смогут обвинить в недостаточной объективности. Он даже подумал, какими фразами это можно будет лучше всего выразить: «Эта гигантская работа не обходится без жертв. Косная природа защищается от вторжения в ее царство социализма, как раньше защищалась от вторжения капитализма...» Он ощупал карманы и только сейчас обнаружил, что, прыгая по камням, потерял карандаш.

Внизу уже толпились набежавшие рабочие. Приподнять глыбу, подсунув под нее лом, оказалось не под силу даже полутора десятку человек. Нужно было расколоть ее сначала кирками, а потом уже оттащить по частям. Чтобы удары кирки не отдавали по телам придавленных, глыбу надо было колоть с другого конца, от стены. Отклеившийся блок вырвал у подножия стены глубокую выемку. Нависший над выбоиной выступ мог каждую минуту обвалиться и похоронить спасающих рабочих. Люди остановились в нерешительности.

— Ребята! — кричал Морозов. — Не оставим же их умирать! Скала мягкая, расколется от двух-трех ударов. Не может этого быть, чтобы наш советский рабочий на своих глазах дал погибнуть товарищам!

— А ну, Тарелкин! Чего задумался? Вали! — обратился Андрей Савельевич к подоспевшей на выручку русской бригаде.

— А по-моему, — нарочито громко сказал Тарелкин, — в беде — все одинаковые товарищи. Почему бы начальству не показать примера, как оно стоит за нашего рабочего брата. А то правильно вот говорит товарищ начальник: какой ты мне товарищ, раз рабочему в беде не поможешь?

«Ах, вот это и есть тот самый Тарелкин» — оглянулся Морозов.

— Ты что тут демагогию разводишь? — окрысился Андрей Савельевич. — Не хочешь помогать, не помогай, тогда и торчать тут нечего. Тоже спектакль нашел!

Морозов был уже у стены и ломом, вырванным из рук крайнего землекопа, с размаху долбил глыбу. После третьего удара глыба дала трещину. Кларк, Андрей Савельевич и еще пяток рабочих из бригады Тарелкина поспешили на подмогу. Не пошевелился один Тарелкин.

Глыбу, разбитую на несколько кусков, дружными усилиями отбросили в сторону, вытащив из-под нее четырех человек. Одному глыба раздробила ногу, другому левое плечо, третьему сломала ключицу и голень. От четвертого осталась сплюснутая кровавая масса.

Раненого перса с раздробленной ногой взвалил себе на спину Андрей Савельевич и, спотыкаясь, понес наверх. Второго подхватил Кларк с одним из русских рабочих. Третьего — два рабочих из бригады Тарелкина. Убитого подняли персы. Таджик из соседней бригады снял новый, еще не обношенный халат и расстелил его на земле. Персы с молчаливой благодарностью уложили на него убитого и, заслонив смятое лицо скрещенными руками халата, понесли труп к конвейеру. За убитым гурьбой двинулись рабочие. Когда шествие отошло шагов на тридцать, сзади сухо чавкнула скала, и подорванный выступ грузно осунулся вниз. Все оглянулись.

— Вишь, скала, и то знает: начальства не тронь! — раздался в общей тишине вызывающий голос Тарелкина. — Ей только нашего рабочего брата дави!

Шествие медленно продвигалось дальше.

— Долго будешь жить, Тарелкин,— отчетливо сказал Морозов, проходя мимо бригадира.

Он был уже у конвейера и, приложив рупором руки ко рту, кричал:

— О-ста-но-вить ка-бо-ту!

Оборвался дребезжащий лязг тачек. Последние куски породы ползли вверх. За обломками скалы поползла пустая лента.

— Остановить!

Транспортер остановился. Шествие с убитым подошло к конвейеру.

— Положите убитого на транспортер! — приказал Морозов.

Рабочие бережно уложили на широкую ленту разможенное тело в новом халате со скрещенными на лице рукавами. Казалось, что убитый заслоняет руками изуродованное лицо.

— Трогай!

Лента конвейера медленно потекла. Труп в пестром халате величественно и плавно поплыл вверх по отлогому скату кавальера. На восемнадцати экскаваторах протяжно загудели гудки. И вдруг, словно по данному знаку, восемнадцать экскаваторных стрел с пустыми ковшами взметнулись вверх и застыли, как в военном салюте. Труп в ярком халате медленно въезжал на вершину...

Выбравшись из канала, Морозов на гребне столкнулся с бегущим навстречу иностранным писателем.

— Изумительно! Изумительно! — повторял писатель. Глаза его горели.

— Что изумительно? — Морозов смотрел непонимающими глазами на человека в синем берете.

— Изумительно! Эти похороны! Как это величественно! Так не хоронили никогда даже генералов Великой французской революции.

— А-а... — буркнул Морозов. Он только сейчас вспомнил о существовании надоедливой гостя.—Извините.— Он повернулся к Кларку:

— Товарищ Кларк, прикажите, пожалуйста, немедленно прекратить работы на всем отрезке до восьмого пикета и вывести рабочих из траншеи.

Кларк вопросительно наклонил голову:

— Что вы хотите сказать? Я вас не совсем понимаю. Прекращаем работы?.. На как долго?

— Пока не выберем берегов до наклона 60 градусов.

— Товарищ Морозов, вы не знаете, что это значит. Это меньшей мерой тридцать тысяч лишних кубометр скалы. Это откладывает на месяц окончание строительства.

— А что же, по-вашему, лучше гробить рабочих?

— Это есть первый случай.

— Вы знаете сами, что эта паршивая скала раскалывается пластами, как глина. Осталось выбрать еще три метра глубины. Если сейчас имеем первый случай, то глубже будем иметь их больше.

— Да, но наш наклон берега, как он есть, значительно больше проектного. И потом, ни одна большая работа никогда обходится без фатальных случаев...

— У нас должна обходиться. Пожалуйста, дайте распоряжение. Вечером, часов в семь, приезжайте ко мне на совещание.

Кларк склонил голову и отошел.

— Значит, если я хорошо понял, вы решаете увеличить объем работ на тридцать тысяч кубометров? — спросил Морозова иностранный писатель.

— Приблизительно.

— И все это для того, чтобы избежать несчастных случаев с рабочими?

— А что же в этом удивительного?

— Видите, у меня на родине предприниматель предпочитает умерщвлять ежегодно триста рабочих, чем израсходовать лишние тридцать тысяч на оборудование.

— Да, но это у вас. Чего же вы смеетесь?

— Я вовсе не смеюсь. Перед моим приездом сюда я получил письмо от редактора газеты. Он пишет, что будет вынужден отказать от моих корреспонденций, так как они слишком пристрастны. Увидев сегодня этот несчастный случай, я решил упомянуть о нем в своей следующей корреспонденции,

чтобы показать, что отмечаю не одни только положительные черты. Если я теперь обо всем этом напишу, вы думаете, они поверят, что это объективно?

— А вы сообщите им, что мы опоздаем со строительством, они обрадуются, — злобно усмехнулся Морозов. — И напишите своему редактору, что пристрастие не только у вас: они допрашивают с пристрастием наших товарищей, мы с пристрастием работаем, а в результате получается объективный факт — революция. До свидания! Мне нужно еще отдать кое-какие распоряжения.

Три часа спустя в канцелярию к Кларку явилась группа рабочих.

— Чего хотели? — ошетинился Андрей Савельевич, заведя их на пороге. — Раз уж Тарелкин и Кузнецов тут, значит, без бузы не обойтись. Чего приспичило?

— Мы к товарищу начальнику, — выступая вперед, указал на Кларка Тарелкин. — Делегация.

— Какая еще делегация? Есть у вас свой рабочком и — никаких делегаций! Хоть сегодня бузить постыдились бы!

— Подождите, Андрей Савельевич, — поднялся Кларк, объяснявший иностранному писателю схему головного сооружения. — Они могут иметь какое предложение. Не надо тормозить рабочий инициатив.

— Предложение! — недовольно пробурчал уязвленный прораб. — У них одно предложение: как бы выработки поменьше, а заработки побольше.

— Я вас слушаю, товарищи.

— Да вот, сказали нам, будто работы на скале прекращаются, — берега, что ли, будут расширять, чтобы положе были, по случаю сегодняшнего обвала. Говорят, из-за этого строительство на месяц запоздает. Правда это?

— Да, это так, — подтвердил Кларк.

— Так вот, мы пришли заявить насчет того, что согласны работать добровольцами, как есть, чтобы без расширений. И никаких неприятностей от этого администрации не будет. Раз добровольцы, значит, по собственному соглашению.

— Администрация вряд ли будет принимать ваше предложение, — строго сказал Кларк. Он был взволнован неожиданным заявлением рабочих и боялся, что его голос дрогнет и выдаст волнение.

— Почему не будет принимать? — удивился Тарелкин. — Кто не хочет, пусть не работает. Подберем пять-шесть бригад из одних добровольцев. Больше не надо. Могут и подписку дать, что по собственному желанию.

— Хорошо, я буду передавать ваше предложение начальнику строительства. Но, я повторяю, администрация вряд ли будет соглашаться рисковать вашу жизнь, даже как добровольцы.

— Пусть уж администрация так шибко о нас не беспокоится, — выступил вперед Кузнецов. — Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Сами кричат, и на собраниях, и в газете, мол, строительство — это фронт. А раз фронт, значит, надо по-фронтовому. Ежели на фронте случится опасное дело, в роде разведка или вылазка, значит, кто охотник, тот идет. А неохота — оставайся, не принуждаем. Так и тут. Раз хотят ребята работать добровольцами, — значит, их дело, и администрация тут не при чем.

— Хорошо, я сегодня буду передавать ваше заявление начальнику.

Рабочие заторопились к выходу.

— Товарищи, — поднялся иностранный писатель, — разрешите мне пожать ваши руки.

— Чего? — удивленно уставились на человека в берете Тарелкин и Кузнецов.

— Я говорю, разрешите мне пожать ваши руки. Я тронут вашим героизмом, достойным рабочих страны социализма.

Тарелкин и Кузнецов переглянулись.

— Вы что, из газеты будете? — осторожно спросил Тарелкин.

— Я писатель.

— Да, писать в газетах вы мастера! — понимающе поддакнул Тарелкин, — а когда до дела дойдет, тогда ваших нет. Ты вот скажи им лучше, администрации-то, чтобы дуру не вяляла. А то, только и знай, кричат: то

мало вырабатываешь, то плохо работаешь, а хотят люди работать, — не дают.

Они осторожно пожали руку иностранцу, поправили козырьки кепок и исчезли за дверями.

Передав иностранного писателя одному из инженеров, Кларк отправился разыскивать Морозова. Он застал его на головном сооружении проверяющим качество бетона. Кларку не хотелось говорить при бетонщиках, он отозвал Морозова в сторону. Они спустились на перемычку и присели на каменном барьере у фонаря. Кларк вкратце изложил предложение рабочей делегации. Морозов слушал не перебивая.

— Вы кончили?

— Да.

— Так вот, все это — ненужное фанфаронство. Никаким добровольцам работать в условиях, опасных для жизни, мы не позволим. И пусть они бросят заниматься агитацией. Ко мне приходили уже ваши персы и заявляли: раз русские пойдут работать добровольцами, мы тоже встанем на работу. Скажите делегатам, если они хотят показать свое геройство, пусть его покажут без форса, в нормальных условиях, повышая норму выработки.

Кларк покраснел.

— Товарищ Морозов, вы есть начальник, решение остается с вами. Но позвольте мне оставить за собой особое мнение. Я думаю, то, что вы делаете, не есть правильно. Рабочие хотят ускорять окончание строительства, а вы не хотите допускать. Это есть тормозить рабочий энтузиазм. Это есть затирать рабочий инициатив. Это есть оппортунизм.

Морозов прищурил глаза.

— А стоять в стороне и смотреть, как рабочие убиваются, это, по-вашему, как называется?

— Я не стоять в стороне, — покраснел еще гуще Кларк. — Я приходил сказать, что инженерный персонал не должны отставать от рабочих и что я лично все время работ буду с рабочими в траншее.

Морозов поднялся.

— Извините меня, товарищ Кларк, я незаслуженно вас обидел. Я никогда не сомневался ни в вашей честности, ни в вашей отваге, ни в вашей глубокой преданности делу строительства. То, что вы предлагаете, очень трогательно и очень благородно. Особенно трогательно это слышать из уст иностранного инженера. Только, несмотря на все мое уважение к вам и к вашему поступку, как начальник строительства и ваш непосредственный начальник я не разрешу вам привести это в исполнение. Вы только-что назвали меня оппортунистом, и я на вас не обиделся. Думаю, и вы на меня не обидитесь. Я рад, что вы так быстро усвоили нашу политическую терминологию, но мне кажется, вы не совсем еще овладели ее содержанием. Рабочая инициатива — прекрасная вещь, но на то и существует авангард рабочего класса — партия, и на то партия поставила нас у руководства страной и строительством, чтобы мы направляли эту инициативу в надлежащее русло. Оппортунизм, дорогой товарищ Кларк, — это линия наименьшего сопротивления. Часто оппортунистом является не тот, кто отказывается возглавить неверно направленную рабочую инициативу и старается перевести ее на правильные рельсы, а именно тот, кто идет на поводу у такой инициативы, потому что подчиниться ей в данную минуту легче или выгоднее, чем ее направить.

— Вы меня не убедили. Ваша партия верно говорит, что строительство — это есть фронт. Командир на фронте никогда останавливается перед потерей несколько человек, чтоб ускорять победу. Вы есть враги и насмешники гуманизма, а сами поступаете, как гуманист.

— Ваша параллель неудачна. Плохой командир бросается своим красноармейцами, если может обойтись без потерь. Рабочая и крестьянская кровь, товарищ Кларк, это дорогая кровь. Когда будет в этом необходимость, — а она не за горами, — каждый из нас сумеет погибнуть просто и без лишних слов. Разбазаривать рабочую кровь тогда, когда в этом нет жестокой необ-

ходимости, — это преступление. Давайте, будем считать эту тему исчерпанной.

— Это есть ваше право. Я оставляю за собой свое мнение...

Зайдя в канцелярию прораба, Морозов с ужасом убедился, что уже четыре часа. Вчера он назначил ровно на четыре выезд комиссии к горе Ката-Таг. Гора находилась на границе второго и третьего участков. Он велел срочно разыскать иностранного писателя — надо было его приютить у себя и накормить обедом — и приказал шоферу гнать кратчайшей дорогой на Ката-Таг.

— Вы не очень проголодались? — обратился он к писателю. — Могу вас по дороге подбросить в столовую.

— О нет! Пообедаю потом, вместе с вами.

— Вместе с нами, это не всегда удобно: мы иногда обедаем поздно вечером. Но если вы действительно не очень голодны, вам интересно побывать на заседании нашей комиссии по разрешению проблемы Ката-Тага. Водхоз направил к нам из Ташкента для консультации по этой проблеме видного итальянского специалиста, консультировавшего уже одно из наших среднеазиатских ирригационных строителей. Вы увидите нашего прораба по консольному перепаду, американского инженера Мурри и таджикского инженера Уртабаева. Комиссия получается почти интернациональная.

— А что это за проблема Ката-Таг? Или это вопрос настолько специальный, что такой профан, как я, все равно ничего не поймет?

— Нет, чего ж тут непонятного! Магистральный канал на своем пути, на сто девяносто пятом пикете, натывается на гору высотой метров в пятьсот. Трасса проведена так, что канал срезает как-раз мыс горы. Профиль местности на этом отрезке резко понижается. Канал идет частично в насыпных дамбах, от шести до двенадцати метров выше уровня долины. У самой горы Ката-Таг, где местность понижается еще больше, разница между уровнем канала

и долины достигает двадцати пяти метров. Одним словом, с левой стороны канал имеет естественную насыпь — это гора Ката-Таг со срезанным мысом, а с правой — от лежащих внизу полей его отделяет насыпная дамба высотой метров в тридцать. Все это вы увидите на месте, тогда картина станет сразу более ясной.

— Нет, я понимаю.

— Так вот, проблема Ката-Тага — это проблема грунта. Для того, чтобы вода не просачивалась и не размывала насыпной дамбы, нужен устойчивый грунт. Между тем как-раз в этом месте мы имеем серозем. По-местному это называется «могильный пепел». Цветом и своей сыпучестью он действительно напоминает пепел. Кстати, я забыл вам сказать, что сама гора Ката-Таг считается у населения священной горой.

— Да? Это интересно!

— На ее вершине помещается небольшое кладбище — мазар, где покоится незапамятных времен прах каких-то мусульманских праведников. Между прочим не имею понятия, каким образом в те времена верующие втаскивали туда своих покойничков. Гора настолько крута, что вскарабкаться на нее очень трудно... Одним словом, мусульманское население, как полагается, считает, что праведники втащены туда и похоронены самим богом или, по меньшей мере, его пророком. Существует поверие, что только человеку, отмеченному особой милостью господней, дано добраться до вершины. Поскольку вход трудный и бог не любит горделивых, — из населения мало кто пробовал туда взбираться. Зато влезли один наш инженер и два техника, — у нас народ, как вам известно, любопытный. Два слезли целы и невредимы, а третий поскользнулся и сломал ногу. Конечно муллы широко использовали этот случай для своей агитации. Для нас легенды, связанные с этой горой, как вы сами понимаете, имеют не столько фольклорное, сколько политическое значение. Для проведения канала нам пришлось разворочать святую гору, отрезать у нее нос. Геологическая структура горы весьма ненадежна. Серозем легко вымывается водой.

Представьте себе, что мы пустим воду, вода начнет подмывать гору, и в один прекрасный день или ночь гора сядет и засыпет нам канал. Вода хлынет поверх дамб, затопит в три счета окрестность и разрушит всю мелкую оросительную сеть. У нас в этом месте — несколько колхозов из переселенцев. Не говоря о колоссальных убытках, о гибели посевов, — вы представляете, какая это пища для байской агитации?

— Да, это действительно проблема!

— Вот над разрешением этой проблемы и бьемся сейчас. Когда проводили здесь геологические изыскания и намечали трассу, водхозные разведчики, по глупости или по злой воле, не отметили опасности этого места. По правде говоря, трассы в другом месте провести было нельзя. Натолкнулись мы на это дело только при прокопке канала, за два месяца до пуска воды. Менять что-либо теперь — поздно. Весь канал уже прорыт. Нужно принять какие-то меры, которые предохранили бы нас от неприятных сюрпризов... Осторожно! Вы очень ушиблись?

— Нет, ничего. Немножко голову.

— Не привыкли еще к нашим дорогам. Тут вообще разговаривать в машине не рекомендуется, можно прикусить язык. Я настолько привык к этой тряске, что сплю в машине, как убитый.

— Но-о, спать, положим, в таком перманентно прыгающем состоянии довольно трудно.

— Уверю вас. Дело привычки. Вот мы, кажется, и приехали.

У подножия высокой дамбы стояли в ряд четыре легковых машины. Вскрабавшись на дамбу, Морозов и иностранный писатель увидели внизу, у экскаватора, живописную группу: Кирш, Мурри, Полозова, Уртабаев, итальянец, какой-то отутюженный юноша в модных носках, Рюмин и собака. Загоревшего итальянца в пестрой базарной тюбетейке иностранный писатель по неопытности, с места в карьер, принял за таджика, а спокойно, по-европейски одетого Уртабаева — за итальянца. Бритого и аккуратного Кирша он сразу было принял за американца, но стандартная трубка Мурри заставила его усомниться.

Один Рюмин со своим недвусмысленно рязанским лицом не вызывал никаких сомнений.

— Вот это и есть тот самый Ката-Таг, а вот вам и могильный пепел, будь он трижды проклят! — Морозов зачерпнул горсть серого грунта и протянул писателю.

Они были уже у экскаватора и, после взаимных представлений, неприятно колебавших в писателе веру в его способности определять людей с первого взгляда, двинулись вдоль канала.

Осмотр места длился недолго. Все, кроме итальянца и иностранного писателя, знали это место наизусть. Итальянец с многозначительным видом растерялся в пальцах серозем, пробовал на язык, достал из кармана какой-то флакончик (вероятнее всего с одеколоном) и, покапав на ладонь, размазал на ней щепотку могильного пепла. Получилась обычная грязь. Итальянец опрятно вытер руки шелковым платочком, посмотрел вверх, на гору, потом вниз, на вырытый канал, и сказал через переводчика, что все для него ясно и задерживаться здесь не имеет смысла. Все полезли обратно на дамбу и спустились вниз.

В полотняной палатке, разбитой шагах в пятистах, два мрачных раскулаченных осетина подали мороженое на настоящих десертных тарелках с лозунгом: «Общественное питание — путь к новому быту». Подкачали только ложки — большие и бесстыдно жестяные.

Морозов с самодовольным видом человека, утеревшего нос всем за границам, подвинул тарелку иностранному писателю.

Итальянец достал из кармана эту со складной серебряной вилкой, ножом и ложкой и в сосредоточенном молчании съел две порции, свою и Уртабаева. Затем, спрятав футляр в карман, вынул другое эту, достал сигару и, помяв ее в пальцах, с таким же внимательным выражением, с каким минуту тому назад мял зловоредный могильный пепел, воткнул ее тупым концом в рот. Переводчик почтительно щелкнул зажигалкой. Мрачные осетины угрюмо убрали посуду.

Переждав еще минуту, Морозов открыл обмен мнений, учтиво предоставляя первое слово итальянцу.

— Синьор Кавальканти говорит, — напевно изложил переводчик, — что пускать воду по такому грунту нельзя. Единственный выход, который он может предложить, это бетонировать все русло канала на опасном отрезке. Толстые бетонные берега предохранят, с одной стороны, от возможного размыва, с другой — укрепят подошву горы и предотвратят ее сползание.

Морозов быстро прикинул в уме: два километра, две тысячи тонн бетона, шестьсот тысяч рублей, шесть месяцев работы...

— Синьор Кавальканти считает, что это единственно реальный выход.

Категорический синьор сидел с равнодушным лицом хирурга, поставившего безапелляционный диагноз и согласно ждать ровно пять минут: решится пациент на операцию или не решится.

В палатке стояла тишина. Иностранный писатель, хлопая веками, переводил глаза то на Морозова, то на Кирша, пытаясь угадать по выражению их лиц, хорошо ли то, что предлагает итальянец, или плохо. Но лица Морозова и Кирша не выражали ровно ничего.

— Каково ваше мнение, мистер Мурри? — обратился Морозов к американцу.

— Мистер Мурри говорит, — перевела Полозова, — что он не может согласиться с мнением итальянского коллеги. Мистер Мурри считает иллюзией надежду на то, что бетонный берег предотвратит сползание горы. При тех постоянных просадках грунта, которые мы здесь имеем на каждом шагу, бетонное русло неизбежно даст трещины, и вода просочится в подошву горы. Гора неуклонно начнет сползать, и бороться с этим оползанием будет тогда еще труднее, так как при наличии бетонного русла нельзя будет для его расчистки применять экскаваторов. Само русло при просадках здешней почвы выдержит максимум до зимних дождей.

— Что же предлагает мистер Мурри?

— Мистер Мурри считает, что единственно реальный выход — оставить

гору в покое и провести канал над всей низиной железобетонным акведуком. Помимо того, что это даст нам возможность обойти ненадежную гору, это одновременно устранит опасность размыва дамб и прорыва воды в низину, а такой размыв при нормальном канале, в больших или меньших размерах, всегда будет неизбежен.

«Месяцев одиннадцать работ и миллиона два расхода» — лаконически прикинул Морозов.

Иностранный писатель вытаращил глаза. При всей своей технической малограмотности он понимал, что железобетонного акведука, даже в этой стране чудес, в месяц построить нельзя. В воздухе запахло катастрофой.

— Так... Кто из товарищей хочет слова? — невозмутимо продолжал Морозов.

— Разрешите мне, — отозвался с своего места Уртабаев.

— Пожалуйста.

— Я вполне согласен с той оценкой, которую дает господин Мурри проекту бетонного русла. Для всякого, кто хоть сколько-нибудь знает наши грунты, ясно, что от бетонного русла останется к следующей весне одно воспоминание. Не зря же мы строим здесь целый ряд сооружений — водосбросов и распределителей — временного типа, деревянных, чтобы только потом, когда грунт освоит воду и минует опасность значительных просадок, заменить их бетонными. Но я удивляюсь, что господин Мурри, учитывая эти свойства нашей почвы, не принял их во внимание по отношению к своему проекту акведука. Ведь просадки-то будут так или иначе. Надо учитывать влияние зимних дождей. Акведук не висит в воздухе, а тоже опирается о землю. Железные столбы, на которых он будет покоиться, тоже будут подвержены просадке. А что это значит? Это значит, что при более значительной просадке может подвергнуться разрушению акведук, и тогда уже вода затопит всю низину, тогда уже не будет никакого спасения. Мне кажется поэтому, что проект господина Мурри, самый дорогой и требующий огромного количества времени, не дает вза-

мен никакой гарантии безопасности. Наоборот, я бы сказал, что это для наших грунтов самый опасный из вариантов.

— Что же вы предлагаете, товарищ Уртабаев?

— Мне кажется, все мы сильно преувеличиваем опасность нашего серозема. Конечно вода через него просачиваться будет, но размеры этих прорывов вряд ли будут такие катастрофические, как это некоторым сейчас кажется. Я бы хотел сказать два слова о происхождении этого самого серозема. Я специально интересовался этим вопросом и порылся немного в здешней почве. Я пришел к выводу, что предположение, якобы серозем был специальной привилегией Ката-Тага, неверно. Полоса серозема тянется через все плато; правда, это довольно узкая полоса, и потому в других местах мы на нее не натолкнулись. А натолкнулись именно здесь, так как именно здесь русло нашего канала совпадает с руслом древнего оросительного канала, следы которого местами сохранились совершенно отчетливо. Если проследить трассу этого древнего канала, то легко убедиться, что она идет, с большими или меньшими отклонениями, в том же направлении, что и наш нынешний канал. Мы опередили наших древних предков на точность инструмента. У горы Ката-Таг оба русла совпадают. И неудивительно, — это единственно возможная трасса: правее — низина, левее — гора. Так вот, везде, где бы вы ни раскопали русло древнего канала, вы найдете этот самый серозем. Если хотите, проедем к нескольким точкам, где мы с товарищем Рюминым как-раз в последние дни из любопытства немного поковыряли почву. На разной глубине, приблизительно там, где проходило когда-то дно канала, вы найдете толстый слой серозема. Что это доказывает? Мне кажется, это может показывать только одно: серозем есть не что иное, как древний ил, покрывавший дно и скреплявший берега старого канала. Придя к этому выводу, я, естественно, заключил, что и в данном месте, у Ката-Тага, как и во всех других, серозем проходит узкой полосой. Попав

в трассу древнего канала, мы очевидно как-раз натолкнулись на эту полосу. Я с товарищем Рюминым порыл гору Ката-Таг в нескольких местах в сторону от трассы и серозема в ней не обнаружил. Следствия, я думаю, для каждого ясны. Если даже серозем окажется грунтом, сильно подверженным размыву, то все равно зона его очень ограничена. Мы можем считаться с обвалами горы толщиной до двух-трех метров. Этого конечно достаточно, чтобы запрудить канал, но это легко поправимо при наличии хотя бы одного экскаватора. Я кончил.

— Кто еще хочет слова?

— Можно мне?

— Говорите, товарищ Рюмин.

— Я хотел бы только прибавить к тому, что говорил товарищ Уртабаев, два-три замечания насчет насыпных дамб. Конечно из одного серозема дамб сыпать нельзя. Но кто же нам мешает глинизировать дамбы и вообще укрепить их более устойчивым грунтом, которого поблизости, здесь же, на участке, имеется достаточное количество. Подвоз этого грунта по сравнению с затратами, связанными с другими предлагаемыми здесь вариантами, не будет представлять больших затруднений. Во всем, что касается серозема и горы Ката-Таг, я полностью присоединяюсь к мнению товарища Уртабаева.

— Товарищ Кириш?

— Мне остается только подытожить мнение моих предшественников. Выводы товарища Уртабаева мне кажутся вполне убедительными. Предложения инженеров Кавальканти и Мурри имеют три основных недостатка. Они трудоемки и фактически лишали бы нас возможности дать в этом году воду к поливу через магистральный канал. Они дороги. При всей своей дороговизне и трудоемкости они не устраняют опасности прорыва воды в низину, а во втором случае, пожалуй, даже увеличивают эту опасность. Предложение товарищей Уртабаева и Рюмина имеет уже тот колоссальный плюс, что оно не срывает нам сроков нашего строительства, хотя, увеличивая объем работ, очевидно потребует значительной их интенсификации. С

другой стороны, оно относительно не намного удорожит стоимость работ. Я лично целиком за это предложение. Чтобы вполне застраховаться от возможных аварий, необходимо будет закрепить за этим отрезком на первых порах после пуска воды, может быть, даже не один, а два экскаватора. Что касается дамб, то в виду возможного их размыва я бы советовал произвести заблаговременную заготовку необходимого материала — камыш, проволока, кольца — и уложить его штабелями по линии канала, скажем, через каждые сто метров. Это даст возможность своевременно ликвидировать каждый прорыв. Вот все, что я хотел добавить.

— Что ж, будем считать наше совещание законченным?

— Можно мне еще слово? — попросил Мурри.

— Инженер Мурри говорит, — передала Полозова, — что предложение товарищей Уртабаева и Рюмина является фактически предложением сохранить status quo. Инженер Мурри предостерегает администрацию от такого решения и указывает на катастрофические последствия, которые повлечет за собой хотя бы частичное затопление окрестных полей. При общих трудностях, на какие строительство наталкивается по линии обеспечения новых земель достаточным контингентом переселенцев, это может запугать вконец дехкан и вообще загормозить дальнейшее переселение. Таким образом, спешка с окончанием строительства — единственный решающий аргумент в пользу предложения товарищей Уртабаева и Рюмина — окажется бесполезной. Земли будут в этом году орошены, но останутся пустовать и не будут освоены из-за отсутствия переселенческих рук. Инженер Мурри просит администрацию принять это во внимание и в протоколе сегодняшнего совещания зафиксировать его особое мнение.

— А знаете, — сказал Морозову иностранный писатель, когда они сидели в машину. — Я слушал внимательно отзывы всех товарищей. Не знаю, кто из них прав, а кто нет, — каждый как будто по-своему прав. Твердо я знаю только одно.

— Что именно?

— Я не хотел бы быть на вашем месте.

— Почему?

— Принимать на основании этого совещания то или иное решение... Какая жуткая ответственность!

Ответа Морозова писатель не слышал. Качнула машина, и он опять больно ударился головой о перекладину.

Мурри, тронувшийся с места последним, приостановил машину, пережидая, пока уляжется пыль. Полозова, облокотившись о шасси, смотрела на нависшую над низиной невзрачную серую гору с миниатюрным кладбищем на вершине: несколько сухих жердей с повязанными на них выцветшими тряпочками.

— Интересно, зачем русские товарищи устраивают такие совещания, заранее зная, что сделают по-своему? — раздался за ее спиной голос Мурри.

— Вы не правы, мистер Мурри. Вы хорошо знаете, что целый ряд ваших предложений был принят и применен строительством; может быть, не всегда в тех случаях, когда вы их предлагали. В данном положении, естественно, приходится выбирать наиболее простой и быстрый выход.

— Для того, чтобы остановиться на таком выходе, не надо было никаких комиссий. Ну, скажите сами, стоило ли выписывать специального консультанта из Италии, чтобы ему сказать, что он ничего в этом деле не понимает?

— Не язвите и не извращайте фактов. Во-первых, итальянский инженер не был сюда выписан специально для этой консультации, а консультировал уже раньше другое строительство. А во-вторых, никто не утверждал, что он ничего не понимает. Говорилось только, что он незнаком с здешними грунтами. Вы между прочим первый возражали против его предложения.

— Я вообще удивляюсь русским, зачем они приглашают сюда за валюту иностранных инженеров, людей старого опыта, привыкших к своим методам работы. Это имело бы смысл, если бы им предоставлялась в работе некая экстер-

риториальность: возможность применить свой опыт, работать по-своему. Но ведь такой возможности они лишены. Они в подавляющем большинстве не социалисты, а их заставляют применять так называемые социалистические методы труда. Они принуждены здесь проделывать с машинами вещи, которые в своей профессиональной совести считают техническим преступлением. Их предложения, основанные на многолетней практике, если они не обеспечивают достаточно стремительных темпов и головокружительных показателей, отклоняются как проявление старой рутины. В результате вместо того, чтобы, как об этом говорится, русские товарищи усваивали их технический опыт, их техническую культуру, — наоборот, их самих заставляют переучиваться по-новому. Это очень занятно, но зачем за это платить валютой? Наоборот, это они должны бы платить в валюте за свое обучение.

— Вы иронизируете? Вы не так уж далеки от истины. Насколько мне известно, в близком будущем ни иностранные инженеры нам, ни мы им не будем платить в валюте. Будем платить честными советскими рублями. По мере роста кризиса количество иностранных инженеров, готовых приехать к нам на любых условиях, лишь бы получить работу, настолько увеличивается, что никакая приманка в виде заработка в инвалюте больше не нужна. В особенности для инженеров, которым все равно незачем возвращаться на родину: они останутся там без работы.

— Если вы имеете в виду меня, то я давно уже решил отказаться от заработка в долларах.

— Я не имела в виду специально вас, но, если вы уже приняли такое благодарное решение, что же вам помешало осуществить его на практике?

— Меня попросил не делать этого мой приятель Кларк.

— Кларк? Вот это новость! Кларк просил вас не отказываться от жалования в инвалюте?

— Представьте себе.

— Это звучит довольно фантастически!

— И тем не менее это так.

— А из каких же соображений он просил вас об этом, если не секрет?

— Отнюдь! Какой же секрет? Вы знаете великолепно, что в вашей стране, в стране социалистического соревнования, каждый поступок, приносящий пользу вашему государству, становится моментально объектом соревнования. Для уклоняющихся от этого соревнования существует у вас позорная кличка: дезертир. Совершенно очевидно, что, если один иностранный инженер на строительстве откажется от своего жалования в инвалюте, примеру его должен последовать и другой иностранный инженер. Благодаря моему отказу мой друг Кларк очутился бы в очень затруднительной ситуации, так как он от своего жалования, при самом искреннем желании, отказаться не может. Как вам известно, у него в Нью-Йорке жена и ребенок. Оба живут на эти деньги и умрут с голода, если перестанут их получать. Поэтому как человек, привязанный к некоторым буржуазным предрассудкам в роде дружбы, я не считал возможным поставить моего друга Кларка в неудобное положение. Тем более, что он сам попросил меня повременить.

— Значит, все-таки только повременить, а не вообще отказаться от этой идеи?

— Вы сами понимаете, что в этом вопросе время не может ничего изменить.

— Почему? Кларк очевидно хочет как-то урегулировать этот вопрос. Может быть, не отказываться от всего жалования, а установить какую-то сумму, как алименты для ребенка...

— Вы же знаете, что там не один ребенок.

— Взрослые люди обычно зарабатывают сами.

— Не всегда. Для этого необходимы две элементарные предпосылки: чтобы данный человек вообще был приспособлен к работе и чтобы он имел объективную возможность найти какую-либо работу. Вы понимаете сами, что нельзя посылать деньги на прокормление ребенка и знать, что тому, кто воспитывает этого ребенка, нечего положить в рот.

— У нас эти вещи не представляют неразрешимой проблемы...

Она понимала, что Мурри завел с ней весь этот разговор нарочно, чтобы ее задеть. Больнее уколос Мурри было сознание, что Кларк, подробно обсуждавший вопрос с Мурри, скрыл его от нее. Или, может быть, весь этот разговор имел место уже после того, как они разошлись?

— Не знаю, как эти «роковые проблемы» разрешаются у вас, — сказала она, не в состоянии скрыть раздражения, — но знаю, что Кларк поступил очень... необдуманно, отговаривая вас от правильного шага только на том основании, что это может поставить его в неудобное положение, то-есть в той или иной степени задеть его амбицию. По правде сказать, удивляюсь немного и вам. Неужели все вопросы принципиального характера вы решаете не в согласии со своими убеждениями, а в зависимости от честолюбивых капризов ваших друзей?..

... Приехав в городок второго участка, Полозова сбегала в комсомольскую ячейку и, только управившись с текущими делами, собралась обедать. В опустевшей столовой она застала Морозова и иностранного писателя. Она устроилась за столиком в углу и в не особенно разговорчивом настроении принялась за суп.

— Мария Павловна! — окликнул ее с другого конца столовой Морозов. — А у меня с вашим Кларком вышла сегодня целая перепалка. Обозвал меня оппортунистом. Честное слово! Очень уж вы быстро познакомили его с нашей терминологией. Присаживайтесь к нам, расскажу. Большевикируется прямо не по дням, а по часам, только еще не совсем с того конца.

Выражение «с вашим Кларком» смутило Полозову. Она покраснела, подумала: нужно бы сказать Морозову, что с Кларком она больше не живет. Но сказать почему-то было неловко. Она послушно взяла тарелку и перешла к их столу.

— А вот как-раз и жена товарища Кларка, секретарь нашей комсомольской

ячейки, — познакомил с ней иностранного писателя Морозов.

У Полозовой и тут не оказалось нужных слов, чтобы разъяснить его заблуждение. Морозов и иностранный писатель вскоре поднялись и ушли, а она все еще подыскивала слова и, склеив наконец корявую фразу, обрадовалась, что сказать ее уже некому.

— Мария Павловна, — вернулся с дороги Морозов. — У меня сейчас совещание по поводу скалы. Забыл предупредить Мурри. Хорошо, если бы и он принял участие. Будьте добры, известите его и заходите вместе с ним.

Он ушел, не дожидаясь ответа.

Полозова подумала, что на совещании обязательно будет Кларк и избежать с ним встречи не удастся. Она не видела Кларка с момента их размолвки. Прошло с тех пор почти четыре недели. Не признаваясь в этом сама, она была уверена, что Кларк первый попытается загладить разрыв. Но Кларк не приехал и не извинился. Это задело ее еще больше. Она старалась о нем просто не думать, а избыток работы создавал все условия для осуществления этого решения. Неизбежная встреча вечером застигла ее врасплох. Прежде всего по их поведению Морозов сразу догадается об их разрыве. Тем неприятнее, что она не сообщила ему об этом сама и позволяла представлять себя чужим людям как жену Кларка. Оставалась одна возможность: Мурри, не в духе после утреннего совещания, может быть, не захочет присутствовать на вечернем.

У Полозовой пропала охота к еде и, не дожидаясь второго блюда, она поднялась и пошла на квартиру Мурри.

Мурри присутствовать на совещании не отказался.

Совещание, задуманное Морозовым как расширенное заседание треугольника, началось поздно. Синицын явился к девяти с третьего участка, куда он выехал еще с утра с уполномоченным контрольной комиссии. Гальцев не явился как началось поздно. Синицын явился почти без прений. Все соглашались с необходимостью во избежание дальнейших обвалов увеличить угол наклона

берегов канала на всем отрезке выемки скалы. По предварительным подсчетам, это увеличивало объем работ на тридцать с лишним тысяч кубометров и должно было оттянуть окончание канала на целый месяц. Морозову поручалось поставить об этом в известность Центральный комитет и правительство Таджикистана.

Кларк все время совещания мрачно молчал. Когда ему предоставили слово, он заявил коротко, что свою точку зрения он уже до совещания сообщил начальнику строительства, который отверг ее а priori. Добавить ему нечего. Заявление Кларка не дискутировалось.

Когда приступили к выработке более детального плана работ и распределения механизмов, Мурри поднялся и, ссылаясь на усталость и на недостаточное знакомство с работами головного участка, ушел домой. Полозова, сама не зная почему, не последовала его примеру, хотя делать ей здесь было нечего. Она убедила себя быстро, что, уйдя сейчас, не будет знать окончательного плана работ по скале и тем самым потеряет представление о совокупности работ строительства.

Когда совещание подходило уже к концу, внезапно распахнулась дверь, и вошел Гальцев.

— А ты бы попозже, — встретил его хмуро Морозов.

Гальцев бросил на стол потертую тубейку:

— Прямо с митинга.

— С какого митинга?

— На головном. Добровольцы митингуют. Против оппортунистического руководства строительством. Это вот его рук дело, — Гальцев кивнул в сторону американца.

Все глаза устремились на Кларка.

— Я вас не понимаю, — спокойно сказал Кларк.

— Говори толком, в чем дело, — резко приказал Морозов.

— Он вот не понимает, а мне расхлебывать приходится, — заартачился Гальцев. — Товарищ Кларк заявил сегодня бузотерам, что он лично за то, чтобы работать на скале так, как есть, только оппортунистическое руководство против.

Вот и пошло дело. Добровольцы пришли ко мне в постройком: «Созывай митинг!» Я их фактически послал куда следует. Пошли и созвали помимо постройкома. Мол, оппортунистическое руководство заодно с постройком хотят оттянуть на целый месяц окончание строительства, срывают сроки, установленные партией и правительством, душат рабочую инициативу, и всякая гадкая мура. Надо, мол, самим рабочим, наперекор гнилому руководству, взять дело в свои руки и к сроку довести строительство до конца.

— Кто же этим заворачивает? — заинтересовался Морозов.

— Заправляет Гарелкин, а примкнула к этому делу, ясно, вся шпана, все бузотеры с головного участка. Громче всех кричат те, которые ни в какие добровольцы идти и не собирались. Его вот, — он показал на Кларка, — в начальники выдвигают.

— Ну и чем вся эта волынка кончилась?

— Ничем не кончилась. Кое-как уломал. Надо, чтобы он сам, — Гальцев опять указал на Кларка, — завтра же с ними поговорил. А то выходит, будто у нас руководство участка противопоставляется треугольнику да еще перед рабочими свои споры выволакивает. Куда это годится?

Кларк сидел бледный и нервно барабанил по столу.

— Товарищ Морозов, — сказал он, когда в комнате водворилась неприятная тишина. — Я прошу вас мне верить. Никому из рабочих я содержание нашего разговора не передавал и подобное, что говорит этот товарищ, не говорил.

— Как не говорил? Ко мне ребята приходили в постройком, сами передавали.

— Вам это не могли говорить! Вы врете!

— Вот так фунт! Что же, мне ушам своим не верить? Говорит: все руководство — оппортунисты, а особенно, говорит, начальник. Не иначе, как сам в начальники мегит.

— Товарищ Морозов, прикажите этому товарищу сейчас выходить отсюда вон, иначе я отсюда выйду!

— Товарищ Гальцев, лишаю вас слова. Никто без моего разрешения больше слова не имеет. Спокойствие, товарищи!

Кларк встал и, взяв со стола кепку, вышел из комнаты.

— Вот вам новая история! — недовольно пробурчал Морозов. — Товарищ Полозова, идите-ка, введите его в оглобли.

Полозова послушно встала и вышла за Кларком.

— Тебе, Гальцев, за оскорбление американского инженера запишем выговор, а независимо от этого пойдешь и попросишь у него извинения.

— Товарищ Морозов, — ей богу! — ну что он мне в глаза врет: «не говорил». Вся буза ведь из-за него. Демагогией перед рабочими занимается, а я пойду перед ним извиняться.

— Пойдешь. Раз товарищ Кларк уверяет, что не говорил, значит, не говорил.

— А откуда же рабочие знают?

— На участке уши и языки длинные. А оскорблять иностранных инженеров никто тебе не разрешал и не разрешит. Понятно?

— У тебя, Гальцев, вообще, кажется, язык плохо подвешен, — строго поддержал Синецын. — Сколько уже у тебя выговоров? Если думаешь, что выговоры можно коллекционировать, как почтовые марки, то не забывай: до полной коллекции тебе недостает не так уж много.

Гальцев виновато почесал затылок и ничего не ответил.

Полозова нагнала Кларка внизу у террасы.

— Кларк!

— Да?

— Это я. Можно мне с тобой минутку поговорить? — спросила она по-английски.

— Пожалуйста!

— Давай пройдемся вот по этой дорожке.

— Я тебя слушаю, Мэри.

При звуке своего имени Полозова смутилась. Она заговорила быстро, не глядя на Кларка:

— Я тебе хотела сказать прежде всего, что ты не прав...

— Это я знаю. Не было еще такого случая, когда бы я был прав.

— Это тоже неверно. Давай не ворошить старого. Я хочу тебе сказать, что ни я, ни Морозов, ни никто из присутствующих, за исключением разве Гальцева, не думает ни минуты, что ты действительно говорил это рабочим.

— Почему же тогда товарищ Морозов позволяет меня оскорблять?

— Вовсе не позволяет, он лишил Гальцева слова

— Надо было велеть ему выйти вон.

— Извини меня, но ты не имеешь никакого права диктовать начальнику строительства, как ему вести собрание. Хорошая защита — на оскорбление отвечать оскорблением. Если тебе нужно было удовлетворение, ты его получил. Может быть, не согласно нашим обычаям, но согласно обычаям, принятым у нас. Думаю, ты не требуешь, чтобы для твоего удовольствия вводили бы здесь кодекс буржуазного приличия.

— По отношению к мелкому буржуа нужно соблюдать буржуазные правила приличия.

— Не остри. Никто тебя здесь не считает мелким буржуа.

— Никто?

Полозова притворилась, что не слышала вопроса.

— Морозов говорил мне еще сегодня, рассказывая о вашем утреннем конфликте, что ты большевизируешься не по дням, а по часам. Только он правильно заметил, что не совсем с того конца. Подвергать опасности свою жизнь для скорейшего окончания строительства, это — очень красиво, но это еще не по-большевистски, поскольку нет в этом прямой необходимости. Рыцарское благородство не есть еще большевизм. Большевизм — это...

— Знаешь что, Мэри? Не кажется ли тебе, что эта русская мания читать на каждом шагу наставления может свести с ума даже человека, искренно желающего многому у вас научиться? Уверю тебя, за все время моего детства, пока я бегал в куцых штанишках, я не наслушался столько наставлений,

сколько за один год моего пребывания здесь.

Полозова рассмеялась:

— Что же делать, когда тебя надо учить и учить. Если б мы тебя обучали с детства, наверное тебе не пришлось бы сейчас столько переучиваться. А главное, никак не выколотить из тебя этого упрямства и фальшивого честолюбия. Понимаешь, что поступил неправильно, а признаться в этом перед другими не позволяет амбиция. У нас эту амбицию выжигают каленым железом. У нас... да ты опять скажешь, что это — наставления.

— Это просто неверно. Я охотно признаю свою неправоту, если в ней убеждаюсь.

— Ну, зачем врать? Скажи сам, признал ли ты хоть раз, что был неправ?

— Признал.

— Например?

— По отношению к тебе был неправ.

— Джим!

— Если можешь мне это простить просто и без наставлений, то давай больше об этом не говорить. Здесь стоит моя машина, поедем ко мне. Завтра утром отвезу тебя обратно на работу.

— И больше об этом не говорить?

— И больше не говорить.

— Ну, хорошо. А перед Морозовым за сегодняшнюю историю извинишься?

— Извинюсь. Но завтра. До завтра ведь ничего не случится.

Он взял ее за плечо и подвел к машине.

... В пустой квартире Кларка сиротливо попискивало забытое радио. Кларк выключил приемник и завозился у стола. Полозова заметила, как он быстро сунул что-то в ящик и накрыл газетой.

— Раздевайся, я вскипячу чай.

Он вышел в сени. Слышно было, как в его неумелых руках страдальчески кряхтит примус. Полозова мгновение поколебалась. Потом, покраснев, бесшумно приоткрыла ящик и отодвинула газету. Под газетой лежало английское издание «Вопросов ленинизма» и русский учебник диамата для рабфаков. Она тихо задвинула ящик и, заметив в

зеркале свое покрасневшее лицо, рассмеялась.

Проводив задержавшихся после совещания Кирша и Уртабаева, Морозов потушил свет и устало грохнулся на постель. Он уже задремал, когда услышал сквозь дрему осторожный стук. Морозов вскочил и босиком пошел к двери.

... За окном тысячью неуловимых шорохов росла ночь, шуршащая, как трава. Тишина, накопившаяся в комнате, стала весомой и тяготящей. Первой пошевелилась Даря.

— Иван!

— А?

— Не спишь?

— Нет.

Она приподнялась на локте:

— Чего это ты запретил добровольцам работать на скале?

— Осточертели мне эти добровольцы! Целый день из-за них возня. Остатки бы хоть ты меня с ними в покое.

— Что ж это, выходит, я напрасно старалась?

— А это твоих, что ли, рук дело?

— Нет, сначала заговорили об этом ребята из бригады Тарелкина. Но по первачку мало было охотников. Больше отмигивались. Тогда я настрочила своих баб. Решили, что наша бригада идет вся, как есть. Ну, а раз бабы не боятся, тут уж мужикам бояться стыдно. Записался почти весь участок.

— На кой чорт тебе было разводить всю эту антимонию?

— Строительство опоздает, кому за это шею намылят? Небошь, тебе! Думала, спасибо скажешь, а ты — черты хатся.

— Ты, пожалуйста, такими онерами мне не помогай. Я уж как-нибудь сам... А вечернюю бузу с митингом тоже ты заварила?

— Не, это Тарелкин. Подслушал, как ты днем с американцем разговаривал, — будто американец обругал тебя, за наших, за добровольцев заступался, — и давай против тебя агитировать! Я ж тебе говорила: у него против тебя зуб. Как же ему такой случай упустить?

— Сволочь твой Тарелкин, вот кто... — пробормотал Морозов, засыпая.

Через минуту его ровное дыхание наполняло уже комнату. За окном тускло белела луна — перламутровая пуговица на стеганом одеяле неба. Даря присела на постели. Морозов спал, откинувшись навзничь, лицо в мутном свете дуну. Даря тихо окунула руку в его волосы, густо исчерканные сединой, долго, осторожно прикосновениями губ целовала его лицо, шершавое от ветра и от ранних морщин. Морозов спал, сонной рукой отмахиваясь от ее поцелуев, и бормотал что-то невнятно. Даре показалось, что он повторяет ее имя. Она жадно прилипла ухом к его рту.

— ... Аму-Дарья... Пяндж... триста тысяч кубометров воды...

Лунный свет на полу, как разлитая ртуть, дрогнул и скользнул в угол. За окном размеренно, как люлька, укачивая ко сну городок, стучала водокачка. Где-то на участке тревожным гудком аукнулся экскаватор. Приближался рассвет.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В этом году из-за продолжительных холодов посевная пришла позже и, хотя готовились к ней давно, нагрянула, как всегда, неожиданно.

Еще задолго до окончания дождей по узкому перешейку насыпи, через покрытые снегом поля, из Сталинграда в Сталинабад ползли длинные составы крытых брезентом платформ. Составы застаивались на станциях, гремели буферами и отбывали дальше, в ночь, в снежную хлябь степей. Иностранные корреспонденты, застрявшие на путях, настороженно слушали лязг гремящих эшелонов и, жадно высунув головы из окон спальных купе, ловили знакомую возню ночной переборски частей, пытаясь по грохоту колес определить, к какой именно границе. Иностранные корреспонденты не ошибались: составы шли на юго-восточный фронт, перебрасывая свой гремучий груз к границам Индии и Афганистана. Они везли трактора, трактора, трактора, дивизионы тракторов из черноземного, снежного Сталинграда в Сталинград песчаный и

субтропический (ибо таджикское слово «абад» равносильно русскому «город»).

Посевная разразилась над республикой, как первая весенняя гроза, распахнула настужь окна и двери запаутиневших за зиму учреждений, разворошила кипы бумаг и выкинула людей из канцелярий на поля выращивать в живой земле цифры, выведенные в теплицах госплана.

По полям с оглушительным рокотом, волоча животами по земле, ползли бурые тучи. Это шла пыль, взъерошенная табунами тракторов. Протяжно звенел, запутавшись в проволоках, стремительный вихрь телеграмм («посевная вне очереди»), и свинец типографских букв (кегель 20, дубовый) гудел набатным басом с заголовочных вышек газетных столбцов. Такими голосами в других странах говорит лишь всеобщая мобилизация.

Сталинабад опустел в один день, стал вдруг тих и провинциален, без единой легковой машины: все автомобили, подхваченные ветром посевной, как брызги, разлетелись по районам. Телеграф сотней пристальных молоточков выстукивал воспаленное тело республики. Люди в эти дни говорили цифрами, словно перешли на условный шифр. Секретари районов, висая ночью у прямого провода, как азартные биржевые игроки в дни небывалого ажиотажа, кричали до хрипоты: Шахринау 42 проц., Джилкикуль — 38, Курган-Тюбе — 51, Ходжент — 64. На опустевших улицах Сталинабада, как попугаи, на ошипанных стволах фонарей картаво повторяли эти цифры громкоговорители.

В этот год посевная площадь египетского хлопчатника в республике должна была увеличиться по плану на 100 000 га. 80 проц. этой площади составлял орошаемый впервые массив между Вахшем и Пянджем. Когда распространилась весть, что начинают запахивать испокон веков безводное плато, из отдаленных кишлаков прискакали стройные всадники в франтовато повязанных чалмах. Было непонятно, откуда в разгар посевной набралось вдруг столько праздного народа. Посвященные говорили, что далеко расположенные

колхозы делегировали по одному своих лучших джигитов, обязуясь отработать за них и засчитать потерянные трудодни, лишь бы получить от очевидцев отчет о небывалом спектакле. Всадники стояли вдоль всего плато, как пикеты, на своих поджарых конях и удивленно вытягивали шеи или с гиком мчались напрямик, обгоняя трактора, чтобы взглянуть спереди на надвигающуюся лавину.

Трактора шли и шли широкой стрекочущей лавой, неустойчивые, как саранча. Казалось, идут их тысячи, — так далеко, до горизонта, тянулась за ними взлохмоченная пыль. Волны железного престока летели за Пяндж, и, вдыхая переклестывающую через реку советскую пыль, настороженно слушал их непонятную музыку афганский дехканин, затерянный среди необозримых пространств вместе с крохотным клочком земли, исцарапанной его самодельным омачем.

Трактора шли напролом, через бугры и логи, карабкались по скатам холмов и сползали в ложбины. Огорошенные их клетотом, стада джайранов искрами прыскали в степь, спугнутые с нагретых стоянок. К концу первого дня перед линией тракторов неслись их целые табуны. Человек, едущий навстречу тракторной колонне, видел сначала скачущих в панике развернутой цепью джайранов и только в нескольких километрах за ними — шагающую через плато стрекочущую стену пыли. Джайраны недавно вывели молодых, молодые на своих тоненьких ножках не могли угнаться за взрослыми, их ловили голыми руками, и к концу второй смены мало у кого из трактористов не сидел на коленях пегий длинношей козлик с бархатными, смертельно перепуганными глазами.

С гор, на металлический гам слетались стаи облезлых стервятников, лова знакомые грохоты войны. Они долго кружили в воздухе, равнодушные к брани трактористов, и улетели осовевые, окончательно убедившись в своей ошибке.

Из поселков, выросших в пустыне за последние недели, выбегали толпы людей и, заслонив ладонью глаза от солнца, смотрели на проползающие мимо

тракторные колонны, словно принимали парад, рукой, прислоненной козырьком ко лбу, отдавая честь проходящим. Это были колхозники из новых переселенческих колхозов, призванных освоить орошенную целину: таджики из далекого горного Дарваза, узбеки из цветущих хлопком долин Ферганы, киргизы с той стороны Алайского хребта, перекочевавшие сюда вместе со своими войлочными домами, чтобы на вчерашней пустыне закончить извилистый путь кочевья, отпустив на волю верблюда, впервые стреноженного тугими веревками арыков.

Трактора шли в рыжем облаке пыли, предшествуемые зелеными стаями фаланг и всякой ползучей твари, потревоженной в своих заповедниках, шли с храпом и фырканьем, как стадо тупорылых кабанов. К вечеру пыль улеглась, и лишь взрытая, развороченная земля свидетельствовала о их бурном нашествии.

Трактора шли и шли, день и ночь, еще день и еще ночь. За тракторами громыхали походные кухни, и неотступно по пятам шел бесконечный караван верблюдов, груженных бидонами с горючим. Другая вереница верблюдов, вьюченных пустынями бидонами, шла обратно на базу. Вереницы верблюдов текли размеренно, как возвращающаяся лента конвейера.

На строительстве спешно заканчивали мелкую групповую и картовую сеть, бросив на третий участок все наличные мелкие механизмы, от волокуш и скреперов Фресно до суданского канавокопателя и элеваторного грейдера, составивших до сих пор неотъемлемую гордость рюминского участка. В том, что мелкая сеть будет закончена к сроку, никто всерьез не сомневался. Когда заговаривали о поливе, глаза всех обращались с опаской на головной, откуда днем и ночью доносилась приглушенная канонада: на головном рвали новые тысячи кубометров конгломерата.

Посевная шла через строительство, поглотив значительную часть тракторного парка, и настойчивым клетотом тракторов торопила, нервировала, взвинчивала. Каждый знал: если вода к мо-

менту полива не будет пущена через магистральный канал, 80.000 га вспашки и посевов хлопчатника пропадут даром.

В эти дни на строительстве люди ходили заросшие и исхудалые, с веками, припухшими от бессонницы, говорили мало, раздражались и возвышали голос из-за каждого пустяка. Все знали: время, оставшееся до полива, высчитано до одной минуты, и день простоя одного из основных механизмов мог решить, что вода к сроку подана не будет.

Волновал и беспокоил вопрос переселения. Пахота приближалась к концу, а 50 проц. предполагаемой к орошению земли оставалось до сих пор не обеспечено переселенцами. Морозов звонил в Сталинабад, крыл до хрипоты районные и республиканские организации, но не мог добиться перелома. По неизменному заявлению Переселенцентра вербовка переселенцев наталкивалась на неподвижные трудности в виду упорно циркулирующих слухов, что новые земли из-за задержки строительства не будут в этом году обеспечены водой. Сталинабад требовал гарантий, что вода к поливу будет подана неукоснительно. Морозов плевался в трубку и уходил на участок.

Районная парторганизация, в лице Мухтарова, не полагаясь на центр, прилагала все усилия, чтобы обеспечить переселенцев хотя бы часть вновь осваиваемых земель. Это Мухтарову лично удалось сагитировать осесть на землю киргизов-верблюжатников, обслуживавших строительство своим верблюжьим транспортом, и организовать из них два колхоза. Еще два колхоза удалось организовать из афганских дехкан-отходников, работавших ручниками на строительстве. Все это не разрешало вопроса.

Мухтаров постепенно терял загар, из коричневого становился зеленым. Посевная в районе шла неудовлетворительными темпами. «Коммунист Таджикистана» каждый день трезвонил об этом на всю республику. Того гляди, запишут на черную доску. Треклятый совхоз, зеница ока, не вылезал из прорыва и портил все процентные показатели. Вдобавок ко всему — новый неосвоен-

ный массив. Трактора вспашут, засеют, а дальше что? Как быть с орудкой?

Одолеваемый невеселыми мыслями, Мухтаров возвращался пешком с обхода переселенческих колхозов. Свернув в поселок Ката-Тагского прорабства, он зашел в контору попить воды. В конторе было прохладно и пусто, за столом, уткнув голову в руки, спал Уртабаев. На шум открываемой двери Уртабаев вскинул голову и посмотрел на Мухтарова воспаленными глазами.

— Здорово, Саид! — окликнул его от порога Мухтаров. — Как дела? Воду-то к поливу дадите или не дадите? Скажи по секрету, как старому товарищу, а то, шут вас знает, чего держаться.

— А ты сначала дай переселенцев. На чорта сдалась наша вода, если осваивать землю будет некому.

— Я вам не Переселенцентр. Спрашивайте у наркомзема Таджикистана.

— Вот тебе-то как-раз и надо у них спрашивать.

— Вы хоть для моих колхозов воду дадите? Как-никак я вам парочку колхозов организовал.

— Видел я твои колхозы, Джалиль. Мало от них радости. Я не про афганцев говорю, — афганцы ничего, народ к земле привычный, помаленьку и к хлопку приспособятся, — а про верблюжатников про твоих, про киргизов. Люди никогда в жизни омача не держали, сидеть на одном месте не привыкли, а ты их одним махом на землю посадил, да сразу за самую трудоемкую культуру, за хлопок. Они у тебя после первой орудки сбегут. Пока трактор пашет, трактор сеет, только стой и смотри, — это дело очень даже им нравится. А вот надо будет выйти в поле с кетменем, окопать каждый кустик да потом еще раз окопать, да потом еще, — это, брат, шутишь! — смеются ночью свои хибарки, и только мы их видели.

— А, по-твоему, кочевников на землю сажать не надо, потому что они — народ к этому непривычный? Посидят и привыкнут.

— На землю сажать их надо, только не с места в карьер за самые сложные культуры. Ты их сначала хлеб сеять выучи. Хлеб — дело простое: весной

посеял, летом сжал, молоти и кушай. А с хлопком, сам знаешь, круглый год возня. И уход какой! Для этого землю любить надо, повадки ее изучить. Сноровка нужна, а ты из человека, который землю никогда и пальцем не ковырял, с верблюда не слазил, хлопкороба в два месяца сделать хочешь. Видел я твоих хлопкоробов. Построили им жилые дома, — до сих пор пустые стоят. В юртах живут. На моих глазах уже три раза стоянки меняли. «Нам, — говорят, — так удобнее: поле под боком». Они тебе, окучивая два гектара, шесть раз стоянку переменяют. Пока будут забивать свои колышки, у тебя земля шесть раз шкоркой покроется.

— А что, лучше было никаких колхозов не организовывать?

— По-моему, лучше. Так бы и знали: нет и нет. Хоть тресни, а переселенцев раздобыть надо. А так эти два колхоза — все равно одна видимость. Числится колхоз, а месяца через два будет пустое место.

— Это еще как сказать!

— Помянешь мои слова.

— Что ты мне Америки открываешь! Думаешь, сам не знаю? Знаю лучше тебя! Откуда я тебе других переселенцев возьму?

— С гор их, что ли, переселить трудно? Там народ на клочке земли сидит, прокормиться ему нечем. Сколько лет уже разговор идет: переселить таджиков из гор в долины? Агитации рациональной развернуть не можете, вот что!

— Тебя бы назначить главным агитатором, ты бы, может, сагитировал... Дураки они — бросать горы и жариться тут на сковороде! В горах выросли, им там и голодать приятнее, чем здесь, в духоте, плов каждый день кушать. Их тут всех малярия затрясет.

— Но, но, не сочиняй! Сколько гармцев и дарвазцев осело уже в долинах? Вот хотя бы в Аральском районе. Да и у нас!

— А сколько ушло обратно?

— Всегда с этим надо считаться. Часть акклиматизируется, часть уйдет. А потом есть еще другой неисчерпаемый источник переселенцев — Фергана. Потомственные хлопкоробы. При тамошнем

перенаселении и по гектару на человека не приходится, а здесь даем по два с половиною. И климатические условия те же. Прямой расчет.

— Ферганцы — народ требовательный. Их здесь устрой, посади им сады, а они приедут фрукты собирать. Одно дело жить в старой культурной полосе, а другое — приезжать на голое место, выращивать все своими руками. Мы им таких условий, как там, создать не сможем.

— Условия сможете создать лучшие. Вопрос о хлопковой независимости решается здесь, а не в Фергане. Каждый согласен с тем, что это обойдется нам в копейку. А, по-твоему, выходит: переселенцев сюда жареной бараниной не заманишь, и вообще брать их неоткуда.

— Во всяком случае, это гораздо более сложный вопрос, чем тебе кажется. При наличии всего-навсего миллиона с лишним таджиков в пределах нынешнего Таджикистана и Узбекистана много из этого не выкроишь. Возрастающих с каждым годом культурных площадей этим не заселишь. Разве что будешь по очереди оголять один район, чтобы заселять другой. У русских есть сказка про одного дехкана, который обрезал у халата полы, чтобы удлинить короткие рукава, а потом, увидев, что халат стал куц, урезал рукава, чтобы наставить полы. Мы, с нашим миллионным населением и с нашей площадью в 140.000 квадратных километров, напоминаем этого русского дехкана. И очевидно будем его напоминать до тех пор, пока перед нами не откроются новые ресурсы.

— Какие ж это ресурсы?

— Ты, надо полагать, знаешь, не хуже меня, что наш советский Таджикистан не охватывает даже четвертой части всех таджиков.

— И что из этого?

— Вот тебе и ресурсы, без которых нам не обойтись.

— Но-о?

— У меня слабость к статистике. Я не пожалел труда и подсчитал, на основе английских и афганских источников, сколько таджиков живет в отдельных провинциях Афганистана. Могу тебе

сказать точно. В Катагане и Бадахшане — 621.000 человек, в Кугистане — 539.000, в Герате — 394.000. Не считая таджиков, проживающих в самом Кабуле, ни миллиона хозарейцев, которые, не будучи таджиками, все же говорят на таджикском языке. В Индии, в Читрале, живет таджикское племя йидга, родственное мунджанцам, а Гилгитская долина населена значительными группами ваханцев. Точного количества ни тех, ни других, к сожалению, никак нельзя выяснить.

— Ну, а дальше что?

— На следующий день после революции в Афганистане проблема человеческих кадров у нас разрешится автоматически: переселяй и перегруппировывай, как хочешь.

— А до этого?

— А до этого будем резать и наставлять куцый халат.

— Тю-тю! Ты давно пришел к таким интересным выводам?

— Давно. А что? Это, по-твоему, ужасный уклон. Не бойся, это — моя личная точка зрения, которой не собираюсь проповедывать.

— Этого бы только нехватало. Ты, Джаалиль, не артачься. Ты просто не подумал пока-что своей концепции до конца.

— Ты вот знаешь русские сказки о куцом халате, а не знаешь русской пословицы: кто сказал «А», тот должен сказать «Б». Если нынешний Таджикистан — это куцый халат, то возможно ли вообще развертывать здесь полным ходом социалистическое строительство, которое все время будет упираться лбом в нехватку местных кадров? Не рациональнее ли подождать с этим до революции в Афганистане? В частности можно ли говорить о строительстве таджикской социалистической культуры в стране, не охватывающей даже четвертой части всего таджикского народа? Не будет ли это культура лишь одной таджикской провинции? И не стоит ли вообще все дальнейшее развитие Таджикистана в прямой зависимости от того, будет ли в ближайшее время в Афганистане революция или не будет?

— В известной степени конечно зависит.

— Вот, вот! С такими взглядами, дорогой Джаалиль, сам не заметишь, как в одно прекрасное утро станешь знаменем националистских и контрреволюционных элементов. Не улыбайся. Хочешь этого или не хочешь, — в данном случае неважно. Не забудь, что наша родимая контрреволюция тоже выдвигает в качестве своего лозунга заботу о привлечении съезда братьев-таджиков с той стороны Пянджа. А отсюда прямой вывод — борьба против хлопка, как ведущей культуры: хлопок, мол, для дехкана не рентабелен; хлопок чересчур трудоемок; хлопок отпугивает хлебороба; если откажемся от хлопка, афганские таджики хлынут к нам волной...

— Что ты мне пришиваешь какие-то контрреволюционные бредни!

— Ничего не пришиваю. Раз вопрос о привлечении на нашу территорию новых национальных кадров — действительно вопрос основной и решающий, тогда для его разрешения все средства хороши. Почему бы нам во имя этого не отказаться от хлопка? Знаешь что, Джаалиль? Если так любишь статистику, мой тебе совет: поменьше занимайся таджиками в Афганистане, а побольше подсчитывай те кадры, которые растут у тебя в районе. Руководишь районом недалеко от границы, создай в нем такие образцовые зажиточные колхозы, чтобы таджикские дехкане из Афганистана, не дожидаясь революции, уже сейчас целыми семьями и кишлаками стремились в твой район.

— Не учи меня политграмоте. Я тебе говорю: дай мне восемь, много восемь, — пять тысяч трудоспособных таджикских дехкан, и я тебе эту долину превращу в цветущий оазис, не хуже ферганского.

У входа в контору задрезжала машина. Вошел Синицын:

— Рюмина здесь нет?

— Нет, Рюмин на сто тридцатом пикете.

— А, здорово, Мухтаров! Хорошо, что тебя вижу. Все время хочу к тебе заехать и никак не выберусь. Послал к

вам в прокуратуру уже декаду тому назад дело о Переселенстрое, и до сих пор ни слуху, ни духу. Сегодня в новом поселке у дарвазцев развалилась половина кибиток. Люди остались без крова.

— Как это развалилась?

— Очень просто. Взяли и развалили. Материал такой заготовили, сукины дети, строители. Гнилой камыш. Явное вредительство. Хотят нам таким манером развалить колхозы. Горцев оставить на жаре без крыши! До этого надо додуматься! Вот что, я говорил по этому поводу с Комаренкой. У него достаточно эффектные данные. По его сведениям, в управлении Переселенстроя на шесть человек — четыре бывших белогвардейца и один осетинский князь. Для одного учреждения хватит. Очевидно все колхозные поселки понастроили, мерзавцы, с таким расчетом, чтобы через месяц-другой обвалились. Ты посмотри рамы! Для этого надо было специально мочить дерево и ждать, пока не сгниет. Короче говоря, всю эту шпану надо переарестовать и устроить над ними показательный суд.

— Сделаем, — мрачно согласился Мухтаров. — Расстрелять придется сволочей, другим для острастки.

— Это уж дело судебных органов

— И откуда у нас столько этой дряни берется? Можно подумать, со всего Союза понаехали.

— Хлопковая независимость да еще граница под боком. Как не понаехать? У всех ведь один расчет: навредил, а потом сиганул через Пяндж и — поминай, как звали! Раньше это еще выходило, а теперь, — шутишь!.. Вот. Это одно дело...

— А что, есть еще что-нибудь?

— Есть и другое. Агитация идет большая среди переселенцев, особенно тут, в районе Ката-Тага. Говорят, гора сядет и вода затопит всю низину. Киргизы уходить собираются.

— Что я тебе говорил? — кивнул Мухтарову Уртабаев.

— Народ настолько запуган этой постоянной агитацией, что, боюсь, самый незначительный обвал может вызвать общую панику, и переселенцы у нас раз-

бегутся. Вот будет номер! Ты не думаешь, Саид?

— Нет. То-есть, как кто. Киргизы, по-моему, разбегутся так или иначе, независимо от обвала. А дарвазцы, если им только создать сносные условия, не разбегутся. Они у себя в горах не такие обвалы видели. Каждый год, после силей, им приходится чуть ли не заново налаживать свои ирригационные сооружения. Это прирожденные ирригаторы и сызмала привыкли бороться с водой. А вода у них горная, свирепая. Если б ты видел их арыки, проведенные по совершенно отвесным карнизам, где и человеку-то не пройти! Это прямо чудеса ирригационной техники! Да впрочем ты ведь работал на Памире.

— Да, в своей области это исключительные мастера.

— Я всегда говорю, — загорелся Уртабаев. — При их практическом опыте, переходящем от отца к сыну, дать им технические знания, — можно создать кадры лучших гидротехников и ирригаторов на весь Союз. Если они здесь акклиматизируются, можно быть совершенно спокойными за сохранность и безукоризненное содержание всей сети. С незначительными размывами и просадками они справятся великолепно сами.

— Если акклиматизируются и не дадут сбить себя с толку... Слухи ходят самые невероятные. Говорят, вся вода в землю уйдет и никакого орошения не будет, — как была сухая земля, так и останется. Есть, мол, какое-то подпочвенное русло, туда вся вода и уйдет...

— А знаешь, ведь эту теорию развивал здесь один московский профессор, — заметил Уртабаев. — Выдвигал гипотезу, что потому именно и высохло древнее орошение.

— Вот в прошлом году разные дураки свои гипотезы здесь сеяли, а сейчас они нам ягодки дают. Особенно упорно распространяют всякие бредни насчет войны. Дескать, англичане не сегодня-завтра войну нам объявят за то, что мы своим хлебом все рынки забросали. Своеобразное преломление небылиц о советском демпинге.

— В общем агитация — это не новость. Новость — то, что мы нащупали,

откуда она исходит. А исходит она главным образом от нескольких рабочих, завербованных из местных колхозов: точнее — из «Красного Октября» и из «Красного пахаря». Насчет «Красного пахаря»: работал у нас тут на строительстве один комсомолец, Урунов. Папаша его как-раз член этого колхоза. Так вот этот папаша прислал к нему на-днях парламентаря. Увещевает сына немедленно бросить строительство и комсомол и возвратиться, пока не поздно, домой. Дескать, до первого полива всех комсомольцев вырежут. В связи со слухами о басмачах и прочем это уже пахнет небольшой байской заворошкой. Мы решили отпустить Урунова в этот колхоз. Приедет как раскаявшийся блудный сын в лоно родительского дома, а там пронюхает, кто всем этим заправляет, и поведет на месте, в кишлаке, разъяснительную работу. Словом, если будешь перетряхивать этот колхоз, так и знай: Урунов — никакой не беглый комсомолец, а наш парень. Комаренко об этом деле знает.

— Хоп! А кто у вас там из «Красного Октября»?

— Из «Красного Октября» работают у нас четыре человека. Два хороших рабочих, ударники. А два — Азиз Рахманов и Махмуд Камаров — явные байские подголоски, только и делают, что занимаются агитацией. Очевидно с этой целью и поступили на строительство. Мы их пока не трогаем, чтобы не потревожить головку. «Красный Октябрь» дал нам уже в прошлом году одного Ходжиярова. Надо полагать, тут мы имеем дело с орудующей по всем правилам разветвленной байской организацией, связанной через Ходжиярова с Афганистаном и рассчитывающей очевидно в этом году на очередной басмаческий налет.

— Это я все знаю. Вот про твоего Урунова не знал. Это — интересный факт.

— Знаешь, тем лучше. В общем гляди в оба! Нам твоими колхозами заниматься некогда, с нас своей возни хватит. Урунова я послал в порядке исключения. Договаривайся с Комаренкой и ликвидируй бузу поскорее, а то

на строительстве это плохо отражается. Распугают переселенцев, и вся наша работа пойдет прахом. Хоп! Я поехал. Пока!

— Подожди, я тоже поеду. Подбросишь меня на второй участок, — поднялся Уртабаев. — Ты как, Мухтаров, едешь или остаешься?

— Останусь. Пойду проведать дарвазцев. Надо же посмотреть, как это переселенческие поселки обваливаются. Завтра придется вызвать сюда следователя.

Мухтаров, меланхолически посвистывая, вышел во двор.

Посевная прошла по скатам гор без тракторного клекота, скрипом тугого ярма и монотонной песней погонщика нарушая накаленную тишину. С серебряных лемехов, по крутым наклонам, шурша, потекли вниз черные сыпучие ручьи, и быки грузно брели в брод, увязая по бабки в разбухшей мути отвалов.

В колхозе «Красный Октябрь» вспашка близилась к концу. Допахивали последние клинья косо вздыбленной богары. Вечером усталые быки и люди медленно спускались с гор, гремя опрокинутыми плугами. Из глиняных крыш кишлака выбегали в небо прямые жала дыма. В жильях варили шурпу.

Тогда в хону к Кари Абдусаторову зашел Рахимшах Олимов.

— Салям алейкум!

— Алейкум салям! — вытер ладонью рот Кари.

Спугнутые женщины, заслонив лицо, бесшумно скрылись на свою половину. Олимов, не дожидаясь приглашения, опустился на палас и, отломив кусок лепешки, окунул его в касу с шурпой.

— Завтра сеем, — сказал он, отправив в рот размоченную лепешку, нето констатируя факт, нето справляясь у Кари.

Кари молча кивнул головой.

— Из района ругаются. С севом, говорят, опоздали, — заметил он, отхлебнув несколько глотков. — Надо торопиться.

Олимов проглотил второй кусок.

— Много ругаются, — поддакнул он осведомленно. — Газеты читал?

Кари отрицательно мотнул головой. Он был неграмотен, и Рахимшах знал об этом великолепно.

— Что пишут в газетах? — спросил Кари с тревогой. Слово «газета» внушало ему всегда смутное опасение.

Олимов окунул в суп остаток лепешки.

— Пишут, что некоторые колхозы засеяли на лучшей земле хлеб, а худшую отвели под хлопок.

— Ну? — насторожился Кари.

— Очень ругаются. Пишут, что только враги советской власти могут так делать. Говорят, будут проверять посевы во всех колхозах и, где найдут, что на лучшей земле посеяли хлеб, такие колхозы запишут на черную доску. А чтобы все дехкане знали, кто это против указаний советской власти с баями идет, пропечатают в газете имена всех членов правления.

— Правда, так написано?

— Да вот газету дома забыл. Думал, ты читал. Хочешь, принесу?

— Что еще пишут? — любопытно спросил Кари, прикрывая смущение.

— Пишут, что такие колхозы поставят в список на последнее место и будут снабжать их мануфактурой и всяким товаром в последнюю очередь, — что от других колхозов останется.

— О!.. — удивленно покачал головой Кари. — Пишут, что будут пропечатывать поименно все правление? — осведомился он еще раз после долгого молчания.

— Все, как есть, на черную доску. Сверху — название колхоза, а ниже — все члены правления, по имени и имени отца. Такой потом и на базаре не посмеет показаться... Вот хорошо, что за нашим колхозом в этом году ничего не числится. А то в прошлом с этим Ходжировым стыд был на весь район.

— Гм... — невнятно согласился Кари, озабоченно почесывая бороду.

— Что, Давлят скоро вернется? — переменял тему разговора Рахимшах. — Сеять без него будем?

— Прислал человека из Кургана, что приедет послезавтра. Просит в районе добавочно зерна, — не дают.

— А! А тут вот вторая бригада Касыма Саидова выдвинула предложение. Хотят обратиться в район, просить, чтобы нам прирезали двадцать гектаров из новых земель. Берутся засеять их сверх плана. Говорят: переселенцев сейчас мало, если обяжемся освоить, район даст. Земля тут недалеко, косогоры. Под хлопок не пойдет, а хлеб на ней посеять можно. Предлагают созвать собрание. Если собрание выскажется за, тогда заодно можно бы пересмотреть и старый план сева. На тех землях, которые предполагались под хлеб, можно будет посеять хлопок, а на тех, что нам прирежут, посеем хлеб. Как ты думаешь?

— Это дело! — подумав, оживился Кари. — Надо только подождать возвращения Давлята.

— А, по-моему, как-раз хорошо бы это решить до его возвращения, чтоб уж заодно он и это дело в районе продвинул. Тогда ему, может, и зерна скорее дадут. А то придется ему специально в другой раз в район ехать. Обратимся еще через несколько дней, скажут: «Что ж вы так долго думали? Теперь поздно, все равно не засеете».

— Не могу я один, без Давлята, созывать собрание, — подумав, решил Кари.

— Почему не можешь? Очень даже можешь! Ты в отсутствие Давлята — его заместитель. А потом большинство членов правления — за. Ты — за. Вдова Зумрат — за. Хаким — за. Если даже Низ и старик Усман будут против, все равно — большинство. Да еще Комаренко. Он всегда за то, чтобы площадь посева расширить, можно его и не спрашивать. Да и без него хватит.

— Почему бы нам не подождать Давлята? — упирался Кари.

— Потому, что поздно будет. Я тебе говорю. А там, как хочешь, — поднялся Олимов. — Помянешь мои слова.

— Поздно будет? — задумался Кари. — Подожди, Рахимшах! Куда тебе торопиться? Ты уже у меня шурпы поел, зачем тебе спешить? Знаешь, что я думаю?

— Ну, что ты думаешь?

— Я думаю так: Рахимшах был раньше председатель колхоза. Советская власть его сменила. Значит, он был плохой председатель. Может, он и сейчас мне плохо советует?

— Знаешь, что я тебе скажу, Кари?

— Ну?

— Я тебе скажу так: когда я был председателем колхоза, я был дурак. Я не верил, что, если советская власть говорит, она правильно говорит, для дехканской пользы. Я не верил советской власти, а верил старым людям. Я жил не своим умом. А советская власть не любит дураков, которые живут не своим умом. Потому советская власть меня сменила. Сейчас ты, Кари, — член правления и заместитель председателя, а я — простой колхозник. Я живу своим умом, а ты живешь чужим. Советская власть не любит людей, которые живут чужим умом. Я тебе больше ничего не скажу, Кари. Я пойду и поговорю с колхозниками, а ты мне завтра утром ответь, будешь созывать собрание или нет.

— Подожди, Рахимшах! Разве можно так быстро решать большие дела? Куда тебе торопиться? На, поешь мой каймак. Вот тебе еще лепешка. — Кари достал из сундука лепешки, тщательно завернутые в дастархан и, вынув одну, быстро спрятал остальные.

В хону вошло несколько дехкан и, прижимая в знак приветствия руку к груди, начали рассаживаться на паласе. Это были бригадиры всех восьми бригад, пришедшие за инструкциями на завтрашнее утро: где и с какого конца начинать сев. За бригадирами протиснулась вдова Зумрат. Еще минуту спустя в дверях появился Ниаз Хассанов. В хоне внезапно стало тесно.

Приход Ниаза, правой руки Давлята, сильно смутил Кари. Он уже пожалел о том, что задержал Олимова, но итти напопятную было поздно, и прерывать разговор, давая понять Олимову, что он, заместитель председателя, испугался появления Ниаза, Кари постеснялся. Это подтвердило бы только язвительное замечание Рахимшаха, что он, Кари, живет не своим умом.

Он степенно огладил бороду и, подерживая прерванный разговор, нарочито громко, чтобы расслышал и тугой на ухо Ниаз, заговорил:

— Скажем, я послушаюсь большинства и, не дожидаясь возвращения Давлята, созову собрание... А дальше что? Большинство колхозников наверное будет против. Время сейчас неспокойное. Разное говорят... В неспокойное время каждый хочет, чтобы в кишлаке осталось побольше хлеба. Хлопка не скушаешь. Хлопок нужен советской власти, а дехканам нужен хлеб. Разве советская власть обеднеет, если дехканин недосеет и недосдаст немножко хлопка?

Олимов обвел глазами собравшихся и, отвечая Кари, обратился одновременно ко всем:

— Вот он говорит, что дехканину нужен хлеб, а хлопок нужен советской власти. А когда он приходит в кооператив, то про что он спрашивает прежде всего? Он спрашивает: есть ли мануфактура? И очень сердится, если ее нет. И правильно сердится, потому что ему нужен халат и его сыну нужен халат, и его другому сыну нужен халат, и его жене нужен халат. Советская власть не обеднеет, если ты, Кари, недосеешь немного хлопка. Только если каждый дехканин недосеет немного хлопка, то каждому нехватит немного на халат. А что ты ответишь, Кари, если советская власть, выдавая тебе мануфактуру, скажет: вот тебе ситец на халат, только — извини меня, Кари, — тут немного не хватает, всего на один рукав. Поноси в этом году халат с одним рукавом.

Бригадиры дружно заржали.

— Халат с одним рукавом носить нельзя, — сказал Кари. — Ты очень хитро говоришь, Рахимшах. Если ты такой умный, я тебе загадаю одну загадку. Раньше мы не сеяли хлопка и на базаре могли купить сколько угодно мануфактуры, а теперь мы сеем хлопок, а мануфактуры на базаре не хватает. Вот скажи мне: почему это? Ведь ты все знаешь.

— Я тебе, Кари, лучше загадаю другую загадку, — сказал Олимов. — Почему раньше на базаре можно было ку-

пить сколько угодно мануфактуры, а ты, сколько лет я тебя знаю, всегда ходил в одном и том же рваном халате, и у жены твоей была одна рваная рубашка, и ребятишки твои бегали оборванные.

— Это никакая не загадка. Я был всегда бедный человек и сейчас остался бедняком.

— А все-таки сейчас, если ты заглянешь в свой сундук, ты увидишь, что там лежат три твоих халата, и у сыновей есть по два халата, и у жены наверное не одна и не две рубашки.

— Ты лучше в своем сундуке считай, чем по чужим лазить, — окрысился Кари.

Бригадиры захохотали. Все знали, что Рахимшах метко задел у скупого Кари больное место.

— Слушаю я тебя, Кари, и удивляюсь, — вмещалась вдова Зумрат. — Ты, член правления, да еще заместитель председателя, вместо того, чтобы объяснить колхозникам, кто чего не понимает, сам загадываешь другим глупые загадки. Если тебе очень хочется, я тебе ее разгадаю. Когда ты был молодой, Кари, ты недоедал, ходил в рваном халате, во всем себе отказывал и десять лет работал, как вол, потому что хотел собрать на калым, взять в дом жену и вырастить с ней сыновей, чтобы после твоей смерти было кому прочесть по тебе суру. После, когда ты уже выплатил калым, взял жену и вырастил с ней ребятишек, тебе тоже приходилось жить бедно, но ты наверное не жалеешь тех десяти лет, которых тебе стоил калым, потому что о человеке, у которого нет ни жены, ни сыновей, разве можно сказать, что это действительно человек? Теперь советская власть отменила калым, и сыну твоему уже не придется, как тебе, работать, недоедая, чтобы получить жену. Но советская власть говорит: разве о том, как жили раньше наши дехкане, можно сказать, что это действительно жизнь? И советская власть говорит дехканам: несколько лет вам придется кое в чем себе отказывать, много меньше, чем вы отказывали себе раньше. Но то, без чего вы обойдетесь, не пропадет. Придет время, и вы полу-

чите за это новую, хорошую жизнь. Так скажи мне, Кари: неужели тебе стоило десять лет обходиться без всего, чтобы уплатить калым за жену, а теперь тебе не стоит отказагь себе в лишнем халате и в лишнем куске сахара, чтобы уплатить калым за новую хорошую жизнь? И разве о дехканине, который поступает так, как ты, можно сказать, что это — рассудительный дехканин?.. А теперь, Кари, скажи нам всем, — мы пришли узнать, — созовешь ты собрание или не созовешь? Потому, если не созовешь, то мы его созовем сами.

— Ай, какой торопливый народ! — покачал головой Кари. — Кто сказал, что я не хочу созывать собрание? Мы как-раз советовались с Олимовым, когда лучше созвать, чтобы не отрывать людей от работы, и я был против того, чтобы созывать его завтра. Я думаю, лучше созвать еще сегодня...

В каменной траншее, по колена в воде, рабочие грузили в ковши экскаваторов желтые осколья породы, с трудом поспевая за отрывистыми поворотами стрел. По голым торсам градом струился пот. О таком лихорадочном темпе работ еще месяц тому назад никто на строительстве не имел представления. Тогда работали с прохладцей, это понимал сейчас каждый, и показатели прошлого месяца, по сравнению с нынешними, звучали, как плохой анекдот. Премированным тогда ударникам стыдно было сегодня в этом признаться. Тридцать тракторов, расставленных вдоль кавальера, откачивали воду. Размеренный стук трактора подсказывал такт, по этому такту равнялись. Сгиб вниз! выпрямись! в ковш!..

Через каждые четыре минуты по наклону с грохотом слетал бремсберг и с разбега залпом влетал на склон. По вогнутой дуге наспех утрамбованной дороги стремительно с'езжали на дно пустые автокары и, нагруженные, карабкались вверх, простуженно хрипя коробкой скоростей.

Морозов, зажмурив глаза, ловил настороженным ухом размеренный гул ра-

боты. «Кажется, все нормально. Если не будет непредвиденной аварии — вытнем». Навстречу по кавальеру рысью бежал Андрей Савельевич. У Морозова неприятно заняло под ложечкой.

— Что случилось?

Андрей Савельевич, смертельно бледный, нервно шмурыгал носом.

— Ну?

— Звонили с Ката-Тага. Вызывают товарища начальника. Менк VI встал.

— Что значит встал? Почему?

— Пробило фильтр в масляном насосе. Задрана шейка коленчатого вала. И подшипники — к черту.

Морозов почувствовал, как лицо его наливаясь кровью.

— Вы отдаете себе отчет, что это для нас значит?

Андрей Савельевич опять шмурыгнул носом. Морозов посмотрел на его побелевшие губы и не сказал ничего.

«Чего ж я на него кричу? Он тут не при чем. Авария не на его прорабстве..»

— Разыщите немедленно Кирша, — распорядился он, овладев собой. — А драгеров арестовать! Позвоните прорабу.

— Товарищ Кирш уже там. Смотрит дизель. А драгеры говорят, в маслопроводе обнаружен гвоздь. Думают, кто-нибудь нарочно..

— А кого же это они к экскаватору подпускают?.. Что вы мне сказки какие-то повторяете..

— Может, кто-нибудь из нижников?..

— Кто отвечает за дизель: нижняя бригада или драгер?—багровея, закричал Морозов. — Арестовать обоих драгеров!

— Слушаю.

Морозов сидел уже в машине.

У подножия горы его встретил замасленный Кирш.

— Ну, что?

— Весь дизель исковеркан. — Кирш спокойно вытирал платком руки, но руки его дрожали. — Гнали до тех пор, пока совсем не застопорило мотор. Минимум недельный ремонт.

— Убью! Подлецы! Вредители, вашу мать! — загремело за спиной Морозова. Кирш и Морозов невольно оглянулись.

Сухопарый Гальцев тряс за грудки двух несопротивляющихся драгеров: — Сво-лочи! Что с экскаватором сделали?

Он отпустил драгеров и повернулся к Морозову, хотел что-то сказать, вдруг скулы его дрогнули. Он отвернулся, присел на камень и, спрятав лицо в руках, заплакал.

— Есть, может, какой-нибудь выход? — безнадежным голосом, не глядя на Кирша, спросил Морозов.

— Выход... — задумчиво повторил Кирш. — Если бы были хоть два гидромонитора, чтобы смыть в этом месте отвал и освободить кавальер, можно было бы перебросить сюда со сто тридцатого пикета Бьюсайрус 14. На такую высоту он не подает, стрела коротка. Не знаю только, удастся ли нам самим изготовить в наших мастерских гидромонитор, да еще в такое короткое время...

Он не закончил. Между ним и Морозовым вырос Гальцев:

— Сделают, товарищ Кирш! Морду сукиным детям набыю, если не сделаю! Вы им только расскажите, как его делать, это гидромагнето. Обязательно сделают! Поедем сейчас в мехмастерские!

— Подождите, товарищ Гальцев. — Кирш повернулся к Морозову: — Попробовать очевидно придется. Другого выхода не найдем. Гидромонитор в конце концов не такая уж сложная штука. Если не смогут сделать трехступенчатый насос, сделают простой. Четыре атмосферы хватит. Давайте, в самом деле, поедем к Крушоному. Попытка не пытка.

Они сошли вниз и сели в машину.

— Гидромонитор имел бы еще и то преимущество, что укрепил бы дамбу, замачивая ее водой,—заговорил Кирш. — Основной принцип гидромонитора очень прост: центробежный насос, десятидюймовый всасывающий шланг и семидюймовый выхлопной.. Получается струя давлением атмосферы в четыре, достаточная, чтобы смыть отвал. При трехступенчатом насосе давление достигает девяти и больше атмосфер. Такой струей можно, как ножом, резать на куски скалу. Но это дело более сложное...

Автомобиль летел с такой быстротой, что сидящий рядом с шофером Гальцев с трудом улавливал обрывки фраз.

Начальник механизации, инженер Крушной, с первых же слов обнаружил полную осведомленность в системах гидромониторов. У Морозова отлегло от сердца. Он справился, когда мехмастерские смогут изготовить первые два гидромонитора, принимая во внимание катастрофическое значение буквально каждого потерянного часа. Но тут инженер Крушной безнадежно развел руками и заявил с огорчением, что при том качестве литья чугуна, какое дает литейный цех, при полном отсутствии носного кокса и мало-мальски приличной вагранки, не говоря уже о валовой стали, изготовить гидромонитор в мехмастерских совершенно невозможно.

Морозов минуту смотрел на миловидное, огорченное лицо инженера.

— Вы, кажется, не понимаете, товарищ... — сказал он хрипло. — У нас срывается все строительство. Мы к поливу не сможем дать воды.

— Нет, я прекрасно понимаю, — печально улыбнулся Крушной. — Но я же не могу вас обманывать. Гидромонитор, сделанный из нашего материала, разорвется при первой пробе.

— Иван Михалыч! — ворвался в разговор Гальцев. — Что вы ему, словочу, объясняете! Разве такая контра понимает? С ними — мать их качала! — без ГПУ разве чего добьешься? Пойдем в цех! Я с мастерами поговорю. Сделают! Вот вам моя голова, сделают!

— А в самом деле, с вами, видно, на другом языке разговаривать надо, — бросил сквозь зубы Морозов и, отстранив рукой растерянно улыбающегося Крушного, пошел в мастерские.

В цеху в итоге летучего митинга, на котором Морозов сжато обрисовал положение, а Кирш изложил принцип и структуру гидромонитора, выяснилось, что валовая сталь есть и что ее хватит на сопла по меньшей мере для пяти гидромониторов. Штуцера, по предложению самих рабочих, решено было сделать из железа. Три лучшие бригады взялись в порядке соревнования к следующему утру изготовить по одному

гидромонитору под непосредственным наблюдением Кирша, оставшегося лично руководить работой.

Договорившись обо всем, Морозов отозвал Кирша в сторону:

— Крушного снять с работы! К чортовой матери!

— Стоит ли, Иван Михайлович? За три недели до конца назначать нового начальника механизации? Пока войдет в курс... Пострадает от этого только работа мастерских.

— Ну, как хотите. Только тогда вам лично придется взять на себя непосредственное наблюдение над механизацией.

— Это само собой разумеется...

Покидая механические мастерские, Морозов еще раз столкнулся с Крушным. На красивом, задумчивом лице инженера блуждала все та же печальная улыбка. Улыбка говорила: «Конечно, оперируя нервами, можно заставить рабочих сделать что угодно, но результаты этого могут быть только плачевные». Морозов захотелось съездить миловидного инженера по физиономии. Он прошел, словно мимо пустого места.

На дворе уже стемнело. Морозов быстро миновал городок. Нужно было немедленно отдать распоряжение о переброске со сто тридцатого пикета Бьюсайруса 14. К утру экскаватор должен быть на месте. Морозов ускорил шаги. Кто-то окликнул его по имени.

— Даря?

— Подожди. Куда бежишь? Фу! еле догнала.

— Ну, что?

— Как же с экскаватором-то, починят?

— Заменим другими приборами.

— Чем замените?

— Гидромониторами. Ну, водой размывать будем.

— Работа от этого не задержится?

— Посмотрим, нельзя знать вперед. Если хорошо пойдет, не задержится.

— Ты очень торопишься?

— Очень. А что?

— Поговорить я с тобой хотела. Недолго. Ты не бойся, — темно, никто не увидит.

— Лучше бы ты зашла ко мне попозже. Или вовсе уж ходить перестала?

— Не могу. Тяжело ходить. Видно, и до конца строительства не дотяну. Думала, доработаю до пуска. Тяжело...

— Это что еще за штуки?

Она взяла его за руку.

— Беременна я. Седьмой месяц...

Было это настолько неожиданно, что Морозов растерялся. Первый рефлекс самозащиты перед смущением, как всегда, подспела на выручку грубость:

— А чорт тебя знает, с кем ты это нагуляла.

Она отпустила его руку. Он увидел впотьмах отодвинувшееся белое пятно ее лица.

— А ты что, испугался? Боишься, алименты с тебя спрашивать буду? Не трясись. Не буду. Нужен ты мне, как собаке здрасте! — она отвернулась и быстро пошла прочь.

— Даря! — испуганно позвал Морозов, чувствуя смутно, что случилось что-то непоправимое. — Даря!

Оклик остался без ответа.

— Даря! — окликнул он еще раз темноту.

Бежать за ней впотьмах не было смысла. Окликать ее еще громче? Мог услышать кто-нибудь из проходящих. Морозов понимал, что обидел ее больно и незаслуженно. «Ну что ж, придется ее разыскать завтра и извиниться».

Он вспомнил о Бьюсайрусе 14, который необходимо до завтра перебраться на сто девяносто пятый пикет, и зашагал в контору.

Возвращаясь поздно ночью домой на растрясенной машине, проезжая «американские горки», он опять вспомнил о Даре. Молодец-баба! С гонором! Он впервые подумал отчетливо, что у Дари родится ребенок и что ребенок этот — его. Неиспытанное никогда чувство отцовства вызвало теплое смущение. Он попыгался представить себе этого незнакомого малыша, увидел голаго большеглазого мальчугана. Что-то защекотало внутри. «Смешно. Ребенок. Что ж, вот и разрешение вопроса. Придется теперь обязательно это дело оформить. Благо и строительство приходит к концу. Все просто, и никаких проблем».

Он задремал, убаяюканный привычной качкой машины.

Ударники механизации не подкачали. Опыт с установкой трех изготовленных за ночь гидромониторов состоялся ровно в девять часов утра. Вся отработавшая ночная смена, не расходясь по баракам, облепила в ожидании склон противоположного кавальера. Все уже знали тревожную новость: начальник механизации заявил, что материал не выдержит и гидромониторы при пробе разорвутся.

Слегка пожелтевший, спокойный Кирш и бледный Морозов внимательно проверяли последние детали установки Вытянувшийся еще больше за ночь Гальцев, задевая ногами за шланги, путался неотступно между рабочими Морозов несколько раз предлагал ему не мешать и отойти. Гальцев бурчал что-то невнятное и отходил, чтобы остановиться у соседнего шланга. Он считал, что перед лицом рабочих, там, где жизнь нескольких из них может подвергаться опасности, секретарю постройкома, как морским капитанам в иностранных романах, подобает находиться на опасном участке.

Наконец Кирш подал рукою знак, заработали трактора и из стальных жерл трех гигантских удавов с пулеметным треском трататахнула вода. Все вздрогнули. Вода тремя толстыми металлическими струями ударила в изогнутый хребет отвала, и хребет прыснул, обнаруживая глубокую пробоину. Вода, стреляя и грохоча, упрямо била в брешь. И вдруг широкий клин отвала зашевелился, осунулся и потек шуршащим водопадом серозема. Вода никелированным тараном ударила ниже. Постепенно весь отвал на форсируемом отрезке стал медленно оседать, отступать назад, пока наконец не расползся, как тесто, по просторной равнине за кавальером.

Морозов вытер платком лоб и медленно сошел в траншею.

Только часа четыре спустя, проходя мимо женской бригады, Морозов вспомнил о Даре. Он поискал ее глазами. Дари в траншее не было. Подошел Андрей Савельевич.

— А куда ж это их бригадирша девалась? — спросил у него Морозов, стараясь

придать своему голосу возможно более равнодушный оттенок. — Такая премированная ударница, неужто прогуляла?

— Товарищ начальник имеет в виду Дашку Шестову? — переспросил прораб. — Сегодня взяла расчет. Живот нагуляла. У нас на строительстве парни плодовые. Пришлось отпустить. Свидетельство врача представила: семь месяцев.

Морозов смолчал.

Валандаясь в оглушительную жару по участку, где работы шли своим нормальным ходом, он с беспокойством думал о Даре. Как же с ней повидаться? Он решил наконец пожертвовать всякой конспирацией и настроил записку, в которой просил Дарю выйти к реке, к валунам. Разыскав первого подвернувшегося парнишку и всучив ему рубль, Морозов велел разыскать Дарью Шестову и передать ей письмо. Мальчуган скоро прибежал назад с нераскрытой запиской и сообщил, что Дарья Шестова выехала сегодня из барака и больше там не проживает.

Морозов смял листок и отошел прочь. Он не знал, куда могла уйти Даря. Расспросить было не у кого. К вечеру, после долгих колебаний, он решился на шаг, компрометирующий его окончательно: обратиться к Андрею Савельевичу. Он отыскал его на седьмом пикете и, глядя в сторону, попросил, в порядке личного одолжения, узнать в женской бригаде, куда переехала и где находится сейчас Дарья Шестова. Он не видел удивленных глаз прораба, видел только его почтительно склоненное тело. Андрей Савельевич обещал разузнать немедленно.

Он разыскал Морозова перед конторой и, отозвав его в сторону, сообщил вполголоса, так, чтобы не слышал никто из близстоящих, что товарищ Шестова уехала сегодня на грузовике в Сталинабад. Он не называл ее уже Дашка, и во всей его худощавой фигуре было что-то одновременно строго почтительное и конспиративное.

Морозов коротко сказал: «Спасибо» — и, обращаясь к Кларку, деловитым, недрогнувшим голосом справился о работе гидромониторов. Гидромониторы работали великолепно.

Приехав домой в три часа ночи, Морозов долго ходил взад и вперед по пустым комнатам, потом сел за стол и написал обстоятельное письмо. В письме он умолял Дарю простить ему его грубость, просил разрешить устроить ее в Сталинабаде на время родов, предлагал начать жить вместе, как муж и жена. Другое письмо он адресовал своему приятелю наркому. Он просил наркома разыскать в Сталинабаде, хотя бы пришлось для этого прибегнуть к помощи милиции, выехавшую туда работницу Дарью Шестову и передать ей прилагаемое письмо. Он не сомневался, что во имя старой дружбы нарком приложит все усилия и во что бы то ни стало исполнит его просьбу.

Заклеив оба письма, Морозов окончательно успокоился и, не раздеваясь, прилег на кровать. Зазвонил телефон. Кларк сообщал, что на восьмом-девятом пикете, при подходе к проектным отметкам, на толщину недобора 0,6, под слоем конгломерата обнаружен слой пльвуна — неустойчивого лессообразного грунта, насыщенного водой. Стена конгломерата спускается в этом месте резко вниз и отрезает путь грунтовыми водам. Прослойка пльвуна, по всем данным, идет с горы по направлению к пойме Вахша. По этому же направлению, очевидно, движутся грунтовые воды. Вода из канала, просачиваясь через пльвун, может уйти обратно в Вахш. Единственный выход — произвести на всем опасном отрезке дополнительную выемку и закрепить дно толстым слоем глинобетона. Это затянет работы еще на двенадцать дней. Необходимо немедленно проверить гидравлическим способом движение грунтовых вод...

Морозов повесил трубку и по внутреннему аппарату вызвал машину.

(Окончание следует)

В плену у англичан

Ф. РАСКОЛЬНИКОВ

I

В декабре 1918 года в Питере упорно циркулировал слух о приходе в Финский залив судов английского флота. Усиленно говорили, что в Ревель пришла английская военная эскадра, но так как обывательские сплетни в то время вообще достигли геркулесовых столпов, то ко всем сенсациям приходилось относиться с большой осторожностью. Однако толком никто ничего не знал. Командование Балтфлота несколько раз высылало в море подводные лодки, которым давалось задание пройти в Ревельскую гавань и произвести тщательную разведку. Но плохое техническое состояние лодок мешало им справиться с этой задачей. Вследствие неисправностей механизма подлодки возвращались с пути, не доведя своего дела до конца. Поход в разведку подводной лодки «Тур», под командою опытного подводника Николая Александровича Коль, тоже не дал никаких результатов.

Однажды нашей радиостанцией были перехвачены английские радиogramмы, требовавшие присылки из Ревеля лодманов, но так как они были открытые, то им никто не придавал значения. Они были истолкованы как очередная провокация «союзников», предпринятая, чтобы запугать наш флот и удержать его в Кронштадтской гавани. Вспыхнувшая 9 ноября германская революция повлекла за собой аннулирование ВЦИК Брестского мира. Красной армией были заняты Псков и Нарва. Немецкие солдаты оказывали слабое сопротивление. Красной армии приходилось

сражаться главным образом с русскими белогвардейскими офицерами.

Реввоенсовет Республики решил произвести глубокую разведку и выяснить силы английского флота в Финском заливе. Как член Реввоенсовета Республики я был назначен начальником отряда особого назначения. Накануне похода, вечером 24 декабря, в кабинете начальника морских сил Балтийского моря, под золоченым адмиралтейским шпигем, состоялось заседание, на котором был разработан план предстоявшей морской операции. В заседании участвовали: В. М. Альтфатер, начальник морских сил Балтийского моря Зарубаев, его начальник штаба Вейс, начальник оперативной части С. П. Блинов и я.

По техническому состоянию судов, находившихся в зимнем ремонте, командование Балтфлотом могло выделить для операции лишь небольшие силы. Линейный корабль «Андрей Первозванный», крейсер «Олег» и три миноносца типа «Новик»: «Спартак» (бывший «Миклуха - Маклай»), «Автроил» и «Азард», — вот то немного, что поступило в мое распоряжение. Не зная численности английского флота, ворвавшегося в балтийские воды, нам нельзя было ставить себе задачи полного уничтожения противника. Участники военноморского совещания в адмиралтействе единодушно пришли к выводу, что моему отряду судов поручается только глубокая разведка, которая может закончиться боем и уничтожением противника лишь в том случае, если выяснится наш определенный перевес над силами англичан. По предложению тов. Альтфа-

тера нами единогласно был принят следующий план операции: «Андрей Первозванный» под командой Загуляева остается в тылу у Шепелевского маяка, сравнительно недалеко от Кронштадта, крейсер «Олег» под командой Салтанова выдвигается к острову Гогланду и наконец два миноносца, «Спартак» и «Автроил», проникают к Ревелю, выясняют численность английского флота и обстреливают острова Нарген и Вульф, чтобы определить, имеются ли там батареи. В случае встречи с превосходящими силами противника миноносцам надлежало отходить к Гогланду, под прикрытием тяжелой артиллерии «Олега», а в случае недостаточности его защиты всем трем судам следовало отступить на восток, к Кронштадту, заманивая противника к Шепелевскому маяку, где его поджидали 12-дюймовые орудия «Андрея».

Операция представлялась мне крайне заманчивой. В виду отвратительного состояния морской разведки, при полном незнании сил английского флота в Балтике, рисковать всем отрядом судов, посылая «Андрея» и «Олега» вместе с миноносцами к Ревелю, было нельзя. Цель разведки вполне достигалась маршманевром одних миноносцев, а гибель «Андрея» была бы слишком чувствительной потерей для Красного флота, тем более, что мы могли ожидать встречи не только с миноносцами и подводными лодками, но даже с дредноутами. Поэтому совещание возложило весь риск операции на миноносцы, которые в случае опасности обладали таким неопределимым преимуществом, как тридцатиузловая скорость хода.

II

Ранним утром 25 декабря Альтфатер, Зарубаев и я в холодном, нетопленном вагоне выехали в Ораниенбаум, где пересели на ледокол, идущий в Кронштадт. Наши дорожные разговоры вращались вокруг предстоящего похода.

— Особенно остерегайтесь английских легких крейсеров, вооруженных шестидюймовой артиллерией и обладающих тридцатипятиузловым ходом, — напут-

ствовал меня Василий Михайлович Альтфатер.

В Кронштадте мы застали отряд судов, предназначенных для операции, вполне готовым к походу. Исключение составлял миноносец «Автроил», где обнаружилась неисправность машины, требовавшая для приведения корабля в боевую готовность еще нескольких часов. Мы решили не откладывать похода и условились, что «Автроил» в кратчайший срок закончит приготовления, полным ходом нагонит нас и присоединится к нашей эскадре. Альтфатер и Зарубаев пришли проводить меня на миноносец «Спартак», где я поднял свой вымпел. Последние рукопожатия, советы, пожелания удачи. Кронштадт весь во льду. Командир миноносца Павлинов умело руководит с'емкой с якоря. Наконец мы тихо снимаемся и под предводительством мощного ледокола пробиваем себе дорогу в толще шуршащего и отосвяду напирającego льда, среди огромных, с треском ломающихся льдин, сильно, с грохотом ударяющих в тонкие, гибкие борта миноносца. От шума и грохота неприятно сидеть в каюте. Вместе с помощником по оперативной части тов. Н. Н. Струйским я поднимаюсь на мостик. Стоит сильный мороз, щиплющий уши и щеки. На западе чернеет конец ледяного поля и поблескивает полоска темносерой воды. По мере приближения полоса становится шире. Наконец скрежет льдин прекращается. Мы выходим в чистое море, свободное от ледяного покрова. Густо дымя, идет назад в красный Кронштадт сопровождавший нас ледокол. У Шепелевского маяка мы расстаемся с «Андреем». «Азард» семафорит, что он погрузил мало топлива. С болью в сердце приходится отпустить его за нефтью в Кронштадт. Только в условиях разрухи 1918 года были возможны такие вопиющие беспорядки. Незадолго до захода солнца в открытом заливе встречается подводная лодка «Пантера». Я приказываю ей подойти к борту. На мой запрос о результатах разведки командир «Пантеры» сухо докладывает, что в Ревельской гавани не замечено ни одного дыма.

Вскоре сгустилась тьма. Наступил ранний декабрьский вечер. Идя с потушенными огнями, мы старались не терять из виду «Олега». Неожиданно вдали, справа по носу, мелькнул тусклый, далекий свет. Мы пристально вгляделись и по равномерным вспышкам и зауханиям узнали мерцающий свет маяка. Вскоре впереди открылся новый маяк. Мы едва не закричали: «Ура!» На финских островах Сескаге и Лавенсари, словно для нашего удобства, горели яркие маяки. Эта иллюминация в сильной степени облегчила нам тяжелое плавание среди островов, мелей и подводных камней Финского залива. Поздно вечером мы подошли к заросшему хвойным лесом, скалистому острову Гогланду. Обойдя вокруг острова и осмотрев все его бухточки, мы не нашли ничего подозрительного и, решив переночевать под его прикрытием, стали на якорь у восточного берега. Проверив вахты, комсостав миноносца спустился с палубы вниз. В уютной, залитой электрическим светом кают-компани, с большим обеденным столом посредине и черным лакированным пианино в углу, долго сидели за чаем и разговаривали: скромный командир Павлинов, неутомимый рассказчик анекдотов веселый штурман Зыбин, замкнутый в себе артиллерист Ведерников, всегда чем-то неудовлетворенный инженер-механик Нейман, умный, общительный, жизнерадостный Струйский и я. Наша беседа, как пишут буржуазные репортеры, «затянулась далеко за полночь». Наконец мы разошлись по каютам и легли спать. Спокойно переночевав под прикрытием Гогланда, мы с рассветом старательно принялись шарить биноклями по всем направлениям, с нетерпением ища заповдавшего «Автроила». Но тщетно. Погода стояла морозная, но безветренная и ясная. Видимость была большая. Но нигде в море не было видно ни одного дымка.

Из Кронштадта пришла шифровка, извещавшая нас о неготовности к выходу «Автроила». Его техника неисправность оказалась значительно больше, чем можно было предполагать. Ожидать его мы не могли. У нас не

было ни малейшей уверенности, что он присоединится хотя бы на следующий день. По моему приказанию миноносец «Спартак» снялся с якоря и одиноко направился в разведку, а крейсер «Олег» под командой военмора Салтанова остался на месте ночной стоянки. На мостике «Спартака» находились Струйский, командир миноносца Павлинов и я. Стоял ясный, безоблачный зимний день. Ярко сияло солнце, но его холодные, негреющие лучи не могли умерить мороза. Дул острый, пронизывающий ледяной ветер, заставлявший нас, стоя на мостике, поеживаться, поднимать воротники и потирая уши. На мне была кожаная куртка, отороченная мехом, но я все же иззяб и продрог. Море было спокойно. На нем царил полный штиль, что редко бывает в этих широтах в конце декабря.

III

Недалеко от Ревеля на горизонте показался дымок. Мы прибавили ходу, идя на сближение, и вскоре различили силуэт небольшого «купца» («купцами» на морском языке зовутся суда торгового флота). Подойдя ближе, мы увидели, что пароход плыл под финским флагом. Дипломатических отношений с Финляндией у нас тогда не было. Задержав и обыскав пароход, мы обнаружили на нем груз бумаги, шедшей в Эстонию. При нашем бумажном кризисе это был ценный груз. Пересадив на захваченный пароход двух спартаковских матросов, мы поручили им доставить трофейное судно в Кронштадт, а сами отправились дальше. Вскоре мы вышли на траверз острова Вульф. Для того, чтобы выяснить, сколько судов стоит в Ревельской гавани, нам предстояло пройти мимо Вульфа. Но для безопасности этого предприятия необходимо было обнаружить: нет ли там батарей? При царизме на Вульфе и Наргене стояли 12-дюймовые батареи, но в 1918 году, во время немецкого наступления, эти орудия были взорваны нашими отступающими войсками. Однако в обстановке успешного отступления одни орудия могли сохраниться, другие могли быть

восстановлены; наконец немцы во время оккупации имели возможность вздвигнуть новые укрепления. Для прощупывания батарей мы открыли по Вульффу огонь из стамиллиметровых орудий. Наш вызов остался безответным. Повидимому, на Вульффе не было артиллерии. Это придало нам большую смелость, и мы с увлечением продолжали смелую разведку. Но едва мы поровнялись с траверзом Ревельской бухты, как в глубине гавани показался дымок, затем другой, третий, четвертый, пятый. Эти пять зловещих дымков приближались с молниеносной быстротой. Вскоре показались резкие очертания военных кораблей. На наших глазах они сказочно вырастали, дистанция между нами стремительно сокращалась. Едва завидев на горизонте дымки, мы развернулись на 180 градусов и, взяв курс на ост, полным ходом направились в сторону Кронштадта.

Вскоре мы без труда определили, что преследующая нас погоня состоит из пяти английских легких крейсеров, типа «С» и «W», вооруженных 6-дюймовой артиллерией и обладающих скоростью хода, превышающей 30 узлов. Мы тотчас послали радио «Олегу» с извещением о боевой обстановке и с призывом его на помощь.

Когда расстояние между нами и противником сократилось до пределов орудийного выстрела, то англичане первыми открыли огонь. Мы отвечали залпами из всех наших орудий, за исключением носового, которое бездействовало из-за того, что предельный угол поворота не позволял ему выпускать снаряды по настигавшим английским кораблям. Боевая тревога обнаружила, что наш миноносец был совершенно разлажен. Пристрелка велась до такой степени скверно, что нам самим не было видно падения наших собственных снарядов. Но и англичане стреляли не лучше. Они лишний раз подтвердили свою старую славу хороших мореплавателей, но плохих артиллеристов.

Видя, что дело плохо, что значительно превосходящий флот противника догоняет нас, мы пустили обе турбины на самый полный ход. Машинисты и

кочегары работали не за страх, а за совесть. Хотя на пробном испытании, когда миноносец принимался от завода, он дал максимальную скорость в 28 узлов, теперь, под угрозой смертельной опасности, его механизмы натужились и выжали небывалую скорость в 32 узла. У нас на душе сразу отлегло, когда мы увидели, что дистанция между нами и вражескими кораблями остается без изменения. Значит, есть шансы благополучно вернуться в Кронштадт из этой рискованной разведки и привезти ценные сведения о силах английского флота. Вдруг случайный, шальной снаряд, низко пролетев над мостиком, шлепнулся в воду вблизи от нашего борта. Он слегка контузил тов. Струйского и сильным давлением воздуха скомкал, разорвал и привел в негодность карту, по которой велась прокладка. Это временно дезорганизовало штурманскую часть. Рулевой, стоя у штурвального колеса, начал непрерывно оборачиваться назад, не столько глядя вперед, сколько следя за тем, где ложатся неприятельские снаряды.

IV

Вдруг раздался оглушительный треск. Наш миноносец резко подбросило кверху; он весь завибрировал и внезапно остановился. Мы наскочили на подводную каменную грядку, и все лопасти наших винтов отлетели к чорту. Позади нас торчала высокая вежа, обозначавшая опасное место.

— Да ведь это же известная банка Девельсей, я ее отлично знаю. Ведь она имеется на любой карте. Какая безумная обида, — с горечью восклицал искренно удрученный Струйский.

Видя безвыходное положение миноносца, я послал «Олегу» радиogramму с приказанием возвращаться в Кронштадт. Английские матросы рассказывали нам потом, что адмирал, находившийся на головном миноносце, уже поднял сигнал к отступлению: отогнав наш миноносец от Ревеля, он считал свою миссию законченной. Но при виде нашей аварии английские суда продолжали идти на сближение, ни на минуту не прекращая

стрельбы. Но они не сделали ни одного попадания, хотя расстреливали нас почти в упор. Сидя на подводных камнях, наш миноносец продолжал отстреливаться из кормового орудия. Но никакого вреда неприятельскому флоту он причинить не мог. Заметив наше беспомощное положение, английская эскадра сама прекратила огонь, решив захватить миноносец живьем. Я предложил открыть кингстоны, но мое приказание не было выполнено. Инженер-механик Нейман ответил, что кингстоны не действуют. Вскоре английские крейсера окружили нас и спустили на воду шлюпки.

Военморы из команды «Спартак» увели меня в кубрик и наспех переодели в матросский бушлат и стеганую ватную куртку. Они заявили, что ни в коем случае не выдадут меня, и тут же впопыхах сунули мне в руки первый попавшийся паспорт военного моряка, оставшегося на берегу. Я превратился в эстонца, уроженца Феллинского уезда. При моем незнании эстонского языка это было как нельзя более неудачно, но в тот тревожный момент некогда было думать. Кок миноносца тов. Жуковский взял на хранение мои часы¹⁾.

Не успели мы оглянуться, как на борту нашего миноносца появились английские матросы. С проворством диких кошек они устремились в каюты, кубрики и другие жилые помещения и самым наглым, циничным и беззастенчивым образом, на глазах у нас, принялись грабить все, что попадалось им под руку. Затем они перевезли нас на свой миноносец. Сидя в шлюпке, я прочел на ленточках их фуражек надпись: «Wakeful» («Бдительный»). Я обратил внимание на внешнюю интеллигентность их физиономий, на холерный цвет лица, на яркие румянцы щек и принял этих грабителей за гардемарин. Но оказалось, что это были матросы. На миноносце «Wakeful» нас посадили в кормовой трюм, где кормили галетами и крепким чаем. Со школьной скамьи я, как и все, вынес плохое знание языков и с грехом

пополам разбирал английскую речь. Но все же многое мне было понятно. Матросы, приносившие нам еду, рассказывали о высадке в Риге английского десанта. Захлебываясь от шовинизма, они ликовали по поводу поражения Германии: «Germany is finished. German fleet is in British ports» («С Германией покончено. Немецкий флот находится в английских портах»).

V

На следующее утро миноносец «Wakeful», ставший для нас пловучей тюрьмой, неожиданно снялся с якоря и быстро отправился в поход. Прильнув к иллюминатору, я тщетно старался определить направление корабля.

— Кунда-бей, — угрюмо произнес приставленный к нам английский матрос с винтовкой.

Я знал, что бухта Кунда находится на восток от Ревеля. «По всей вероятности они везут нас в глухое место, чтобы там расстрелять» — промелькнуло в моем мозгу.

Вдруг совершенно неожиданно над нашей головой раздался оглушительный орудийный выстрел, и затем слышался мягкий звук сжатия компрессора, сопровождающий откат пушки. Не было никаких сомнений: стрельбу производил миноносец, на котором мы были заключены. И мы все жадно прилипли к круглым иллюминаторам, но так как наше помещение находилось глубоко в трюме, то поле зрения из этого трюмного иллюминатора было невелико. Ничего, кроме других английских миноносцев, шедших в непосредственной близости от нас, увидеть не удалось. Стрельба затихла так же неожиданно, как началась. Машина перестала работать. Наступила странная тишина. Миноносец «Wakeful» остановился. Нас вывели на прогулку на верхнюю палубу. Тяжелое зрелище предстало перед нашими глазами. В непосредственной близости от нас стоял миноносец «Автрол» со сбитой набок стеньгой. Он был только-что захвачен англичанами, но на нем еще развевался красный флаг. Английская эскадра обошла его с тыла

¹⁾ Впоследствии, в 1920 году, вернувшись из плена с острова Нарген, он возвратил их мне в полной сохранности.

и, отрезав от базы, погнала в открытое море. Английское командование приказало вывести нас на прогулку в момент капитуляции «Автроила» для того, чтобы уязвить наше революционное самолюбие и поглумиться над поражением Красного флота. Я поспешил прекратить прогулку и вернулся в трюм, в нашу общую камеру, где помещалось около 20 пленных. Остальные моряки из команды «Спартак» были размещены по другим кораблям. Комсостав был свезен на берег. Мои спутники по несчастью, матросы «Спартак», хранили исключительную бодрость духа и мужественно смотрели в лицо смерти. Мы все были уверены, что англичане нас расстреляют.

VI

Утром 28 декабря нас вызвали наверх. Рядом с трюмом помещалось крохотное отделение рулевой машинки. Для того, чтобы спасти меня от возможного опознания, матросы посоветовали мне не выходить наверх, а спрятаться в этом помещении. Но мне пришлось пробыть там недолго. Вскоре я был обнаружен английским матросом и выведен на верхнюю палубу. Наши «спартаковцы» были выстроены на левых шканцах. Англичане вместе с белогвардейцами усиленно разыскивали меня. На все их вопросы спартаковские матросы отвечали, что в Кронштадте перед выходом миноносца в море его действительно посетил Раскольников, но затем он сошел на берег и в походе не участвовал. Однако, не удовлетворяясь этим объяснением, англичане продолжали свои поиски, повидимому, имея точные сведения о моем нахождении на борту «Спартак».

Выведа на верхнюю палубу, меня тоже поставили во фронт, на левом флаге спартаковской команды. Кроме англичан, на корабле шныряли белогвардейцы. У меня отобрали паспорт. В виду того, что по паспорту я значился эстонцем Феллинского уезда, ко мне подошел какой-то матрос боцманского вида и стал разговаривать со мной по-эстонски. Я был удивлен в незнании языка. В свое оправдание я солгал, что давно

обрусел и уже забыл материнский язык. В этот момент на шканцах появилась группа белогвардейских офицеров, среди которых я тотчас узнал высокую, долговязую фигуру моего бывшего товарища по выпуску из Гардемаринских классов — бывшего мичмана Феста. По своему происхождению Оскар Фест принадлежал к прибалтийским немецким дворянам. Вместе с целым рядом других белогвардейски настроенных офицеров Фест остался в Ревеле после ухода оттуда красноармейских и краснофлотских частей. Среди офицеров Фест был единственным, одетым в штатское платье. На нем был элегантный, с иголочки сшитый темносиний пиджак и тщательное прутуженные брюки. Несмотря на морозный день, он был без пальто и без шляпы. Очевидно, он только-что вышел из кают-компания. Остановившись против нас у правого борта корабля, Фест медленно провел взглядом вдоль всего фронта и остановил на мне свои широко раскрытые голубые глаза. Обычный румянец с еще большей силой залил его продолговатое лицо. Он кивнул в мою сторону и выдал меня, что-то сказав своим белогвардейским спутникам. Меня тотчас изолировали от всей команды, увели в небольшую каюту и, раздев донага, подвергли детальному обыску. Вдруг в каюту ворвался какой-то белогвардеец в форме морского офицера, быстро взглянул на меня и, захлебываясь от радостного волнения, громко воскликнул, обращаясь к обыскивавшему меня англичанам: «He is very tap». («Это тот самый человек»). Очевидно, он знал меня в лицо. Увидев на мне матросский бушлат и скромное белье с порванными носками, он издевательски произнес: «Как одет! А еще морской министр!» Свободный доступ ко мне открытого белогвардейца, его язвительная враждебность еще больше усилили мои ожидания неминуемого расстрела. «Только бы поскорее, ах, только бы поскорее» — думал я про себя.

VII

После обыска меня вывели на палубу и заставили спуститься по трапу в мо-

торный катер. Краснощекие английские матросы, сжимая в руках винтовки с привинченными штыками, безмолвно сопровождали меня. Моторист с усилием дернул рукоятку и завел мотор, который после нескольких одиноких вспышек наконец загудел с шумом, фырканием и металлическим стуком поршней. Катер медленно и осторожно отшвартовался от миноносца и затем, быстро увеличивая скорость, дал полный ход. Я находился в полной уверенности, что меня везут на удобный для расстрела безлюдный и лесистый остров Нарген. Религиозные люди в такие моменты вероятно начинают молиться. Как атеист, я думал о том, что за коммунистические убеждения, за веру в правоту дела мировой пролетарской революции умирать нестрашно. Единственно, что меня раздражало, — это медленный темп приготовлений. Поскольку я примирился с мыслью о неизбежности расстрела, постольку мне хотелось максимально приблизить его. К моему удивлению моторный катер сделал крутой поворот, обогнул корму легкого крейсера, на борту которого я прочел крупную надпись: «Callipso», и, резко уменьшив ход, пришвартовался к левому трапу. На стене развешался флажок адмирала. Это был флагманский корабль английской эскадры — легкий крейсер «Callipso». Английские матросы, которые конвоировали меня, показывая на корабль пальцем, сокращенно называли его «Клипсо». На этом легком крейсере я был проведен в крохотную каюту, где, с трудом поворачиваясь, можно было только стоять: ни сесть, ни лечь было невозможно. Продержав некоторое время в этой клетушке, меня провели в адмиральское помещение. Адмирал восседал за письменным столом; против него, на крыле для посетителей, сидел бывший мичман Фест. Не предлагая садиться, адмирал задал мне обычные вопросы об имени и фамилии. Я назвал себя. Дело ограничилось только формальными вопросами. Тихо переговариваясь о чем-то с Фестом, адмирал приказал матросам увести меня. Я был проведен в узкое паропроводное отделение, расположенное вдоль борта ко-

рабля. В помещении не было ни одного иллюминатора; там круглые сутки горели электрические лампочки. От нагретых паровых труб в помещении было жарко и душно. На палубе лежала широкая доска. Дверью служила подвижная решетка, наподобие тех, какие бывают в иностранных тюрьмах. Повидимому, я находился в арестном помещении для матросов. Возле решетки встал часовой с ружьем. Этот матрос показался мне мало симпатичным парнем. Соскучившись стоять на часах, он начал развлекаться, наводя на меня винтовку, зажмуривая левый глаз и указательным пальцем правой руки нажимая курок. Я знал, что часовой, приставленный для охраны, не посмеет расстрелять меня прямо на корабле, и поэтому чувствовал себя уверенно. Но все же эти шутки мне не понравились. Поделившись со мной своими восторгами по поводу разгрома Германии и ликвидации ее флота, часовой снова взял винтовку на изготовку, но на этот раз уже не по моему адресу. «Ленин!» — воскликнул он, ртом подражая выстрелу, и резким движением опустил винтовку. Я с отвращением отвернулся и отошел в задний угол своей пловучей камеры. Вдруг до меня донесся стук паровой машины, и по легкому, ритмическому содроганию корпуса я понял, что «Callipso» снимается с якоря. «Очевидно, англичане нашли неудобным расправиться со мной в Ревеле, рабочем центре, и решили расстрелять в более пустынном месте» — пришло мне в голову.

В полдень мне принесли на обед крепкого английского чаю без молока и без сахара, несколько солдатских галет и коробку консервов. Жестянка была раскупорена, и на ее этикетке я прочел английскую надпись: «Консервы из кролика». Никогда в жизни не приходилось мне питаться кроликами, и, как ко всякому незнакомому блюду, я отнесся к консервам из кролика с известным предубеждением. Но к моему удивлению, кролик оказался похожим на куриное мясо.

Из английских офицеров я никого не видел. Никто из них не удостоил меня

своим посещением. Лишь какой-то механик, похожий на сверхсрочного кондуктора флота, пришел ко мне с листом белой бумаги и попросил написать ему что-нибудь на память. Я охотно записал запечатлевшееся в моей памяти одно революционное стихотворение.

За отсутствием иллюминаторов я не различал времени. Часов у меня тоже не было. Но, судя по продолжительности похода, уже должен был наступить вечер. Меня стало клонить ко сну, и я улегся на доске, брошенной прямо на палубе. Легкий крейсер шел полным ходом. Паровая машина стучала где-то вдаль ритмично и мягко. Убаюканный мягким содроганием корабля, я быстро уснул. Наутро меня снова напоили чаем с галетами. Затем наконец я заметил, что машина перестала работать и корабль остановился. Через некоторое время меня вывели на палубу. Я увидел, что легкий крейсер стоит у берега, в пустынной лесистой местности, густо покрытой снегом. В отдалении виднелось несколько одноэтажных казарменных построек из красного кирпича. С палубы миноносца меня по сходням перевели на палубу стоявшего рядом товаро-пассажирского парохода. Мне приказали по трапу спуститься в трюм и посадили в одну из кают на левом борту. В каюте был иллюминатор, я тотчас бросился к нему и жадно прильнул к холодному стеклу. Однако, кроме занесенного снегом густого леса, я ничего не увидел. Затем я услышал шаги: в соседнюю каюту провели какого-то одинокого пассажира.

VIII

С наступлением сумерек пароход снялся с якоря и вышел из гавани. Глядя в иллюминатор, я видел, как мы проплыли мимо длинного мола, на конце которого горела мигалка. До сих пор я не знаю названия этого порта, но если бы мне пришлось когда-нибудь в нем побывать, то я сразу узнал бы его: так отчетливо врезались в память эти мимолетные впечатления. Выйдя за мол, пароход круто повернул налево. На мой вопрос, куда идет пароход, конвоир ни-

чего не ответил. Я стал догадываться, что меня везут в Англию. Моя каюта отделялась от каюты соседнего пассажира тонкой переборкой, сквозь которую слышались монотонные, унылые шаги и хриплый кашель. Моим соседом был матрос Ньюк, комиссар миноносца «Автроил», украинец из Волынской губернии. На этом пароходе мы плыли несколько дней. На нем же мы встретили новый 1919 год. Ни книг, ни газет нам не давали. Единственным моим развлечением был иллюминатор, у которого я простаивал часами. Почти все время пароход шел вдоль холмистого берега, кое-где покрытого редким снегом; по солнцу я определил, что курс парохода лежит на запад; чем западнее мы подвигались, тем меньше снегу лежало на берегу. Хотя на этом пароходе и не кормили кроликами, но стол был обильнее и лучше, чем на военном корабле. Когда я стучал в дверь, то приходил надзиратель и отводил меня в галюн. Однажды, когда я проснулся, пароход стоял на якоре. Поле зрения из моей тюремной каюты не позволяло выяснить место стоянки; я постучал в дверь и в сопровождении надзирателя поднялся в галюн; из его иллюминатора передо мною раскрылась панорама большого города: лес фабричных труб, гигантские паровые краны, над бесчисленным множеством домов возвышался позеленевший купол большого собора. По фотографическим снимкам, виденным мною раньше, я уловил стиль города и догадался, что это — Копенгаген. Мой мрачный тюремщик кивком головы подтвердил мое предположение.

Вскоре мне было предложено выйти наверх; поднявшись на палубу, я увидел весь рейд, наводненным военными и коммерческими судами; недалеко стояла целая эскадра миноносцев под разноцветным английским флагом. Мне стало ясно, что Копенгаген был главной оперативной базой для антисоветских действий в Финском заливе. На быстходном моторном катере я был перевезен на флагманский миноносец «Кардиф», где меня поместили в какое-то душное паропроводное отделе-

ние. Тов. Нынюк был изолирован от меня.

Вскоре миноносец снялся с якоря. Когда меня вывели гулять на верхнюю палубу, то я увидел, что «Кардиф» идет головным кораблем, а за ним стройной кильватерной колонной следуют несколько однотипных миноносцев. Поход совершался целым дивизионом. Наше плавание в Немецком море было довольно бурным. Миноносец качался на волнах, как поплавок, когда нетерпеливый рыбак порывисто дергает туго натянутую лесу. Привыкнув к качке во время службы во флоте, я не испытывал морской болезни. Английские матросы прекрасно переносили шторм и с градиозностью кошек бегали по уходящей из-под ног палубе. При подходе к английским берегам качка прекратилась и на море установился штиль. В течение всего плавания на «Кардифе» английские матросы относились ко мне изумительно дружелюбно. Со словами «большевик, большевик» они потихоньку от начальства, оглядываясь, совали мне в руку сыр, шоколад, печенье. Здесь было не простое участие к арестованному, а политическая симпатия к большевику. И охранявшие меня матросы уже не угрожали расстрелом, а доброжелательно объясняли, что меня везут в Лондон.

IX

Однажды, проснувшись ранним утром, я заметил, что миноносец стоит на якоре. Из иллюминатора обширной умывальной комнаты, куда меня каждый день водили умываться, передо мною открылся необыкновенно красивый пейзаж: высокие, заросшие лесом горы и перекинутый через весь залив огромный ажурный мост. «Это — Русайф, Шотландия» — объясняют столпившиеся вокруг меня английские матросы. «Вы были здесь когда-нибудь прежде?» — с дружественным участием задают они мне вопрос. Я отвечаю, что вообще впервые посещаю «гостеприимную» Англию. Матросы весело смеются. Мой часовой предупреждает, что вечером меня повезут в Лондон. Действительно, с наступлением темноты меня выводят на палубу.

Там я встречаюсь с тов. Нынюк. Нам выдают по матросской фуражке без ленточек и по желтой накидке из грубого сукна. Английский морской офицер велит надеть на нас кандалы. Английский матрос, исполняя приказ, надевает на нас обоих пару кандалов: моя левая рука вплотную скована с правой рукой тов. Нынюк. В таком виде нас по трапу ведут на буксир. Нас сопровождают один морской офицер и двое матросов. Уже наступила полная темнота. Небо искрится звездами. Оба берега бухты светятся огоньками. Мне ничуть не холодно, хотя уже девятое января. Снегу нигде не видно. Буксир под'езжает под кружевной мост на высоких сваях и, неслышно разрезая тихую гладь воды, подходит к пустынной барже. С борта парохода прокладываются сходни, и мы идем по ним. Это оказывается нелегким делом. Сходни очень узки; на них вообще трудно поддерживать равновесие; а нам, скованным кандалами, приходится с особой осторожностью передвигаться гуськом. Кандалы страшно мешают. С опасностью поскользнуться, полететь в воду и неизбежно увлечь за собою товарища, мы наконец переходим на баржу. Однако за этой баржей находится не благословенный берег, а целая вереница барж, стоящих на мертвых якорях и соединенных узкими сходнями. Наконец мы перебираемся на берег, где нас ожидают несколько полицейских в длинных плащах и высоких шлемах. Мы находимся в военно-морском порту; на берегу лежат огромные кучи каменного угля; в воздухе носится мелкая угольная пыль. В сухом доке стоит большой военный корабль, странно обнажив свой киль и обшитые броней борта. Мы в Шотландии, в Русайфе, крупнейшем военном порту Великобритании. Этот порт начал сооружаться еще в 1909 году, но развился по-настоящему только во время империалистической войны. На меня он произвел впечатление оборудованной военно-морской базы.

X

Не снимая с наших рук кандалов, нас провели на глухой полустанок и в по-

лицейской комнате заставили ждать поезда. Через полчаса пришел поезд. Морской офицер, молодой и пухлый блондин, предложил нам войти в мягкий вагон. Наши кандалы обращали на себя внимание, хотя в вагоне и на полустанке пассажиров было немного. Нам отвели отдельное шестиместное купе. Я сел у окна, а тов. Нынюк, рука об руку скованный со мною, расположился слева от меня. Офицер и двое матросов разместились в нашем купе и предусмотрительно задернули занавески на окнах и на стеклах, выходящих в коридор. Поезд медленно тронулся. Офицер зажег спичку, закурил трубку и дал прикурить матросам. Между ними завязался непринужденный разговор. Вскоре наступила ночь. Наши конвоиры, сидя на диване, погрузились в сон. Я смотрел в окно. Поезд, громыхая и лязгая, стремительно несся мимо спящих, смутно темнеющих деревень, мимо аккуратно разграфленных квадратных полей, редко и ненадолго задерживаясь на станциях. Скоро промелькнул Эдинбург, столица Шотландии. По мере движения на юг резко изменялась природа. Шотландские горы постепенно уступали место английской равнине. Я никак не мог заснуть сидя. Вдруг я заметил, что кандалы, которые плотно облекали ширококостную руку тов. Нынюк, мне велики. Я попробовал вынуть кисть руки из железного браслета, и это легко удалось. Я взглянул на конвоиров: они сладко, безмятежно спали. Мне тотчас пришла в голову мысль о бегстве, которое облегчалось тем, что выходная дверь на открытый воздух находилась прямо в купе, и мне, сидя у окна, стоило лишь нажать ручку, чтобы выпрыгнуть из вагона. Соблазн был велик. Но поезд мчался с гигантской, невиданной в России быстротой. Тогда я решил бежать во время останьки. Мне уже мерещились картины, как с помощью английских рабочих я переберусь на европейский континент и оттуда вернусь в РСФСР.

Лишение свободы было для меня привычным делом. Я сидел в 1912 г. в доме предварительного заключения, в немецкой тюрьме в Инстербурге и в

1917 г. — в «Крестах». Но после кипучей революционной работы 1917 и 1918 годов лишение свободы ощущалось мною особенно тяжело. Меня томила жажда работы на пользу молодой советской республики, а вместо этого приходилось сидеть в плену.

Как назло, машинист тормозил поезд в последнюю минуту, перед самым подходом к станции; от резкой остановки поезда мои конвоиры просыпались, встряхивали головы и вскидывали на меня заспанные глаза. Так мне и не удалось бежать. Рано утром, на какой-то промежуточной станции, один из матросов купил свежий номер газеты. Когда офицер вышел из купе, матрос протянул мне газету и со смехом ударил пальцем по тому месту, где красовалась какая-то заметка. Я прочитал ее и тоже не мог удержаться от смеха. Заметка была торжественно озаглавлена: «Мы захватили в плен первого лорда большевистского адмиралтейства». Сочетание таких противоположных понятий, как «лорд» и «большевизм», было неожиданным и безвкусным. Так английская буржуазная газета переводила на понятный для своих читателей язык мое звание члена Реввоенсовета Республики по морским делам.

XI

В сырое и туманное утро 10 января 1919 года мы приехали в Лондон. Морсил мелкий и частый дождь. В закрытом автомобиле, ожидавшем нас у вокзала, морская стража доставила нас в адмиралтейство. Нас обоих, скованных кандалами, заставили ждать в коридоре. Чиновники адмиралтейства, машинистки, стенографистки бойко шныряли мимо нас. Делая вид, что спешат по делам, они все время с любопытством поглядывали на нас. Видимо, им было интересно посмотреть на живых большевиков, привезенных непосредственно из Советской России. Вскоре нас расковали. Мне предложили первым пройти в большую, казенного типа комнату, где за круглым столом восседало несколько человек в морской офицерской форме. В центре сидел полный,

бритый, краснощекий адмирал, лет пятидесяти. Рядом с ним занимал место блондин, не расчесанный, а прилизанный на пробор, с небольшими светлыми усами и без бороды. На нем была форма английского морского офицера. Адмирал задал вопрос по-английски. Блондин перевел его на таком безукоризненном русском языке, что я даже принял его за русского белогвардейца. Но некоторые обороты впоследствии показали мне, что я имею дело с чистокровным англичанином. Первый вопрос, предложенный мне адмиралом, чрезвычайно поразил меня.

— Что вы можете показать по делу об убийстве капитана Кроми? — перевел мне странный вопрос адмирала светловолосый лейтенант.

Я ответил, что решительно ничего показать не могу. Про себя я припомнил, что в наших газетах сообщалось об убийстве английского лейтенанта Кроми в здании английского посольства в Питере в тот момент, когда он, препятствуя проникновению отряда, явившегося для обыска, первым открыл огонь из револьвера по советской милиции. Никакого отношения к данному событию я действительно не имел.

— Но ведь это же — дело ваших рук, — недоверчиво произнес адмирал. — Конечно я не говорю, что вы лично участвовали в убийстве. Но несомненно, что это дело рук Урицкого и компании.

У меня в голове тотчас мелькнула догадка: «Не было ли убийство тов. Моисея Соломоновича Урицкого, совершенное Канегиссером, организовано англичанами в отместку за убийство Кроми». Я с негодованием отклонил предположение о предумышленном убийстве лейтенанта Кроми кем-либо из представителей советской власти.

— Это — роковая случайность, возможная в каждом вооруженном столкновении, которое в данном случае, насколько мне известно, было начато самим лейтенантом Кроми, — добавил я.

Затем англичане перешли к допросу относительно моего пленения. Наконец они предложили мне вопрос: сколько миноносцев и сколько матросов переброшено из Балтийского в Каспийское?

Я заявил, что это военная тайна, и отказался ответить на вопрос. На самом деле все эти суда проходили через мои руки, и мне было с точностью известно как количество судов и матросов, так и название кораблей, прошедших на Каспий по Мариинской системе и по реке Волге. Мой отказ вызвал у англичан некоторое раздражение. Они повысили голос, но, убедившись в безнадежности дальнейшего допроса, прекратили его. После допроса тов. Нынюк нас обоих снова сковали вместе и вывели на улицу.

ХII

У подъезда адмиралтейства стоял открытый автомобиль, вокруг которого при нашем появлении быстро столпились прохожие и мальчишки, с изумлением глядевшие на нас, как на белых медведей. В открытой машине, в сопровождении блондина-офицера и нескольких вооруженных матросов мы были перевезены в Скотланд-Ярд, английскую охранку. Скотланд-Ярд занимает огромное, многоэтажное здание в лучшем квартале Лондона. Нас пожелал принять высший руководитель политической полиции Англии сэр Базиль Томпсон.

Высокий, худой, элегантно одетый, молодящийся старик с седыми, тщательно подстриженными усами, Базиль Томпсон принял меня в своем кабинете. За другим столом, у стены, сидела стенографистка. Томпсон даже не предложил мне сесть. Через переводчика он спросил меня относительно обстоятельств моего плена. Затем его заинтересовала моя биография. Это не составляло секрета, и я рассказал ему. Стенографистка трудолюбиво записала мои показания.

— Так вы большевик? — с нескрываемым удивлением и любопытством спросил Томпсон.

— Да, большевик, — ответил я.

Меня отвели в соседнюю комнату. Через несколько минут из кабинета Томпсона вышел блондин, служивший моим переводчиком в адмиралтействе и в Скотланд-Ярде. Он сообщил, что я буду состоять заложником за англичан,

находящихся в руках большевиков. При этом я буду отвечать не только за них всех вместе, но и за каждого в отдельности.

— Какая судьба постигнет их, такая же участь ожидает и вас, — многозначительно заметил светловолосый морской офицер.

Он добавил, что английское правительство согласно обменять меня на одного английского морского офицера, родственника сэра Эдуарда Грея, и трех матросов, попавших к нам в плен во время разведки где-то в лесу, на северном фронте, недалеко от Архангельска. По английским сведениям, они находились в Москве, в Бутырской тюрьме. Мне было предложено отправить об этом телеграмму в Совет Народных Комиссаров. Я попросил лист бумаги и набросал телеграмму. К моему тексту англичане внесли добавление, что ответ советского правительства следует адресовать в Лондон, в учреждение, носившее имя Мирного парламента («Peace Parliament»). Блондин обещал тотчас же отправить телеграмму по радио. Меня перевели в другую комнату и попросили подождать. Это был кабинет кого-то из чиновников охраны. В углу топился большой решетчатый камин, у которого грелся лысый полицейский чиновник и пил крепкий индийский чай с молоком и белыми булками. Меня посадили за другой стол и тоже принесли стакан чая с булками. Это кстати: с самого утра я ничего не ел. Английское правительство хорошо оплачивает службу своих полицейских агентов. Все детективы одеты в элегантные пиджаки. На их брюках проутюжена ровная складка. Они на ночь не вешают своих брюк, а складывают их на стул рядом с кроватью под деревянный пресс из двух параллельных дубовых досок. Английские шпики лезут из кожи, чтобы хоть внешне показать себя джентльменами. Когда я напился чаю, меня вывели в коридор. В это время сэр Базиль Томпсон в блестящем, как зеркало, цилиндре медленной походкой усталого рамоли торжественно прошел мимо меня и вышел на улицу. После недолгого ожидания в коридоре привели тов. Нынюк, и

нас обоих вывели на улицу; у подъезда стоял автомобиль. Два сыщика неимоверной толщины с трудом влезли в машину, и мы вчетвером едва поместились в маленьком, закрытом автомобиле. На головах обоих шпииков лоснились гладкие, шелковистые котелки. Автомобиль тронулся, переехал мост через Темзу и быстро помчался по широкой и длинной улице. Вскоре он свернул направо, в какую-то узкую, боковую улицу и остановился перед массивными воротами тюрьмы. Громыхая тяжелыми ключами, неприветливый сторож мрачно открыл ворота, и нас провели в тюремную контору. Шпики сдали нас, как товар, под расписку смотрителю и, приподняв котелки, вежливо откланялись. Как во всех тюрьмах мира, нам была предложена короткая анкета: имя, фамилия, профессия, вероисповедание. Когда дело дошло до последнего пункта, то заполнявший анкету смотритель решительно стал втупик. Он никак не мог понять, к какой церкви следует отнести меня. В ответ на его вопрос: «Так вы католик или протестант?» — я упорно твердил одно: «Нет, я — атеист». «Католик?» — снова переспрашивал он, явно не понимая меня. «Атеист» — терпеливо отвечал я. «Греческая церковь?» — «Нет, атеист». — «Значит, протестант?» — «Я вам говорю, что атеист» — настаивал я. В конце концов он все-таки приписал меня к греческой церкви на том основании, что до революции православие было господствующей религией в России. Затем меня провели в ванную комнату, где по обе стороны коридора за тонкими переборками помещались белые ванны. Я охотно вымылся и переоделся в казенное белье. Мне было разрешено не переодеваться в арестантское платье, а остаться в своей одежде, то есть в матросском бушлате, который бессменно был на мне со времени переодевания на «Спартаке». Верхней одеждой мне служила матросская ватная, стеганая тужурка и наконец выданная на «Кардифе» перед поездкой в Лондон желтая накидка с капюшоном; на голове у меня была круглая, как блин, английская матросская фуражка без ленточек. Из ванны меня провели в

одиночную камеру. Когда я проходил внутренними переходами тюрьмы, то был удивлен, с каким утомительным однообразием все тюрьмы мира копируют друг друга. «Брикстон-призн» больше всего напоминала мне «Кресты». Те же коридоры, те же лестницы, даже то же крестообразное расположение корпусов. Моя камера была расположена в первом этаже, и ее решетчатое окно выходило на тюремный двор, по которому гуляли арестанты в серых костюмах и узких продолговатых шапочках серого цвета. Это был корпус «D-Hall», отделение первое, камера номер третий. Тов. Нынюк был посажен в соседнюю камеру. Тюремщик, наделенный в английских тюрьмах титулом «тюремного офицера», захлопнул за мною тяжелую дверь, два раза повернул в замке ключ и медленно удалился. Я остался один. От нечего делать я измерил размеры камеры. Какая тоска! Та же самая площадь, как и в российских тюрьмах: пять шагов в длину и три шага в ширину. Та же самая мебель: привинченная к стене узкая койка, железный стол и крошечный табурет. В углу на полке лежало евангелие, на полу вместо параша стоял ночной горшок.

У дверей моей камеры была прибита дощечка: «The prisoner of War» («Военнопленный»).

XIII

День шел за днем. Для меня и для тов. Нынюк был установлен суровый режим одиночного заключения. Каждое утро после звонка, будившего заключенных, тюремщик, громыхая связкой огромных ключей, открывал дверь моей камеры и громко возгласал: «The application». Вместе с дежурным тюремщиком у дверей камеры останавливался другой служитель тюрьмы с неизменной грифельной доскою в руках. На этой доске он записывал мелом требования заключенных. Через этого служителя можно было вызвать врача, произвести выписку продуктов и газет, заказать за отдельную плату обед лучшего качества, попросить конверт и бу-

магу для письма, заявить ту или иную жалобу. После обхода дежурный тюремщик снова открывал камеру с возгласом: «Bring a slops» («Выносите помой»). Это значило, что нужно выносить горшок, заменявший привычную русскую парашу. Тут же, в уборной, приходилось умываться: в камере не было водопровода. Затем приносилось ведро с кипятком, тряпка, щетка и воск. Я должен был горячей водою вымыть пол, а затем натереть его воском. Деревянный стол полагалось скрести намыленной щеткой. После уборки по камерам разносился утренний чай без сахара, небольшая белая булка и крохотный кусочек маргарина. Масло и сахар так же, как и яйца, в то время в Англии продавались по карточкам и для нас, арестантов, были недоступны. Эти продукты нельзя было получать даже за деньги. Следующее посещение тюремщика сопровождалось возгласом: «Экзерсайс!» В первый раз это восклицание я даже не понял. С моим недостаточным знанием английского языка я мысленно перевел эти слова, как упражнение. Какое «упражнение»? — недоумевал я, стоя посреди камеры и не зная, что предпринять. «Экзерсайс» — повторил свою команду пожилой усатый тюремщик и жестом пригласил меня к выходу. Потом я догадался, что английское слово «exercise» имеет еще второе значение. Оказывается, это не только «упражнение», но и прогулка. Прогулка совершалась по кругу на тюремном дворе, обнесенном высокой кирпичной стеною. Прогулка была для меня единственным местом встречи с тов. Нынюк. Иногда потихоньку от тюремщиков мы перекидывались с ним несколькими словами. К сожалению, прогулка продолжалась недолго: от 15 минут до получаса. Затем мы опять водворялись по камерам. В полдень раздавался обед, состоявший по преимуществу из картофеля. В отличие от русских тюрем суп подавался не каждый день. По воскресеньям картофель заменялся праздничным блюдом — небольшим куском яркочерной солонины. Наконец вечером полагался ужин: булка и кружка жидкого какао на воде и

без сахара. Вскоре после ужина заключенные были обязаны ложиться в постель.

В один из первых дней я потребовал себе конверт и бумагу и написал письмо тов. М. М. Литвинову, извещая его как нашего полпреда о всем невольном прибытии в Лондон и нахождении в Брикстонской тюрьме. Я сообщил ему, что нуждаюсь в деньгах и русских книгах, и просил его навестить меня. Через несколько дней письмо было возвращено мне обратно с пояснением, что Литвинов выехал из Англии.

Когда я в другой раз отправил письмо матери, то вскоре оно в распечатанном виде было возвращено мне назад. На одной стороне конверта значилось: «Вскрыто цензором», на другой стороне стоял многозначительный штамп: «Сообщение прервано».

Наконец когда я пожелал послать телеграмму, то сперва мне отказали под предлогом, что вскоре я буду освобожден, а в другой раз не разрешили, сославшись на отсутствие телеграфного сообщения с Россией.

XIV

В тюрьме была библиотека, которая сразу стала моим главным пособником в коротании невольных тюремных дозгов.

Библиотекой заведывал «скулмастер», школьный учитель, по совместительству выполнявший обязанности тюремного библиотекаря. Серое лицо этого пожилого человека всегда было оторочено, словно мехом, щетиной небритой бороды. Сизый нос на сером лице обличал его болезненное пристрастие к алкоголю. Библиотекарь не столько говорил по-французски, сколько любил красоваться своим знанием иностранного языка. Это все же облегчало мои сношения с ним. Тюремная библиотека состояла по преимуществу из сочинений английских классиков — Шекспира, Диккенса, Теккерея — да из английских иллюстрированных журналов легкого типа в роде «Strand Magazine» с произведениями Конан-Дойля и Филиппса Оппенгейма. Богато был пред-

ставлен отдел богословской и религиозно-нравственной литературы. Имелось также небольшое количество французских книг. На русском языке были только «Казачи» и «Анна Каренина» Льва Толстого. Библиотека была невелика и случайна по выбору книг. С первых же дней пребывания в тюрьме я принялся за изучение английского языка. Оказалось, что для этой цели может пригодиться даже евангелие. От нечего делать я стал просматривать его и, зная соответствующий русский текст, догадывался о смысле отдельных слов и старался запомнить их значение. В тюремной библиотеке не было англо-русского словаря. Поэтому я взял англо-французский словарь и, пользуясь относительно лучшим знанием французского языка, с помощью этого словаря постепенно стал читать английские книги.

XV

Однажды, в начале февраля, я был вызван в контору, где меня ожидал долговязый шпик, который вывел меня на улицу, взгромоздился вместе со мною на империял огромного двухэтажного автобуса и повез меня в центр города. Шел обычный для Лондона дождь. На улицах, по которым мы проезжали, было лихорадочное движение. Невольно мне вспомнилось начало поэмы Валерия Брюсова «Конь бледный»: «Улица была, как буря. Толпы проходили, словно их преследовал неотвратимый рок. Мчались omnibusы, кебы и автомобили. Был неисчерпаем яростный людской поток». В одной из комнат адмиралтейства меня ждал морской офицер, служивший переводчиком во время допроса в адмиралтействе и Скотланд-Ярде; рядом с ним за столом сидел другой морской офицер, полный, слегка обрюзглый брюнет с густыми усами и острой, аккуратно подстриженной черной бородкой. Он отрекомендовался бывшим морским представителем Англии в штабе Черноморского флота; империалистическую войну и первые месяцы революции он провел в Севастополе. На этот раз английские моряки

предложили мне сесть за столом напротив и подвергли меня перекрестному допросу насчет теоретических основ коммунизма; их в особенности интересовала наша экономическая и политическая концепция. Затем они сообщили мне удручающую новость о гибели Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Далее они информировали меня о высадке союзного десанта в Одессе. Я обо всем этом ничего не знал, так как за отсутствием валюты был лишен возможности покупать газеты. Англичане предложили обменять на английскую валюту находившиеся при мне и отобранные в тюремной конторе шесть царских десятирублевков. Кроме них, у меня было еще несколько штук квадратных «керенок» сорока- и двадцатирублевого достоинства. Но от обмена их английские офицеры с улыбкой отказались. Во всяком случае теперь у меня оказалось около трех фунтов стерлингов. Я прежде всего поспешил обзавестись бельем. Во время очередного обхода тюремщиков с предложением «заявлений» я выписал себе две фланелевых рубашки, двое кальсон и две пары шерстяных носков. Эти закупки стоили дорого: около двух фунтов стерлингов; на них ушла значительная часть моих денег. Кроме того, я купил себе четыре маленьких и дешевых словаря братьев Гарнье в красных коленкоровых переплетах: англо-русский, русско-английский, французско-русский и русско-французский. После этих покупок у меня осталось меньше фунта. На эти деньги я стал ежедневно покупать газеты. С тех пор мои занятия английским языком подвинулись настолько успешно, что через месяц я стал читать газеты без словаря. Главным моим чтением были: «Таймс» и «Дэйли ньюс». Реакционный «Таймс» я покупал в виду его широкой осведомленности, легко уживавшейся с печатанием самых непостижимых вымыслов о Советской России. Либеральная «Дейли ньюс» была самой левой газетой, которую мне позволялось читать. Когда я несколько раз делал попытки выписать «Манчестер гардиан», то тюремщики всякий раз приводили мне смехотворное объяснение, что эта

газета издается не в Лондоне, а в Манчестере.

В то время все английские газеты питались информацией о Советской России через посредство своих рижских и гельсингфорских корреспондентов, главным источником которых служила белогвардейская эмиграция. Поэтому на страницах английской буржуазной печати безраздельно царилась самая фантастическая клевета. Каждый день я наткался на какие-нибудь сногшибательные новости. То вдруг я узнавал, что на улицах Москвы китайцы продают человеческое мясо, то вдруг оказывалось, что смертность в России возросла до таких размеров, что нехватает дерева для гробов. Красная армия изображалась в виде «сброда, состоящего из китайцев и латышей». Все статьи и заметки, касающиеся Советской России, я заботливо вырезал; из них составилась весьма пахучий букет.

Читая газеты, я даже в тюрьме был хорошо ориентирован в международных событиях и в частности в развитии версальских мирных переговоров, которые тогда как-раз начались.

В парламенте часто ставился и обсуждался русский вопрос. Сторонники решительной антисоветской интервенции открыто выражали свое недовольство половинчатой политикой Ллойд-Джорджа. Они настаивали на свержении советской власти путем отправки в Россию многочисленных армий. Но Ллойд-Джордж, считаясь с настроением утомленных войною крестьянских масс и опасаясь рабочих, среди которых с каждым днем росли симпатии к Стране Советов, оправдывал политику своего кабинета. Помню, однажды, отбивая нападки консерваторов, он, ссылаясь на пример Наполеона, заявил: «Россия такая страна, в которую легко войти; но из нее трудно выйти». Нередко правительству пред'являлся запрос: «Какова судьба английских офицеров, находящихся в руках большевиков?» Однажды товарищ министра иностранных дел Эмери, отвечая на этот вопрос, заявил, что английское правительство через посредство датского Красного Креста ведет переговоры с советским

правительством относительно обмена этих офицеров на русских большевиков, находящихся в Англии. Я понял, что это заявление между прочим относится и ко мне, и с нетерпением ожидал скорейшего окончания переговоров.

Из тех же английских газет я узнал о смерти тов. Свердлова, об аресте в Германии тов. Радека и о задержании тов. Мануильского во Франции.

Однажды я прочел в газетах о предложении, сделанном «союзниками» нам и белогвардейцам, относительно созыва конференции в Принкипо, на Принцевых островах. Вскоре мне из газет стало известно, что советское правительство ответило согласием. Тем не менее конференция не состоялась в виду отказа Деникина и Колчака.

Я мечтал поехать на эту конференцию, чтобы таким образом освободиться из тюрьмы. Как я узнал впоследствии, на эту конференцию в самом деле среди других делегатов намечалась и моя кандидатура.

За чтением газет наступила очередь книг. Одной из первых книг, прочитанных мною на английском языке, была «Французская революция» Хилэр Беллока.

XVI

Во всех тюрьмах Великобритании царит фальшивая набожность. На ряду с дешевой оловянной тарелкой и глиняной кружкой в инвентарь каждой камеры входят евангелие и молитвенник. Три раза в неделю, по утрам, арестантов водят в церковь. «Чэпл, чэпл!» — восклицает тюремный офицер и выводит заключенных в коридор, по которому длинным гуськом они тянутся в тюремную церковь. Там их рассаживают по узким и длинным деревянным скамьям. Некоторые из них, сидя в церкви, при каждом движении гремят тяжелыми кандалами, которые сковывают им руки и ноги.

Я тоже несколько раз был в церкви, главным образом для того, чтобы послушать орган. Маленький и невзрачный органист, в черной крылатке, быстрыми шагами, смущенно поправляя очки и словно крадучись, пробирался

к высокому и звучному органу, стоявшему у левой стены. На лице и на всей жалкой фигуре органиста отпечатлелись обремененность большой семьей и мучительная забота о куске насущного хлеба. На органе он играл изумительно. Несмотря на то, что духовные мелодии были мне совершенно чужды, в скучном однообразии тюремных событий даже эта монотонная музыка вносила известное развлечение.

Упитанный англиканский поп представлял собою полную противоположность органисту. В серебряных очках, с седыми, благообразными, расчесанными на пробор волосами, с жирными и лоснящимися от сытой жизни щеками, поп в белой сутане, похожей на балахон, неторопливо читал нараспев молитвы, а заключенные хором подпевали ему. После богослужения он, тяжелый и неповоротливый, как вышедший из воды бегемот, неуклюже взбирался на кафедру и, расправляя неудобные, длинные и широкие рукава, в которых беспомощно путались его белые и пухлые, с детства холеные руки, принимался отчаянно и страстно громить русских большевиков. Мне становилось смешно, и я не мог совладать с непроизвольной улыбкой.

XVII

Зима в Лондоне мягкая. Туманы, дожди, мокрый снег, быстро тающий на земле. Больших морозов там не бывает. Но когда падали крупные хлопья влажного снега, то краснолицые, жирные, задыхающиеся от полноты тюремщики, громяхая связкой ключей, открывали мне дверь на двор и, потирая от холода руки, с ужасом восклицали: «Сайбирия! Сайбирия!», что по-английски означало — Сибирь! Я смеялся и отрицательно качал головой. Несчастные, они не подозревали действительных холодов нашей Сибири, несравнимых ни с какой лондонской зимой. В Лондоне тюрем не топят или их топят очень плохо. Во всяком случае в камере было холодно. Все время приходилось носить бушлат. Моя камера находилась в первом этаже. Снизу,

с каменного пола, распространялась сырость. В ту зиму в Англии свирепствовала жестокая испанка. Ежедневно в газетах приходилось читать о вымирании от болезни целых семей. Я тоже простудился. На мое счастье в Брикстонской тюрьме не было эпидемии гриппа, и я отделался легкой простудой. Все же пришлось записаться на прием к врачу. Английский доктор, выслушав меня, выдал лекарство и, узнав, что тюремной пищи мне не хватает, прописал усиленное питание. Оно состояло в том, что ежедневно вместе с утренним чаем мне стали подавать «порридж», иначе говоря, густую овсянку. Денег у меня было мало. Поэтому, я был вынужден довольствоваться тюремным столом. Но, как и в царских тюрьмах, в Брикстоне за особую плату давались обеды лучшего качества. Такой обед стоил мне один шиллинг. Однажды для пробы я взял его. Он оказался вполне приличным и состоял из супа и английского ростбифа с зеленью. В буржуазном обществе классовое различие существует повсюду. Состоятельным людям неплохо живется даже в английской тюрьме.

XVIII

Когда мои знания английского языка окрепли, то я решил передать их моему товарищу Нынюк. Ускоряя свой шаг по кругу и обгоняя его, я украдкой от тюремщика бросал ему: «Кошка — кат, рыба — фиш». Быстрой походкой, согривающей тело, обегая круг, я снова подходил к тов. Нынюк и шептал ему: «Кошка — кат, рыба — фиш. Повторите!» — «Кошка — фиш, рыба — кат» — неизменно отвечал он как-раз наоборот. Из этих занятий английским языком ничего не вышло. С гораздо большим успехом он усваивал политические новости, которые я ухитрялся передавать ему на прогулке.

Когда на прогулку выводили других арестантов, главным образом уголовных, то нас как «опасных большевиков» старательно изолировали от них и заставляли гулять взад и вперед по прямой линии, касательной к кругу. Однажды вместе с нами был выведен

на прогулку невысокий, горбатый человек без шапки, с копной густых волос на голове. При встречах с ним я начал переговариваться. Мне удалось выяснить, что его фамилия Кирхан. Он был членом британской социалистической партии и сидел в тюрьме уже четыре года за агитацию против войны. Узнав, что мы — русские большевики, он стал относиться к нам с явной симпатией. Однажды, когда тюремный надзиратель отвернулся в сторону, он, поровнявшись со мною, бросил на землю какой-то сверток. Я быстро подобрал его. Сверток состоял из нескольких номеров левых рабочих журналов: «The Call» («Колл») и «Herald» («Херольд»). Из этих журналов я узнал, что вождь английских рабочих Джон Маклин освобожден из тюрьмы и был восторженно встречен рабочими. Читая эти журналы, я убедился, какую энергичную кампанию против интервенции вел английский рабочий класс. В огромном лондонском зале «Альберт-холл» состоялась многотысячный митинг под лозунгом: «Руки прочь от России!» Английские рабочие не только протестовали, но и активно боролись против пособничества белогвардейцам, против интервенции английских войск. С этими настроениями рабочего класса Англии был вынужден считаться Ллойд-Джордж.

XIX

Население тюрьмы было обширно и разнообразно. Подавляющее большинство ее обитателей составляли уголовные арестанты. Как-то на прогулке я познакомился с одним русским, который родился в Канаде, вместе с канадскими войсками участвовал в войне, а теперь за какое-то преступление попал в тюрьму. Он уже совершенно «инглизировался». На родном русском языке он говорил очень плохо, с сильным акцентом, но зато свободно писал и разговаривал по-английски.

Как во всякой тюрьме, состав «Брикстон-призн» был текучим. Иногда к нам в тюрьму привозили и «политических». В то время в Англии шли массовые аресты русских, подозревавшихся

в большевизме. Как нежелательные иностранцы они высылались из Англии. Однажды на прогулке Кирхан, сидевший в другом тюремном корпусе, передал мне, что в тюрьму доставлено большое количество русских, заподозренных в большевистских симпатиях. Вскоре и в наше отделение «D-Hall» («Ди Холл») был заключен парикмахер Моргенштерн, заподозренный в большевизме. Он был выслан в Россию, и впоследствии, в 1921 году, я случайно встретился с ним в Новороссийске.

XX

Миновала зима, и наступили весенние месяцы. На тюремном дворе пробила чухлая травка, а я, словно забытый, все еще продолжал сидеть в тюрьме. Это сидение мне порядочно надоело. Весна тянула на волю, в зелень, на лоно природы.

Как-то на прогулке мне пришла мысль о побеге, но ее сразу пришлось отбросить. Высокие кирпичные стены и зоркая стража тюремщиков ставили непреодолимые преграды. Мне вспомнился недавний побег из английской тюрьмы ирландского буржуазного революционера Де-Валера. Но его освободила организация «син-фейнеров», а у меня не было в Англии никаких связей.

Однажды вечером, в начале мая, мне предложили взять все свои вещи и на автомобиле повезли в Скотланд-Ярд. Тов. Нынюк ехал вместе со мною. В Скотланд-Ярде нам сообщили, что, так как режим английских офицеров, находящихся в Москве, в настоящее время смягчен и они пользуются относительной свободой, то и мы будем поселены в гостинице под наблюдением полиции и под условием, что мы не должны стучаться из Лондона. После этого в сопровождении какого-то шпиика мы были проведены в «Миллс-отель» на Гауэр-стрит, недалеко от Британского музея. Нам была предоставлена маленькая и скромно обставленная комната во втором этаже. Здесь на свободе мы прожили двенадцать дней. Сперва у нас не было денег. Но через несколько дней

ко мне явился какой-то детектив из Скотланд-Ярда и сообщил, что в датском посольстве на мое имя получены деньги из Москвы. Сыщик взялся сопровождать меня. По подземной железной дороге, с какими-то сложными пересадками, мы поехали в отдаленный аристократический квартал Лондона, где помещалось датское посольство. Через нарядную, как бомбоньерка, гостиную меня провели в строгий и деловой кабинет посланника. Высокий и седой мужчина передал мне пятьдесят фунтов стерлингов, полученных им для меня от Наркоминдела через посредство датской миссии Красного Креста, кажется, единственного иностранного представительства, тогда находившегося в Москве. Навязчивый шпиик снова проводил меня до самого дома. Затем тов. Нынюк и я пошли в магазин готового платья на Оксфорд-стрит и переоделись в приличные костюмы. В шляпном магазине мы купили себе мягкие фетровые шляпы и заменили ими матросские фуражки без ленточек, выданные нам на «Кардифе». Из полуборванцев, обращавших на себя внимание на фешенебельных улицах Лондона, мы превратились в прилично одетых людей.

За эти двенадцать дней я успел ознакомиться с городом и его достопримечательностями. Прежде всего я осмотрел Британский музей, который богатством своих археологических и художественных коллекций произвел на меня грандиозное впечатление. Затем я побывал в Зоологическом саду. В театре «Ковент-Гарден» мне удалось прослушать оперу «Тоска» в исполнении первоклассных итальянских певцов.

В один из этих дней я посетил центральный комитет британской социалистической партии. Он ютился в темных и грязных комнатках, где-то на Drug Lane. Меня там приняли вежливо и корректно, однако без признаков радужного гостеприимства.

В другой раз я зашел в адмиралтейство, чтобы узнать, когда же наконец меня отправят в Советскую Россию, куда я страстно стремился, чтобы снова принять участие в гражданской войне. Офицер во френче защитного цвета

сказал мне, что переговоры о времени и месте обмена уже заканчиваются и в ближайшие дни, вероятно через Финляндию, я буду отправлен в Россию.

Однажды за нами пришел какой-то молодой человек в штатском пальто и предложил нам собираться в отъезд. Он пояснил, что будет сопровождать нас до Русайфа. Мы наскоро связали свои вещи и сами вынесли их на улицу. На автомобиле нас отвезли в Скотланд-Ярд: Здесь снова нас принял сэр Базиль Томпсон. Он объявил, что мы отправляемся в Россию через Финляндию, при чем обмен на английских офицеров состоится на финско-советской границе. На том же автомобиле в сопровождении молодого шпика мы были доставлены на вокзал. Там происходили проводы английских добровольцев, уезжавших в Мурманск и Архангельск на помощь русским белогвардейцам. В нашем купе напротив нас сидел длиннолицый английский офицер. Из разговора выяснилось, что он в качестве добровольца отправляется воевать против нас. В Лидсе он предполагал пересечь на пароход. Постепенно сгустились сумерки. Наступил вечер. В вагоне стало прохладно. Тов. Нынюк дрожал от холода. Тогда английский офицер снял с себя пальто и предложил его моему товарищу, хотя он отлично знал, что имеет дело с большевиками. Что это? Джендльменство или рисовка классового врага, играющего в великодушие? Вернее, последнее. Но во всяком случае это был красивый жест.

XXI

В Русайф мы прибыли рано утром. Шпик проводил нас до парохода «Гринвич» и, передав морским властям, тотчас откланялся. На «Гринвиче» мы были сданы под надзор круглолицему унтер-офицеру из морской пехоты, выполняющей на английских военных судах роль жандармерии. «Гринвич», довольно большой вооруженный корабль, служивший маткой подводных лодок, шел в Копенгаген. Едва он снялся, седоусый механик, пыхтя трубкой, слово-

охотливо принялся мне рассказывать историю уничтожения немецкими моряками германского флота, интернированного в Скапа-Флоу.

Гористые зеленые берега Шотландии вскоре скрылись за горизонтом, и пароход очутился в открытом море. Я спросил круглолицего унтера, знает ли он иностранные языки. Он с гордостью ответил мне, что ни одного языка не знает и считает совершенно излишним обременять себя их изучением, так как все иностранцы должны говорить на английском языке.

Эти слова были сказаны нагло, с оттенком национального высокомерия. Погода все дни стояла прекрасная. На море был штиль. Я и товарищ Нынюк гуляли по палубе, разговаривали и любовались красотой голубого моря. Обедали мы внизу, в унтер-офицерском кубрике, но отдельно от всей команды. Денег у нас не было ни копейки и никаких «экстра» мы заказывать не могли. Однако тов. Нынюк по незнанию английского языка согласился взять какое-то блюдо, которое было ему предложено, хотя оно и не входило в казенное меню. Получилось недоразумение. Когда впоследствии за это блюдо потребовали плату, мы оказались в неловком положении, так как платить нам было нечем. Унтер-офицер с кислой миной заявил, что сумма невелика и он ее заплатит.

В Копенгагене нас пересадили на английский миноносец. Здесь нас поместили в коридоре офицерского помещения, рядом с кают-компанией. Тут же на ночь подвешивались похожие на гамаки веревочные койки, на которых мы спали. Пищу нам давали с офицерского стола; здесь мы впервые попробовали английские национальные блюда: к обеду подавался «тост», то-есть хлеб, поджаренный в масле; к чаю полагался жидкий мармелад.

Большей частью мы проводили время на верхней палубе. Миноносец шел полным ходом, подымая за собою пенистые бугры кипящей воды. Однажды вечером, перед заходом солнца, справа по борту показались остроконечные готические колокольни ревельских церквей Олая и

Николая, мелькнула похожая на минарет узорчатая башня ратуши и зачернели высокие краны Русско-Балтийского завода. Пройдя между Сурупом и островом Наргеном, миноносец на траверзе Ревельского порта свернул налево и взял курс на север. Вскоре показались очертания Свеаборгской крепости. Миновав Свеаборг в такой непосредственной близости, что можно было отлично разглядеть не только орудия, но даже выражения лиц финских солдат, мы вошли на гельсингфорсский рейд и стали на бочку. Перед спуском на берег все наши вещи были подвергнуты обыску. У меня отобрали большое собрание вырезок из английских газет. Рукописи были пропущены. Англичане мотивировали конфискацию вырезок законом военного времени: «Д. О. Р. А.», воспрепятствующим вывоз из Англии печатных произведений. Но война с Германией была уже кончена. Очевидно, закон сохранял свою силу в виду того, что Англия без объявления войны фактически вела против нас военные действия. Советская Россия рассматривалась капиталистической Англией как неприятельская страна. После обыска меня и тов. Нынюк перевезли на берег. Здесь мы были отведены на гауптвахту, маленький, одноэтажный домик на берегу, рядом с Маринским дворцом.

Ранним вечером нас вывели на улицу. При свете лучей заходящего солнца защелкали кодаки. Среди фотографов были финские офицеры. На автомобиле нас отвезли на вокзал и посадили в вагон третьего класса. Высокий и сухой финский офицер, приставленный к нам в качестве конвоира, глядел на нас с нескрываемой враждой и обращался грубо и надменно. Представитель английского консульства в Гельсингфорсе и уполномоченный датского Красного Креста, которые сопровождали нас до границы, возмутились таким отношением финнов и настояли на переводе нас в мягкий вагон. Поезд тронулся вечером. Мы быстро заснули и не успели заметить, как утром приехали на финскую пограничную станцию. Здесь мы выпили по чашке кофе. Затем в сопровождении англичанина и датчанина

под конвоем финских солдат мы пешком, с чемоданами в руках, отправились к давно желанной советской границе. Была ясная, солнечная погода. От радостного волнения я не замечал тяжести чемодана. Незаметно мы прошли расстояние, отделяющее финскую пограничную станцию от Белоострова. Вот наконец оказался Белоостровский вокзал с огромным красным плакатом, обращенным в сторону Финляндии: «Смерть палачу Маннергейму!», и впереди обрисовался небольшой деревянный мостик с перилами через реку Сестру. Нам приказали остановиться у самого мостика, перед спущенным пограничным шлагбаумом. Я поставил свой чемодан на землю, снял шляпу и с облегчением вытер со лба пот.

XXII

Как трепетно забилося мое сердце, когда по ту сторону моста, на советской земле, я увидел развевающиеся по ветру ленточки красных моряков. Медные трубы оркестра ярко блестели на солнце. На советской стороне к мостику подошла группа людей, одетых в английские зеленые френчи с блинообразными фуражками на головах, из-под которых торчали длинные козырьки. Финский офицер, руководивший церемонией обмена, распорядился поднять шлагбаум и вышел на середину моста. Советский шлагбаум также приподнялся, и оттуда один за другим стали переходить в Финляндию английские офицеры. Первым прошел майор Гольдсмит, офицер королевской крови, глава английской кавказской миссии, арестованный товарищем Орджоникидзе во Владикавказе. Широкоплечий и рослый брюнет, он, перейдя на финскую территорию и с любопытством разглядывая меня, по-военному взял под козырек. Я приподнял над головой свою фетровую шляпу и слегка поклонился. Когда восемь или девять английских офицеров перешли границу, то наши моряки запротестовали. У них зародилось сомнение, что финские офицеры надуют и, переправив в Финляндию всех англичан, уведут с собою и меня. Они потребовали, чтобы я был немедленно переведен на советскую тер-

риторию. Но финны упрямылись. Они тоже не доверяли нашим, опасаясь, что после моего перехода границы обмен будет сразу прекращен и остальные английские офицеры останутся необменными. В результате коротких переговоров обе стороны сошлись на компромиссе. Было решено поставить меня и тов. Нынюк на середину моста с тем, что, когда последний англичанин покинет советскую территорию, мы окончательно перейдем границу. Едва лишь мы вступили на мост, как наш оркестр громко и торжественно заиграл «Интернационал». Финские офицеры, застигнутые врасплох, растерялись и не знали, что делать. Их выручили из беды англичане. Те, словно по команде, все как один взяли под козырек. Вслед за ними туго затянутые в белые перчатки руки лощеных финских офицеров неуверенно и неохотно потянулись вверх, вяло согнулись в локте и прикоснулись к их кокетливым каскам, которые вместе с тупыми мундирами придавали им вид довоенных прусских офицеров.

Когда все англичане были уже на мосту, то мы перешли на советскую землю. Безмерная радость охватила меня, когда после пяти месяцев плена я снова вернулся в социалистическое отечество. Поздоровавшись с товарищами, я поблагодарил моряков за встречу. Все поздравляли меня и удивлялись, как дорого котируются большевики на мировом рынке. Подумать только! Двоих большевиков обменяли на девятнадцать английских офицеров. Оказывается, англичане, начав с требования обмена за нас одного морского офицера и четырех ма-

тросов, затем стали вести себя, как купцы, увидевшие, что их товар на базаре имеет спрос. Как торговая нация, англичане стали все более и более набавлять цену, пока наконец не дошли до девятнадцати английских офицеров, потребовав в придачу еще двух русских белогвардейских генералов. Такая наглость взорвала Наркоминдел. Он пригрозил прекращением переговоров. Англичане «уступили» и, отказавшись от белогвардейских генералов, согласились удовольствоваться девятнадцатью офицерами.

Среди встречавших меня в Белоострове был между прочим покойный финский товарищ Иван Рахия. Он предложил мне поехать в Питер на автомобиле, но я отправился по железной дороге. На Белоостровском вокзале наши пограничные красноармейцы попросили меня поделиться своими западноевропейскими впечатлениями, и я с площадки вагона произнес небольшую речь о международном положении. С особым вниманием остановился я на интервенции против СССР и на версальских «мирных» переговорах, таящих угрозу новой войны.

Вечером в день приезда в Питер я зашел на квартиру к тов. Зиновьеву в первом Доме советов. У него я встретился с тов. Сталиным, который в виду непосредственной военной опасности, угрожавшей городу Ленина, приехал тогда из Москвы.

Дело было 27 мая 1919 года. С помощью английского флота Юденич вел первое наступление на один из самых революционных городов мира.

Люди и факты

1. П. Ширяев — Высокая земля. 2. Р. Фатуев — Хава. 3. Д. Фибих — Люди, сталь, золото

1. ВЫСОКАЯ ЗЕМЛЯ

П. Ширяев

ЧАСТЬ ВТОРАЯ¹⁾

8

Путь в Нарын лежит через село Рыбачье, притулившееся в западной части озера Иссык-Куль. От Фрунзе до Рыбачьего ходят автомобили Союзтранса. Казалось бы, что этот отрезок Фрунзе — Рыбачье, всего каких-нибудь 200 километров, — самая легкая и удобная часть пути!.. В действительности же это — настоящий путь пыток, какая-то Голгофа! И начинается она у фрунзенской конторы Союзтранса, на базарной площади. Я запомнил ее, как кошмарный сон, еще с прошлой своей неудачной поездки в Нарын.

Пассажирский автомобиль до Рыбачьего отправляется ежедневно в десять часов утра. По русскому обычаю, я приехал в девять, за час до отправления, хотя билет был уже в кармане. Сгрузил багаж с извозчика прямо на землю (помещения для пассажиров в конторе Союзтранса не имеется!), уселся на чемодан и начал ругать себя за то, что приехал слишком рано. Ожидать целый час на грязной, вонючей площади не улыбалось. А главное — мухи! Фрунзенские и вообще киргизские мухи — это что-то страшное! Нигде, никогда такого количества и таких назойливо липнущих мух я не видел. Они мгновенно облепили толстым слоем

мои вещи и меня самого. Отмахиваться от них было безнадежно. Самое жуткое в них было — их неподвижность. Сбившись в синевато-черные, жирные, отвратительные гроздья, они сидели, словно замороженные, не шевелились, не ползали, приходилось сгребать их рукой; смахнешь, и тут же новые полчища...

«Миллионы нас!.. Нас тьма и тьма!..»

Впереди меня на корзине сидела девушка в светлом пальто. Я смотрел на ее согнутую спину и корчился от омерзения. Залепленная иссиня-черным, толстым слоем мух, спина ее мне казалась падалью. Девушка вставала, шевелилась — мухи были неподвижны; наконец она встала и пошла в контору — мухи пошли с ней. И это было не только омерзительно, это было страшно. Было ощущение близости какой-то смердящей язвы, разложения и яда...

К 10 часам около конторы образовался настоящий бивуак: корзины, мешки, чемоданы, сундуки, и на них — человек сорок пассажиров. Гражданин в картузе с захватанным козырьком, приехавший последним, поставил около меня огромный мешок, громко высморкался в два пальца, осмотрелся и проговорил, обращаясь ко мне:

— Нонче я все равно уеду, должны посадить, раз срочная командировка. Позавчера не посадили, вчера не поса-

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 7—8 с. г.

дили, а нонче сяду. Бумажку от правления достал, вне очереди, потому — срочное задание. Я по снабжению в ЦРК работаю...

— А билет у вас есть?

— Билет у меня четвертого дня еще взят.

— Значит, могут и не посадить с билетом?

Снабженец махнул рукой. Я понял, билет — не гарантия, и заскучал...

— Посмотрите за моим мешочком, — приглядевшись, попросил меня мой собеседник, — я добегу пошамать на базар.

— А если сейчас автомобиль придет? Уже одиннадцатый час!

— Не придет, уж я зна-аю!.. К вечеру, дай господи!

Мне стало еще скучнее.

Прошел час, другой. В двенадцать я пошел в контору узнать о причинах, задерживающих отправку машины. На стене конторы висело расписание движения автомобилей от Фрунзе до Рыбачье с указанием часов и минут отправления, стоянок на промежуточных станциях и прибытия в Рыбачье. Примечание внизу гласило:

«О всяких нарушениях расписания немедленно сообщать начальнику Автогужтранса в г. Фрунзе».

— Скажите, во сколько должна отправляться машина?

— В десять.

— Сейчас — двенадцать!

— Да. Четверть первого.

— Почему же?!

— Очевидно машина занята.

— Когда же она освободится?

— Когда-нибудь освободится. Подождите!

С двенадцати до трех пассажиры возмущались, негодовали, осаждали заведующего конторой; в три контора закрылась, заведующий исчез. Гражданин по снабжению успел еще два раза поесть в китайской столовой. Базарная площадь постепенно пустела. Группами, на верблюдах, на крохотных осликах, на низкорослых, заморенных лошадках, разезжались с базара по своим кишлакам киргизы. Пронзительно верещал свисток женщины-милиционера, остано-

вливающей почему-то то одного, то другого киргиза... Попрежнему липли мушья сонмища. Тошнило.

Автомобиль пришел в семь вечера. В'ехал во двор конторы. Ворота закрылись. Чтобы упорядочить посадку, пассажиры по собственной инициативе составили список очереди. Я как прибывший к конторе раньше всех очутился в списке первым. Но опасения, что сегодня меня могут не посадить, все же оставались во мне. Передав список появившемуся снова заведующему, мы сгрудились перед закрытыми воротами со своими корзинами, мешками и прочим багажом. Прошло еще полчаса. Ворота были немые, как могильная плита.

— Вчера так же вот у вороа часа два простояли! — утешил меня гражданин по снабжению.

Калитка наконец приоткрылась. Просунулась голова заведующего; он поискал кого-то глазами, кому-то кивнул, и, оттесняя нас, в калитку прошли две женщины и трое мужчин, приехавшие к конторе после всех. Пассажиры заволновались и, не соблюдая никакой очереди, ринулись в калитку. Образовалась пробка. Молодой врач, едущий с экспедицией на закупку скота у китайской границы, протиснулся к воротам и треснул в них кулаком.

— Эй, вы, там!.. Это что за безобразия?!. Есть очередь!

Калитка снова открылась. Заведующий конторой посмотрел на врача и холодно выговорил:

— Если вы будете кричать, совсем не уедете.

— Буду! Вы сами создаете беспорядок! Что это за кумовство? Почему пустили без очереди?!

В грузовой автомобиль нас напихали до отказа. Шофер распорядился посадкой и командовал:

— Потеснись еще, ну!

— Некуда!

— Тогда слазь! Буржуев не возим... Эй, вы, там, попримись, залазь еще; еще двоих давай! Сундук не возьму!

— Да как же я без сундука?!

— Очень просто. Не хочешь — скатывайся!

И покорно лезли, прижимались, громоздились на ноги, колена, с мешками, корзинами, пока заведующий не скамандовал:

— Дуй!

И автомобиль «подул» по ужасным фрунзенским улицам. Мне припомнилось предупреждение, полученное в Москве:

— От Фрунзе до Рыбачьего поедете на грузовике, будет трудновато...

Каждый ухаб и выбоина бросали пассажиров друг на друга; бил в бок жесткий угол чьей-то корзины, потом чей-то упрямый локоть, и нельзя было никак освободить ноги от навалившегося чемодана, придавленного широким задом гражданина, едущего выполнять срочное «з а д а я н и е».

Первая остановка была на фрунзенской автобазе. Брали бензин. Стояли час. Бензин наливали ведром из бочки, расплескивая безжалостно этот дефицитный продукт.

— У нас это просто. Пока нальешь, килограмма два расплескаешь! — признавался мне потом один из шоферов, — можно целыми бидонами и на базар таскать...

Вторая остановка после автобазы была... тоже во Фрунзе, на окраине, около столовой. Шофер захотел поест. И еще раз, остановились в поселке, у квартиры шофера, — он пил квас. Выбрались на простор, когда уже смеркалось. В Боамском ущелье, это было утром на другой день, человек с двухстволкой остановил нашу машину.

— Есть? — спросил он шофера.

— Ни одного.

Человек с двухстволкой сел в кабинку, и мы поехали дальше.

— Насчет «з а й ц е в» спрашивал, — пояснил мне гражданин по снабжению, — контроль. Рублей по восемьсот в месяц загоняют на зайцах. Отъедет от города и подсаживает. С кого полсотку, с кого четвертой. А чего сделаешь? Надо ехать — заплотишь и все сто! В каждом деле оно так! Без этого никаких делов быть не может!

— А тогда на что же контроль?

— Хмм... Контроль — он тоже человек! Своя душа — не сосед, пить, есть просит!

Проехав километра два, грузовик резко застопорил. Пассажиры встрепенулись. Гражданин по снабжению мгновенно очутился верхом на борту, готовый спрыгнуть. На извилистой, опасной дороге по Боамскому ущелью несчастные случаи с автомобилями — вещь довольно обычная.

В этот раз дело было проще. Контролер заметил впереди на дороге «к е к л и к о в» — горных куропаток... Мы простояли полчаса, пока он подкрадывался к ним. Дальше ехали черепашным шагом: впереди, с ружьем на изготовку, шел контролер, выглядывая кекликов.

Ожидая автомобиль у конторы Союзтранса во Фрунзе, я мечтал о впечатлениях, которые мне предстояли на перегоне Фрунзе — Рыбачье. Запечатлелось: толчки в бок, спину, отдавленные ноги, боль в пояснице, прикушенный язык и мучительная невозможность переменить положение. Запомнилось и еще одно: в Киргизии власть шофера над пассажиром неограниченна.

Пересаживаясь в Рыбачьем с машины в седло, я был счастлив, что расстанусь с культурными способами передвижения.

9

Ветры, белая пыль, нестерпимое солнце, никуда от них не уйдешь в Рыбачьем. Рыбачье — как ладонь. Два ряда мазанок, вытянувшихся в белую улочку, и мазанки такие низенькие, так вросли в землю, спасаясь от ветров и бурь, что, идя по улице, чувствуешь себя великаном, открытым со всех сторон и зною, и пыли, и ветру... И ни одного деревца. Спасаясь от жары, я перелез через какую-то изгородь и вышел к озеру... Метрах в пятидесяти от берега четверо ребят, засучив штанишки, ловили черпаками и ведрами рыбешку: нагнется, присмотрится и — раз! — черпанет ведром.

— Васька, три есть!..

Рядом, с ними бродил по воде облезший пес; он в точности подражал ребятам — остановится, низко к воде опустит голову и смотрит, смотрит, как замороженный; потом вдруг ткнет мордой и, обманутый верткой рыбешкой,

смешно и долго мотаает задранной кверху головой, выгоняя из ушей воду. Я разостлал плащ и прилег. С озера чуть ощутимо тянуло прохладой. Проснулся я через полтора часа. Где-то поблизости капризно и злобно орал верблюд. Ребят в озере уже не было. Попрежнему рыбачил пес; рыбачил безнадежно, лениво, с привизгом вытряхивая из ушей воду. Озеро было тусклое, тихое и пустынное, ни одной лодочки, никого и ничего. Вода, вода и пес... И жгучее солнце, от которого никуда не денешься. (Озеро Иссык-Куль расположено на высоте 1.600 м. над уровнем моря.)

В столовой, душной и полутемной, мне дали щи в алюминиевой миске. Щи были, как огонь. Миска обжигала руки.

— А ложка?

— Ложек у нас не полагается.

Как пес в озере, я уставился в миску с жирными щами. Оставалось взвизгнуть. Рядом толстощекий парень, отламывая от буханки огромные куски хлеба, макал их в щи, звучно обсасывал и, управившись с первой миской, спросил вторую.

— Ложки вы не дождетесь! — повернул он ко мне лоснящееся, улыбочатое лицо, — раньше, чин-чином, с ложкой давали... Та-ащат, разве наготовишься?!

Прокишшая духота и мухи выжили меня из столовой.

По улице шлялся одинокий верблюд. Морда у него была злая, с неприятными глазками. На разодранных ноздрах — запекшаяся кровь и мухи...

Как в домах отдыха бывают «мертвые часы», так и в жизни поселка Рыбачье бывают мертвые дни, провалы, пустота, которую ничем не заполнишь. И всякий, попавший в этот провал, невольно выговорит: «Какая тоска! Какая удручающая жизнь!..» В действительности же поселок Рыбачье — фокус, в котором с чрезвычайной убедительностью отражена гигантская создающая поступь нашей революции.

В недавнем прошлом Рыбачье было вотчиной манапа Шабдана. Едучи из Чуйской долины в Каракол, манап увидел берега Иссык-Куля, они ему приглянулись, и он объявил их своей собственностью. В Киргизии это делалось просто.

Сейчас Рыбачье — буйно растущий, огромной важности транзитный и распределительный пункт. «Мертвые часы» сейчас в Рыбачьем редки. Рыбачье живет двадцать четыре часа в сутки. С востока и юга сюда стягиваются бесчисленные караваны с шерстью, зерном, продуктами животноводства и прочим. Гигантские совхозы и колхозы связаны непрерывно вибрирующими нитями с Рыбачьем: круглый год они перекачивают в Рыбачье свою продукцию, а Рыбачье в свою очередь круглый год выбрасывает в ненасытные утробы совхозов и крепнущих колхозов тракторы, сеялки, молотилки, плуги, комбайны, горячее и товары широкого потребления, идущие сюда из Фрунзе. В Рыбачьем — все виды транспорта: пыхтят и громяют грузовики, капризно орут верблюды, медленно, но верно тянут нагруженные арбы меланхоличные волы или маленькие, железноногие лошадки, а на озере Иссык-Куль гудят пароходы, покачиваются парусники и моторные лодки. Десятки баз всевозможных организаций принимают, сгружают, нагружают; на пристани и складах — Монбланы мешков с зерном, шерстью; пирамиды ящиков с товарами, бочки с брынзой, маслом и прочее. На трактах Рыбачье — Каракол и Рыбачье — Нарын — Кашгария, связывающих Киргизию с Западным Китаем, вы встретите не один бесконечный караван верблюдов, мерно раскачивающих подвешенный к горбу экспортный груз нашего Союза...

Я два раза был в Рыбачьем. Между первым и вторым посещением прошло около года. На месте приземистых мазанок выросли европейские коттеджи. Запыхла электростанция. Выросли ввысь и, вширь бунты грузов на пристани и на базах. И словно меньше стало едкой белой пыли, ветров и зноя. «Мертвый час» сократился. Для меня несомненно: Рыбачье в недалеком будущем — Чикаго Киргизии. Манап Шабдан — безвозвратное и далекое прошлое...

... Запечатлелось еще в моей памяти — ночь; душная комнатка с глинобит-

ным полом; на столе — вялые, желтые огурцы и два фотографических снимка...

— У нас, в Рыбачьем, ни огурца, ни луку, ни картошки. Это жена из Каракола прислала, ешь! — придвинул мне огурец Иван Степаныч, а сам взял одну из фотографий и ладонью бережно начал протирать засиженное мухами стекло. Потом то же проделал с другой. На обоих снимках были изображены трупы. Семь обезображенных, полураздетых трупов. На одном — стоя, прислоненные к скале; на другом — лежа.

— Вечером, вот так, вытрешь, а на другой день опять запакосят, окаянные!.. — Иван Степаныч взял тряпку и снова начал протирать стекло первого снимка. Протирал тщательно и, мне казалось, дольше, чем нужно. Тускло освещала комнатку керосиновая лампа с комода. В тишине было слышно, как возились на стенах и на потолке мухи. У Ивана Степаныча обожженное солнцем и стужами круглое, простое лицо, с мешочками под глазами. Ему тридцать, не больше. Уральский токарь. В семнадцать лет — красногвардеец: чехи, Колчак, интервенты. Потом — два долгих года службы в погранчасти... Сырты Тянь-Шаня у китайской границы суровы и малодоступны; на перевалах «у лошадей шла кровь носом». Они безлюдны. Лишь звери, басмач да контрабандисты. Служба в погранчасти — еще не рассказанный подвиг. Затем — демобилизация, и наконец (это не финал и не передышка!), наконец —

душная комнатка в Рыбачьем, с низким потолком и глинобитным полом, желтые огурцы на столе, и... два фотографических снимка.

... Зимой, когда из Уланской щели прорвется ледяной ветер и снег и над крохотным, приземлившимся поселком завоют, засвистят и перепутают свои космы белые фурии, когда глухо заворчит и надуется потемневший Иссык-Куль и день канет в ночь, а ночь в день, Иван Степаныч тогда зажжет керосиновую лампочку, плотно затворит низенькую дверь и... отдастся воспоминаниям.

Семнадцатый год..

Восемнадцатый..

Девятнадцатый..

Теперь — тридцать второй. Пятнадцать лет прошло..

Но кто услышит эти воспоминания, и кому они нужны? И никуда не пойдешь! Комод, кровать и стол. Стол, кровать и комод. И Иван Степаныч, подойдя к комоду, возьмет фотографию и начнет протирать стекло. Чужому не различить на снимке лиц. Они все одинаковы. Они все похожи одно на другое, как похожи кладбищенские черепа. Отрезанные носы. Выколотые глаза. Обрезанные губы и уши. Но Иван Степаныч узнает каждого: и Павлушку Ермакова, и Полищука, и Васю..

— Вот он, Вася... второй справа. Э-эх, конь был у него, а песни пел-ел, ну, умереть легче! А вот этот — мой братишка родной.

— Иван Степаныч, давно вы заведуете здесь базой?

Иван Степаныч отложил фотографии в сторону и поднял ко мне медленные, с мутью, голубые глаза.

— Четыре года. Четыре года никуда не выезжал отсюда.

— Вам бы отдохнуть надо?

— Заместителя нету.

Иван Степаныч кашлянул, взглянул на меня и, смущаясь, заговорил:

— Учиться охота. В какой-нибудь институт аль курсы по животноводству. Писал я в обком, не отпускают, людей нету. Может, через Москву как-нибудь похлопотать возможно?.. Веришь, пить было зачал здесь! Ну, во-время сократил себя! Последний раз прошлой зимой было. Пришел вот эдак, здорово дурной, и еще бутылку с собой принес Сел, налил стакан, а на дворе — шурга-а, те-емно! И надо ж было такому делу случиться... — конечно от вина все это! — ну, только слышу, поет Вася, вон этот, — он указал на фотографию, — про которого говорили, второй с краю. Явственно слышу, тут вот, близко. Любимая песня у него была: «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно...» У меня аж волосы на голове завозились! Лежал на столе ножик. Я захватил его, вот эдак, в ладонь, стиснул, слушаю. И словно ударил меня кто. Заскрипел зубом я, сразу трезвым стал. «Да что же я, подлец, делаю?» А из руки, смот-

рю, — кровь. Взял я бутылку — раз об пол, стакан — раз туда же, и с этого раза ни-ни!.. Видишь, память осталась!

Иван Степаныч положил руку на стол, ладонью кверху. Поперек ладони шел шрам.

— В Москве-то у вас наверное есть знакомства по учебной части,—провожая меня, говорил Иван Степаныч,—вы уж не забудьте, похлопочите, если возможно. Без учебы деваться некуда!..

Я прошел к озеру. Светила луна. По тихой и сонной воде убегала вдаль светлая дорожка.

— Есть ли такая у Ивана Степаныча!..

10

Покидая Рыбачье, я распростился со всем тем ассортиментом внешних удобств, который принято именовать «цивилизация». Мир внешних, «вспомогательных» вещей сузился до чрезвычайности. Остался я, гнедой Зигфрид и винтовка. Три слагаемых.

В ущельи Ор-Токой нас торжественно и роскошно приветствовали гроза и ливень. Гремело небо; рушились горы; по камням справа прыгал и пенился зеленый Чу; кони дымились и всхрапывали. Стиснутые с двух сторон гранитными скалами, в грохоте неба и гор, мы были маленькие, как козявки.

— Живой?—после каждого громового удара с улыбкой спрашивал меня Елеференко.

— Человек — это звучит гордо!— отвечал я, втягивая голову в плечи, и с опаской поглядывал на тысячетонные глыбы гранита и кварца, нависавшие над тропинкой. Горы перебрасывали раскаты грома, как футбольный мяч, через увалы, ущелья, к перевалам, уводили и возвращали; не успеет дорокотать слева, как загремит и покатится справа, потом ухнет впереди и снова обрушится откуда-нибудь слева. И в этой непрерывности громыхания всего окрест было что-то ирреальное, какая-то театральная феерия, сон. А когда неожиданно наступала пауза, такими знакомыми и обычными доходили до слуха журчанье ручья со скалы, цоканье копыт по камням и свое собственное существование

на седле. Словно просыпался. Все вещи на своем месте. Фыркал Зигфрид.

Пятьдесят километров мы закончили поздней ночью, в селеньи Кочкор. Ночь была так густа, что я совершенно не различал дороги. Переехали какой-то мостик; прошумела речка; справа вынырнули из темени два огонька.

— Кочкорка! — сказал Елеференко. — Здесь у нас есть база. Зигфрид знает.

Я отпустил поводья. Зигфрид сразу взял влево, прыгнул через арык и вскоре уперся в ворота. С наслаждением я слез с седла (и с трудом, добавлю!).

Во дворе, ища, куда бы поставить лошадей, я наткнулся на корыто, нето свиное, нето овечье. Нагибаюсь, чтоб привязать повод, вдруг из корыта — человек.

— Кто тут?

— Я.

Зажигаю спичку, смотрю,—очки, шапка, кожаное пальто. Женщина.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Что вы здесь делаете?

— Я еду в Нарын. А в корыте спала Больше негде!

— Я тоже в Нарын.

— Вот и чудесно! Значит, до Казан-Куйгана вместе. Я уже второй раз еду в Нарын, моя фамилия Петрова, зоотехник с зональной станции, еду председателем бригады киробкома по обследованию пятьдесят третьего конесовхоза...

Ночь мы почти не спали. Сидели за чайником в «квартире» участкового агронома. «Квартира» была свеобразная, какое-то стойло, переделанное под жильё.

Вдоль стены — нары из горбатых досок, покрытые овечьей кошмой; на стене — камча и гитара с одной струной, а на самодельном столике — истрепанная книжка Мориса Женева «Наслаждение», на французском языке. Пахло бараньим салом и овцой...

.....

... Есть в Западной Сибири село Веселые Озерки. Каждая изба здесь — крепость. Меньше, как в шесть вершков,

тут бревна не признавали; лес под боком — облюбовывали неспеша, в волю. Бабы в Озерках были все грудастые, крупные, с битюжьими задами, и никакие румяна не могли перекрыть пылающее пламя их полнокровных щек. Мужик был помельче, но на каждой спине трактором пахать можно. Веселье Озерки — названье улыбочатое, приятное, а жизнь в селе была насупленная, будто у каждой избы стоял с утра и до ночи ее ширококостный хозяин, и хотя никто и не покушался ни на его избу, ни на бабу его, а он не переставал повторять хмуро:

— Это — мое!

Как полагают, великим постом телились в Озерках коровы, чуть попозднее жеребились кобылы, поросились свиньи, на Михайлов день играли свадьбы, в уборку подоспевали и начинали рожать бабы, все шло заведенным порядком, крепким, как домотканый холст. Но судьбе было угодно, чтобы с фронта вернулся в Веселье Озерки Аркаша Кудряш, партизанивший не один год против Колчака, Анненкова и других контров. Вернулся он поздно вечером, зимой, никуда не зашел, прямо к себе в избенку, где в потемках покрывал на печке старик-отец.

— Керосину-то аль нет?

— Нету.

— Ты бы из сальца сварганил копилку!

— И сальца нема!

— Хм... Живой?

— Живой, а под ударом. Хоронить скоро будешь, силов нету. Насовсем пришел-то?

— Дело покажет!

На другой день Кудряш пошел по селу. Бабы выходили за ворота и, подвернув под мочучие груди руки, дивились на Аркашку, ахали и спрашивали:

— А почему около роту у тебя в роде как разорвато?

— На фронте в борщ свинины помногу клали, пожадничал, вот и разорвал ложкой! — смеялся Кудряш.

С левой стороны рта у него шел большой шрам — след анненковской пики.

Степан Федорыч, у которого до фронта батрачил Кудряш, спросил:

— Навоевался? Плохо тебе было в тепле да в сытости у меня жить? Теперь поумнел, небось?!

Спросил и подозрительно прищурился на своего бывшего батрака, словно зачуял в нем что-то не батрачье.

— Отец-то с голоду чуть не сдох... Ушел, бросил!.. — добавил Степан Федорыч. Кудряш ничего не ответил и прошел в сельсовет.

Великим постом, когда начали телиться коровы и запахло от баб парным молоком, родилась в Веселых Озерках коммуна «Побед а». Четырнадцать самых захудалых дворов выбросили из своего обихода слово «мое» и заменили его словом «нааше».

В Озерках смешок в волосатых ртах и пополз с бороды в бороду, со двора во двор.

— Ах, рвань беспартошная, язви их!.

— Ка-а-м-уна, язви тебе!..

— «Па-а-бе-да», язви им!..

— Кобеля из-под лавки нечем выгнать, а они, язви их!..

И ходил смех этот по Веселым Озеркам, со двора во двор, до весенней пахоты. На коммунаров пальцами указывали, не давали проходу. Трудней всего приходилось тем из коммунаров, у кого были жены. И здесь дело дошло до гога, что на секретном совещании коммунаров вопрос о бабах обсуждался особо и было принято постановление: «Целиком и полностью молчать на все бабьи разговоры и выходки». Коммунары оглухонемели.

— Аркашке, ему что? Коровенки нет, ничего нет!.. А тебя зачем леший понес в омут этот, а? — начнет пилить с утра Аксинья коммунара-мужа.

Федор молчит.

— На улицу стыдно показаться стало! Ребятишки, и те проходу не дают!..

Молчит Федор, как в другой избе молчит Николай, в третьей Игнат, в четвертой... как молчат все коммунары во всех избах.

Пуще расходится Аксинья. Она чувствует за собой силу: молчит — значит, сознает, виноват.

— Как не жили, да жили, за чужим куском не гнались. А чтоб Кудряш да

мною хороводить стал!.. Да провались ты пропадом, да лучше я в работницы к Федорычу пойду!

С утра до вечера ерепенится Аксинья, Федосья, голосистая Лушка — коммунарки жены. С утра до вечера дружно и стойко отмалчиваются мужья, а вечером идут на собрание к Кудряшу зачитывать устав коммуны.

И у жен собрание

— Ну, что твой?

— Молчит. Как зачала я его чуть свет, ну хоть бы словечко!.. А твой?

— Я своего с вечера со вчерашнего в оборот взяла, спать не дала!

— А он чего?

— Молчит. Покряхтит, кашляет, а выговорить напротив ничего не может!

— И мой Игнат молчит.

— И мой...

— А я об своего горшок разбила, — призналась горластая скандалистка Лушка.

— Да ну?!

— Право слово не вру! В мелкие черепушки треснула! А он, окаянный, хоть бы словечко!..

На другой и на третий день семейные битвы продолжались, на четвертый стали стихать — до конца размотали свои клубки коммунарки жены, все высказали.

— Да чего ж ты молчишь-то, как идол?! — не вытерпела Аксинья на пятое утро.

Федор посмотрел на жену, крикнул и вышел во двор. Аксинья всплеснула руками и села на скамью.

— Да что ж это такое?!

И захлюпала, вытирая фартуком обильные слезы. Весь этот день о коммуне не было произнесено ни слова. К Федору вернулся дар речи.

Это была первая победа коммунаров.

На весеннюю пахоту коммунары выехали первыми в поле.

— Ах, беспартошники, язви вас! — провожали их ухмылками веселоозерцы, — тоже ка-му-у-на!.. Хомут бы сперва справил, лодырь ты эдакий!..

— Эй, Кудряш, а трактор где?

— А автомобиль где?

(Припоминали насмешливо веселоозерцы выступление Кудряша в сельсовете,

когда говорил он о тракторах и машинах, которые будут в коммуне «Победа».)

Были все эти ухмылки и издевки привязчивы и неистощимы, как осенняя изморось, никуда не скроешься, не отмахнешься. А Степан Федорыч даже самолично в поле выехал посмотреть на работу коммунаров. Для этого случая запряг самого лучшего жеребца в казанку: «Любуйтесь, дескать, голодранцы!» Приехал, остановил жеребца у полосы и смотрит. А потом плюнул — смотреть-то не на что: лошаденка одна другой срамотней, сбруишка веревочками схвачена, Игнашка корову запряг, смех и горе!..

— Ах, чтоб вам, язви вас, голоштанники!..

Лишь земля-матушка не насмешничала: разворачивала влажную грудь бороздами и обнадеживала коммунаров: «Не выдам!» И не выдала. Обломный урожай был в этот год...

Картуз на затылок, с кружкой давно остывлого чая в руке, Елеференко сидел на краешке нар и улыбался. Из-под козырька выбивались светлые кольца густых волос, — Аркашка Кудряш...

— Когда меня перебросили на работу в райком, коммуна наша была самой образцовой и самой крепкой сельскохозяйственной единицей в крае. Выстроили мельницу, молочную ферму на ять, сыроварня, шерстобитка, маслобояня, триста ульев, школа, общежитие, клуб, всякая прелесть одним словом! Работали, как черти; бедняцкая гордость, ежели ее затронуть, она гору своротить может! Приходил потом смотреть на наше хозяйство Степан Федорыч, у которого я батрачил. Посмотрит, аж потемнеет весь, все нутро переворачивается, от этого и зачох, язви его!.. Теперь, товарищ Петрова, понимаешь, во что дело упирается? — повернулся к Петровой Елеференко, отхлебнул чай, улыбнулся и закончил: — Опять же в чело века! Система системой, а главное — живой человек, который в этой системе есть. На сегодняшний день в этом вся премудрость. И вот, возьми ты Нарын. Чтоб из этого золотого дела да не сотворить на большой палец, понимаешь —

во-о! — и не поверю никогда! По-большевицки только надо хватку сделать. Ну, слов нет, очень трудно, потому опять человека нет. Четыреста тысяч га и тридцать тысяч поголовья у меня, а людей?.. Один агроном, один зоотехник да полтора ветеринара!.. Понимаешь, во что дело упирается?

«Женщина из корыта», как в шутку прозвал я Петрову, подперев голову руками, с напряженным вниманием слушала Елеференко и, когда он кончил, долго, раздумчиво молчала. Потом с подкупающей искренностью выговорила:

— С каким бы наслаждением я поехала работать к вам, в Нарын!..

Мне невольно вспомнился Володя Болдырев, также мечтавший о Нарыне. Но была разница. Володя был юн, он только начинал жить. Петрова имела за плечами многолетний опыт, она великолепно знала тяжелые условия жизни и работы в Нарыне, и, кроме всего этого, она была женщина. И все-таки этой искренне вырвавшейся фразой она перекликалась с восторженным юношей, перекликалась через Нарын, благодаря Нарыну, за Нарын...

— Поедем! Знаешь, как сработаемся! — подхватил Елеференко

— Не могу. По ногам и рукам связан в Ташкентом!..

Укладываясь спать, я думал о коммуне «Победа» и о «бедняцкой гордости». Было совсем светло. У стола остался сидеть хозяин квартиры — молодой русоволосый парень, участковый кочкорский агроном. Он внимательно смотрел на лицо мгновенно захрапевшего Елеференко.

Я не выдержал и спросил:

— О чем вы думаете?

Он слегка смутился, взъерошил светлую шевелюру и ответил:

— Я бы тоже поехал в Нарын!

11

Одна из запоминающихся деталей пейзажа Киргизии — могильники. Печальными виденьями возникают они то слева, то справа от дороги, где-нибудь на уединенных холмах или в предгорьях, или тонут в однообразии унылой рав-

нины, поросшей рыжеватым чиём и полынью...

Помню, мы ехали по Иссык-Кульской равнине. Смеркалось. Справа, на вершинах Кунгей Алатау, гасли снега; фиолетовая пленка заволакивала горы. Вокруг — ни дерева, ни души; безмолвье. И пряный запах полыни. Могильник возник, как призрак, из фиолетовой ткани сумерек. Он походил на замок в миниатюре. Зубчатые четыре стены с башенками по углам, незатейливый бордюр по верху стен, и в стене, обращенной к дороге, — отверстие в форме полуготической арки... Я остановил коня. В тихих и мягких сумерках, насыщенных душистыми запахами полыни и мяты, этот одинокий, призрачный могильник невольно вызывал в мыслях грустный отклик. Согнувшись, я проник через арку внутрь:

песчаный холм,

заросли чия,

три камня, положенные один на другой...

И невозмутимая тишина равнины вокруг.

... Род приходит, и род уходит, а земля пребывает веки.

Атилла. Чингиз-Хан. Тимур. Тамерлан. Все они прошли по этой равнине. Разноплеменные потоки катились с востока на запад, одно племя вытесняло другое; гунны, уйгуры, тюрки.. Когда и при каких обстоятельствах появились здесь киргизы? История не знает. Родной киргизов является Енисей. Начиная со второго столетия, киргизы, или «хагасы», как назывались они тогда, то появлялись, то исчезали, снова выплывали на историческую арену и снова уходили. Их поработщали последовательно кара-китан, монголы, тюрки, калмыки, и лишь в шестнадцатом столетии создается нечто в роде объединенного казако-киргизского государства, но и этому союзу в восемнадцатом веке был положен конец Кокандским ханством. А в девятнадцатом столетии (1855 году) пришли русские. История покорения Киргизии русскими бесславна; к запаху крови тут примешивается сильный душок предательства, подкупов и

прочих атрибутов, свойственных «колони-заторам». Манапы-баи Шабдан, Байтык и другие продавали свой народ оптом и в розницу. С приходом русских киргизская «пухара» (беднота) подпала под двойной пресс гнета и эксплуатации: с одной стороны, бай-манапы, с другой — русские чиновники и кулаки-переселенцы. С 1855 года вспыхивают восстания — в Фергане, Ташкенте, Андижане и других местах. И наконец в 1916 году безрадостная история киргизского народа завершается таким страшным взрывом, перед ужасами которого детским лепетом кажутся ужасы Варфоломеевской ночи... «Кто сеет ветер, пожинает бурю»... Три четверти века тому назад лихой генерал Скобелев начал историю царского владычества в Средней Азии; через шестьдесят лет другой генерал, совсем не «лихой», иконолюбец Куропаткин эту историю завершил: честь подавления восстания 16-го года принадлежит ему.

12

Из Кочкорки мы выехали вчетвером: я, Елеференко, Петрова и добрейший Михаил Матвеевич — бухгалтер, командированный из Ташкента в Нарынский конесовхоз для проверки бухгалтерии и инструктажа. Когда подсаживали лошадей, я спросил Михаила Матвеевича:

— Вы как насчет верховой езды? Привычны?

Михаил Матвеевич скорбно улыбнулся.

— Ездил. Когда мне было шесть лет, отец подарил коня. Вокруг стола упражнялся. Вот и все! Тридцать лет не садился на лошадь, а теперь вот бог сподобил! — закричал он и начал карабкаться на седло.

Смеяться над чужим несчастьем нехорошо. Но нельзя было удержаться от улыбки, глядя на Михаила Матвеевича в седле. Первые километры он и сам посмеивался и даже шутил.

— Раньше в Турции вот так же на кол сажали!..

Обычно, когда садишься на незнакомую лошадь, некоторое время трагичешь на то, чтобы приспособиться к коню, пробуешь его на всех аллюрах, ищешь темп и тому подобное. Михаил Матвеевич сразу и бесповоротно вручил свою жизнь шустрой вороной кобылке и даже от хлыста отказался.

— Зачем? Все равно!

— Может быть, вам подтянуть стремена?

— Можно подтянуть.

— А не будет коротко? Может быть, отпустить?

— Можно отпустить.

Киргизы, покрывающие верхом колоссальные расстояния, ездят обычно мелкой трухлявой рысцой — нечто среднее между быстрым шагом и тротом. Рысца эта неумолима для коня и довольно спора: километров десять в час. Но она убийственна для всадника, непривычного к седлу. Приспосабливаясь к ней, проклянешь все на свете; она разбалтывает мозги, отшибает внутренности и лишает возможности сидеть потом по-человечески даже в самом удобном и мягком кресле. Кобыла Михаила Матвеевича, чувствуя, что ей не управляют, ничего от нее не спрашивают, наладилась с первого же километра на эту трухлявую рысцу. Как чурка в телеге, прыгающей по кочкам, Михаил Матвеевич подсакивал, трясясь, голова у него болталась, как чужая; болтались ноги, руки; он кричал, стонал; лицо лоснилось от пота; он перестал отвечать на вопросы...

— Михаил Матвеевич, курить хотите?

Михаил Матвеевич молчит.

— Устали?

Молчит.

— Может быть, полчаса передохнуть?

Молчанье. Бессмысленное лицо вконец обалдевшего человека. Из кармана старомодного дипломата Михаил Матвеевич достает урюк и жует. И трусит дальше. Мотается голова, нелепо болтаются ноги, прыгают локти, ветер взмахивает полами дипломата, впереди — не один еще десяток километров, — тяжела бухгалтерская жизнь!..

К ночи заморозило. Мы заночевали у Долонского перевала. Влево от дороги заметили две юрты и какое-то белое здание. Оказалось — школа. Хорошая, каменная, европейская постройка, с железной крышей. Окна зашиты тесом. Мы вошли, дверь не была закрыта. Четыре просторных, пустых комнаты, на крашеных полах — солома, арбузные шкурки — следы чьей-то ночевки. На одной из стен — великолепный рисунок углем беркута.

— Для чего здесь школа? — недоуменно спросил я Елеференко.

— Этого никто не знает. Должно быть, плановое строительство! — засмеялся Елеференко. — Идем ночевать в юрту, там теплей, чай скипятим.

— А где же Михаил Матвеевич?! — спохватилась вдруг Петрова.

Михаил Матвеевич ехал позади нас. Мы были в полной уверенности, что он следом за нами свернул к юртам. Но его не было. Начали кричать. Никто не отзывался. Я сел на коня и, выбравшись на дорогу, голопом понесся вперед. Время от времени останавливал лошадь и прислушивался.

— Хо-оп! Михаил Матвеевич-и-ищ!!!

Справа со скал журчали ручейки. Похрустывали под копытами лужицы. Михаил Матвеевич не отзывался.

— Неужели он так далеко уехал?! — подхлестывал я Зигфрида. Скакать по незнакомой горной дороге в темень было не особенно приятно... Наконец я нагнал его.

— Михаил Матвеевич, вы?

Молчанье.

— Михаил Матвеевич, повертывайте обратно. Мы решили заночевать.

Молча Михаил Матвеевич повернул лошадь. Поехали рядом. У юрты я помог ему слезть с седла. Привязал лошадей.

— Идем в юрту пить чай.

Михаил Матвеевич не тронулся с места. Молчал.

— Ну, идем! — взял я его за рукав, — выпьете чаю, закусите и спать.

— Мне пу-уд ва-зе-ли-ну надо, а не чай! — простонал он глухо и с усилием двинулся с места.

13

Осенью фон киргизских пейзажей соломенно-желтый. Лишь кое-где его разнообразят голубовато-сиреневые корзинки даурской астры да свежая зелень соцветий эстрагона.

Зато весной всюду, куда ни глянешь, — изумрудный, сочный ковер, расшитый самыми причудливыми красками. Каких цветов только здесь нет!?. Фиолетовая герань, синие колокольчики горечавки, бело-розовые скабиозы; выше, в горы, — золотисто-нежные кисти подмаренника, сиренево-розовые султаны зопника; еще выше — эдельвейсы.. Ароматы альпийских пастищ настолько изящны и тонки, что по сравнению с ними самые изысканные духи Коти кажутся грубой парфюмерией..

В этом пиршестве красок и ароматов затаенной жизнью живет один цветок. Он приятный на вид. Он фиолетовый. Но в фиолетовой окраске его колокольчиков есть что-то зловещее. Такой окраски бывают грозовые, тяжело напозающие тучи: смотришь на нее и ждешь — вот-вот, сейчас, ощерится и треснет голубоватым огнем лиловая тьма и вновь потемнеет, сгустится и поползет дальше...

Этот цветок принес мне смотритель табунов. Принес осторожно, бережно, завернутым в газету.

— Вот вам и иссык-кульский корень! Ботаническое название цветка «а кон и т». В Киргизии его называют «иссык-кульский корень».

Я называю его «ц в е т о к с м е р т и».

Узнал я о нем в одном из поселков, на берегу Иссык-Куля; хозяйка избы, в которой остановились мы на ночлег, была украинка, могучая и сердитая женщина лет пятидесяти. Во время чаепития в избу вошла еще женщина с скорбным лицом.

— Ну, что? — сердито спросила ее хозяйка.

В ответ та безнадежно махнула рукой и вытерла подолом юбки глаза.

За столом с нами сидел еще один человек — бойкий и словоохотливый старичок, напоминавший слегка горьковского Луку. Звали его Афанасий

Иванович. До прихода скорбной женщины он потешал нас и хозяйку анекдотами о святых угодниках.

— Аль больной кто? — живо повернулся он к пришедшей и, не дожидаясь ответа, подмигнул нам на хозяйку. — Матвеевна-то у нас — чудотворец! Мертвые из гробов вылезают, а живые на их место лезут.

— Замолол! — оборвала его хозяйка. Подсела к женщине и о чем-то зашептала. Потом из сундука достала бутылку и отлила из нее в принесенный женщиной пузырек немного прозрачной жидкости. Женщина ушла.

— Кто у нее болен? — спросил я.

— Сын.

— А что с ним?

— Колотие в боку.

Ответы хозяйки были неохотливые, сердитые.

— Какое же вы лекарство дали?

— Травяную настойку.

— Называется настой этот иссыкульский корешок! — вмешался Афанасий Иванович к явному неудовольствию хозяйки. — Цветок такой произрастает в нашей местности, самая настоящая отравка и яд. К примеру, ежели в отваре этого самого корешка белье всполоснуть, а потом надеть, ну и будь здоров, сразу дух вон и лапки кверху!.. Во-от он какой, корешок-то этот! А Матвеевна им от всех болезней лечит!

— Чего зря лопочешь! — прервала его Матвеевна.

— А еще случился такой случай, — продолжал Афанасий Иванович, — в Пишпеке самом. Затащил один дружка своего к себе, бутылочку принесли, выпили, закусили, ан еще захотелось, купили вторую, тоже прикончили. Денег-то больше нет. Хозяин и начал шарить по шкафьям да по сундукам; жена его малость тоже зашибала. Ее дома не было. Глядь — нашел бутылку! Прикончили и эту. Да-а! Жена приходит, а они оба лежат, голубчики, муж-то закорстел уж весь, а дружок еще корчился. На проверку и оказалось — в бутылке этот самый настой и был; корешок этот самый, баба им плод выгоняла кому надобно!.. Во-от он, корешок-то, какой!..

Матвеевна смахнула со стола, подмела земляной пол и сердито спросила: — В хате аль на дворе ляжете?

Афанасий Иванович надел картуз и вышел.

— Как же это вы не боитесь давать такой настой? — спросил я хозяйку — А вдруг отравится человек!?

Ответила она не сразу. Сперва разразилась бранью по адресу «богохульника» Афанасия Ивановича. А потом пояснила:

— Если без понятия, конечно вред можно сделать, а, кто с понятием, никакого вреда нет! Капли надо считать, а без счета нельзя.

— Сколько же капель?

— Кому как!.. А лишнее дать — повредить можно!

— А как же вы узнали, сколько вредно и сколько невредно?

— Да ведь как!.. Больше если, сразу тошнота и затмение в голове. Так и узнала!

— Значит, на себе пробовали? — в упор посмотрел я на хозяйку... Широко, в морщинах лицо; широкая кость; из-под засученных рукавов — мускулистые, не бабьи руки, в таких руках тяжеленные чугуны и горшки — игрушка; и во всем этом слоноподобии — маленькие, сторожкие глаза... Они увильнули от моего пристального взгляда. Матвеевна нагнулась, пошарила что-то под лавкой, подошла к сундуку, к печке, — я видел только ее широкую спину. И было несомненно для меня: проба смертоносных капель была страшным уделом других...

Мой вопрос Матвеевна оставила без ответа.

.....
У а к о н и т а — странное свойство: коровы и овцы поедают его безнаказанно, для лошадей он смертелен. Аборигенная лошадь знает его. Поедая сено, она тщательно выбирает и оставляет нетронутым аконит.

Перед моим отъездом из Москвы в Коневодтресте мне дали телеграмму, полученную из Нарынского коневосхоза.

«На хуторе Казан-Куйган пало семь производителей;

отравление аконитом, ведется расследование».

Казан-Куйган, ближайший к тракту Рыбачье — Нарын, — хутор Нарынского совхоза. Он расположен за Долонским перевалом, в долине реки Кара-ункурт. В долине этой аконит встречается чаще, чем где то ни было.

Очевидно поэтому мои представления о Казан-Куйгане были достаточно мрачны. Воображению этот хутор рисовался каким-то урочищем смерти. Мне казалось, что здесь и люди, и природа, и вся жизнь должны быть сумрачными, настороженными, не такими, как везде. Гибель жеребцов не выходила из головы. Лиловый маленький цветок разрастался до зловещих размеров пушкинского «Анчара»...

Когда мы выехали из Кара-ункуртской щели, Елеференко остановил кобылу и, показывая рукой на обширную горную террасу, прорезанную рекой, удовлетворенно сказал:

— Вот и приехали! Это — наша, совхозная земля...

И пустил кобылу в галоп по убранному ячменному полю к белому домику, видневшемуся вдали.

После безлюдной суровости гор, после жалких киргизских юрт и выросших в землю глиняных зимовок, после всей этой Азии, белый домик с красной железной крышей улынулся чудесной неожиданностью. Где-нибудь в России, в захудалом провинциальном городишке, на окраине, он был бы незамечен. Там у него нет биографии. Здесь, в первозданном безмолвии горных пустынь, каждое бревно, каждая полоса железа на крыше, каждая дверная ручка и каждый гвоздь были великолепными строфами поэмы, которая начинается так:

14

«Вначале здесь было «ничего». Я жил в могильниках. Меня мочил дождь, сжигало беспощадное солнце, леденили бураны и вьюги, подстерегал хищник и за каждым уступом скалы караулила пуля байского наемника. Не было хлеба. Кобылье молоко было единственной пищей. И вместо людей были

рабы, придушенные вековым ярмом ма-напа...

Земля и небо. Рабы и звери.

Мне снились сны. Я видел в них себя и битвы... Уфа. Перекоп. Колчак и Врангель. И еще я видел безмерность горных пустынь, превращенных в тучные поля ячменя и пшеницы; я видел роскошное изобилие альпийских пастбищ и по ним — бесчисленные табуны золотисто-рыжих коней, стада рогатого скота и отары овец; я видел тракторы, взрывающие плодородную целину... И еще я видел рождение свободного человека, спавшего веками в душе рабов...

И когда я пробуждался, день для меня был слишком мал.

Я был дровосеком, взбираясь с топором и пилой на малодоступные скалы ущелий, где густела темная зелень тянь-шаньских елей. С грохотом низвергались вниз очищенные от сучьев вековые деревья. Через перевалы, над пропастями, по горным тропам ущелий и бурным потокам человек, вол и як тащили на канатах к месту стройки драгоценные бревна. Мерой пройденного пути была боль в пояснице, кровоподтеки и ссадины на руках и ногах, страдающие и налитые кровью глаза волов и похрюкивание яков. Каждое бревно, доставленное на место, было выигранной битвой. И крепла дружба измученных победителей: вола, яка и человека...

В отрогах Бай-Дулинского хребта я открыл известь. Я разыскал неопценное для Нарына топливо — торф — в долине Кара-саз. Около озера Сон-Куль я стал добывать соль.

Я был пастухом и инженером. Геологом и кухаркой. Врачом и агрономом. Плотником и глиномазом.

Я первый на земном шаре прилил благородную кровь чистопородного швица монгольскому яку и выпустил на тянь-шаньские пастбища изумительные экземпляры новой породы, еще не имеющей названия.

Я оживил тянь-шаньские сырты тысячными табунами золотисто-рыжих кобылиц.

На высокогорные террасы я втащил тракторы, жнейки, молотилки; и там,

где было «ничего», заколосилась тучная пшеница, овсы и ячмень, зазеленели картофель и капуста, неведомые здесь раньше.

Я был солдатом и зорко оберегал свое детище, ибо оно было детищем моей революции...

Так возник и этот белый домик в чetyре окна под красной железной крышей в урочище Казан-Куйган

Чудесный конец этой поэмы о неутомном Строителе-Человеке неведом. Он — в грядущих пятилетиях. Ее начало — на полях битв за Красный Октябрь.

15

Огромный двор, примкнутый к белому домику, представлял собою чрезвычайно живописное зрелище, необычное для глаза европейца. У коновязи стояла десятка три подседленных, разномастных лошадей. Люди в лохматых бараньих шапках, в белых войлочных шляпах с черными отворотами, с винтовками через плечо и с неизменной камчей в руках ходили по двору, некоторые из них вскакивали на коней и куда-то уезжали, другие приезжали, спешивались, киргизы, русские, узбеки... Посредине двора лежали четыре верблюда: на них грузили товар. В отгороженной задней части двора мычали коровы — четыре женщины занимались дойкой и сердито покрикивали на великокопных шесть штук поросят, шмыгавших по варку. Под одним из навесов посвистывали рубанки — столяры вязали рамы и двери. У кооперативного ларька толпились киргизы за махровкой.

Елеференко прыгнул с седла и весело крикнул:

— Здорово, товарищи!

— Аман, директур!.. Здравствуйте, Аркадий Васильевич, с приездом!

— Аман, джалдош!

— Ячмень есть? Выкормить лошадей к вечеру! — распорядился Елеференко.

— А вы разве не останетесь у нас? — разочарованно спросил заведующий хутором, — переночевали бы!

— Некогда. Сегодня вечером в Тегерек-Керчин!

Я посмотрел на Михаила Матвеевича. Он сидел на лошади, посредине двора, безучастный ко всему. И жевал урюк.

— Вы что ж не слезаете? — подошел я.

— А потом опять влазить?! Уж лучше бы до конца ехать! Урюк хотите, мне мама полные карманы насыпала! — меланхолично предложил он.

Слово «мама» прозвучало так необычно в деловой суете этого огромного двора, напоминавшего какую-нибудь ферму в Канаде или главу из рассказов Джека Лондона, что у меня чуть было не вырвалось: «Беденький мой Миша!..» Сорокалетний, тучный, страдающий одышкой Михаил Матвеевич показался мне беспомощным, покинутым ребенком.

— У меня еще пастила есть, в мешке! — добавил он грустно и вздохнул.

Я взял его кобылу под уздцы, подвел к коновязи, привязал... Михаил Матвеевич продолжал сидеть в седле и жевал урюк. Подошел заведующий хутором.

— Вы что же не слезаете? Идемте в хату, сейчас чай скипятим!

Весело, добродушно и откровенно посмеивались киргизы, смотря на раскряченного бухгалтера, еле передвигавшего ноги.

Мы вошли в дом. Елеференко остался на дворе наблюдать за погрузкой на верблюдов товара для других хуторов конесовхоза. Я раза два-три выходил на двор звать его к чаю.

— Сейчас, сейчас, иду! — откликнулся он и тут же подзывал то заведующего, то кладовщика, то прораба, и начинались бесконечные расспросы: что есть в кладовке, какой товар получен в ларьке, сколько горючего, отправлены ли в табуны валенки и кошмы?.. Потом шел в кладовку, в ларек сам: осматривал, щупал, опять расспрашивал, записывал в свой блокнот; из кладовки — к столярам и плотникам; нужно было обязательно самому посмотреть рамы, двери, тес, фанеру, спросить о гвоздях, краске и прочем.

— Неутомимый человек! — поражалась Петрова, разливая чай.

На полу кряхтел Михаил Матвеевич. Он ворочался с боку на бок, со спины на живот, привставал на локтях, пытался устроиться полусидя и мучительно не мог найти удобного положения для разбитого тела.

Елеференко вошел оживленный, веселый, шлепнул картуз на сундук и удивленно проговорил:

— Теперь мои табунщики с валенками! Отправил шестьдесят пар. А то хоть караул кричи, ночи холодные, а ребята разутые... Чаек-то остался? Подзаправимся, посмотрим строительство и к вечеру айдати в Тегерек-Керчин...

— О-ох! — стоном отозвался с полу Михаил Матвеевич.

— Аркадий Васильевич, скажите, сколько приходится вашей жизни на седло? — полюбопытствовал я.

Елеференко засмеялся и вытащил из сумки лохматый блокнот.

— Я буду говорить, а вы подсчитывайте.. В совхоз я прибыл первого июля. Третьего выехал в район — 75 километров. Восьмого — обратно 75 километров. В тот же день, восьмого, поехал знакомиться с хозяйством по всем хуторам, табунам.. До хутора Эки-Нарын-Орто-Су — 125 километров. Оттуда на участок Болгарт—Арчалы—Джеланаш, через перевал Колма-Кашу, — 320 километров. Потом...

С июля по ноябрь, то-есть за 120 дней, директор провел в седле девяносто два дня, покрыв за это время расстояние в общей сложности в две тысячи восемьсот километров...

Когда я подсчитал и назвал цифру, притихший на полу Михаил Матвеевич вдруг разразился хохотом.

— Что с вами?!

— Не мм-о-гу-у!.. — и хохотал он, и стонал, пытаясь принять сидячее положение, — две тысячи восемьсот, почти три тыся-чи, о-ой!.. Вот бы меня директором!.. Три тыся-чи!!! Тогда другой совхоз рядом надо строить, ва-зе-линный!.. Ой, ушибиться легче!

.....

С момента возникновения Нарынско-го конесовхоза его главным хутором и

административным центром был хутор Тегерек-Керчин, или хутор № 3.

Более удобное расположение хутора Казан-Куйган, его близость к тракту Рыбачье — Нарын заставили руководителей совхоза переместить центр из Тегерека в Казан-Куйган.

Хутора Казан-Куйган в действительности не было.. Был беленький домик в четыре окна, огромный двор при нем и все, если не считать нескольких юрт да землянок.

Началась стройка. В условиях Нарына всякая стройка — дело чрезвычайно трудное.

И все-таки..

«здесь будет город заложен!»

— Это — общежитие для технического персонала, — объяснял мне Елеференко, переходя вместе со мною из комнаты в комнату по просторному, почти законченному зданию, — тут вот — кухня, здесь — общая зала, вот — кладовки для провизии.. Делаю так, чтоб никто никому не мешал. А посмотри, какой вид будет из окон — картину пиши!.. Признаться, ведь до сих пор по-собачьи живем, работают, как черти, а отдохнуть негде!..

От общежития мы перешли к следующему зданию, тоже почти законченному, — нехватало окон и дверей.

— Это — школа!..

Елеференко заметно волновался, показывая мне стройку. Чувствовалось, что все эти серые, каменные стены почти законченных зданий для него — не самоцель и не формальное выполнение строительного плана, а некий трамплин для разбега и прыжка в чудесное «з а в т р а» Нарынского совхоза.

— Это кооператив..

— Столовая..

— Контора..

— А это — клуб Библиотека, сцена Кстати, будете в Москве — напомните о коротковолновой аппаратуре, надо все хутора связать. Запишите, чтоб не забыть!

— Я запомню.

— Нет, уж вы, пожалуйста, запишите!

В клубе плотники заканчивали настил полов.

— Здорово, товарищи! Как дела? — поздоровался Аркадий Васильевич.

— Дела идут... Стеклить бы надо, Аркадий Васильевич, да двери навешивать. И везжай хоть завтра!

— Стекло будет. — хмуро проговорил Елеференко, — и петли должны скоро быть

— Вся остановка за ними! За нами дело не стоит, работаем, как уговорились, — по-ударному!

— Вижу, вижу, товарищи!..

— Все они—ударники, с Акталой договор заключили на соревнование, — пояснил мне Елеференко, когда мы, окончив с осмотром строительства, присели на бревнах около школы, — работают хоть куда! Ну, а какой толк? Где я возьму стекла?! Веришь, в Рыбачьем одному человечку баранов за стекло обещал... Знаю, по головке за эдакие прелести не погладят... («Прелести» на языке Елеференко означало: «преступления».) А что делать?

Аркадий Васильевич мрачно задумался.

— Почему у вас здесь совершенно нет зелени? — спросил я.

Елеференко сразу оживился.

— Будет! Вон там, позади стройки, закладываю сад. Заказал в Чолпан-Атинском совхозе стойкие сорта яблонь, груш, вишен. Послал ребят за высадками тополей, протяну здесь вот аллею, красно-та будет, а?! Через год-два не узнаешь! Хочу написать в Москву, есть там профессор Вавилов, институт, спросить хочу, чего и как для этой местности подходяще. Ты представляешь, что тут можно сочинить?!

Елеференко взволнованно встал и осмотрелся. Серые глаза перекинулись к стройке, от стройки—в горы, пробежали по ячменному полю, к реке, к землянкам.

Заразительная и чудесная вещь, когда слышишь и видишь, как в душе человека взрывается и начинает кипеть и бить родник созидания! Жизнь тогда зацветает и всякая вещь получает звучанье. Будни претворяются в праздник. Кочан капусты, впервые возвращенный в нежиту горных пустынь, стоит любой трагедии Шекспира, волнуется крепче и живее, по-настоящему

И еще одно...

В Эки-Нарын-Орто-Су строился жеребятник на тысячу голов. Строили его кашгарцы, или «кашкарлыки», как называют в Нарыне этих монополистов глинобитных построек. Их было шесть человек. Все, как один, — статные, смуглые, с красивыми лицами, в шитых тюрбетейках и цветных летних халатах. По-русски говорил из них только один, говорил неплохо. Мы под'ехали к жеребятнику в сумерках. Ночь обещала быть холодной. Подмораживало с вечера «Кашкарлыки» были в летних халатах и туфлях на босу ногу.

— Здравствуй, директор! — приветствовал говоривший по-русски.

— Здорово! Как дела?

— Плохо, директор.

— Что так?

Мы спешили и присели на камни. Кашкарлыки полукругом расположились около нас. Обстоятельно и подробно десятник начал рассказывать о притеснениях, чинимых им производителем работ Босовым

— Денег не платит.

— Продуктов не дает.

— Спим на голых нарах, никакой подстилки, ночи холодные.

— Скоро зима, кончать надо, в Кашгарию надо, денег нету.

— Рис просили, плов сделать; рис был, рису не дал. Три месяца плов не кушали... — Внимательно слушал Елеференко. Потом осмотрел постройку. Жеребятник был срочно необходим конесовхозу. Работа была выполнена наполовину

— Вот что, товарищи, — обратился он к кашкарлыкам после осмотра, — жеребятник вы должны кончить. Жеребятник нам нужен во-о как! Поняли?

— Так, директор!

— Рис вы получите завтра. Завтра же дам вам на подстилку кошмы.

— Спасибо, директор!

— Насчет денег — тоже получите. Но пообождите малость. Зависит не от меня. А что касается неправильного расчета с вами, выясню и исправлю. Расчет вы получите, как подобает быть по договору. Понятно?

— Так, директор!

— Значит, жеребятник кончите?

Десятник перекинулся несколькими словами с товарищами и заверил:

— Будет готов, директор! Ну, только скажи Босову, не надо так делать, работаем хорошо, денег нет — деньги ждем. Зачем рису не дал, когда рис был? Три месяца плов не кушал, сам знаешь, денег не надо, рис надо!.. Работу сделаем; тучи с горы идут, снег идет, зима скоро, товарищи на лето пришли, видишь — босый один, босый другой, все босый, спать холодно, нары голые, а работу не бросаем!..

В тесную хату заведующего хутором Эки-Нарын-Орто-Су по случаю приезда директора народу набилось до отказа: плотники, трактористы, обезки. Было нестерпимо жарко от железной печки посредине. С неизменным блокнотом в руках Елеференко слушал, записывал, расспрашивал...

Вошел производитель работ Босов, курносое, потное, самоуверенное лицо.

— С приездом, Аркадий Васильевич! — Здравствуй!

Босов присел на нары. Елеференко продолжал разговор с трактористами. Покончив с ними, начал с плотниками. Потом обратился к Босову.

— Как у тебя?

— Работаем, Аркадий Васильевич!

— Видел. Почему жеребятник не закончен?

— Да ведь, как сказать, с деньгами туго, кашкарлыки волят!

— Почему же они волят?

— Деньги требуют, а денег, сами знаете, нет!

Елеференко заглянул в блокнот, помолчал и — я в первый раз видел его таким — с потемневшими глазами, жесткий, беспощадный, впился в Босова.

— Ну, довольно! Понял! Предупреждал я тебя иль нет? Кто в первую очередь должен быть сыт, обут, одет? Рабочий. Кто в первую очередь должен деньги получить? Рабочий. Ты не только лопал их рис, ты жульничал в расчетах с ними. Как они спят? Не видал? А ты должен видеть! У тебя, небось, и матрац, и одеяло...

В хате было тихо. Все притаились. Босов втянул голову в плечи. Что-то

пытался возразить. Елеференко не слушал. Я смотрел на него и не узнавал Шрам от анненковской пики уводил мои мысли туда, где в визге клинков рождался новый человек и новая жизнь.

— Цыпко!

— Здесь, Аркадий Васильевич! — отозвался с нар заведующий хутором.

Елеференко вырвал из тетрадки лист бумаги и начал что-то писать. Десяток глаз следили за быстро бегающим карандашом. Все молчали. Босов шарил по карманам, вытаскивал какие-то бумажки, расписки, счета, рылся в них, бросал воровские, быстрые взгляды на Елеференко, и во всех его движениях и в торопливой суетливости рук и глаз была трусливая растерянность пойманного хищника.

Елеференко кончил писать; вложил записку в конверт, запечатал и протянул Цыпко.

— Завтра с этим письмом отправишь Босова в Нарын в ГПУ.

Наглое, курносое лицо Босова потемнело. Неестественная, фальшивая ухмылка скривила рот. С деланой развязностью он скрутил папиросу, закурил, сплюнул и процедил:

— ГПУ нам не страшно, Аркадий Васильевич!

— Там видно будет! — оборвал его Елеференко; прищурился, и тихо, с жуткой внятностью, договорил:

— В 19—20-м году я бы вывел тебя сейчас вот из хаты и застрелил за просто... Понятно? Теперь тебя расстреляют в Нарыне за все твои прелести. Правительство и партия доверили нам всесоюзного значения дело, мы бьемся за каждый гвоздь, за каждый кусок хлеба, а ты присосался паразитом, воровал у рабочего, воровал у государства, срывал и почти сорвал работу... Таких субчиков мы уничтожали и будем уничтожать без жалости.

В хату вошла жена Цыпко с ведерком в руках. В ведерке был картофель. Елеференко сорвался с табурета и бросился к ведру с такой стремительностью, словно в нем была не картошка, а слитки золота.

— Неужели наша?!.

— Наша, собственная, — весело загворил Цыпко, тоже подходя к ведру, — специально показать вам хочу, Аркадий Васильевич!. Картошка на удивленье, по восемьсот грамм штука есть!

Один за другим Елеференко начал вытаскивать из ведра крупные белые клубни; показывал мне, трактористам, рабочим; рассматривал сам и радовался, как ребенок. Это был первый картофель в Нарынском совхозе, впервые посаженный на хуторе Эки-Нарын-Орто-Су, на опытной площади в один гектар. Опыт оправдал себя полностью. Картофель был великолепен.

И была великолепная радость директора, радость заведующего хутором, его жены, принесшей картофель, и всех этих людей, собравшихся в глиняной мазанке, затерянной в Тянь-Шаньских горах..

Я посмотрел на Босова. Он один был вне этой радости. Для него картофель, будь это в Нарыне, в Москве, в Калуге, — только товар, только рынок, купля и продажа. Никогда не творчество. И было мне ясно: в творческом пафосе стройки, в поэзии и созидающей гибель таких людей никогда и ни в ком не родит сочувственного отзвука... Та к н а д о!

16

Казан-Куйган — первый хутор Нарынского совхоза, — мысли о фиолетовом ядовитом цветке, о «долине смерти»... белый домик из романов Джека Лондона; огромный двор с ковбоями, с верблюдами; Канада, Азия, Калифорния — все, что угодно, и еще — беседы с Елеференко на бревнах около недостроенной школы —

«... здесь — аллея из тополей, там — сад, тут — клумбы, дальше — огород...» —

словом:

«здесь будет город заложен..»

Потом — Тегерек-Керчин. Ряд белых и не белых домиков: контора, общежитие, конюшни, даже баня величиною с письменный стол. Административный центр Нарынского конесовхоза. В комнате для приезжающих — голые два топчана, ни одного стула и дефицитная

лампа без стекла. Это — в Тегерек-Керчине, в конторе, день и ночь, под ряд три недели, горела десятилинейная лампа: весь Тегерек ходил к ней прикуривать — не было спичек. За окном шумит арык. Утрами, раскорячившись над ним — одна нога на правом, другая на левом «берегу», — население Тегерек-Керчина мылится, моется, полощется в этом студеном умывальнике, строго соблюдая неписанный регламент: умываться, мылиться и полоскаться ни же хутора; выше по течению — вода пить е в а я. В Тегереке — уйма солнца; вокруг — кольцо библейских гор с красно-медным набором красок. С юга — хребты, снега, граница; с востока — опять хребты и опять снеговые шапки, на запад — мягкие контуры холмов, и в отдалении — могильник. И ни одного деревца. Унылый рыжеватый фон типчака, и в типчаке, здесь и там, серебристо-иневые колючки тую-куйрюка...

Дальше — Нарын, веселый, приятный городок, когда смотришь на него с под'езда, с горы: горсть красных и зеленых крыш, тополя, голубой и бурливый поток реки. А когда в'езжаешь в него — пыль, шум, скрипучие арбы, капризный рев верблюдов, сутолока, — районный центр. Запоминается целый ряд строящихся домов, и становится очевидным, почему в Союзе нехватка гвоздей, стекла, железа, стройматериалов. Перевести на язык цифр количество строек хога бы только в одной «проснувшейся к жизни» Киргизии, значит понять и примириться с незастекленными окнами в квартире, с дверью без петель, с лампой без керосина.

Из Нарына — в Эки-Нарын-Орто-Су... Слева — изумрудный Нарын, зимовки киргизов, ячменные и овсяные поля, колхозы, стройка везде и всюду. Справа, над головой, — прилепленный к скалам Нарын-Тау многокилометровый, деревянный желоб-арык; в увалах гор — темные кущи тянь-шаньской ели; и все глубже, и шире раскидывающееся безлюдье (Нарынский район — самый безлюдный. По плотности населения впереди всех Фрунзенский район: на 1 кв. клм. — 35,4 чел. В Нарынском: на 1 кв. клм. — 1,8 чел.)...

Десятки километров складывались в сотни и ложились позади ворохом припоминаний, сравнений и образов. Заметно сдал и похудел гнедой Зигфрид, но все так же безотказно отвечал на посыл, все так же мудро разбирался в коварстве горных тропинок и неумолимо оставлял позади все новые и новые десятки километров....

За Эки-Нарын-Орто-Су, где запечатлелся картофель, Босов, кашгарцы, через головоломное и малодоступное ущелье, напоминающее дантовский «Ад», мы спустились в урочище Кара-саз, к новым виденьям и новым переходам вперед.

В этих переходах Нарынский гигант каждым своим хутором и каждым урочищем открывал передо мной новые грани и втягивал мою жизнь в свою. Я ерстал в него, и из нищего превращался в богача. Чистейшим золотом познания звенели в дорожном мешке сухие ячменные лепешки.

До хутора Кара-куджур слова «овца» или «баран» никак для меня не звучали. Незабываемые табуны Кара-саза поглощали все. Что такое «овца»? Шерсть и мясо. В Кара-куджуре, не успев я размять ноги после преодоленных пяти десятков километров, ко мне подошел могучий, приземистый человек с медным лицом и предложил:

— Доедем до отар, посмотрите... Тут недалеко!

— Это — мой овцевод, товарищ Шейкин! — представил мне его Елеференко. — Вы поезжайте, а я пока разберусь тут в разных прелестях... Надо кой-кого «поблагодарить» за хорошие дела, чтоб другим не повадно было!

— Есть кого, Аркадий Васильевич! — хмуро отозвался Шейкин, и его слова были такие же весомые, как и вся его фигура.

Подвели лошадей. Шейкин ввалился в седло, как Тарас Бульба. Кобыла крикнула. Я невольно обратил внимание на его поездку — никакой пушкой не вышибить из седла!.. Поехали мы шагом по увалу, вдоль маленькой говорливой речушки. Мне хотелось есть. Я был утомлен. Овцы меня почти не интересовали. .

Проехав километров пять, Шейкин остановил коня и предложил спешиться. Мы прилегли у речки на траву. Никаких овец нигде не было видно. Через некоторое время к нам под'ехал верхом на быке пастух. Шейкин сказал ему что то по-киргизски, и тот, болтая ногами и руками, начал взбираться на гору, возвышавшуюся перед нами огромным усеченным конусом.

— Сейчас он спустит к нам отары, — пояснил Шейкин и, помолчав, продолжал неторопливо, — настоящего виду у отар конечно сейчас нету. . Так они в порядке, упитанность выше средней, ну, а для души — пока не тово!

— То-есть как для души?

— А так! Лады не подобраны. При правильной бонтировке и отборе отары должны быть, как все равно лады у хорошего «баяна», каждый сам по себе, а вместе заиграют, — никакого оркестра не надо. Людей нету, одному приходится ворочать, а их почти двадцать тысяч голов!..

Шейкин привстал и прищурил глаза на гору.

— Ну, вот и спускают!

Я долго всматривался туда же, куда смотрел Шейкин, и долго ничего не мог разглядеть. Потом заметил, как по самому гребню возникают один за другим темные движущиеся комочки, как будто разворошили гигантский муравейник. Верхушка горы ожила и пополнила взиз тысячами живых существ. Чем ниже и стремительней спускались передние волны этого потопа, тем гуще и бесперебойней выкатывались из-за горы новые валы овечьего моря. Казалось, им нет конца. Будто там, за горой, бил неиссякаемый фонтан. Вся гора была залига ими; первые волны уже докатились до речки и растекались вправо и влево по увалу, а там, на вершине, из-за гребня возникали все новые и новые полчища Тысячеголосое, дрожащее бляение сверлило воздух. Белые, черноголовые, коричневые, серые — каких мастей здесь только не было! Маленькие, зоркие глаза Шейкина ныряли по этому живому морю, что-то выуживали, и он бросал отрывистые приказания старшему пастуху:

— Убрать вон тех в десятую!.. А эта зачем сюда попала?! Отбить в седьмую! Отбить в двенадцатую!.. Эгих пяток в отдельную, сколько раз говорить буду!?

И, обращаясь ко мне, сетовал:

— Никакого вида сейчас нету!.. Вот закончу разбивку по масти, займусь экстерьером, отобью мелочь, выделю отборную, потом по оттенкам рассортирую, тогда овца по-другому заиграет! Разве сейчас овца?! Ста-адо, и больше ничего!.. Есть у меня голубые... Что-нибудь особенное! Подберу к ним барана, чтоб синьки погуще подпустил, ну, тогда глаз не оторвешь! Например вот теперь, разве это показ? Один стыд и никакой игры! По-настоящему бы пустил сейчас первой всю белую, как снег, чтоб выпал; потом — голубую, которая посветлей, с легким эдаким небесным колером; за ней, вплотную, без интервала, — тоже голубую, но чтоб погуще синьки; потом опята белую с черными мордами...

Шейкин повернулся ко мне всем туловищем, прищурился на меня, как бы желая убедиться, достаточно ли ярко я представляю себе эту «овечью симфонию», и, очевидно увлеченный ею, стиснул мне руку выше локтя так, что я вскрикнул..

— Вот тогда для души будет! — не обращая внимания на мой вскрик, продолжал он: — Тогда овца выкажется!.. А сейчас (он сплюнул) — ста-адо! Жив не буду, если из двадцати тысяч да не сделаю, чего задумал! Вот посмотрите — разве это овца?! С такой головой одно место ей в котле, а не в отаре! Или вот еще, верблюду эдакую шею, никакой пропорции, а в пропорции — все!.. Супабек, уברי ты к лешему эдакую уродину! Аж с души воротит!..

Лишь к вечеру мы вернулись на хутор. «Овечья поэзия» стала для меня фактом. И навсегда запомнился овечий Гомер — Шейкин.

В маленькой комнатке, заставленной кроватями, сундуками и другой рухлядью, нас ждала свежая жареная фюфель. Два огромных противня, способных насытить человек двадцать.

— Откуда? — полюбопытствовал я

— Ребята сейчас в речке наловили.

— В какой речке?

— А вы ее видели, Улахол называется, вдоль нее мы ехали с вами в отары!..

Елеференко засмеялся, глядя на мое изумление. Я никак не мог поверить, чтоб в этом ручейке ловилась такая великолепная рыба.

— В полчаса — полпуда Это тебе не Москва, а Нарын-батюшка! — улыбался Елеференко, — была бы охота! Кстаги, Шейкин, я достал снасти всякого фасону, надо сочинить рыболовную команду, в наших условиях этого товару на всю зиму запастись можно. А государству лишнюю голову скота сбережем

— Сделаем, Аркадий Васильевич!

Елеференко сбросил кожан, картуз и придвинулся к столу

— Ну, давайте шамать да спать! Водки бы стакан выпил теперь.

— Найдем, Аркадий Васильевич! — встал Шейкин и из шкафчика достал закупоренную бутылку.

Меня поразила простота, с какой «директор» выразил желание выпить водки, а его подчиненный достал ее. Обычно в этих случаях много ненужного и смешного лицемерия..

«Бердыматов» и «Тургенев» Эти две фамилии запомнились мне с вечера. И та, и другая в разговорах Шейкина и Елеференко упоминались не раз. И каждый раз, произнося их, Елеференко, как рамкой, обводил их недоброй улыбкой.

Оба носителя этих фамилий вошли в комнату, как «власть имущие». Бердыматов — старший овцевод. Тургенев — администратор. Оба — «коренники» — киргизы. Тургенев был похож на напившегося крови клопа. Вишневые, налитые щеки, лоснящиеся глазки, холеные усы, и в руках — сосуд в форме лиры с кумысом. Бердыматов — солидный, серьезный, в рыжем европейском пальто.

— Здравствуй, директор! Здравствуй, товарищ!

— Ну, товарищ Бердыматов, рассказывай, как работа, что сделал, чего не сделал? — сразу начал Елеференко,

кладя перед собой неизменный блокнот.

Бердыматов неплохо говорил по-русски. Из всего его рассказа я понял только одно: «на Шипке все спокойно».

Терпеливо слушал Елеференко, и, когда Бердыматов кончил, с легкой усмешкой Елеференко спросил:

— Значит, все в порядке?

И Бердыматов, и Тургенев в один голос ответили:

— Деньги надо.

— Та-ак! Ну, а теперь скажи мне, сколько на сегодняшний день у тебя поголовья?

— Поголовья у меня около...

— Нет, ты говори точно! — перебил Елеференко.

Бердыматов выгнул из кармана пальто книжку и начал рыться в ней, потом посмотрел на молчаливо сидевшего Шейкина и что-то начал говорить по-киргизски.

— Не знаешь? Шейкин, сколько?

Шейкин ответил.

— Сколько остригды?

И опять Бердыматов начал рыться в книжке.

— Шейкин, сколько?

Шейкин назвал цифру.

— По сколько в день стрижете и сколько сдали шерсти?

Пространно начал Бердыматов говорить о безденежье, о нехватке рабочих рук, и снова Елеференко обратился к Шейкину. Ответы Шейкина были кратки и точны, как чеки автоматической кассы.

— Значит, все в порядке? — прищурившись, насмешливо спросил Елеференко. — Теперь скажи мне, сколько голов у тебя нехватает и почему?

Бердыматов назвал цифру. Шейкин поправил.

— Куда ж они делись?

— Не знаем. Пастухов спросить надо. Пастух украл.

— Не знаешь? — переспросил Елеференко, сверля Бердыматова заострившимися глазами.

— Не знаю.

— Ну, я знаю!.. — выразительно проговорил Елеференко. — Украл не пастух, а ты. У чьей юрты под камнями

нашли кишки? У твоей. Кто начал притеснять пастуха, когда он донес на вас с Тургеневым и Джутыкаевым? У кого в юрте день и ночь беш-бармак жрут и кумыс пьют? Старший овцевод ты, а ничего не знаешь, что в твоём хозяйстве есть. Все понятно! Прелестя ми занимаешься, а не делом!

Обижено Бердыматов начал оправдываться. Начал по-русски, но сейчас же перешел на киргизский язык.

— Говори по-русски! — перебил его Елеференко.

— По-русски трудно...

— Сразу разучился?! Ну, ладно, говорить нам, в сущности, не о чем! Поговорим на ячейке и в райкомел..

Бердыматов обижено встал. За ним встал и Тургенев. Не простившись, оба вышли, важные и уязвленные в своем величии.

Мне вспомнился Босов. Было много родственного у этих трех людей. Я совершенно не сомневался, что и Босов, и Бердыматов, и Тургенев — одной и той же породы, — законченные хищники.

— Не будь они коренниками, разговор с ними простой — за задницу и в конверт! — с сердцем проговорил Елеференко, — а тут приходится нянчиться. Сразу пришьют ярлычок: шовинист, националист и другие прелести!..

Шейкин густо вздохнул

17

Нарынский совхоз — совхоз табунного конепроизводства. Табунное конепроизводство — давно испытанный метод, применяемый при разведении аборигенных пород. Он существует в крупных хозяйствах Америки, существовал в дореволюционной России, но исключительный размах приобрел в Советском Союзе.

Табунное содержание лошади, это прежде всего — наиболее дешевой метод конепроизводства. При его применении отсутствует необходимость больших капиталовложений в строительство и освоение земель. Табунные конесовхозы организуются обычно на полупустынных территориях, которые

по целому ряду причин не могут быть использованы под зерновое хозяйство, но при использовании их под конепроизводство получают большой удельный вес в кормовом балансе страны.

Пустынные территории обычно характерны наличием сухого воздуха, который, как известно, благоприятно отражается на процессах роста животного, а местный аборигенный материал особенно ценен тем, что он способен плодить и растить свой приплод в суровых, резко изменяющихся условиях природы. Кроме этого, аборигенные породы характерны еще тем, что в деле их совершенствования человек имеет гораздо меньшее значение, чем например в деле создания и совершенствования культурных пород. И поэтому отрицательные признаки, характерные для явлений одомашнивания, у аборигенных пород отсутствуют. Подбор в культурных породах, применяемый для получения в приплоде ценных племенных и пользовательных свойств, зачастую закрепляет целый ряд отрицательных признаков. Таким образом, в результате подбора и некоторых методов содержания накапливаются в культурных животных отрицательные признаки, приводящие к вырождению многих пород. Между тем аборигенные породы благодаря широкому естественному отбору, являются резервом здоровых, нормальных наследственных качеств и обладают исключительной способностью противостоять резким воздействиям среды, а приплод от аборигенного маточного материала и культурных производителей, сохраняя аборигенный тип, приобретает выдающиеся черты улучшающей породы — благоприятные формы, рост и прочее — и также сохраняет при этом способность противодействовать вредным влияниям среды. В этом отношении любопытен и показателен факт, который сообщает профессор Адамец.

На альпийском горном пастбище (2.400 м.) снежной лавиной было засыпано стадо овец, состоявшее из местных (каменных) овец и из метисов этих овец с культурной породой. Из

местных овец погибло 15 проц. маток и 71 проц. ягнят, в то время как из метисов погибло лишь 5 проц. маток и 12 проц. ягнят!

Все вышесказанное легло в основу деятельности Нарынского конесовхоза. Конесовхоз работает над улучшением местной киргизской матки, производя, во-первых, улучшателя для нее и, во-вторых, ремонтную, пользовательную и транспортную лошадь

Но это не все.

Помимо «коня», являющегося «спинным мозгом» совхоза, в нем имеются, как я уже говорил, около двадцати тысяч голов овец, стадо рогатого скота, верблюды. Совхоз — образец и пример комбинированного хозяйства. Соблюдение соотношения видов скота позволяет совхозу выгодно использовать имеющиеся корма и сохранить правильные пропорции в травостое. Чрезмерная спецификация совхоза повела бы к тому, что природные условия не были бы использованы с достаточной полнотой и, с другой стороны, травы, не поедаемые одним видом животных, получили бы возможность беспрепятственного осеменения и, постепенно расширяясь, создали бы условия перерождения пастбища конского в овечье и наоборот. При комбинированном хозяйстве стривание различными животными различных трав гарантирует правильные пропорции травостоя...

Еще имеется в совхозе изумительное стадо яков. Эти мелкорослые, с железными ногами и мускулатурой животные незаменимы в горных условиях. В одно и то же время они являются и мясным, и молочным, и транспортным животным. Руководители молодого Нарынского гиганта не ускоились на этом. Они проделали интереснейший и, кажется, первый в мире опыт, полностью себя оправдавший. К дикому, некультурному, малорослому яку, они прилили облагораживающую кровь чистопородного швица.

В урочище Кара-саз я видел потомство от быков-швицов и коров-яков. Нельзя было не залюбоваться, глядя на этих бычков и коров, с шелковистой

черной шерстью, с белыми изящными мордами и с лошадиным волнистым хвостом, единственным, кажется, внешним признаком, перешедшим от яка к метису. Все экземпляры были по сравнению с яком крупнее, мясистее, облагороженных форм и намного молочнее, при чем молоко, по количеству жиров и на вкус, ничуть не уступало самым первосортным сливкам... Помимо всего этого потомство от швицов и яков должно прекрасно использовать высокие горные пастбища и быть стойким против заболеваний.

18

Человеку, не побывавшему в Киргизии, покажется, быть может, невероятным факт совершенно варварского отношения киргиза к его лошади. Но это так. Проезжая по Киргизии, на каждом шагу видишь такую картину: жалкий кишлак, мазанки без окон и дверей, колючая изгородь из джержанака, и у изгороди или просто привязанная к камню стоит подседланная лошадь, понуро вытянув шею. Вы можете быть уверены, что стоит она уже не один час и будет стоять еще много часов, без корма, без питья, подседланная, под палящими лучами солнца, пока из юрты не вывалится отуманенный жирной бараниной и кумысом хозяин, вскарабкается на допотопное седло и ударом плети погонит ее в новый многокилометровый путь, «на дымок», к бурдюку с кумысом и новому куску баранины.

С другой стороны, киргизы в массе никак не хотели признавать необходимости и целесообразности улучшать свою аборигенную лошадь путем прилития к ней крови полукровных и высококровных культурных пород. Государственные случные пункты пустовали, а своих лучших жеребцов киргизы кастрировали, по укоренившемуся издавна убеждению, что мерин резвее жеребца. Все это вместе взятое вело к вырождению киргизской лошади. Она вырождалась и количественно, и качественно. По данным Кирнаркомзема, в 1928 г. в Киргизии было 746.300 голов лоша-

дей. В 1930 г.—607.700 голов, то-есть поголовье уменьшилось на 19 проц..

Рост и деятельность государственных конесовхозов сыграли решающую роль в деле оздоровления коневодства Киргизии. Одной из форм пропаганды культурного разведения и содержания лошади было участие воспитанников государственных конесовхозов в так называемой «а л а м а н-б а й г е» — народных скачках.

«А л а м а н-б а й г а» — любимое зрелище и спорт киргиза-номада В недавнем прошлом призы владельцам победителей выдавались натурой, — например юрта со всей обстановкой, с сидящей в ней невестой, с приданным в виде сотен овец, скота и лошадей... Были призы по несколько тысяч овец и целых табунов лошадей...

Слово «К о к а л а» я услышал в свой первый приезд в Киргизию. Вернее — в предотъездные дни. Я лежал в номере фрунзенской гостиницы с изуродованной ногой и ключицей. Утром ко мне пришел тренер Чолпан-Атичского конесовхоза. Был день открытия фрунзенских среднеазиатских конских испытаний.

— Ну, должен я вам сказать, Кокалы не будет! Сказывают, угнали басмачи Вы не поедете на ипподром?

Я посмотрел на свою забинтованную ногу.

— Ну, а если Кокала вдруг объявится, — побьете? — спросил я вместо ответа. Старый Василий Васильевич был из породы «плакальщиков» Он всегда жаловался и, как говорят, приbedнялся. Если все его лошади были в идеальном порядке, то на вопрос «Ну, как ваши лошадки?» — он неизменно отвечал:

— Лошадки конечно ничего себе, ну, а настоящего порядка конечно нет!

— Ну, а все-таки, рассчитываете выиграть?

— Трудно сказать! Лошадь ведь почему выигрывает? Порядок выигрывает...

— Ну, все-таки?

— Боюсь сказать. Скажешь, а потом осрамишься. Лошадки конечно хорошие

есть, ну, а чтоб сказать выиграю, — не могу! Сами знаете, дело это трудное!

— Ну, а если Кокала появится, побьете или нет? — пристал я.

— Про Кокалу я вам вот, что скажу.. Страшная это лошадь! Верите, с секундомером в руках проверял я его. И на восемь, и на шестнадцать, и на тридцать два километра. Как заладит первую версту в одну и двадцать три, скажем, так, окаянный, и прет все тридцать две, ни тише, ни резвее, одно слово — мозерские часы!.. Тру-удно с ним ехать! Дьявол, а не лошадь! По правилу должна конечно кровь побить его, ну, а тру-удно, ой, как трудно! Иной раз смотришь, аж оторопь берет: из какого же ты, окаянный, материала сработан!? Стальной весь, а по себе — соплей перешибить...

Я уезжал в Москву, увозя с собой легенду о непобедимом Кокала. Легенду, героем которой было не вымышленное лицо, а реально существующий мерин — Кокала, проверенный секундомером старого и осторожного тренера Василия Васильевича Присухина.

19

Белой пылью дымили дороги, ведущие к Пишпеку. В одиночку, группами ехали по ним всадники — мужчины, молодые и старые, в бараньих и суконных шапках, в праздничных стеганых халатах; женщины в яркоцветных бархатных бешметах, в белоснежных «элечеках», часто с детьми на руках... Там, где кончается Боамское ущелье, и гладкая равнина соблазняет шоферов, ведущих грузовые машины из Рыбачьево в Пишпек, всадники-киргизы, заридя догоняющую их машину, взмывали камчей и, оглядываясь на машину, вызывающе кричали:

— Аламан-байга!..

И пускали коней в карьер, развевая по ветру полы халатов.

Увлеченные шоферы, забывая о превратностях киргизских дорог, меняли скорость, пожирали ровную гладь равнины и стопорили на первой предательской выбоине... С криками проносились

мимо всадники и, опередив застопоренные машины, выкрикивали:

— Твой конь — плохой конь! Мой конь — якши!

Собирались в группы и спорили о преимуществах над мотором своих низкорослых, выносливых лошадок. И в этих спорах часто повторялось:

— А л а м а н - б а й г а ..

и

— К о к а л а ..

Аламан-байга — праздник для киргизов. Победа на аламан-байге — это бараны, пять, десять, двадцать баранов, это — жирный турап, беш-бармак, это — много кумысу, это — пиршество, «той» с комузами и чертмеками, это — почет на многие годы... Это все то, что было —

у Шаршен Беткаджанова, владельца никем непобежденного Кокала.

— Кокала!..

Это слово зажигало маленькие раскосые глаза. Кто мог произнести его без волнения? Его знали все — старики, дети, женщины, в каждом кишлаке, в каждом глухом ауле, оно звучало и на роскошных пастбищах Сусамыра, и в Алайской долине, и в сыртах Нарына, и в Аксае..

Разве русские не приводили на аламан-байгу своих рослых коней, выращенных в просторных каменных дворцах, и не уходили с аламан-байги побежденными!!!

— Кокала!

— Никем непобежденный Кокала!

Дымили белой пылью дороги к Пишпеку. Птицами стались маленькие лошадки по равнине

— О-й-аа-а!..

— Аламан-байга! Кокала-а! О-й-аа-а!..

В канун пишпекской аламан-байги был спокоен Шаршен Беткаджанов за своего верного Кокала. Так же спокоен, как был спокоен весь колхоз Учунчек Шаршен Беткаджанов остался спокоен и тогда, когда табунщик из Урюк-Ты сообщил ему о гнедом жеребце, которого готовил на аламан-байгу главный начальник русских табунов в Урюктинской щели.

А когда приехал к Шаршену его бедный родственник Иссак и сказал, что видел сам в Боамской щели много русских коней и среди них гнедого жеребца, который хочет обскакать непобедимого Кокала, Шаршен отхлебнул кумысу и выговорил:

— В Киргизии много гор есть. Одна гора, другая гора, третья гора есть. Хен-Тенгри¹⁾ — во всех горах — одна гора. Кто был на ней и видел Хен-Тенгри? Никто не видел. Барс из клетки, — как может он перегрызть горло барсу, спустившемуся с гор?! Пей кумыс и не говори. Зачем говорить, когда надо молчать!

Иссак замолчал. Шаршен посмотрел на него, потом на комузу, висевший на решетнике позади Иссака.

Иссак был беден; у него не было баранов, у него не было Кокала, но зато во всем Аламедине никто не умел так петь и рассказывать песни.

Иссак понял взгляд Шаршена и снял комузу с керегэ.

Шаршен хочет слушать песню, — Иссак будет петь...

Он начал с тончайшей и тихой ноты, похожей на писк ветра в щели. Сперва он пел без слов. Закрыв глаза, дергал струну комуза и вытягивал из себя почти один и тот же звук.

Эту унылую песню хорошо знали Тянь-Шаньские горы, сырты и ущелья. Знал ее каждый киргизский конь, бараны и подседланный вол, и медлительный верблюд, раскачивающийся на своей горбу разобранную юрту, домашний скarb и хозяина ..

— Ой-и-и-и-и-ой-а-и-и-и!!!

— Ой-и-и-и-и-ой-а-и-и-и-и!!!

Путь далек и безлюден. Спешить некуда. Горы и речки. Речки и горы .. Трусит маленькая лошадка. Покачивается слева направо, взад и вперед привьюченное к горбу верблюда хозяйство. Палит солнце. Горы, горы и горы...

— Ой-и-и-и-и-ой-а-и-и-и-и... и-и-и!!!

В этой тягучей песне без слов незаметно тонут огромные пространства,

¹⁾ Хен-Тенгри (Царь духов) — величайшая вершина, 7000 м, в системе Тянь-Шаньских гор

сотни и тысячи километров, ночи и дни, месяцы и годы кочующей жизни.

Под эту песню рождаются мысли и образы и ткуются узоры.

Шаршен слушал и думал о гнедом жеребце, выращенном в советских табунах на берегу Иссык-Куля.

Иссак открыл глаза, взглянул на Шаршена и начал другую песню, подслушанную им у урюктинских табунщиков. В этой песне говорилось о золотисто-рыжем жеребце, приведенном в иссык-кульские табуны из-за Каспия. Он был горделив, как барс, и стремителен, как ветер ущелий. Рядом с ним киргизская лошадь была мышью. Среди детей, рожденных от него, был лучшим гнедой айгыр, тот самый, который сейчас идет по Боамскому ущелью, в Пишпек, на аламан-байгу, чтобы победить непобедимого Кокала.

Шаршен нахмурился.

Когда ушел Иссак, Шаршен позвал жену и приказал подвести ему коня. Над Боамским ущельем синевела предвечерняя дымка.

Из четырнадцати скакунов, отправленных конесовхозом на скачки в Пишпек, гнедой Дербист не был из лучших. Благородная кровь отца еще не победила в нем пороков матери — простой киргизской кобылы. Рядом с высококровными скакунами особенно был замечен его недостаточный рост, короткая шея и грубоватость форм. Но от матери он унаследовал стальные ноги и могучее сердце. Рожденный и выросший в привольи горных пастбищ Кунгей-Алатау, где воздух и солнце можно черпать пригоршнями и где ничто и никто не стеснял его шаловливых движений, Дербист уже к двум годам сложился в крепкого и вполне развитого скакуна.

Старый тренер Гринько, сравнивая мысленно Дербиста с остальными конями, которых вел он на скачки в Пишпек, с тревогой думал о предстоящей встрече гнедого Дербиста с непобедимым Кокала...

— Мы должны побить Кокала, — говорил ему директор совхоза при отправке лошадей, — нам не слава нужна.

Победа Дербиста будет победой культурных методов в деле коневодства. Киргизы поймут это и будут улучшать свою лошадь нашими высококровными и полукровными жеребцами... Не забывай: киргизская лошадь — это резервуар, из которого государство должно черпать коня для нашей красной конницы...

— Конечно должны побить!.. — припоминая слова директора, думал Гринько, — отец Дербиста — высококровный жеребец, дед — чистокровный... Кровь должна сказаться!.. Но ..

Но до сих пор на всех состязаниях беспородный Кокала бил, как хотел, высококровных скакунов, выставяемых конесовхозами..

Почему?..

Потому ли, что в конесовхозах недостаточно обращали внимания на подготовку лошади для скачек на большие дистанции, или же потому, что Кокала — непобедим вообще?!

В тренинг Дербиста старый Гринько вложил все сердце, весь свой многолетний опыт. С секундомером в руках он проверил его на все дистанции. Ветеринарный осмотр после резвых галопов подтверждал исключительную выносливость Дербиста. Ни разу не сфальшивило у него сердце. Ни разу не заметил Гринько оползающую вниз, по ногам, предательскую дрожь мускулов. Резвость Дербиста была бесспорно выше резвости Кокала. И все-таки —

все-таки весь долгий путь до Пишпека сомнения тревожили старого тренера!.

Посасывая трубочку, Гринько косил глаз на четырнадцатилетнего Димку, лежавшего рядом с ним в бричке, к задку которой был привязан Дербист.

— Димка!

— Чего?

— А вот в Америке есть один жеребец, зовут его Галант-Фокс...

— Ну?

— Глаза у него разные. Один глаз, как глаз, обыкновенный, а другой — особенный! Ни одна лошадь не выдерживает, как посмотрит. Дух отшибает! Все призы главные отбирает, как хочет!..

Димка ковырнул соломинкой в зубах и ненадолго задумался. Ему было некогда думать о каких-то Галант-Фоксах. С того момента, как было решено, что на Дербисте поскачет он, все его помыслы были сосредоточены на предстоящем состязании с знаменитым Кокала. И все мирозданье стало для Димки иным. Раньше например знакомые горы, громоздившиеся над шоссе, по которому они ехали, вызывали в Димке одни мысли. Глядя на них, Димка думал: «Хорошо бы взобраться на самую, во-он энту, верхушку и спустить оттуда во-он энтот камень!..»

Теперь...

— И когда только починят шоссе? Лошадей калечить!.. — проговорил Димка в ответ на рассказ о «гипнотизере» Галант-Фоксе.

— Ну, а как думаешь, побьем Кокалу?

Коричневое, лоснящееся от пота лицо Димки оживилось. Он бросил быстрый взгляд на Дербиста и с важной уверенностью ответил:

— Дербист—кла-асс, а Кокала что?!

— Значит, побьем? — не столько Димку, сколько себя, переспрашивал Гринько и в сотый раз начинал давать наставления Димке.

— Главное, держись ему в хвост. Так и дуй на всю дистанцию; пускай Кокала складывает скачку. А на последнем кругу нажимай! На посыл Дербист ответливый. Так держись до последнего полкруга, в хвост, понимаешь? Настоящий посыл давай к финишу, метров эдак за пятьсот. Тут уж во-всю! Понимаешь? . Кокалу я знаю, — чо-орт, а не лошадь!..

Внимательно слушал Димка, то и дело поглядывая на Дербиста. Мысленно он уже десятки раз обскакал Кокала, десятки раз видел себя победителем; он видел себя уж не конюшенным мальчиком, а настоящим жокеем; он уже мечтал о скачках в Москве, неведомой и чудесной...

— Обскачешь Кокалу, на будущий сезон отправлю тебя в Москву! — обещал Димке директор.

И если долгий путь от конесовхоза до Пишпека для старого тренера был

запутанным клубком сомнений, вопросов и неизвестности, то для четырнадцатилетнего Димки этот путь был путем растущей славы, побед и почета.

Спокойно шагавший за бричкой Дербист вдруг вскинул голову, поставил уши свечкой и скосил вправо огневой глаз.

— Ну, шали-ишь! — басом замахнулся на него Димка.

Дербист заржал, продолжая смотреть вправо, где рядом с шоссе, внизу, бурлила мутноводная Чу. Гринько повернулся и бросил взгляд туда, куда косил глаз обеспокоенный жеребец.

Из зарослей камыша, на другом берегу Чу, высунулась голова. Димка разглядел баранью лохматую шапку с белым верхом, скуластое коричневое лицо и черную бородку.

— Басмачи! — было его первой мыслью.

С кошачьей верткостью он перекинулся на другую сторону брички, готовый прыгнуть В его мозгу сложился мгновенный план: «Верхом на Дербиста и... до свиданья!»

— Беткаджанов, здорово! Селям алейкум! — крикнул Гринько, взмахивая картузом.

Раздвигая камыши, к самой воде выехал всадник и в ответ на приветствие Гринько приподнял баранью шапку. Глаза его были устремлены на гнедого жеребца, привязанного к задку брички. И этот пристальный, испытующий взгляд мгновенно напомнил Димке, что у Кокала есть хозяин и зовут его Шаршен Беткаджанов...

Димка снял картуз и, как равный равному, поклонился Шаршену Беткаджанову

— На аламан-байга будешь? — по-киргизски крикнул Гринько.

Шаршен ничего не ответил. Зоркие, блестящие глазки его продолжали ощупывать Дербиста. Медно-красное лицо не выражало ничего

— Кошь! — проезжая, громко простилася Гринько.

— Кошь! — повторил Димка и задорно добавил: — Аламан-байга, Кокала, дае-ешь!!!

Шаршен Беткаджанов снисходительно улыбнулся, блеснул мелкими щучьими зубами и, повернув коня, затрусил вдоль бурливой Чу.

.....

Один за другим, на круг ипподрома выезжали участники аламан-байги. После скачек государственных чистокровных и высококровных лошадей, после жокеев в цветных камзолах и белых рейтузах, после нарядных уздечек и легоньких английских седел, «аламан-байгисты» казались каким-то нищим сбродом. Маленькие лошаденки; вместо седла — дерюга; веревочные уздечки; мальчуганы-всадники, — большинство босиком, в заплатанных рубашонках, без шапок, чумазы, с блестящими глазами молодых волчат... Появление на кругу взрослого всадника на пегом мерине вызвало веселый смех и выкрики в толпе зрителей.

— Вот и Качан выехал!

— Егор, аман!

— Давай, Егор!..

Егора Качана знали все — и киргизы, и русские. Не было ни одной аламан-байги, в которой бы он не принял участия на своем неизменном пегом мерине. И не было случая, чтобы он выиграл.

— Качан, зачем ты зазря мучаешь мерина? Все равно сзади всех будешь!.

— Буду.

— Ну, зачем же?!.

— По охоте скачу! — добродушно отвечал Качан, вытирая потное веснущатое лицо рукавом новой розовой рубахи без пояса.

— Ты ведь не мальчишка! Лет-то, небось, сколько тебе?

— Сорок два.

— Чудодей ты!..

— Говорю, — по охоте! — повторял Качан. — Народу-то сколько смотрит, милли-о-он!.. И все меня знают!

— Выходит, срамотиться ты на народе любишь?

— Никакой срамоты тут нету!.. Тут все одно, как в театре! А без народу я почти каждый день по тридцать да по сорок верст ехаю по делам...

На гнедом Дербисте выехал на круг и Димка. И сейчас же, следом за ним, бодрым, мелким шагом вышел серый

Кокала. Сидел на нем десятилетний Сазык, сын Шаршена Беткаджанова. В отличие от других на Кокала была старенькая ременная уздечка, какое-то подобие седла, в гриве — красные ленточки, а чолка была закручена и торчала над головой в виде султана.

Тысячная толпа зрителей заволновалась. Забурлила вековая страсть кочевника-номада и расплескалась по всему ипподрому приветственными криками.

— Кокала!.. Кокала!.. Наш Кокала!

— Кто может обскákat Кокала?!

— У-ух, Сазык! Хоп-хоп!

— Аман, Шаршен!

В новом стеганом халате на голубой ситцевой подкладке, в новой шапке, отороченной лисой, в ичагах и новых галошах, Шаршен Беткаджанов вышел на круг рядом с Кокала.

— Смотри, вон казенный жеребец! — горопливо показывал он маленькому Сазыку на Дербиста, — с ним поскачешь, других не надо смотреть!

Голова Сазыка была крепко обернута красным платком, и на затылке, как у Кокала, чолка, султаном торчали скрученные концы платка. После слов отца он близко под'ехал к Дербисту и, не отрывая от него блестящих, маленьких глаз, стал рядом, как натянутая тетица.

Димка скосил глаза на соперника. Бабыя повязка на голове чумазаго Сазыка окончательно убедила его в своем превосходстве над «киргизенком», а старенькая, сшитая веревочками уздечка и потрепанное седло даже вызвали презрительную усмешку.

Дербист нетерпеливо мотал головой и перебирал ногами. Успокаивая его, Димка повернул и сделал несколько десятков метров назад. Как тень, Кокала очутился снова рядом.

Серый, маленький скакун был совершенно спокоен. Стоял, как врыгтый, опустив голову, равнодушный к окружающей суете и шуму. Был он весь литой из стали, и в его спокойствии была мудрость старого, испытанного бойца.

С секундомером в руках внизу судейской будки стоял Гринько и, сравнивая Дербиста и серого соперника, говорил **о**кружавшим его жокеям и конюхам:

— Не лошадь, а машина! Тру-удно его обскákat на дистанцию. Смотри, ноги, грудь, спина, — из чугуна, дьявол, сделан!..

Наверху, в судейской, где сидели почетные гости и члены правительства Киргизии, приехавший на скачки директор Иссык-Кульского конесовхоза, волнуясь, доказывал преимущество улучшенной и кровной лошади над беспородной. Киргизы слушали и лукаво улыбались, припоминая победы Кокала на ипподромах Киргизии.

— Эти победы — наша ошибка! — не сдавался директор, — мы не учитывали огромного агитационного значения побед Кокала, дававших населению основание идеализировать киргизскую лошадь как производителя... Теперь это нами учтено. Дербист должен побить Кокала!

Димка тоже так думал. Бабыя повязка на голове маленького Сазыка была смешна. Стремена у седла Сазыка были слишком длинны; коротенькие ноги в драных башмаках болтались без опоры

— Какой тут может быть посыл?! — критиковал Димка, как настоящий жокей, и не без важности похлопывал Дербиста по шее...

Наконец дали старт.

С гиканьем и свистом, лавиной, ринулись вперед по двухкилометровому кругу десятка три всадников. Взыли тысячами глоток трибуны. Как во сне, мелькнул впереди Димки серый круп Кокала и исчез в гуще других крупов и хвостов. Димка «к а ч н у л» Дербиста. Жеребец прибавил, обходя соперников одного за другим. В клубах пыли, впереди, Димка разглядел еще двух лошадей — пегую и вороную. Быстро достал их и обошел. Ворона — был горячий жеребчик Аксай из колхоза «Об'единение». На пегой скакал Егор Качан. Его распоясанная розовая рубаша вздулась, как пузырь, он молотил руками и ногами мерина и не переставал выкрикивать:

— Вот и я!.. Вот и я!.. Вот и я!

Только вывернув из первого поворота на прямую, увидел Димка далеко перед собой маленький серый комочек, быстро катившийся по кругу и уже подходивший ко второму повороту.

Это был Кокала.

Вытянув шею и слегка приспустив голову, знаменитый байгист скакал особенным каким-то аллюром, выделявшим его из всех других лошадей. Его бег был ровен и ритмичен, как стук мотора. Ни горячности, ни броска. Это был даже не бег, а какая-то работа специалиста, идеально скомбинировавшего в одно и экономию времени, и экономию движений, и продуктивность, и совершенное знание того, что он делает.

Глядя на Кокала, Димка вдруг инстинктом, не умом, угадал в этой маленькой серой лошадке страшного соперника. Димка не мог бы объяснить, почему вдруг его уверенность в победе треснула, как яйцо, опущенное в кипяток. И то, что Дербист постепенно достигал ушедшего вперед противника, Димку не успокоило. Скакать нужно было восемь кругов, шестнадцать километров...

И только теперь по-настоящему дошли до сознания Димки наставления старого Гринько:

— Держись в хвост. Не обгоняй. Пусть он складывает скачку. Посылай только к финишу, на последнем полкруге.

Для Димки все стало ясно. С расчетливостью старого жокея он «взял на себя» усиливавшего скачку Дербиста и голосом начал успокаивать его. Кокала был впереди корпусов на двадцать. Сазык оглядывался. Димка уже различал его скуластое лицо.

Когда, койчая первый круг, поровнялись с трибунами, тысячная толпа опрокинула на Димку и Сазыка дикий рев, вой, улюлюканье и пронзительный свист. Киргизы срывали с головы бараньи шапки, взмечгивали их вверх, бросали оземь, вскидывали, как крылья, тяжелые полы стеганых халатов, визжали, свистели, ухали... Требовали от Сазыка, чтоб он скакал быстрее!

— А-а-ай, Сазык, ча-ап!!!

— Ча-ап! Ча-ап! Давай!

— Не нажимай! — крикнул Димке Гринько, когда тот скакал мимо.

Шаршен Беткаджанов выбежал на круг, раскрасневшийся, потный и, приседая на раскоряченных, кривых ногах, за-

шлепал ладонями по коленам; он ничего не крикнул сыну, но две пары их блестящих глаз выразительно чокнулись в мгновенной встрече. Кокала заметно усилил бег.

Осторожно прибавил и Димка, не нарушая дистанции, отделявшей его от Кокала.

Так проскакали второй круг. Снова опрокинулся рев и вой толпы. Словно травили дикого зверя.

— Чап! Чап! Сазык, давай!

— А-а-а-ийй!.. Ча-ап!..

Пузыря розовую рубашку, сзади всех безнадежно скакал Егор Качан.

— Вот и я!.. Вот и я!..

— Давай, давай, Качан!.. Так их! Чап! О-лю-лю-у-у, нажми-и, Егор! — веселым гоголом и свистом встречала и провожала его толпа. В ответ Качан благодарно крутил над головой картузом, широко улыбался и, довольный, подгонял утомленного пегого мерина.

С секундомером в руке Гринько отмечал резвость третьего, четвертого, пятого круга и покачивал головой. Кокала не прибавлял, но и не убавлял резвости. Словно это был не живой организм, подверженный утомлению, а бездушный механизм. Скачка шла без перемычек. Впереди — Кокала, за ним с просветом в двадцать корпусов — Дербист. Каждый раз, когда жеребец ровнялся с трибунами, Гринько быстрым, наметанным глазом ощупывал его с ног до головы: Дербист скакал свежо, с запасом. И это успокаивало старого тренера. Он уже не бросал замечаний Димке. Димка скакал так, как надо. Ни разу не сделал резкого броска, ни разу не нажал на противника.

«Из мальчишки выйдет толк!» — удовлетворенно думал Гринько.

На шестом кругу большинство участников байги с'ехало с круга. Оставалось пять-шесть лошадей; среди них — пегий мерин Егора Качана, заканчивавший четвертый круг, в то время как Кокала и Дербист начинали предпоследний, седьмой...

Седьмой круг соперники прошли в таком же порядке, как шесть предыдущих. Скачку вел Кокала. Оставалось еще два километра из шестнадцати. Вол-

нение зрителей нарастало. Смокли крики и свист. Тысячи глаз напряженно следили за каждым движением соперников. Теперь уже ни для кого не было сомненья в том, что оба скакуна достойны друг друга. Притихшие киргизы, сбившись в тесный круг около Шаршена Беткаджанова, обменивались отрывистыми, короткими фразами и почтительно поглядывали на секундомер в руке старого, бритого тренера. Молчал и Гринько. Молчали конюха и жокеи, собравшиеся вокруг него и директора, спустившегося из судейской вниз, на скаковую дорожку.

Восьмой, последний круг сплавил тысячу сердец в одно, огромное, притихшее, до краев напитанное страстью, голевой ежмгновенно взорвать его на мириады жгучих осколков.

— К т о ? ..

И сжатые в одно это слово тысячи и тысячи мыслей изменили все лица, стерли улыбки, вытравили смех, сделали одно лицо похожим на другое, не было ни киргиза, ни русского, ни старика, ни молодого...

Димка изнемогал. Он уже не чувствовал под собой Дербиста. Руки и ноги стали деревянными. Было трудно дышать, и к горлу подкатывалось сердце.

И еще раз, где-то в отдалении и смутно, прозвучал голос старого тренера:

— Посылай к финишу, на последнем полкруге.

Димка чуть выпрямил непослушную, ставшую чужой спину, хлебнул воздуха и снова, припадая к жаркой и влажной шее жеребца, бросил его вперед в отчаянном, решающем посыле. Он видел, как испуганно оглянулся Сазык и заработал руками и ногами Дербист достал соперника. Красный платок был совсем близко. Димка еще раз послал жеребца. Потемневший от пота серый круп Кокала поплыл назад; отодвинулось назад и скуластое, коричневое лицо в красной повязке. И Димке сразу стало легче. Жизнь вернулась к рукам и ногам. Ста- ла гибкой спина...

Победил он — Димка.

Победил Дербист.

Кокала — позади!

Димка оглянулся.

— Ну да, позади!.. Кокала позади! Финишируя, Дербист свободно и легко оторвался от знаменитого и доселе непобедимого байгиста...

Гринько сам снял с седла побледневшего и тяжело дышавшего Димку. Обступив взмыленного победителя, киргизы жадно рассматривали его с ног до головы, и в их раскосых глазах разгоралась новая страсть.

— Якши турайгыр, якши!

— Кокала якши, турайгыр лучше!..

Шаршен Беткаджанов уходил с круга одинокий и сумрачный. Этим днем навсегда был отравлен и кумыс, и турап, и песни бедного Иссака

.

20

Мне довелось видеть знаменитого Кокала при его втором поражении на фрунзенской аламан-байге. Побила его полукровная кобыла Иссык-Кульского конесовхоза Ш у т к а. И в третий раз, на этой же байге, он был побит ташкентским совхозным жеребцом, тоже полукровным, — С м ы к о м.

Эти три лошади, «пропагандисты» культурных методов разведения и воспитания коня, блестяще выполнили задание и в корне подрезали легенду о преимуществах киргизской лошади над кровной.

Иссык-Кульский и Нарынский конесовхозы должны это начало закрепить и развить. Дело это конечно нелегкое. Ничего нет удивительного в том, что киргизы, в массе своей полуграмотные и невежественные кочевники, цепко держатся за этот предрассудок

Невольно вспоминается случай с Л. Н. Толстым, рассказанный Оболенским

На обеде у Самарина зашел разговор о лошадиных качествах. Л. Н. Толстой со свойственным ему увлечением доказывал преимущество «киргиза» над «англичанином», Оболенский защищал кровную лошадь, утверждая, что она при всяких условиях, всегда побьет киргизскую. Решили тут же сделать пробу. Л. Н. Толстой приехал на обед на тройке киргизов, у Оболенского пристяж-

ными были полукровные английские. Посадили конюшенных мальчиков: одного — на киргиза, другого — на полукровку, и «дали старт». Киргиз был более чем легко побит полукровкой, но это не убедило Толстого. Он продолжал настаивать на своем: «На длинную дистанцию киргиз непобедим». Второе испытание, на дистанцию в тридцать километров, было устроено в имении Оболенского. Но и на этот раз «англичанин» шутя побил киргизского скакуна... Л. Н. Толстой тут же купил у Оболенского английскую кобылу «Фру-Фру», знакомую читателям по «Ане Карениной»...

Я присутствовал при двух поражениях Кокала. И все-таки... все-таки для меня было несомненно, что двенадцатилетний серый мерин был совершенным исключением лошадей, особенно если принять во внимание варварские условия его воспитания, жестокую эксплуатацию и прочее.

Все это я высказал как-то в разговоре с тренером Иссык-Кульского коневосхоза, работающим десятки лет в Средней Азии и прекрасно знающим аборигенную лошадь.

— Да ведь знаете что, — ответил мне В. В. Присухин, — тут дело не без греха! Есть слушок, что Кокала — не киргиз, а полукровка. От англо-донского жеребца он! Вот в чем дело-то! Да и по экстерьеру, если присмотришься, заметно — кровца в нем есть...

Ларчик открывался просто.

21

Форель, отары, овечий бард Шейкин были последним аккордом многозвучной и мощной симфонии Нарынского совхоза.

Покрытый снегом перевал Улахол лежал передо мной, как последнее «прощай» Нарыну. За ним — Иссык-Куль; Рыбачье; гудки автомобилей и гарь бензина; пароходы, электричество, шоссе, — цивилизация..

В Улахоле я расстался с верным Зигфридом. Старик похудел. На впалых боках обозначились ребра. Он был утомлен, а Улахольский перевал — не из легких; тем более, что за ночь в горах выпал обильный снег.

Заведующий хутором предложил мне свою рыжую кобылу.

— Она — с ленцой, но зато верна! Будьте надежны — Зиге не уступит!

Зигфрид пасся у речки. Я понес ему на прощанье ломоть посоленного хлеба. Увидя меня, старик поднял голову и вздохнул. Мое приближение означало для него новый путь, новые десятки и сотни километров. Он вытянул шею, подставляя для уздечки голову.

Я дал ему хлеб.

Некоторые иппологи утверждают, что лошади ум не свойственен, что лошадь обладает только памятью. Так ли это? — не знаю.

Для меня Зигфрид был воплощением мудрости.

«Мудрый Зигфрид» — эти слова не один раз пришлось мне произнести с благодарностью в моих странствованиях по Тянь-Шаню.

— Ну, Зига, прощай... Не поминай лихом!

Зигфрид стоял неподвижно, вытянув шею, и провожал меня взглядом.

.....

Когда сборы к отъезду были закончены, Елеференко, совершенно неожиданно для меня, предложил:

— А не лучше ли тебе поехать со мной в Казан-Куйган и оттуда по тракту в Рыбачье?

— Почему?!

Присутствовавший при разговоре Шейкин кашлянул и веско вставил:

— Правильно! Эдак поспокойнее!

Я посмотрел на Елеференко, на Шейкина. Почудилось мне — у обоих у них есть мысли, которых они не хотели мне говорить.

— В горах снег выпал. Трудновато будет! — добавил Шейкин.

Я выехал через Улахол.

Над перевалом нависали сизые, недобрые тучи. Проводник-киргиз, указывая на них, подхлестывал лошадь. Я понимал — надо спешить. До Рыбачьего было семьдесят пять километров. С гор бил холодный, гурывистый ветер.

Пожалуй, ни один перевал не производил такого мрачного впечатления, как этот.

Горы были совершенно голые, без признаков растительности. Лишь кое-где на их темнубуром брюхе проступали ржавые болячки лишайника да короста мхов. Кривобокая тропа, по которой мы ехали, ползла кверху зигзагами, опасливо обходя провалы и расседыны, попадавшиеся на каждом шагу. Чем выше поднимались, тем плогней обнимала нас непереборимая глушь. Справа и слева в чудовищном беспорядке громоздились друг на друга обломки скал и камней, и, глядя на них, хотелось переиначить библейское начало мира... «В начале здесь была Катастрофа...» Зрелище этого хаоса, этого застылого шабаша каменных чудных различной формы и величины, рождало мысли о «некоем мировом Часе», когда все здесь окрест было наполнено оглушающим грохотом и стоном, когда с каменным скрежетом сдвигались со своих мест горы и, оседая в гигантские трещины и провалы, дробились, как хрупкое стекло...

Моя кобыла часто останавливалась и, настораживая уши, словно к чему-то прислушивалась. И ее поведение усиливало во мне ощущение окружающей дичи и глуши. В мысли проскальзывала тревожная струйка. Я припоминал «недоговоренность» в поведении Елеференко и Шейкина, отговаривавших меня ехать через Улахол.

На высоте, примерно в тысячу метров, тропа исчезла под снегом. Снег прикрывал трещины и провалы. Один я не сделал бы и шагу вперед. Что там впереди под этим белым, пушистым покровом? Куда поставить ногу?! Проводник, работая каблуками и локтями, подгонял свою лошаденку и продолжал карабкаться вверх с той же беззаботностью, будто перед ним было великолепно, четкое шоссе! Я старался не отставать. С каждым метром снег становился глубже. Местами лошади проваливались, что называется, по-уши. Ближе к вершине перевала Мамбетказы (так звали проводника) остановил коня и указал мне на снег. Я видел след. Это был первый след живого существа за все время подъема. Строгий ход хищника, вытянутый в струну. Спу-

стившись откуда-то слева, из расщелины, он уходил по тому же направлению, по которому ехали мы.

— Ильберс! — сказал Мамбетказы.

— А это что? — указал я на два другие следа, неотступно провожавшие справа и слева первый след барса. Они были похожи на легкое прикосновение к пушистому снегу небольшого игрушечного венчика.

Мамбетказы живо повернулся к крупу кобылы, взял в руку ее хвост и с неподражаемой выразительностью движений начал раскачивать хвост вправо и влево, вправо-влево... Я понял: два боковые следа были от ударов хвостом, и — словно он был передо мной — с необычайной яркостью я представил себе крадущегося по глухой горной тропе хищника..

Вершина перевала встретила нас ледяным ветром такой необычайной силы, что казалось — вот-вот вылетит из седла! Мамбетказы остановил лошадь и, показывая камчей вправо, сказал:

— Туда ехать плохо!

Потом показал камчей влево:

— Туда ехать плохо!

И начал закуривать, как бы предостерегая решать мне: куда же ехать? Почему было плохо ехать, Мамбетказы объяснить не мог. Я хлестнул кобылу. Она пошла влево. Спуск был труднее, чем подьем. Лошади оступались, проваливались и падали. Но внизу зеленели покатые холмы и увалы, и это утешало. Внизу было солнце, и я не переставал подгонять кобылу. Хотелось скорее выбраться из снегов...

Когда мы очутились наконец внизу, в долине речки Улахол, я оглянулся на перевал. Он дымился тучами, неприветливый и, пожалуй, даже зловещий. За ним лежал Нарын. За ним — оставались люди и дело, с которыми меня связывали теперь крепкие, нервующиеся нити...

А впереди уже синел Иссык-Куль, на другом берегу которого чудесным цветком распустился младший брат Нарынского конесовхоза — конесовхоз Чолпан-Атинский.

О нем — дальше...

В Москве мне дали прочитать рапорт Елеференко на имя директора Коневод-

треста. В нем между прочим я прочитал следующие строки:

«Ширияев выехал в Рыбачье кратчайшим путем через Улахол. Вечером этого же дня там был убит басмачами председатель сельсовета. На мой запрос в кочкорское ГПУ получил ответ, что Ширияев и табунщик-проводник проехали месторасположение бандитов благополучно».

Я понял, почему Елеференко и Шейкин отговаривали меня от поездки через Улахол. Но у меня возник другой вопрос: «Почему ни Елеференко, ни Шейкин ни одним словом не обмолвились о басмачах?»

На этот второй вопрос я получил ответ от Елеференко при встрече с ним в Москве.

Вз'ерошив русую шевелюру, Аркадий Васильевич улыбнулся знакомой, застенчивой улыбкой и проговорил:

— Да вед волков бояться — в лес не ходить! Бывали и похуже места, по которым мы с тобой проезжали... Не знаешь, оно и не думается! А случится грех, — на руку охулки не положим. Поэтому и не сказал!..

Я припомнил в этот разговор и раздумье проводника на ^{да} ^а ^р ^{да}е, когда он сказал:

— Туда ехать па *плохо*

и

— Туда ехать *и* *плохо*

Кобыла пошла в л е в о. Она угадала, где было все-таки лучше.

Июль 1933 Москва

2. ХАВА

Р Фатуев

И мой коран
Дрожащей твари проповедуй.
А Пушкин.

Хава. Если перевести это имя, то получится Ева — первая женщина. И еще другое — воздух. Гоабцы говорят: «наша Хава», и это звучит, как «наш воздух»!

Недоступная, далекая Чарода. Скалы, эти синие клинки кинжалов, торчат и вспарывают брюхатую баранту из небесной отары. С востока на запад, с юга на север перегоняет их невидимый чабан, и путается в них человек, теряет тропу. Где итти, куда ступить — только конь знает. И идет тогда время у человека на горский шаг, и считает он его с часа, когда он вышел и когда он будет на перевале Гуниб-Тау, у Ругуджа и в самой Чароде. По счету такого хода от Гуниба восемь часов пути, а пешком если — и того больше. Напрямик же турьими тропами не пройти. Не под'емы, а крепостные стены, ровные и скользкие, что амузкинские клинки. Итти нужно мимо них, огибая, опоясывая, как по винтовому нарезу, все выше и выше — под самое днище неба, где — крикнул, и крик пошатнул горы... Вот где Чаро-

да! Недоступная, тесная, далекая Чарода!

А Гоаб, откуда родом Хава, еще дальше. Там не только женщин, но и мужчин грамотных не было. Один мулла Гаджи читал и что-то чертил на дощечках такое, чего никому не понять. Уважали его сильно за это. Мудростью своей, большой бородой славился мулла Гаджи, и не только в Гоабе, Чароде, а и в Чохе, и даже в Гунибе; с закрытыми глазами он мог читать коран, переданный аллахом через пророка Магомеда. Он песни сочинял, но сам их не пел, а пели другие. Таких песен не поет теперь Дагестан! Теперь песни не для ушей, а для ног: не слушать их надо, а плясать под них, а в пляске разве расслышишь слова, соберешь их в сердце, надолго ли сохранишь их? Нет, все их тут же растеряешь. Слова этих песен, как блохи: тогда они кусаются, когда тепло, когда буза в ногах ходит; нет бузы — и песен нет. Так думает мулла Гаджи, так и говорит, но тихо и не всем, — тем только, кого хорошо знает... Зато песни его поют:

Пусть проклят царь Николай,
Ситец продававший по тридцать копеек.

Да здравствует советская власть,
Продающая бязь за сукно!

О, слова такой песни не повторяются!
Кто знает их, тот не танцует.

Как песнь каждой суры из книги Магомеда начинается с восхваления и возвеличения силы и премудрости аллаха:

Во имя бога милостивого,
милосердного, —

так и каждая песнь муллы Гаджи начинается с того же:

Да здравствует советская власть!.

Эти слова поются громко, чтобы каждый слышал, а другие — тихо, заглушаемые гумузом, в бороду.

И еще другие песни, такие, что слушают их старики и плачут: слова о Шамиле, о верном мюриде его Магомед-Амине, о Хаджи-Мурате. И стекают гяжелье, свинцовые капли слез, — из таких слез льются пули для гяуров.

«Во имя бога милостивого, милосердного!» Ни у порога, ни в-пути, ни в ауле не должен забыть этих слов правоверный, — каждая сура ими начинается. Но реже мужчины произносят их, женщины забывают, а дети и того хуже — совсем не знают. Оскудевают души, твердеют сердца! О рае не заботятся, родные горы перестают любить; приходит смутное и непонятное, такое, что седины позором считаются. Даже и песни муллы Гаджи не помогают! В мечети народу меньше, чем на учарах, а на учарах меньше, чем на джамаате.

Вместо арабских букв, которыми писал сам пророк Магомед, которыми написаны святые книги его, теперь пишут другими, погаными буквами.

Плохо, мулла Гаджи, плохо! Скоро в мечети никого не будет, скоро никто не сумеет прочесть святого корана!

Всего одна женская мечеть в Дагестане — в Кубачах, в другие же женщину пускают только за перегородку, за тряпичную занавеску, а в некоторые не пускают и совсем. Женщина — нечистое существо, ей нельзя быть в мечеги, а уж если пришла, то молись отдельно, так, чтобы не видел мужчина, и сняв штаны.

Если женщина стала ходить в ликпункт и читать латинские книги, бывать на джамаате, то, — о, мулла Гаджи долго думал над этим! — то женщина может наравне с мужчиной ходить в мечеть — так решил мулла Гаджи! — и молиться, как равная мужчине.

Это правда, что аллах сперва создал мужчину, а затем женщину для него, и потому женщина стала его слугой, а мужчина — ее повелителем. На всех землях правоверных женщина у очана — слуга всей семье. пеки чурек, вари хинкал, делай кизяк, тки сумах Это твое, данное тебе аллахом дело. Ты для работы и утехи женщиной и на земле, и в раю И молчи, женщина! Так делала твоя мать, так делала ее мать, так делали все до тебя Помни, что ты носишь знак своего смирения — чухту и яшмак, который закрывает тебе рот, и никто не может тебе открыть его. Но если. О, мулла Гаджи знает, что делать, если...

Песни новые запели старики. Хабары из двора во двор, из саки в саклу поползли: «Поганым словам вас учат, поганые буквы заставляют читать. На плоскости, в Умаш-ауле, из мечети, где учили этому, ушел пророк Магомед, оставив следы своих ног на потолке... В Муни ослепли те, что читали слова, написанные новыми буквами, чуждыми исламу».

Год, как на гетикане у джума-мечети в Чароде был большой джамаат, такой большой, что места нехватило всем: и на крышах, и на оградах — всюду было полно народу. Из Махач-Кала и еще дальше — из Ростова — приехали на джамаат люди. Их искали все глазами и ждали, когда они начнут говорить и что они скажут. О, хабары в горах живучи! Они — что ветер, что вода: просочатся всюду. Все знали, о чем будут говорить приехавшие: о книгах, об учении, о школах, о докторах, о больницах...

Как кончил говорить Магомедов, партийный секретарь, так сейчас же за ним на уступ михры поднялся приезжий в шинели и в картузе. Весь джамаат словно приник к земле — стал меньше, плотнее и тише По-русски говорил приехавший, и все слушали, словно понимали.

После его слова перевел Магомедов, партийный секретарь.

— Партия и власть рабочих и крестьян постановили сделать Дагестан страной грамотной: ни один чабан, ни один батрак, ни одна женщина не должны не уметь читать... Двести пятьдесят тысяч будет обучено грамоте — это больше половины всего взрослого населения Дагестана. Тогда каждый сможет прочесть, что пишется в газете, а газет теперь выходит тридцать шесть, тогда как в николай-заманда была всего одна — русская. У лезгин, у которых раньше не было даже азбуки, теперь есть своя большая газета. Скоро будет и каратинская газета, и кубачинская...

И еще многое перевел Магомедов, что сказал приезжий; не запомнишь всех цифр, всего, что случилось за это время, а случилось так много! Только все это не было известно — не было газеты, да если бы она и была, кто мог бы ее прочесть? Кроме Магомедова, партийного секретаря, — никто. Хабарами живут горы!

Затем другой приезжий выступил. Вел разговор о грязи в саклях, о болезни глаз и о других болезнях, о которых стыдно не только на джамаате, но и у себя дома говорить. «Женщины совсем не ходят к врачу, — говорил приезжий, — адат запрещает. Чужой, посторонний мужчина чтоб касался ее, чтоб при нем она разделась, — этого никогда не было. Плохо! Разве муж, отец, брат могут ее лечить? Если они сами больны? Если они лечатся сами у знахарей? Разве мало слепых после этого? Разве мало умерло и мужчин, и женщин?..»

И Магомедов, партийный секретарь, рассказал случай, что был в Анди. Случай такой, что его не забудешь; что его иногда нужно вспоминать аульчанам.

«В Нижнем Анди собралась родить одна женщина. Трое суток мучилась она и не могла разрешиться. Ее родные вызвали знахарку себе на помощь. Пришла знахарка и сделала все, что могла и что нужно было сделать: на живот роженице положили сначала одно седло, а потом и второе; три раза обнесли вокруг сакли горящие угли, и наконец

знахарка потребовала чувяк и засунула его роженице в проход. «Сам тогда ребенок выйдет» — объяснила она.

Скоро роженица посинела. Когда пришла акушерка, которую ее родственники не хотели звать, она была уже мертвой: грязь заразила кровь».

Зашумел джамаат, заволновались женщины, сидящие в стороне. Медленно мимо стариков и молодежи, закрывая рот яшмаком, прошла через весь гетикан Хава и встала рядом с приезжим. И Магомедов, партийный секретарь, объявил всем:

— Сейчас самой первой будет говорить Хава.

Еще сильнее зашумел джамаат: «Наша Хава!» — заволновались гоабы.

Вышла Хава вперед, на середину. Откинула яшмак и громко, так, чтобы слышал весь джамаат, заявила:

— Нам говорят: не будем сидеть в черной сакле, будем учиться, детей своих мыть часто, лечить глаза и ноги. Что мы можем на это сказать? Одно можем сказать, что нам нужно жить хорошо, чисто и дружно. Я первая иду в школу и первая буду учиться!

— Яшасын, Хава! — крикнул Магомедов, партийный секретарь. — Да здравствует первая женщина!

Весь джамаат повторил эти слова.

За ней вышли на середину другие женщины, те, которым сам аллах заперты, — старухи: Патимат Абдуллаева из Дубрахи и Кусум Нурова из Мугутля.

— Я старая, пятьдесят лет мне, а буду ходить в школу. Молодым стыдно будет не ходить, — сказала Патимат, а Кусум повторила это.

Не было еще такого случая в Чароде, чтобы женщины говорили на джамаате да еще первыми, да еще старухи — никто не помнит такого дня.

Мулла Гаджи тоже, после всех, взял себе слово:

— Теперь женщина стала равной с мужчиной. Пророк Магомед передал мне, что она может ходить в мечеть молиться так же свободно, как и ее муж, отец, брат.

О, мулла Гаджи мудрый и хитрый, такой же, как мулла Наср-Эддин!

В коране говорится: «Каждому аллах приковал его судьбу». Судьба одного — быть погонщиком ишаков, другого — быть чабаном, вести отары баранты с гор Аравии на плоские Кизлярские и Хасав-Юртовские земли, третьего — ковать сталь, пластать ее, делать клинки для кинжалов, чтобы каждый горец мог этим кинжалом хорошо защищать свою честь, а четвертого — штихилем украшать серебро, чернью и золотом цветить узор, пятого... О, много судеб дает аллах людям, столько, сколько их самих, и каждая судьба различна от другой. Только судьбы животных и женщин схожи. Ишак, мул, конь возят клад, корова дает молоко, овцу стригут; женщина рождает детей, носит дрова, топит очаг... Так над всем живым и мертвым распорядился аллах. И он знал, что делал в дни творения мира: ведь он сперва создал мужчину, а потом уже женщину и всех животных, потому и судьбы их схожи...

Судьба Хаваы такая же, как у сотни, у тысячи таких, как Хава, — что про нее скажешь? Был жених, когда ей было тринадцать лет; когда стало шестнадцать, отец получил калым. Жениха она не видела, знала только, как зовут его и откуда он. Вышла замуж, и первенцем оказалась дочь. Муж не влюбил Хавау, хогя после она родила ему троих сыновей. Старость пришла скоро, так скоро, словно и молодости-то не было: в двадцать лет.

Дни шли, похожие друг на друга, как медные пятаки. Муж батрачил у Абдуллы Сулимова, был сначала чабаном, а потом — удаманом. Дома бывал редко — больше на кутанах да на пастбищах, — весь дом лежал на Хавае. Ой, было тяжело ей! Да и не помощь муж-то в хозяйстве: когда бывал, только хуже было — забот и хлопот прибавлялось.

Помнит Хава, — да и как не помнить! — хотя и пятнадцать лет прошло, но все это, как сегодня.

Муж и кунаки его сидят на сумахе, едят хинкал и плов, пьют бузу. Она, Хава, раздувает огонь в очаге, готовит чай, боится взглянуть на мужчин и сама не обертывается, пока ее не позовут. По стучу ложек о миску она узнает,

когда хлебают хинкал, когда кончили; по чавканью и сопенью — когда муж и гости едят мясо. Тогда в низкой и темной кунацкой стоиг приятный, щекочущий ноздри запах баранины. Такой запах бывает нечасто — в те дни, когда муж возвращается с кутана домой. Голодная, она прислушивается, как разгрызаются кости, как с хлюпаньем высасывается мозг из них. Она напряженно ждет зова мужа — взять эти кости и унести их. Мучительно и беспокойно это ожидание.

— Хава! — зло кричит муж.

Вздвогнув, словно от удара плетью, она встает и, горбясь, чтобы казаться меньше и незаметней, идет к сумаху.

— Огня! — не глядя на нее, кричит муж.

Назад, к очагу, бросается Хава Берестовыми пальцами выхватывает рубин горящего угля и, перебрасывая его с ладони на ладонь, подносит мужу. И до тех пор, пока муж не раскурит, сопя и хлюпя губами, трубки, ее рука не дрогнет, она будет держать уголь на ладони, кожа будет шипеть и приторно вонять паленым мясом. Захотят закурить гости, она и гостей обнесет этим углем, только сильнее и дольше — насколько хватит легких — будет обдывать ладони, как будто бы раздувая уголь. Что ей больно, она показывать не должна так же, как не должна показывать она, что устала и, еще хуже, что она чем-то обижена, недовольна. Кому до того дело, что после у ней на руках язвы, что она после этими руками должна рубить дрова, носить кизяк, чистить посуду. Месяц, а часто и два, не заживают руки, потому что нет средств, чтобы лечить их, кроме как чесночным наваром да куриным пометом.

Сбросила уголь в очаг и опять села подле огня. Слюной смочила ладони, да так, чтобы никто не заметил, и опять стала ждать, когда позовет муж.

Слез у нее не бывает — горянке плакать нельзя, она может плакать только тогда, когда в доме есть покойник, а так позорно перед людьми и преступно перед аллахом: плакать, значит роптать на свою судьбу.

— Хава! — снова кричит муж. — Убери посуду!

Она быстро собирает голые кости, она поровну делит их между детьми и собакой, себе же ничего не берет: Хава любит своих детей.

Хорошо помнит это Хава и еще многое другое, что не нужно вспоминать. Да разве и вспомнишь все, что приходилось переносить?..

И когда Хава, первая женщина, вышла на джамаате, в черни ее волос много было серебра, столько, сколько на ножнах кинжала. Старость сторбила ее спину, а лицо цветом стало похоже на кумган из красной глины после его закала огнем: густое, темное, как медь. Глаза — без блеска, без влаги, словно покрытые пеплом угли. Таким глазам и плохое, и хорошее — все равно!.. А руки! Руки горянки, такие руки бывают только у женщин Востока. Ширококостные ладони, бугристые пальцы, негибающиеся, словно зубья железного гребня, и черные, как закаленный в чаре мрак, — в рубцах, ссадинах, язвах. Подсохнет кожа, зашелушится, растрескается, из трещин начнет сочиться кровь. Размокнет — одряблеет, загноится. На такие руки страшно взглянуть; такими руками вот делается — нет, делалась! — мужнина, сыновья судьба. А своя? Своя была в руках алаха!..

Вместе с одноаульчанами пешком шла Хава с джамаата из Чароды домой, в Гоаб. И первый раз в жизни пришлось ей с одноаульчанами говорить о том, о чем никогда за всю жизнь не приходилось. Страшно и радостно было произносить такие слова, о каких раньше и думать-то боялись, а сейчас не только говорить, но и осуществлять их в жизни. Первый раз этот путь, через хребты и ущелья, показался совсем близким.

Еще издали заметили гоабские мальчишки; завизжали, заквакали, завывали, кликнули псов и напустили на них:

— Фтю! Делегатки!.. Ха-ха!..

Строго прикрикнула на мальчишек Хава и палкой разогнала псов.

Густой учар, тихий и степенный, как каждый учар в Дагестане, встретил ее

недоброжелательным взглядом Женщины, не ускоряя шага, с палкой в руке, чтобы защищаться, — разве на женщину кто-нибудь нападет? — не опуская головы и не прикрывая рта яшмаком, гордо прошла мимо. О, такая женщина — первая в Гоаб!..

.. Зашумел учар, но не так сильно, чтобы было видно, что он оскорблен этим, не так, как шумел джамаат.

Поднялся Мусса Магомедов, муж Хавы, встряхнул своими широкими плечами тяжелую, мохнатую хапochу и, не глядя ни на кого, пошел к своей сакле. Старый Раджаб погладил белую бороду и так, ни для кого, нечаянно уронил:

— Делегаткой стала Хава!.. Скоро и платок снимет!..

Засмеялись некоторые, другие поднялись и пошли следом за Муссой к его двору — узнать, что теперь будет...

Не больше суток прошло, как Хавы не было дома, а там уж все в беспорядке. Никто ишаку не задал корма, — он стоил в углу ограды и ревет. Ткнула его под хвост палкой, бросила охапку кукурузных листьев. Дверь в саклю растворена, холодно в ней — не топлена очаг. Гарун и Аминат сосут голые початки и плачут. Расколола Хава о порог кизяк, сунула его в очаг, плеснула керосин — вспыхнул огонь. Достала муку, села месить тесто, — пришел Мусса. Долго и зло обшаркивал чувяки на пороге, потом вошел и молча сел на тахту.

Гарун и Аминат умолкли. Хава мяла и тискала тесто, не глядя на мужа.

Долго сидел так Мусса, кряхтя и сося трубку, наконец хрипло, отрывисто спросил:

— Почему пошла в Чароду? Джамаат — не женского ума дело...

— Сельсовет позвал, — не поднимая головы, ответила Хава. — И Кусум Омарова была, и кривая Фатимат, и Захрат Кадиева — много было женщин из Гоаба...

Мусса подобрал под себя ноги, обхватил их руками и снова задал вопрос:

— О коврах, что в мечети, говорила, да?.. Голоса собирали, чтоб увести их от нас в Махач-Кала?.. — он поперхнулся. — Женские голоса?

— Нет! — воскликнула Хава. — Не о коврах! О школе, о том, что читать нам нужно уметь, газеты читать!..

— Газеты?! — переспросил Мусса и засмеялся.

Злоба и обида подступали ему к горлу, хотелось крикнуть на Хаву, да так, как кричал прежде, чтоб знала свое место в доме, где чурек испечь да хинкал сварить... А то — газета!.. Мусса смеялся долго и страшно; Гарун и Аминат плакали, но тихо, как всегда плакали при отце. Хава все еще месила тесто, слушая, как смеется Мусса, не понимая, над чем он смеется. Она не знала, что так он скрывает свою злобу и обиду; терпеливо ждала, когда он кончит, и, когда Мусса замолк, Хава первая начала говорить:

— Послушай, Мусса! Раньше, помнишь, мы детей своих отдавали учиться в медресе. Кадию сколько баранов, кукурузы, хлеба, шерсти отдавали за это! Теперь в советских школах детей наших учат бесплатно. Если мы поможем школе, им еще лучше будет. На джамаате приезжие говорили: раньше две тысячи медресе было, а школ всего семьдесят. Теперь медресе нет, а школ для детей две с половиной тысячи и столько же будет для взрослых: для меня, для тебя, Мусса!..

— Для меня?! — Мусса засмеялся. — Мне нечему в ней учиться, а тебе... — Мусса помолчал, — я не позволю... Совет, школа — яман, правоверным грех учиться у гяуров. Так мулла Гаджи сказал...

— А на джамаате совсем другое было сказано, — заметила тихо Хава, — другое, совсем другое, Мусса.

— Слышал, слышал, о чем разговор шел!

Ему очень хотелось сказать жене что-нибудь очень обидное, нехорошее, оборвать ее, унизить, но он терпел — хотел знать, что скажет ему жена о джамаате: хабарам вполне верить нельзя было. А вдруг женщинам особый почет и власть дана, — такое время, что всего ждать можно! — и потому он сначала хотел узнать все.

— ... Учиться будут все: и маленькие, и большие, а чтобы было нам

удобно ходить в школу, будет такая сакля, где дети будут оставаться...

— Знаю! — хмуро зевнул Мусса.

Хава поняла, о чем знает он — об этом тоже говорили на джамаате. Белые бороды пустили хабары о том, что в Чохе коммуна: выстроена одна большая сакля, в которой три комнаты. В одной — мужчины и женщины, одна большая тахта и одно одеяло на всех, двенадцать локтей в длину и сорок в ширину; в другой дети, а в третьей — весь скот. Вот об этом и говорит Мусса Улыбнулась Хава:

— Не знаешь ты... Ясли называется эта сакля.

— Коммуна! — так же хмуро сказал Мусса. — Знаю!..

— И в Чохе живут, как прежде, — каждый в своей сакле. Делегатки говорили, что были там... Рассказывали всему джамаату.

— Коммунисты им приказали.

— Говорил каждый, кто хотел.

— Знаю! — скривил губы Мусса. — Обед давай!

Хава выдвинула из очага горшок с хинкалом, выловила из него галушки, сложила их на две тарелки, достала с углей горячий, тяжелый чурек, разорвала его надвое: одну половину положила на одну тарелку, другую — на вторую; первую поставила перед Муссой, вторую — перед Гаруном и Аминат. Мусса покосился на жену: раньше она так никогда не делала, — все ели после него, когда он был сыт. А сейчас... Вот чему их учат на совет-джамаатах! Ой, справедлив мулла Гаджи: пора взяться за вразумление наших жен!..

Мутные сны снились этой ночью Муссе, такие, как воды Кара-Койсу. Снилось ему, будто плывет срубленный лес по реке, громоздится, наползает друг на друга и среди всего этого леса выделяется одно бревно, маленькое, хилое, красное, словно крашеное хной, и точь-в-точь похожее на муллу Гаджи — такое же юркое, как он: то здесь вынырнет, то там, пропадет и — опять впереди всех, наверху, над всеми, а позади него большие, столетние чинары теснятся, на плечах несут это красное,

маленькое бревнышко. Кипит и пузырится вода. А за много верст, ниже Харт-Куни, люди в кепках дырявят железными прутьями камни, забивают дырки порохом, поджигают фитили — и летят камни в разные стороны на воздух; видел он, так делали у Гунибского моста, — люди освобождают путь, чтобы лесу шире и беспрепятственной было плыть.

Встал Мусса усгальный, словно и не спал совсем. Взял кумган, но воды в нем не оказалось. Кликнул Хаву — никто не отозвался. Вышел на двор. Аминат чистит таз землей, а Гарун льет на него воду. «Не своим делом он занят» — подумал он о Гаруне, громко спросил:

— Куда мать ушла?

— Сельсовет позвал, — ответил Гарун, не поворачивая головы.

«С каких это пор женщин в сельсовет стали звать да еще до зари» — подумал зло Мусса, не зная, что ему теперь предпринять. Постоял, посмотрел, как Гарун с Аминат дружно чистят таз; стали мерзнуть ноги, вернулся в саклю. Отыскал бешмет; нашарил в кармане трубку, но огня не было — очаг еще не топился. Плюнул со зла:

— Аминат!

Та вбежала не сразу — замешкалась с тазом.

— Огня дай!

Аминат подала спички и опять вбежала на двор.

Вчерашняя, еще не отстоявшаяся, злоба закипала вновь, к тому же не раскуривалась трубка. Прилег снова на тахту и укрылся хапочей. Думы, словно черви, шевелились в голове: «Сон этот... что бы он мог значить? И зачем это Хава могла понадобиться сельсовету?.. Уж не выпрашивают ли ее, где он встречается с муллою Гаджи?..» И оттого, что так много и сильно думал, захотелось есть. Но огня в очаге не было. Опять крикнул Аминат:

— Зажги!..

Чиркнула одну спичку Аминат, другую. Много перепортила спичек — не горит кизяк! Пришел Гарун, стал помогать — и тоже не мог зажечь огонь.

Тогда встал сам Мусса, одел старые онучи и стал разжигать очаг. Но, как ни старался, ничего не вышло. Гарун стоял возле и смотрел, как отец зажигает одну спичку за другой. Муссе даже показалось, что он улыбается. «Потом еще пойдет и расскажет» — подумал он и вдруг приказал ему:

— Дай воды!

Оба — и Гарун, и Аминат — кинулись на двор за большим кумганом. Мусса вымыл ноги, руки, лицо. Одел чувяки, хапочу и вышел из дому.

Куда и зачем шел, Мусса сам не знал. Шел и думал о том, что непонятно теперь становится для него жизнь. Не было у него веры в то, что говорил ему мулла Гаджи, не было веры и в то, что говорила Хава, — обоим не верил, не верил и себе. Разве лучше было, когда в Гунибе и Чохе стояли солдаты и офицеры? Сверху часовой завидит, кричит: «Куда?.. Назад!..» — и винтовкой грозит. Разве лучше?.. Нет, с тем нельзя сравнить: много хуже. Ну, а кто тогда о школах говорил, об учителях?.. И думать-то нельзя было!

Шел Мусса, и с каждым шагом все больше и больше было у него вопросов. Решил было идти к мулле Гаджи, раздумал: через весь аул пройти надо. Куда это, скажут, идет Мусса, когда к воде еще баранту не гнали? Узнают, что Мусса с Хавой совладать не может, смеяться будут. Вчера, и то... Мусса вспомнил, как вчера проводил его учар. На руках, на лице кожа стянулась, от стыда надулись жилы. Слышали верно, как он разговаривал с Хавой: у камня тоже есть уши..

Шел Мусса кверху по ступенчатым, вязким от грязи улочкам. Туман стал по ним пахучий кизячий дым. Истошно кричали ишаки в еще закрытых дворах. У дома Сулима Шаропилова свернул с улочки на крышу, пошел переходами, лестницами, чтобы совсем никого не встретить. Когда вышел к мечети, поймал себя на мысли: «Что я, вор?.. Чего же я боюсь людей?» И прямо пошел к сельсовету, спросить, зачем отрываю женщину от работы в доме, — пусть скажут...

Так решил Мусса один, без муллы Гаджи: кто в доме может еще прикалывать, как не он?..

У сельсовета много толпилось народу. Мусса даже удивился: откуда столько? — вся площадь. Остановился, вглядываться стал. Узнал Загидат Омарову, соседку, Амина Гаджиева, сына Сулеймана, комсомольца Омара; среди них вьючные ишаки, а чем они гружены — не видно. А Хавы среди них нет. Все поспешно развьючивали ишаков, снимали кладь. Опять взяло сомнение Муссу: итти ли ему, когда там одни женщины да комсомольцы? Раздумывал.

... А женщины снимали с ишаков кладь и передавали ее из рук в руки. Вгляделся Мусса — бязь... «Кому столько? Неужели гоабцам?» Не терпелось узнать, но Мусса преодолел это желание, повернул обратно: где женщины и комсомольцы, там не место Муссе и другим уважающим себя аульчанам. Пошел к мулле Гаджи — наверное он все знает. Но до него Мусса не дошел: встретил Сулеймана, и этот ему сказал: «Бязь для культурмейцев и ликпунктов».

Что это за люди, Мусса не знал, не знал и сам Сулейман, только слышал, что скоро будут такие...

Долго Мусса не спрашивал Хаву, зачем привезли из города бязь, а сама Хава не говорила. Хабары разные ходили по аулу, будто на кукурузу менять будут, на ковры, бурки... Знал Мусса, что правда Хаве известна, но спросить — не спрашивал: недостойно это делать мужу — жена сама должна сказать. Не говорит, что с ней сделаешь? Ой, раньше бы!.. А теперь...

Молчал и только больше хмурился. Редко стал выходить из дому, на учар совсем перестал ходить: косились старики. Сидел в нетопленной, холодной сакле один со своими думами. День ото дня старое начинало казаться все лучше, лучше. Плохое вспоминалось хорошим. Пел старые песни, такие, от которых глаза, как лед на солнце, сами тают, пел и играл на гумузе. Неожиданно пришел мулла Гаджи и Батырхан, богатейший человек не только

в Гоабе, Чароде, но даже во всем Гунибском районе, — ему раньше сам губернатор в Темир-Хан-Шуре руку подавал. Пришли тихо, украдкой. Мулла Гаджи такой вел разговор:

— Мусса, ты верный мусульманин, считающий святой коран и Коабу, ты должен делать так, как сказано в нем через пророка Магомеда: обуздай свою жену, посади ее к очагу, от которого она ушла, заставь делать то, что уготовано ей аллахом...

Тихо слушал эти слова Мусса: когда бы это могло быть, чтобы к нему пришел мулла Гаджи да еще с кем? — с самим Батырханом! Мусса знал, какая это честь! И дождется ли он ее еще раз в жизни?..

Слушал Мусса.

— Вот в четвертой суре корана сказано... Если ты, Мусса, забыл, то вспомни: жены должны во всем подчиняться мужьям, и если они не слушаются вас, то прежде вразумите их словами, а потом прекратите с ними половую жизнь, а если и это не поможет, то делайте им побию. Что ты сделал, Мусса, чтобы удержать жену от всех совершенных ею проступков?

Молчал Мусса.

— И еще вот что говорит священный коран: если жены сделают гнусное дело, то держите их в домах ваших дотоле, как постигнет их смерть.

Мусса понял, какое преступление совершил он перед законами аллаха.

— Ты знаешь, Мусса, — говорил мулла Гаджи, — что замышляет твоя Хава вместе с сельсоветчиками? Дом, принадлежащий по всем законам шариата Батырхану, отнять у него и устроить в нем ясли...

Ясли! О, Мусса догадывается, что это: вторая комната для детей в коммуне. Но где же там будет первая — для мужчин и женщин — и третья — для скота? Дом Батырхана не вместит всего Гоаба. Обо всем этом подумал Мусса, но не спросил муллу Гаджи, только в знак уважения к его словам наклонил голову.

— Это недостойно не только женщины, но и мужчины — истинного мусульманина, — то, что делает Хава...

Как пришли тихо мулла Гаджи и Батырхан, так и ушли. Опять взялся за свои думы Мусса, но Хаву ни о чем не спрашивал. Заговорила она сама, когда узнала от Гаруна о том, какие гости у него были.

— Плохих кунаков завел ты, Мусса, — сказала она, хмурясь и не опуская головы. Обдал жарким взглядом ее Мусса, как бы говоря: не женского ума это дело, но Хава прямо смотрела ему в глаза, не моргнув, не дрогнув. — Плохих кунаков, Мусса!..

— Знаю!..

— В сельсовете говорят. мулла, кулак и Мусса вместе..

— Ишак коня не учит, как под седлом ходить!

Не это, другое хотел сказать Мусса: жестокое, решительное, и не так тихо, а громко, в голос, но почему так сказал, сам не знал. Потому ли, что другой стала Хава, или потому, что боялся сельсовета? Как теперь крикнешь на Хаву, если ее сельсовет зовет на свои собрания?

— Мусса, словно женщина, из сакли не выходит, — так общество говорит, — как бы не расслышав обидных слов, продолжала Хава.

Багровым огнем вспыхнул Мусса, встал и крикнул так, как давно хотелось:

— Общество?!.

— Да, на учарах говорят...

— На учарах?!

— Наши комсомольцы на них ведут беседы об учебе... Так и о тебе зашла речь.

— Обо мне? Не знал...

— Сходи, Мусса, узнаешь...

— Комсомольцы! — засмеялся Мусса. — Знать их не хочу.

— Говорят, что ты женщиной стал: чурек печешь и воду носишь. И вот тебе... платок прислали.

Хава развернула сверток — это была бязь, что видел у сельсовета Мусса.

— ... Просили передать тебе.

Растерялся Мусса, не знал, что сказать, что сделать; стоял и с удивлением глядел на Хаву, потом вспомнил, что сказал ему Сулейман.

— Бязь для ликпунктов и культармейцев.

— .. И для таких, как ты, Мусса!

На три квартала был разбит Гоаб, и три бригады были организованы гоабским культштабом. Бригадиром первой был Амин Гаджиев, сын Сулеймана, второй — Омар, секретарь комсомольской ячейки, и третьей — Хава Магомедова.

Ходили бригады по дворам, спрашивали, сколько в доме людей от шестнадцати до сорока пяти лет и сколько неграмотных. Записывали все это в тетради. Хотя и бригадиром Хава была, но писать сама не умела, зато говорила и убеждала хорошо — женщины ей верили.

— Что ты, Хава, куда мне учиться, когда мне пятьдесят лет? — сказала Фатимат Гасанова, жена Омара, когда бригада пришла к ней в саклю.

— Ой, Фатимат, так ли? — ответила Хава, смеясь. — Так ли?.. Ты молодежь меня.

Не нашлась, что ответить Фатимат, — правда это.

— Запишем тебя в ликпункт?

— Не надо! Не хочу! Говорят, кто грамотный будет, тех возьмут от нас в Махач-Кала.

— Хабары это, не слушай. — спокойно и строго заметила Хава. — Ог кого услышала ты их, Фатимаг?

— Говорят... — насупилась Фатимат. В ликпункт к Омару записали ее, в тот, в котором будет учиться Хава

Бригада Хавы первой закончила перепись неграмотных и даже представила культштабу список саклей, где можно и ликпункты поместить: в кунацкой Абдуллы Халимова, у самого Омара, у кривой Хадиджат. А если, как уже было раньше предложено Хавой, — у Батырхана. Взять у него весь дом под это, большой дом — детям в нем хорошо будет.

Все одобрил культштаб, только о доме Батырхана не принял никакого решения. Сомневался: так ли нужно поступить — не по добровольности, а принудительно. Спорила Хава, доказывала:

— Куда Батырхану столько комнат? Для жен? — одна жена у него. Детям? — двое у него только. Для батраков? — один теперь у него. Куда ему такой дом?..

— Закона нет в горах дом брать под ясли. На плоскости, может быть, это можно, в горах — нельзя..

— Можно! — спорила Хава.

Взяла коня у председателя и поехала в райштаб. Говорила с Магомедовым, партийным секретарем, с Селезневым, студентом ростовского педвуза, секретарем штаба. Этот сказал ей:

— Дерись, Хава! Отвоюешь дом — будут у тебя ясли, каких в районе нет. Больше других дадим бязи и мыла, как самому бедному в Чароде аулу. Дерись!..

Уезжала Хава и знала: будут у ней ясли, — столько желания и силы чувствовала она в себе.

.. В ликпунктах началась учеба. Карандашей и тетрадей мало присылал город — всем нехватало. Один букварь был на тридцать человек. Писали на полях газет, на серых пакетах и даже на разломанных спичечных коробках. Нехватило и помещений для ликпунктов, — взяли темные амбары, и в них шла учеба.

Хава была всюду, везде, как воздух.

Зимой жизнь в горах замирает рано. Мулла прокричит с минарета призыв к вечернему намазу:

«Бог велик! Бог велик! Я свидетельствую, что нет бога, кроме него, и свидетельствую, что Магомед — пророк его! Поспешите на молитву!.. Бог велик, и нет бога, кроме бога!..»

И опустел аул.

Солнце упало за хребет, и сразу темно.

Редко, редко где бесформенной фигурой проплывет человек. Скот загнан, двери в саклях плотно закрыты. Тихо. Блеснет светлячок фонаря и погаснет, словно кто-то его рукой заслонил.

Но сейчас в ауле не так, сейчас по другому идет жизнь.

— Бог велик! Бог велик! — прокричал муэдзин с минарета, и тут же, заглашая его, другой крик:

— Ликбез! Ликбез!.. — крик чауша.

Два призыва: один — унылый — к молитве, другой — звонкий, молодой — на учебу.

Вечер, темно, но аул живет. Весело и радостно, размахивая длинными, до самой земли, рукавами хаповей, легко взбегая на крутизну и смело сбегая с откоса, торопится молодежь. Узкие щели улиц прожигаются красными глазами толстых, скрученных из кукурузных листьев, папирос.

...Тесно, но тепло и дружно в ликпункте. Строг и требователен ликвидатор, сосредоточенны и серьезны занимающиеся.

Медленно, степенной и тяжелой поступью идут старики.

... Пусто и холодно в мечети; кому заботиться о ней? Кто даст кизяк, принесет дров?..

Два мира, две жизни.

Неожиданно подошла стужа, сухая и острая, какая всегда бывает в горах. Снега выпало столько, что на источник нельзя было прогнать баранту. Ликпункты опустели.

Кричал чауш, звал на учебу, — никто не шел.

— Таких холодов, — говорили белые бороды, — со времен Шамиля не было... Аллах гневится!

Хава отдала свою печь в ликпункт, бумагой и своими подушками заткнула разбитые окна и сама по саклям собирала учащихся: только один ее ликпункт и работал. Но скоро истопили весь кизяк и все дрова, стал пустеть и он. Тогда Хава опять пошла по саклям, но не затем, чтобы собирать людей учиться, а затем, чтобы пойти в горы за дровами. И никто не отказался: согласилась и вся ячейка, и весь культштаб.

Рано утром, когда учар еще пустовал, заиграла зурна, забил барабан — сигнал к сбору на субботник. Под зурну и барабан пошли в горы, под зурну и барабан собирали хворост, рубили лес и под зурну же и барабан, нагрузив хворостом ишаков, вернулись в аул. Первый раз в жизни Гоаба по дрова ходили мужчины. После вся Чарода об этом говорила. Много заготовили дров, столько, что

хватило не только для ликпункта Хавы, но и на все шесть других.

В Дидое живут люди и не знают, что есть в Дагестане такие места, где не гор, где земля, словно гумно, ровная и большая. Говорят им это, они не верят:

— Ровная земля только в раю, а на земле — везде в ущельях, в скалах, в хребтах: в великом гневе творил ее алах — он знал, что на ней будут жить грешные люди, а то бы он не сотворил ее такой.

То же говорят и в Гоабе, но Гоаб ближе, чем Дидое, к Махач-Кала, и много-много побывало там людей, своими глазами посмотрели, какие есть там земли. Хорошие земли! Не в пять и не в десять бурок, а во столько, что если взять все бурки, что есть в Аравии, и то не покроешь ими всей земли. Вот какие!.. На таких землях есть города, и самый большой — Махач-Кала.

— На этих землях много растет пшеницы, овса, кукурузы, — каждый чабан говорит это.

— В городе в кооперативах много бязи, книг и керосина, — это говорит каждый делегат.

А чтобы город был ближе, нужна дорога, не турья, не ишачья тропа, а дорога такая, по которой прошла бы арба.

Слышно, — хабары откуда не придут! — в Анди шайтан-арба бегает. А в Гуниб уже сколько лет! А в Ругуджа, в Гоаб, в Карату дороги нет. Хава слышит это, много об этом в штабе говорят:

— Дорогу строить нужно!

— Джамаат собрать! — предлагает Хава. — Кто будет не за дорогу? — Никто. Все! — Все и будем строить!

... И второй раз первой выступает Хава, и все ее слушают: и Магомедов, партийный секретарь, и мулла Гаджи, и Сулимов, и сам Мусса, муж Хавы.

— Зачем царь Николай прокладывал дороги по горам Дагестана? — Чтоб свое войско гнать по ним, пушки и порох возить. Зачем совет прокладывает дороги? — Чтобы товары, хлеб, книги доставлять нам. И сколько дорог уже проложено! А сколько еще нужно! Рабочих нехватает, денег нет, а дорога каждому

аулу нужна... Сколько аулов в Дагестане!.. Самим нужно строить, всем общением, свою дорогу, тогда город ближе будет и всего в ауле больше будет...

Зашумел джамаат, как шумел в Чароде:

— Будет дорога? — спросил Магомедов, партийный секретарь.

— Будет!

... Все, кто учился в ликпунктах, все пошли строить дорогу, и даже дети, те, что учатся в школе. После и везде так было: и в самой Чароде, и на Глейсурахском, и на Расс-Орском, и на Карахском участках, — дорога всем нужна.

Хаву шагб опять назначил бригадиром, опять она ходила по дворам и созывала женщин и сама первая с ними шла строить. И опять лучшей бригадой была бригада Хавы; она вызвала на соревнование две мужских, и мужские не угнались за ней.

Из Махач-Кала пришла весть: 27 апреля первый съезд по культурному строительству, — к этому дню гоабцы решили закончить дорогу.

— Работать ночью! — предложила Хава, и ни один не отказался.

Всю ночь на склонах Гахибского перевала чадно пылали костры — бригада работала.

Совсем не стал ходить на учары Мусса и в кооператив тоже, и в мечеть даже: сидел в сакле, а когда шел по аулу, то все чаще и чаще кунаки-сельсоветчики, культурмейцы останавливали его:

— Где Хава, Мусса?

Не знал, что ответить: не сторож он своей Хавы! Где она, алах ее знает!.. А как же муж не знает, где его жена?..

Молчал Мусса, только еще больше хмурился.

Поздно приходила Хава, усталая. И все равно пекла чурек, варила хинкал, словно усталость не брала ее совсем. Не знал, что сказать ей, Мусса. Вот жизнь!.. Гаруну и Аминат показывала она книги с картинками, на которых все было изображено, что делается по всей республике. Показывала и украдкой, незаметно — как раньше! — взглядывала на него, только глаза у нее были другие, не прежние... И говорила такое, чего

он раньше ни от кого не слышал. Слушал Мусса, но картинки не шел смотреть. Раз только, когда Хава ушла в сельсовет, а Гарун и Аминат в школу, достал он ту книгу с картинками. Книга лежала на полке, там, где раньше лежал коран, у стола, над головой человека (корану не подобает лежать ниже, — так заповедал пророк Магомед!). Стал смотреть. И что же увидел Мусса! Сакли по четыре и по пять и даже больше этажей, с трубами такими же большими, как и сами сакли. Столбы не с двумя, как идут на Гуниб, стальными проволоками, а со множеством. Поля, которым не видно конца, и на них машины на колесах, — таких машин нет даже и на Гергебиле.

Много непонятого увидел Мусса. А прочесть, что вверху и внизу картинка написано, прочесть-то и не умел!..

Положил книгу так, как она лежала: не хотел, чтобы Хава заметила, что брал ее, не подумала бы, что он интересуется ею...

... Сидел как-то на своем дворе Мусса и чинил седло. Пришли комсомольцы:

— Где Хава?

А сами оглядывают двор, ищут ее. Что он ее прячет, что ли?

— Нет Хавы!

— Из Чароды приехали, спрашивают ее...

— В горы ушла за хворостом, скоро не будет, — схитрил Мусса.

Покачали головами комсомольцы. Догадался Мусса: не верят они ему. Встали и ждут. Свивал нахвостник Мусса, и вдруг мысль такая: верно знают комсомольцы, что Хава мне платок подарила, вот и пришли посмотреть, как он женское дело делает... Встал, оттолкнул седло ногой и крикнул:

— Не придет Хава!

Взглянули на него комсомольцы, засмеялись и ушли. Со зла еще раз наподдал ногой седло, откатилось на середину двора оно. Пусть валяется, — придет Хава, уберет. Пошел в саклю, лег, накрылся храпочей: обидно стало на все.

А к ночи, когда начались занятия в вечерних ликпунктах, опять тихо и крадучись пришли мулла Гаджи и Батыр-

хан. Рыжая борода Гаджи стала еще красней, а нос еще длиннее и тоньше. Левый глаз загноился и натек кровью. Батырхан снял свою дорогую, словно из серебра, папаху, надел другую, большую, лохматую, как у последнего чабана. Сразу Мусса не узнал его даже: кто такой?

— Саялам алейкум! — приветствовал мулла Гаджи.

— Во-алейкум саялам! Садись, — ответил Мусса.

Сел Гаджи, сел и Батырхан.

«Какое у них ко мне может быть дело? — подумал Мусса: — Опять спросят о Хаве, что ответишь?..»

Верно подумал Мусса: опять о Хаве пошел разговор.

— Не скоро придет? — мулла Гаджи кивнул на дверь.

— Ликпункты кончаются поздно. Она самая последняя уходит...

— Есть многое, о чем сказать надо...

— Слушать буду...

— И делать?.. — шопотом спросил мулла Гаджи.

Не понравилось Муссе, как спросил мулла Гаджи: так тихо, словно вор. «Мусса в своем доме, зачем говорить таким голосом?..» Помолчал Мусса, подумал и громко ответил:

— Что делать?

— То, что аллахом приказано каждому правоверному.

Улыбнулся Мусса:

— Не знаю, что он мне приказал.

Как будто не расслышал этих слов мулла Гаджи, продолжал свое:

— Адат и шарият защищать!

— ...от собак-большевиков! — не утерпел Батырхан.

Строго посмотрел на него мулла Гаджи, неодобрительно покачал бородой.

— Держи рот, убережешь голову, — так сказал Шамиль, да успокоит аллах душу его в раю!

— Что же, тогда нам остается только снять оружие с себя и одежду наших отцов и отдать им жен наших! — удивился Батырхан, тая страх в душе и покорность в глазах.

— Только это и осталось, — спокойно, оглаживая бороду, ответил ему мулла Гаджи. — Не нужно препятство-

вать, а нужно помогать им проводить то, что они хотят: все равно у них ничего не выйдет. Будет большой позор, и сами они откажутся.

— Ну, а дом-то они возьмут мой?

— Сам отдай.

— Я так и решил, мулла Гаджи, и я думаю, что это мудрое решение, подсказанное мне самим аллахом.

— Сам отдашь? — удивился Мусса, не веря ушам своим. — Сам свой дом?

— Пусть джамаат знает: не советская власть им отдала дом, а сам Батырхан.

— Ва!.. — еще больше удивился Мусса.

— И коня отдам, и седло, что украшено в Кубачи! Лучшее седло свое...

Вовсе ничего не понимал Мусса, не знал, что и говорить.

— Я не против советской власти, я за ликпункты тоже...

Тогда Мусса вспомнил, что говорил Батырхан раньше ему и мулла Гаджи.

— Тогда это было, сейчас другое! Помни, Мусса, нашу горскую мудрость: с собакой дружи, а палку из рук не выпускай. Так мы и решили дружбу завести! — покривился мулла Гаджи.

— Дружбу? — покачал головой Мусса, и улыбнуться наступил его черед. И стал ждать, что еще скажет теперь мулла Гаджи.

— Между свиньей и щетиной нет большой разницы. Нет ее и между гяуром и большевиком. Но когда надо было упрочить дело аллаха или его возвышение, имамы и шейхи часто прибегали к помощи самих гяуров. Разве мы должны отказаться от этого?

Молчал Мусса.

— Всем известно: Хава большой стала, и вот я говорю тебе: не мешай ей — она еще поможет нам, поможет нашему делу.

— Очень думается мне, не окажет она нам большой помощи, — ответил Мусса, догадавшись, к чему идет разговор. — А всего знать нельзя. Придет сейчас, сами спросите, — на хитрость пошел он. — Что она скажет, услышите...

Заторопился мулла Гаджи, заторопился и Батырхан.

— Итти надо...

И ушли.

Все стало ясно Муссе. Пришла Хава, и он ничего не сказал ей.

Еще реже стал ходить Мусса по аулу. Да и куда пойдешь? К мулле Гаджи? Он теперь сам потерял всякое уважение: последнюю лампу из мечети постановили в ликпункт передать! Что он теперь?.. А Батырхан сам без дома. Никто даже руки ему не подает. К старухе Кусум? — Сакля ее под ликпунктом. Не к кому итти Муссе! Скучной стала жизнь!..

Не утерпел как-то Мусса, пошел на учар. Хорошо, шумно встретил он его. Отчего бы это? — не мог понять Мусса. Разговор только и был, что о Хаве, о том, что ее в гахибский сельсовет избирают, что она председатель швейной артели. Доверие ей какое! О том, что она не только сама умеет читать и писать, а даже и других учит. Много разного говорил о Хаве. Мусса сидел, согласно кивал головой, будто все это ему известно.

Когда шел домой с учара, старик Сулейман догнал его, протянул руку и сказал:

— Мусса, скажи Хаве, пусть примет в артель мою дочь Хадижат — хочет учиться...

— Скажу! — пообещал Мусса.

— Скажи... от Хавы все зависит. — И крепко сжал руку, как старому кунаку.

«Большой почет Хаве, — думал Мусса, поднимаясь к своей сакле, — такой большой, что и на меня даже перешел...»

До полуночи, до самых ярких звезд не утихает аул. Нежной радостью звенит гумуз, надрывается зурна, бьет барабан, — от двора ко двору ходит молодежь, поет песни. И внизу аула, и совсем наверху слышно их.

Послушай, мулла Гаджи! В этих песнях твои думы и твой плач. О тебе поют они, слушай!..

Проснулся шейх, открыл глаза *),
живет народ, — аман имдад! ¹⁾
Нам не вернуть его назад, —
аман имдад, аман имдад!

*) Стихи Б. Астемирова, перевод Н. Славинской.

¹⁾ Ой, пощады!

Их поют и на улицах, и в артели. Не плачут под эти песни, а смеются, и слова не заглушают гумузом.

Ушел народ, лицо закрыв,
ушел почет, — аман имдад!
Кричи хогъ день и ночь зикри¹⁾,
народа нет, — аман имдад!
Ни борода, чалма, аба,
ни пояс наш, — аман имдад!
Не возвратить его назад,
аман имдад, аман имдад!

До полуночи работает артель, шьет знамя — подарок с'езду. Работает артель и поет:

Могилы тьма, загробный мир
уже страшит, — аман имдад!
Что спросит там Мункар, Накир²⁾,
уж нипочем ему, — аман имдад!
Сирагский мост: ³⁾ тоньше струны,
острей меча, — аман имдад!
Ворота в ад и страж у них, —
все пустяки, — аман имдад!
Весы грехов, зла и добра
Да это что ж? Аман имдад!
Ничто теперь и ад, и рай.
Где страх быллой? — аман имдад!

С гумузом, зурной и барабаном ходит молодежь по кривым, узким, ступенчатым улочкам Гоаба — поет новые песни.

Мулла Гаджи уже на минарет не поднимается, к намазу зовет прямо с крыши мечети.

Лень стало лезть на минарет: откуда ни зови, все равно никто не придет! — так говорили, и верно говорили! Ломался старый закон: шариад, хуриат, адат И дни ломались: по-иному складывалась жизнь. Гоаб уже не тот, прежний Гоаб, — совсем, совсем другой!

Как-то под вечер к сельсовету под'ехал на рыжем иноходце неизвестный сельчанам горец. Не спешиваясь, он громко крикнул председателя совета. И когда тот вышел к навесу, он распустил прорезы у хурджуна, выхватил из них пачку бумаг и бросил председателю!

— Газета!

С размаху ударил иноходца и скрылся в переулке.

Все запомнили этот вечер, да и как его не запомнить, когда в этот вечер у всех, кто учился, был свой учебник,

своя — не из Махач-Кала — газета «Новый Гуниб», на своем, родном, аварском языке. И на самой первой странице была картинка — Хава Магомедова. Все сразу узнали ее. Наверху и внизу картинки было написано, что Хава — лучшая культармейка Чароды. И еще много другого.

О том, что в Гунибе был суд. Судили троих ругуджинцев за то, что они, когда девушки вечером шли в ликпункт, сорвали с них платки — обесчестили их перед всем селением. Судил сам Шаабуддин Микаилов и строго засудил их: по три года за это дело получил каждый. О том, что косродинский мулла сильно побил свою дочь за то только, что она хотела итти в ликпункт. О том, что в Куботлибе каждый, кто учится в ликпункте, принес для себя скамейку, в Гахибе — кизяки. Сколько ликпунктов в Чароде, яслей, саклей-читален; когда с'езд в Махач-Кала. Газета — это не хабары!

Те, что плохо еще умели читать, скорей захотели научиться — записались в ликпункты.

Через каждые три дня, под вечер, толпа у сельсовета росла и росла. Часто навстречу почтальону председатель отряжал верхового: скорей хотелось прочесть газету...

Совсем, совсем по-другому ходил Мусса по аулу. Как будто и шерсть на хачпаче стала чище, и папаха лучше, и плечи шире, и сам Мусса стал выше. Все встречали его с почетом. Сам, своей рукой, вырезал Мусса картинку Хавы из газеты и повесил ее на палас, рядом со своим кинжалом. Но хотя Хава и звала его пойти помочь строить дорогу, отказывался, не шел, как ни убеждала, не хотел слушать. Все таким же суровым оставался дома. Аминат и Гарун боялись его попрежнему. Хава часто читала им вслух газету, Мусса в это время уже ложился спать, но не спал: высунув ухо, слушал. И сама Хава знала, что он слушает ее, — читала все самое важное. И как-то раз не утерпел Мусса, поднялся на локте, спросил:

— Ты говоришь о хороших новых законах. А разве старые законы хуже но-

¹⁾ Моление.

²⁾ Ангел смерти.

³⁾ Адский мост.

вых? Девушек без калыма хотят брать замуж.. Что такая девушка стоит как невеста жениху и дочь отцу?.. Какая ей цена? Муж ее разве будет ценить? А самой-то ей как?.. Если жених калым не даст, значит плохо ее любит, мало ценит... Не жена это, а хурма, что сорвал с дерева да с'ел.. Разве хороший закон это? — Плохой! Хуже и придумать нельзя!..

Хорошо ответила на это Хава: разве девушка скот, которым торговать можно, менять на кукурузу, ковры, серебро?..

Другое тогда спросил Мусса:

— Разве хорошо, что безусые учат тех, что белые бороды носят, и не год и не два, а много лет? Весь джамаат уважал их раньше, а теперь они не хотят их слушать и других учат, чтобы не слушали. Разве хорошо так?..

Опять Хава нашла, что сказать: молодые латинские книги умеют читать, газеты, а старые что? — Старые — только арабские. А разве по старым книгам мы сейчас живем? — Нет. Где новые законы пишутся? — В новых. Кто их прочитает? — Не белые же бороды...

Долго разговор был таким, Хава рада была сказать Муссе обо всем, что узнала сама

— Сам видишь, Мусса, — говорила она, — другая наступила жизнь И почет людям за другое:.

О, это Мусса знал, об этом он тоже думал...

— Кто читать умеет, тот всегда впереди всех... И другие ему почет оказывают. Разве не так, Мусса?

Склонил голову Мусса: так!

— Учиться надо!

Ничего больше на это не ответил Мусса.

Утром ушла Хава, ушли в школу Гарун и Аминат, — опять один остался Мусса. Пещерная сырость и темнота были в сакле; знобило тело, а вчерашний разговор с Хавой тревожил душу. В очаге тлели тихие угли, как глаза у Хавы; они то светились, то гасли, словно падали в темноту глазниц. Мусса расколол кизяк и бросил его под угли; вспыхнуло яркое, жадное пламя. И сразу

теплее стало в сакле. Мусса знал, что раньше, когда в душу и сердце закрадывалась тревога, он брал коран, читал одну суру за другой, ни о чем не думая, не сожалея, — постепенно радость и успокоение приходили оттуда. Так решил и сейчас сделать. Вымыл ноги, лицо и раковины ушей, достал с полки коран, — пылью и плесенью покрылся он, стал влажный и мягкий, как тесто. Сел к очагу на ковер. Наугад открыл коран: «На какую суру попаду, такой будет и день у меня сегодня». Напал на восьмую главу. Стал читать:

«Вот неверные ухищряются против тебя, чтобы заключить тебя в оковы или убить тебя, или изгнать тебя; они ухищряются, и бог ухищряется, но бог — самый искусный из хитрецов».

Прочел и закрыл глаза, как делал раньше, в ожидании сладкого успокоения. Гурии и райские яства вставляли перед ним раньше. И сейчас закрыл глаза, откинувшись спиной к стене. Слышал, как шипит, словно растапливаемый снег, кизяк в очаге, как скрипят от ветра ворота, как ревет у Магомы ишак... Так раньше никогда не было! Угасал весь мир, умирало все вокруг — рай Магомеда спускался на землю.. Нет, так не может быть! Открыл глаза, прочел другое место:

«Они хитрили и были хитры, но бог — самый искусный из хитрецов». Слова, похожие с прежними! Раньше этих слов он не видал в коране: откуда они?.. Глава третья, а страница сорок седьмая. Он же, Мусса, читал ее столько раз!..

Опять закрыл глаза. И поплыло мутное, такое, как виденный им сон, как потоки Кара-Койсу.. Не было так раньше! Зажемил веки, сидел не шевелясь... Вспомнился мулла Гаджи. Его красная, отошавшая борода, в колючих завитках, словно «держи-дерево». Его левый большой глаз с вытекшим желтым гноем на вывернутом веке. Его черное, морщинистое, как смятый, пустой бурдюк, лицо. «Хава большой стала, не мешай ей — она поможет нашему делу...» — так хитрил мулла Гаджи. Так хитрил наместник бога на земле, так хитрит, верно, и бог... Никогда Мусса не мог представить себе бога, а сейчас он был перед

ним. Вот он — такой, как мулла Гаджи! Такой же!..

Сами открылись глаза у Муссы — в саклю вошло солнце. Поднялся, три раза прошелся от очага к окну. Коран впервые за всю его жизнь лежал не только ниже головы, но и ниже ступней его ног.

Вечером, когда Хава опять ушла в вечерний ликпункт, Мусса набросил на плечи хапочу, сказал:

— И я с тобой!

Первый раз Мусса и Хава вышли вместе из дому и пошли по одной дороге.

Такого с'езда, как был двадцать седьмого апреля, Дагестан еще не видел: первый с'езд, на котором не было ни одного неграмотного.

От каждого района выступал делегат: и от Гуниба, и от Ахваха, и от Чароды, рассказывал, как работали, что сделали. И лучше других оказалась Чарода. Из нее делегаты приехали по новой дороге: тысяча триста человек строили эту дорогу длиной в пятьсот восемьдесят километров! Шестьдесят одна женщина вступила в партию, пятьдесят семь девушек записались в комсомол. Двести голов разного скота чародинцы отдали для яслей. Организовали одиннадцать детских комнат на четыреста пятьдесят детей. Больше чем сто шесть человек старше сорока пяти лет учились грамоте...

Так говорил чародинский делегат Магомедов, партийный секретарь. И об этом же пела свою новую песню Фатимат Расулова, культармейка Чароды.

Все делегаты постановили: красное знамя Дагестанского ЦИК вручить чародинцам.

Магомедов, партийный секретарь, принял его и сказал:

— Мы хотим, чтобы каждый район взял его, но из рук чародинцев его никому не вырвать!

Зашумели делегаты с'езда так же, как на первом джамаате чародинцы: всем понравилось, что сказал Магомедов.

После, когда окончился с'езд, каждый делегат сам расписался под большим письмом:

«У нас, в Дагестане, сейчас учится двести пятьдесят три тысячи человек, — это в десять раз больше, чем живет людей во всем Гунибском районе. Это в шесть раз больше, чем жителей в Ахтынском районе. Это в двадцать раз больше, чем жителей во всем Караногае. Это значит, что больше половины всех взрослых граждан Дагестана учится у нас в школах малограмотных и ликпунктах.

... Нам сейчас нужно бороться за чистую, светлую, побеленную известью, хорошо подметенную и вымытую саклю, уничтожить грязь и сор вокруг нас, в аулах и в наших жилищах...»

Под этим письмом подписалось пятьсот делегатов.

На этом и окончился с'езд. Этим кончается и наш рассказ, в котором нет ни одного слова выдумки. И какой же это рассказ, если в нем все правда, как она есть? — Это жизнь. Потому-то, верно, вся наша жизнь и есть рассказ, многоцветный, как ахтынский ковер. А ткут его Хавы, десятки, сотни таких, как Хава, — наш воздух. Хороший ковер наша жизнь! Скоро им будет устлана вся наша земля.

Гуниб, Дагестан

3. ЛЮДИ, СТАЛЬ, ЗОЛОТО

Д. Фибих

Подавляя, перебивая друг друга, гремят по всему заводу телефоны. Старый, большой, огнедышащий уральский завод не знает сна. Телефоны гремят круглые двадцать четыре часа.

... Кабинет директора... Ремонтно-монтажный цех... Чугунолитейный... Новый мартен... Горком... Редакция... Цех металлических конструкций...

Все эти глужие, прокаленные морозом и волевым напряжением зимние месяцы

завод отдал на создание драги. Ее создают чертежники и токари. Слесари и инженеры. Люди, машины, бригады, цеха. Дирекция, общественность, партийная организация. В мучительных потугах рождает ее весь могучий, слаженный, сработавшийся заводской организзм.

Но руководит сооружением драги, отвечает за нее в первую очередь инженер Покрышкин.

Сейчас он в своем кабинете, обособленном от молодежи — чертежников — наполовину стеклянной перегородкой. На столе телефон, стакан жидкого недопитого чая с мокрыми, разбрызглыми окурками на блюде и американские журналы.

Инженер длинноног, костист, еще молод, энергичен. Круглые вогнутые стекла лежат на российских его скулах. Под высоким потолком налиты светом молочные шары (здесь и днем горит свет), тени от роговой оправы очков пересекают желтоватые, запавшие щеки инженера.

Перелистывает плотные гляцевитые страницы с отличным чужеземным шрифтом, с прекрасными иллюстрациями, страницы, полные смутной враждебности, кичливого вызова.

Инженер принимает этот вызов. Идея создания советской драги, сооруженной на советских заводах, из советской стали, мозгом и руками советских людей, обуревают инженера Покрышкина. Он горит ею.

По ночам драга надвигается на него, грохоча и дыша жаром, медлительно и неумолимо заносит чудовищную клешню... Сны его мучительны.

Сам он вовсе не металлург. Геолог, горняк.

Гордая, пресыщенная техникой, задышающаяся в золотой астме Америка!

Только Америка до сих пор создавала эти затейливые, хитроумные пловучие фабрики, ставила их на своих приисках и высасывала из речных пород драгоценный золотой песок. Иллюстрации пронизаны огнем калифорнийского солнца.

А нынче вот впервые за всю историю Руси, России, СССР на пермских косогорах, на старинном, чуть не вековой

давности, заводе строится такое же сооружение.

Драга глубокого черпания.

Первая советская драга глубокого черпания.

Правда, завод имени Молотова, бывшая Мотовилиха, в этой области имеет уж некоторый опыт. Он уж выпустил семь драг. Но то были сравнительно незначительные сооружения, захватывающие своими черпаками тонкий слой породы. Работают они частью тут же, на Урале, на платчновых приисках, частью в Сибири.

Эта же драга, № 8, усовершенствована, переконструирована на особый, нужный для нас лад. Вгрызаясь в дно, в подводные почвы, стальные черпаки ее будут забирать пласт в двадцать три метра.

— Мы должны построить драгу глубокого черпания, товарищи, — настойчиво повторяет Покрышкин, заканчивая лекцию перед сотнями рабочих, инженеров. Не первая уж это его лекция. Те, кто созидает частицы, должны знать, что же представляет собой целое. Что такое драга? Ее назначение? Ее смысл? Идея, вложенная в это сооружение?

Огни электричества повторяются в стеклах инженера, он отпивает из стакана и, смахивая пролившуюся на бритый подбородок воду, повторяет с нажимом, с упором:

— И мы конечно построим. Лозунг овладения техникой, товарищи...



Вот он видит:

Чорт знает, какая глушь! Таежная река Бодайбо, текущая по драгоценным пескам. Лютый мороз. Лютая первобытная глухомань, где кругом тайга, непуганный зверь, кочующий на оленях тунгус.

На берегах муравьино копошатся старатели, вылавливая первобытным вашгердом среди стекающего ила крупинки тусклого и тяжелого золота. Труд кропотливый, первобытный, такой же, как двадцатилетие назад, когда такие же старатели, валясь под залами жандармского ротмистра Трещенки, пятнали эти сугробы кровью. Как пятьдесят, сто лет...

Туда будет доставлена драга. Закончив выделку, шлифовку, пригонку всех деталей, завод по частицам, по частям соберет ее воедино. Смонтирует. Проверит в последний раз.

Потом снова разберет, тщательно нумеруя каждую гайку, шестерню, стальную балку. Потом погрузит в вагоны.

Один за другим потащат поезда разобранную пловучую фабрику через всю Сибирь. Восемьдесят вагонов едва-едва сумеют взять ее на колеса. Тяжелый, сложный, долгий путь, индустриальная Одиссея!..

Первые эшелоны тронутся в дорогу ранней весной, расталкивая ветра, тяжелые от запаха влажной, прелой, молодой земли.

Лемеха плугов, блистая, разворотят ее. Сеялки, увлекаемые тракторами, щедро прольют плодоносный дождь. Зеленый пух покроет сады и леса.

Драга будет в пути.

Зашумит на деревьях курчавая листва. Будут ливни, синие грозы, великолепные арки радуг над полями. Домны Магнитогорска дадут новую рекордную цифру выплавки чугуна. В лисьей норе появятся лисенята. Доллар упадет еще ниже. Иззелена-седая рябь пройдет по нивам.

Драга будет в пути.

Страна начнет готовиться к уборочной. Затрещат комбайны, молотилки. Падет какой-то европейский кабинет. Глухо начнут постукивать в садах падающие восковые яблоки.

Драга будет в пути.

Хлынут осенние слякоти. Из поездов, остановившихся у московских дебаркадеров, повалят курортники, неся ореховый жар на лицах и шашлу в корзинках. Школяры, рабфаковцы, студенты раскроют запыленные учебники.

Драга все еще будет в пути. Ее доволокли до Иркутска, там перегрузили на подводы, на платформы, запряженные гусеничными тракторами, и везут на Лену. Так она покроет двести пятьдесят километров.

У ленских пристаней, оплескиваемые холодной волной, ждут паузки. Здесь снова будут перепружать. По воде драга

сделает еще тысячу семьсот пятьдесят километров

И только теперь, если ничто не помешает, если график движения будет выполнен в точности, прибудет она к месту последней и окончательной своей сборки.

Но случись в пути задержка, хотя бы несколько лишних дней, и все будет сорвано, — станет к этому времени Лена, нагрянет зима, и драга застрянет на каком-нибудь сибирском полустанке на полгода. До следующей весны.

Стоимость драги — четыре миллиона. Стоимость доставки по адресу — пять миллионов.

И вот в тунгусскую приполярную тайгу будет вдвинут гудящий, лязгающий цепями, передачами, сосущий из земных недр золотую валюту кусок советской индустрии.

Смонтированная, собранная по частям в одно огромное целое, драга всплывет на специально приготовленном для нее озере и начнет грызть подводные земли Махина похожа на разгневанную черепаху. С тупым и мрачным упорством она толчется на месте, поворачивается то в одну, то в другую сторону, отступает, снова наваливается, врезаясь в грунт. Она неутомима. Ни минуты спокойствия. Углубляя дно, она медленно продвигается все дальше и дальше.

Зимой, когда вода только начинает становиться, грузно ворочаясь, драга давит, крушит вокруг себя еще хрупкий и непрочный лед. Только в самую стужу прекращает работу.

Плавающая черепаха жрет землю без-устали. В недрах ее происходит процесс пищеварения. Забирая крупные ломти породы, цепь черпаков вываливает ее в гремящий, вращающийся, дырчатый барабан бутары, где порода, очутившись под перекрестом сильных водяных струй, разжижается, промывается. Тяжелые крупинки золота, проваливаясь в отверстия на стенках бутары, оседают на шлюзах, а все ненужное — камни, лишние примеси — извергаются наружу элеватором. Подобно жалящему живому существу, драга движется, ест, пищеварит, испражняется.

Управляемая шестью человеками в смену, пловучая золотопромывная фабрика вполне заменит убогий труд двухтысячной армии старателей. Двадцать два электромотора, находящиеся на ней и приводимые в движение энергией с ближайшей подстанции, дадут силу конского табуна в тысячу двести голов. Ночью, упав с ее мачт, ляжет на окрестные дебри голубой дым прожекторов

Драга отличается высокой рентабельностью. Высасывая из земли все, какое только имеется здесь, золото, до последней крупинки, она не брезгует уже отработанными, казалось бы, опустошенными участками, которые бросил старатель. Она и отсюда сумеет извлечь достаточное количество золота, ускользнувшего во время ручной разработки

В результате полнейшей механизации и рационализации производственного процесса отпадает потребность содержания тысяч старателей, продовольственного и культурно-бытового обслуживания их. А ведь все это в суровых условиях ленской тайги, оторванной от культурных и промышленных центров, сопряжено с невероятными трудностями

Какая же теперь получается экономия в отношении доставки рабочих, подвоза продовольствия!

Родина драги — Америка. Но золотые месторождения Калифорнии, из года в год давно уже разрабатываемые дражным способом, начинают теперь иссякать.

У нас иное дело. Насыщенные золотосодержащими породами, Лена, Алдан, Урал, берега Байкала знали до сих пор главным образом лишь примитивную старательскую разработку. Именно здесь нужна, требуется, должна работать драга. Десятки мощных драг. Именно здесь широчайшие возможности для деятельности пловучих фабрик золота.

Но пока все это в зыбком тумане будущего Драги № 8 в природе еще не существует. Она живет лишь в паутинных линиях эскизов и чертежей. Да кое-какими отдельными, разбросанными по цехам кусками, над которыми усиленно потеют барьеры.

И сколько барьеров! Как тяжело дается каждый шаг!

Покрышкин влезает в старенькую, едва ли достаточно теплую куртку, в меховую шапку с наушниками. Он едет на дражную площадку.

Площадка за городом. На заводской территории, в чумазой и грохочущей давке цехов, корпусов, складов, товарных составов на рельсах, ржавых груды лома конечно нет места, достаточно обширного и емкого для постройки пловучей золотопромывной фабрики.

По приказу директора в пяти километрах от центра завода на пустынном и просторном берегу Камы был сооружен ЦМК — цех металлических конструкций. Бревенчатые и дощатые бараки, металлический остов самого цеха, станки и машины, под'ездные пути, эллинговый край.

Все это выросло в три месяца. Драга рождается именно здесь.

Небо синее, день просторен, обжигающий, слепит глаза сахарной белизной снегов. (В городе, покрытый заводской копотью, снег серый, цвета соли.)

Слева на горизонте туманно-синие закамские леса. Справа на многие версты тянется крутой скат берега, на него лезут елки, изнемогающие под тяжестью снежных хлопьев.

Если проехать дальше, попадешь прямоком в шестнадцатый век.

.. избы со старинными князьками, над одной из них купол и гнутый осьмиконечный раскольничий крест, рядом звонница.

Вокруг на косогоре стрельчатые елочки. Строгановские солеварни, Ермак — Мороз шибко здоровый

Ямщик показывает вполуборот багровую скулу, заросшую седым от инея волосом, но седок молчалив, не отвечает. Седок хмуро морщится, воздух обжигает его щеки.

Проклятые холода! Опять рабочий день будет сорван... А тут еще чертежи. До сих пор не шлют. Сволочи Вредители. Мало постреляли... И Вогкинский завод. Все еще тянет волюнку с шевронными шестернями. Ха!.. Изволь тут работать, строить социализм!..

— Куда правишь? Ослеп? — взрывается инженер и чувствует, словно бы стало немного легче.

Вдали, над бордюром кустарников, громадной буквой «Г» встает эллинговый кран. Он сквозной, изящный, хрупкий. Эта хрупкость не внушает доверия. Странным кажется, когда он, со стоном поворачиваясь, подымает и несет железную балку.

Над грудями конструкций задыхающийся переключатель пневматических молотков. Будь инженер в другом настроении, ему бы наверно вспомнилось сейчас детство, узкая тропинка во ржах, колосья, качающиеся под жарким, душным ветром. И вот такое же неумолчное, со всех сторон, стрекотанье кузнечиков, от которого становится еще жарче, еще более душно...

Но сейчас не до лирики.

Над равниной чернеет ребрами шпангоутов высокий остов драги.

Это только схематический эскиз, намек, прообраз того, что должно быть. Это напоминает скелет чудовища палеозойской эпохи. Разрозненные части его костяка, суставы, рассыпавшийся позвоночник громоздятся там, тут.

Группами копошатся рабочие. Налегая на молоток, работающий сжатым воздухом, сотрясаемые пулеметной его дробью, они клепают стальные плиты. Распиливают металл. Выкраивают автономной резкой бутарные листы, звенья подвесов. Ядовитое бледнобирюзовое пламя брызжет и дьявольски скрипит перед железными забралами, которыми — как рыцари — защищают рабочие глаза и лицо.

— Удачный, знаете, способ эта резка, — говорит сопровождающий Покрышкина начальник цеха Порошин. Весь ушел в воротник, черный квадратик усов стал седым, изо рта бьет пар. — Удачный способ. Большая, знаете, экономия и в средствах, и во времени. Ведь обычно приходилось либо выстрагивать, либо на фрезере...

До колена проваливаясь в ломких и тугих сугробах, бродит инженер по рабочей площадке, заглядывает в отделы, в канцелярию, где молодые бревенчатые стены дышат запахом соснового бора.

На взгляд новичка — день как день. Шипит, нагреваясь, под сверлами сталь, прессы дырчат толстейшие броневые плиты, как масло, охают под молотами кузнецов окруженные малиновым жаром, раскаленные брусы железа.

Но инженер недоволен. Он в'едливо проверяет, он тычет пальцем в замеченную погрешность, он распекает, он сердится. Всюду заминки. Всюду сегодня не так...

— Нет, друзья, это никуда не годится, это не работа, а прямой оппортунизм на практике. Да-с!..

Тридцать пять градусов мороза. Воздух состоит из истолченного в порошок стекла, блещет, искрится, радужно сияет. Над группами рабочих клубится сивое косматое дыхание. У людей смерзаются ресницы, пальцы, даже сквозь вареги, сначала мучительно ноют, потом деревянеют, инструмент вываливается в снег. То и дело стучат рука об руку, яростно в обхват хлопают себя по плечам, приплясывают, потом бегут в барак греться, курить.

Порошин говорит:

— С отводящим барабаном, знаете, скверно. Впору закрывать лавочку — такая температура.

По тесной, словно вырезанной в рафинаде, тропке отправляются к отводящему барабану. Он в отдельном сарайчике, дощатые стены сарая изнутри обросли плотной седой шерстью инея.

У большого радиально-сверлильного станка, понуро свесившего черный свой хобот над отводящим-барабаном, в злобой и растерянной суете топчутся люди.

— Что у тебя, Ханюков?

В запотелых стеклах очков смутно, как под водой, намечается токарь Ханюков, стылые, от стужи распухшие губы его.

— Да что, товарищ Покрышкин. Смазка вот замерзла. Ремень буксует. Ну, ни в какую тебе...

Стоят. Молчат. Опустив тяжелые кисти в рукавицах, вздыхает токарь:

— Дрянь дело.

Длительно, с излишней тщательностью, протирает инженер свои очки.

— Эти чортовы холода, — голос у него мятый, — эти чортовы холода угробят всю нашу программу.

Непослушные губы Ханюкова ползут в просторной, отрадной для инженера усмешке.

— Ничего-о. Поднажме-ем. Робить мы умеем.

Тонконосый парень в собачьем малахе из-за плеча Ханюкова:

— Недаром, чай, титул — ударники.

— Потеплей будет — наляжем. Аккурат в срок выполним.

... Скверно спит эту ночь инженер и наутро встает, держась за ноющие виски.



Каждые шесть дней, регулярно, у директора собираются ответственные люди. Пожимают друг другу заолоделые красные руки. Опускаются в кожаную мякоть кресел, сморкаются, откашливаются, на коленях, на столах раскладывают картонки с важными бумагами.

Приехавшие с дражной площадки пахнут арбузной свежестью снега и снимают платками с усов капельки.

Тут — директорские помощники, начальники цехов, производители работ.

Сюда же приходит редактор газеты — женщина в шубке, похожей на каракулевый сак. У редактора прищурен левый глаз, и на маленьких коленях покоится большой, разбухший от деловитости портфель.

Оперативное совещание.

Зимний день стоит в директорском кабинете, белесый и скучный зимний день, лоск паркетного пола, чопорная, старомодная торжественность. Шкафы надменно оскалились золочеными корешками толстых книг. С простенка глядит писанный маслом Ленин, спрятав одну руку в карман, прищурив глаз так же, как редактор.

За длинными полукруглыми окнами — железнодорожные пути, белый склон горы, в самое небо возносящийся черные древние домишки и заборы Мотовилихи.

Временами стекла начинают в испуге трепетать, вода в графине качает вогнутые разноцветные отсветы, — мимо за-

вода, лихорадочно отсчитывая вагоны, чешет пассажирский.

Опираясь поднятыми коленями о крышку стола, вросший в кресло директор принимает доклады.

Черновонос. Мужественные плечи. Серо-фисташковый, вывезенный из Германии костюм. Когда записывает, для памяти, наклонясь над блокнотом, в зеркальном стекле, которым покрыт стол, опрокидывается его лицо, большое, обтянутое темной кожей, крупной лепки, со щучьим, узкогубым ртом.

Здесь разворачивается, день за днем, вся эпопея создания незнакомой, сложнейшей машины. Сколько трудностей!.. Сколько, казалось бы, непобедимых препятствий, при виде которых могут повиснуть обессилевшие руки.

Начать с основного. С чертежей, по которым строится драга. Давным-давно минували все законные сроки, а чертежи все еще где-то кем-то задерживаются, поступают на завод с безобразной медлительностью.

Строить по эскизам, по памяти, по тем общим сведениям, которые под рукой. А полученный наконец чертеж приходится обычно переделывать, прилаживать к имеющимся материалам.

Дальше. Завод, основное назначение которого — выпуск особо сложных, специальных механизмов, не приспособлен для изготовления крупных деталей драги. Как производить отжиг, если деталь не входит ни в одну из печей термического цеха?..

И все же творческой инициативой, сноровкой инженеров, самоотверженным, настойчивым трудом ударников все эти препятствия так или иначе побеждались. Взять например токаря Ханюкова. Весь график работ ломали трескучие морозы, и все же Ханюков закончил обработку отводящего барабана в нормальный срок. Да не один Ханюков.

Сейчас материал стал поступать гуще, и в цехе новая беда — нехватка опытных рабочих...

(Директор нагибается, карандаш пробагает по блокноту. Завтра появится приказ о срочной переброске в ЦМК всех рабочих, знающих производство клепаемых конструкций.)

Многие затруднения приходится преодолевать на ходу, в процессе работы. К примеру шестерни. Нарезка шестерен для драги в заводских условиях может быть произведена только долблением зуба...

(— Кустарный способ, — басисто рочкает директор и в снисходительно-надменной и вместе с тем хищной усмешке его обнажается фарфоровый оскал. Расправляет в кресле крупное свое тело — европеец, хозяйственник, большевик. Кто скажет — токарь, полжизни скитавшийся по заводам Российской империи, забастовщик в арестантском халате? .

— Кустарный способ, дорогие товарищи.

— Вполне согласен с вами, Петр Константинович, — выпрямляясь, упрямо говорит Покрышкин. — Но в данном случае он вполне оправдал себя. Как ни парадоксально. Громадная экономия во времени. Это лучше, чем послать на другой завод)

Не будучи в состоянии изготовить и обработать все нужные детали, завод обратился за подмогой к другим предприятиям. Украинские заводы должны дать прокатные листы и швеллера, Воткинский — произвести нарезку шевронных шестерен.

Однако прокатный материал поступает очень скверно. Работа благодаря этому останавливается

(Директор подымается, начинает ходить по кабинету, плотно, по-хозяйски, ставя ступни, руки в карманах. «Похож на Маяковского» — проносится в мозгу редактора.

— Я уж поднял вопрос перед Наркомтяжпромом, — говорит директор, — нажму еще. Добьюсь внеочередного снабжения прокатным материалом. Дальше?)

Вообще халатное отношение заводопоставщиков к своим обязанностям тормозит все дело. С Воткинского до сих пор не получены шевронные шестерни...

— Как? До сих пор?

— Да.

Тут вступает в беседу редактор.

— Вношу предложение. От имени редакции. (Она щурит левый глаз, точно подмигивая, хочет сообщить нечто чрез-

вычайно интимное.) Послать бригаду на Воткинский.

— Оч-чень хорошо, товарищ Кузьмина. Ты у нас известная инициаторша. С горкомом согласовала?

— Само собой. Действительно, могу сорвать все, сукины дети.

Предложение воодушевленно принимается. И на другие заводы послать своих толкачей! Пусть там, на месге, ребята поднажмут, взбаламутят бюрократическое болото, тряхнут кого надо.

Когда люди, забирая папки, наконец подымаются с нагретых сидений, директор говорит, одаривая напоследок своей великолепной улыбкой:

— Главное, товарищи, побольше бодрости и энергии. По-большевицки. Нет таких крепостей...

Быстро сколачивается в ремонтно-монтажном бригада к воткинцам. Упакованы облезлые чемоданы. Билеты заказаны. Припасены на дорогу чайники и папиросы.

Напутственное слово держит секретарь горкома Ян. Развалив по столу толстые локти, он оглядывает из-под тяжелых надбровий рассевишихся рабочих мелкими, быстрыми, пронзающими глазками. Буйно клубятся на его черепе курчавые, цвета прелой соломы, волосы

Когда-то управлял паровозом, то сдерживая его огнедышащий бег, то в нужный час усиливая, нагнетая до того, что стрелка манометра бьется в припадке на предельном давлении, и все летящее мимо превращается в свист и зыбь.

Немало лет отдал низовой работе в Ростове. Рабочий трибун. Сангвиник и остряк. Легкокрылые его словечки два уж года повторяет весь завод со смеющимся почтением, лелеет, бережет. Но часто такое слово обжигает того, на кого оно брызнуло, не хуже капли серной кислоты.

По утрам, до одиннадцати, секретарь горкома изучает с профессором синусы, косинусы, тангенсы. Вечером же, после очередного заседания, отстегнув пуговку на низкой, сливочной шее и сумрачно косясь в тетрадку, где си-дизы и бе-моли сидят, точно галки на телеграфных проводах, добросовестно учится на баяне.

— .. слюни не распускайте, — говорит он сейчас: — Действуйте, ребята, по-пролетарски. По-молотовски. На вас все Молотово смотрит, надеется. Правительство. Весь Эсесер. Вот на тебя, Караваев, и на тебя, и на тебя.

Бригада переглядывается, перемигивается украдкой: сейчас товарищ Ян скажет!

— За глотку берите. Бюрократов и чинодралов, матери их чорт, на чистую воду. За ушко да на солнышко. А если кто против вас заартачится...

Ян негромко, но с весом опускает кулак на стол, свирепо выкатывает нижнюю челюсть — челюсть надвигается на слушателей, как танк.

— .. мы его прогрем с нашатырем Со скипидаром. С мелким песочком

Дверь закрывается за бригадой, и Ян говорит своему секретарю, брюнетке с печальными ветхозаветными глазами, имеющей странную фамилию — Рыжая:

— А славные ребята Этот Караваев в ремонтно-монтажном буксирную бригаду организовал. Ну, что у тебя?



Сутки. Пятидневки. Месяцы

С нарастающим, испуленным жаром горит работа. Часто люди не выходят из цехов. Тут же ночуют.

Парторги ежедневно собирают рабочих, толкуют, как лучше работать, как выполнить в срок. Размахнувшиеся на стенах полотнища, совещания, доклады, лекции, стенгазеты — все кричит об одном.

— Драга!

Чуть не в каждом номере «Молотовского рабочего» напоминания, цифры, призывы. Изо дня в день газета подстегивает отстающих, воодушевляет, твердит:

— Драга! Помните о драге!

Уже идет молва о краснознаменной бригаде Шистерева. Как почетный приз, выставляет бригада свои показатели: в январе почти 116 процентов, в феврале (хоть и вышло четыре человека) почти 113 процентов.

Уже основной ведущий цех — ЦМК — перекрывает план. Январь — 100,3 про-

цента. Февраль — 103,3 процента. И ни тонны брака.

Подступает решающий март. Месяц последних боев. Предельного накала.

К первому апреля драга должна быть готова.

В марте возвращаются раз'ехавшиеся по уральским, по украинским заводам бригады-толкачи. Они возвращаются с триумфом, с обильными рассказами и с теми деталями, без которых работе угрожал паралич.

Если б не караваевская бригада, мирно ржавея, шестерни пролежали бы на Воткинском заводе еще год. Найдя их, ребята подняли шум. Нажали по партийной линии, по профсоюзной. Нагрянули в районную газету. Только тогда воткинцы вспомнили о заказе. Шестерни были нарезаны к седьмому марта.

Прибыл с юга листовой материал. Он уж, правда, давно был прокатан, но только молотовские бригады сумели в два-три дня раздобыть вагоны, погрузить и отправить.

Партия за партию стали поступать с Украины швеллера.

.. Драга.

Она реализуется на глазах. С тревожным и недоверчивым восторгом отмечает инженер Покрышкин могучее это созрвание.

Дни его проходят на площадке, он вязнет в снегах, осунувшийся, синий от стужи, успевающий быть всюду. Ломят, промерзая, пальцы ног, но это замечать некогда. Он руководит работами.

Каждая очередная пятидневка сопровождается видоизменением облика драги. Нет, это уже не скелет ящера. Теперь это выброшенный библейскими пучинами на прикамский берег ковчег. Он грубо-огромен, монументален, весь из плоскостей, соединенных под прямым углом. На железной палубе расхаживают, копошатся крошечные человечки, за ними, не отставая, переползают упругие резиновые рукава. Сотрясаемый звуком клепки, день и ночь шевелится стеклянный воздух.

Ночью вступают в соревнование со звездами прожектора и большие электролампы. Сугробы облиты сиреневым

блеском. На них ломаются, мелькают длинные угольные тени людей, конструкций, балок...

Потом на палубе понтона возникают рубки, помещения для людей и механизмов. Задранный в небо, встает железный хобот копра, словно насекомыми, облепленный ползающими по нему человечками.

Уж нет ковчега. В синем вечере, в синих снегах вырос и окаменел разъяренный мамонт.

Утверждается головная рама, грузной гирляндой повисают на ней черпаки.

И вот наконец долгожданный, казавшийся недостижимым день. День, отрадный, как продолжительный, облегченный вздох.

Приезжают директор и люди из водоуправления. Палубы неясно отвечают на их шаги, железные ступени лесенок приглашают в потайные глубины трюма, в настороженной готовности светится сталь новорожденных механизмов, машин, моторов, что приведут в движение всю громаду. Гости почтительно щупают стенки черпаков, стучат согнутым пальцем. Объем каждого черпака — тринадцать с половиной футов, они из прочнейшей, вязкой марганцевистой стали. Единственная во всей драге деталь не нашего, а чужеземного происхождения. Но скоро уж и эти черпаки будут завоеваны. Несколько лет под ряд, охваченные палящим дыханием печей, сталевары, химики и металлурги заводских лабораторий с напористым прилежанием стараются разгадать тайну рождения лучшей марганцевистой стали, найти такой сплав, прочность которого не уступала бы американскому. Были неудачи, но это только еще более разожгло исследовательский пыл. А последние опыты вполне успешны.

Со скромной горделивостью счастливого хозяина водит приехавших инженер Покрышкин, показывает, объясняет.

Толпятся рабочие. Вдоль багровых, крепких, обмороженных скул повисли

наушники меховых шапок. Товарищи по трудовым, штурмовым, по завершающим дням.

И, глядя на их лица, инженер читает одно общее, связывающее его с ними, незабываемое, радостное чувство — сознание победы, сознание, что в этой огромной, ныне существующей машине навеки осталась какая-то частица труда, мозга, жизни каждого из них.

— В срок, — говорит директор, весело сияя узенькой своей фарфоровой полуской. — Прекрасно.

И добавляет:

— Драга № 9 пойдет гораздо легче. Опыт есть.

Телеграмма.

Москва, ЦК ВКП(б) — Сталину, предсовнаркома — Молотову.

Свердловск, Уралобком ВКП(б) — Кабакову.

Правительственное задание по изготовлению мощной драги глубокого черпания для Ленских приисков Машиностроительным заводом имени т. Молотова (на Урале) на основе энтузиазма лучших рабочих ударников и ИТР, мобилизации общественности и печати на выполнение решений январского пленума ЦК и ЦКК закончено в срок 1 апреля.

Трудности изготовления такой драги, впервые изготовляющейся в СССР, преодолены. Обещаем партии и советскому правительству драться со всей большевистской непримиримостью за полное выполнение производственной программы 1933 года и за высокое качество продукции.

Просим содействия по подаче вагонов для отгрузки, иначе драга не будет доставлена на прииски зимним путем.

Директор завода Премудров.
Секретарь горкома ВКП(б) Ян.
Председатель завкома Патокин.

Литература и искусство

1. П. Рожков — О социалистическом реализме. 2. А. Старчаков — О «Венере Милосской». 3. К. Локс — Письма Флобера. 4. Л. Некора — Литература современного Египта. 5. Е. Вихрев — Пушкин и Горький в искусстве Палеа. 6. А. Эфрос — Об Аристархе Лентулове

1. О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ ¹⁾

П. Рожков

1

Вопрос о социалистическом реализме не является частной проблемой литературной теории. По существу своему это — вопрос о направлении и характере нашей критики, а, следовательно, и о путях развития нашей литературы. Но если названный вопрос имеет такое серьезное значение, то к его постановке и разрешению также необходимо подходить серьезно. Вопрос о социалистическом реализме нельзя правильно поставить и разрешить, если игнорировать своеобразие того этапа, который переживает советская литература. Именно это обстоятельство как-раз и обходится в целом ряде статей, написанных на тему о социалистическом реализме.

На основе всемирно-исторических успехов социализма в нашей стране, на основе победы генеральной линии партии мы имеем огромный рост советской литературы. Однако нельзя забывать того, что качественный рост советской литературы является еще совершенно неудовлетворительным с точки зрения глубокого содержания нашей эпохи, с точки зрения наших задач и перспектив. Как правильно замечает передовая одного критического

журнала, «советская литература еще не стала такой, какой она может и должна стать. Наше великое героическое время, захватывающая острота борьбы и пафос никогда невиданной перестройки общественных отношений не нашли еще в ней вполне адекватного отображения».

Но если советская литература еще не стала такой, какой она может и должна стать», то вина за это в огромной мере падает на нашу критику. Ни для кого не секрет, что наша критика явно отстает от тех задач, которые выдвигаются перед ней развитием литературы. А можно ли сказать, что отставание критики является случайным? Нет, этого сказать нельзя. В основе отставания критики лежат определенные причины субъективного характера. В течение целого ряда лет существо нашей критики в основном определялось рапповскими теориями. Они не выдержали испытания практики. Но эти самые теории пустили глубокие корни и еще по-настоящему не разоблачены. Ошибочные рапповские теории и до сего времени продолжают лежать в основе многих конкретно-критических статей. Задача литераторов состоит в том, чтобы по-серьезному, пересмотрев и переоценив старое рапповское «наследство», конкретно разработать и утвердить в литературе марксистско-ленинские принципы критики. В этом сейчас основная и главная задача товарищей литераторов.

¹⁾ В настоящей статье речь идет лишь о существе или содержании понятия социалистического реализма.

И вот вместо того, чтобы взяться за разрешение этой высоко почетной задачи, некоторые литераторы становятся на путь «тактики процесса», или на путь «здоровой эмпирии», то-есть стремятся приспособиться к самотеку, пытаются развести критику до уровня стихийного развития литературы.

Линия на «здоровую эмпирию», или ставка на самотек, выражается прежде всего в объективистских и по существу беспартийных разговорах о групповщине. Некоторые литераторы много шумят о вреде групповщины, о необходимости «ликвидировать групповую борьбу между товарищами коммунистами», о том, что нельзя «поедом есть друг друга», что надо «порвать со старым» и взяться за «новое». Но, чтобы не на словах, а на деле порвать со старым и ликвидировать групповщину, необходимо выдвигать ясные и четкие марксистско-ленинские принципы, теоретически правильную линию, на основе которой только и возможно прочное единство и сплочение товарищей коммунистов, единство и сплочение вокруг коммунистов всех беспартийных советских писателей. Без этого условия всякие разговоры о необходимости ликвидации групповщины и об единстве останутся в лучшем случае благими пожеланиями, ибо «дело не в формальном единстве, а в том, чтобы единство имело принципиальную основу» (Сталин, «Об оппозиции»).

Ставка на самотек у некоторых литераторов, толкующих об безыдейном разрыве со старым, выражается главным образом в хвостистской постановке вопроса о задачах критики. Очень много говорят о том, что у нас мало конкретной критики, что необходимо писать побольше конкретно-критических статей, побольше давать разборов художественных произведений. Что конкретной критики у нас мало и что она нам нужна,— это бесспорно. Но конкретность критики заключается совсем не в том, что тот или иной критик, вообще говоря, разбирает то или иное конкретное произведение. Подлинная конкретность критики заключается в том, чтобы то или иное произведение, взятое как со стороны своего содержания, так и со

стороны своей формы, было детально разобрано и правильно оценено с конкретно-исторической точки зрения. А такой конкретности как-раз и не хватает нашей критике. Такая конкретность предполагает высокий теоретический уровень критики. Для того, чтобы наша критика стала конкретной в большевистском смысле этого слова, для этого ее необходимо как следует вооружить методом Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Шуметь о конкретной критике, умалчивая о методологических основаниях конкретной критики—это значит не двигать литературу вперед, а тащить ее назад. Не может быть и речи о подлинно конкретной критике, если «конкретно» критикующие литераторы будут исходить в своих оценках из разного рода эклектических и антимарксистских концепций или если они будут критиковать писателя на-авось, от случая к случаю, по методу кустарничества. Так стоит вопрос. В этом — суть дела. Между тем некоторые литераторы, явно игнорируя эту суть дела, пытаются отрицать вообще самую необходимость основных или общих принципов в критике. Среди этих отрицателей общих принципов мы имеем прежде всего молодых «здоровых эмпириков», заговоривших «во весь голос» после ликвидации РАПП. Напуганные бывшим раповским злоупотреблением теорией, в особенности злоупотреблением лозунгом диалектического материализма, эти молодые «здоровые эмпирики» бросаются в другую крайность, то-есть шарахаются вообще в сторону от строго последовательной теории, в сторону от всяких общих принципов. Против единообразной системы, то-есть против единого художественного метода! — так восклицает молодой «здоровый эмпирик» И. Разин в статье «Социалистический реализм» (5-я кн. «Октября» 1933 г.). Не отстают от И. Разина в проповеди «здоровой эмпирии» и некоторые наши критические журналы, претендующие на руководящую роль в критике. Так, в передовой одного из них мы читаем: «Критик не должен исходить из наперед составленной схемы и навязывать

писателю различного рода задачи» («Литературный критик»).

Молодые «здоровые эмпирики» запутывают суть дела и сползают на точку зрения стихийности. Они забывают, что борьба за социалистический реализм не есть борьба за множество разнообразных, эклектически соединенных систем или методов, а есть борьба именно за строго последовательную «единообразную систему», за единый марксистско-ленинский метод. «Здоровые эмпирики» забывают, что борьбу против схоластической схемы нельзя отождествлять с борьбой против единого художественного метода или «единообразной системы». «Эмпирики» упускают из виду, что «навязывание» различного рода задач не обязательно предполагает вредную схему. Ведь «навязывать» различного рода задачи можно и должно, исходя из наперед «составленных», то-есть конкретно разработанных марксистско-ленинских принципов. В том же «Литературном критике», в статье т. Кирпотина, говорится: «Никто не должен навязывать писателю рецепты связи с социалистическим строительством, пути и способы его изучения. Но марксистско-ленинская критика в праве решительно и резко заявить, что писатель — социалистически реалист — не может отсиживаться от жизни в стенах своего кабинета. » Приведенное положение содержит в себе явное противоречие и объективно выражает точку зрения стихийности. Если марксистско-ленинская критика «в праве решительно и резко заявить» писателю о том, что он не может и не должен «отсиживаться от жизни», то тем самым признается, что она, критика, берет на себя право «навязывать» писателю «пути и способы» изучения действительности. Отказ же от «навязывания» «путей» и «способов» есть ставка на хвостизм.

Основной порок рассуждений молодых «здоровых эмпириков» заключается в плохом знакомстве с основами марксистско-ленинизма. А это обстоятельство жестоко мстит за себя. Получается горькая «ирония судьбы». Воюя на словах за конкретность, «здоровые эмпирики»

на деле впадают в самую худшую абстрактность: они усиленно призывают повернуться лицом к «жизненной правде», к практике и тому подобное, но при этом впадают в однобокость. Они твердо усвоили одно: «теория становится беспредметной, если она не связывается с революционной практикой». Но ведь это — только первая половина истины. Вторая же половина истины гласит: «практика становится слепой, если она не освещает себе дороги революционной теорией» (Сталин). Во-вторых, и это главное: «здоровые эмпирики» забывают основное положение марксизма: истина конкретна. В нашем литературном движении практики накопилось очень много. Но эта «практика» еще не осмыслена, не освещена как следует светом революционной теории. А в этом главное.

Разглагольствуя о «жизненной правде» и ниспровергая общие принципы, молодые «здоровые эмпирики» не замечают того, что они, по существу, танцуют под дудку старых «здоровых эмпириков», то-есть тех товарищей из бывших рапповских теоретиков, которые, насочинив в РАПП целые «столбовые дороги» и целые «Магнострой» всевозможных теорий, методов и лозунгов, теперь вдруг сразу обо всем «забыли» и пытаются предстать голыми людьми на голой земле. Вместо смелой и откровенной самокритики по существу, то-есть вместо беспощадной переоценки тяжелого груза старых антимарксистских теорий и вместо разработки новых вопросов развития литературы, эти «голые люди» кивают на какую-то абстрактную «литературщину» и громко кричат о повороте к «реальной жизни». Так например бывший рапповский теоретик Ермилов вместо критической переоценки целого ряда сочиненных им антимарксистских теорий глубокомысленно размышляет: «Коренной недостаток постановки вопроса о стиле нашего искусства состоит в том, что стиль социалистического реализма не рассматривается как стиль нашей жизни, как выражение в области искусства стиля советской социалистической действительности» (Литературная газета от 11 июля 1933 г.).

Как же т. Ермилов понимает «стиль нашей жизни»? Он понимает его в духе стихийности, доводя до предельной ясности и логического конца взгляды молодых «здоровых эмпириков». Ермилов откровенно ругает за самотек. По его мнению, любой художник и любой театр может «рассчитывать на то, что его будут критиковать, исходя из неповторимых особенностей его стиля, что к нему не будут предъявлять требований, не совместимых с его эстетикой» (ст. «Театр и правда»). Перед нами не что иное, как прямой отказ от гегемонии марксизма-ленинизма в критике, ибо под стилем в искусстве принято понимать мировоззрение, выраженное в образах, а под эстетикой — философией искусства. Требование Ермилова (критиковать художника, исходя «из неповторимых особенностей его стиля» и его собственной эстетики) есть не что иное, как открытый призыв к разрушению нашей критики, призыв к капитуляции перед стихией.

Мы видим, что взгляды молодых «здоровых эмпириков», восстающих против «единообразной системы», против «единого художественного метода», против «навязывания» писателю различного рода задач и так далее, тесно смыкаются с позицией старых «здоровых эмпириков». Случайно ли это обстоятельство? Нет, не случайно. Старые «здоровые эмпирики», то-есть некоторые бывшие рапповские теоретики (в свое время громче всех кричавшие об «уровне» и «качестве» мировоззрения), сейчас всячески подхватывают разговоры молодых «здоровых эмпириков» о ненужности общих принципов и о преимуществе «жизненной правды». Почему? Потому, что в данных конкретных условиях восстание молодых «здоровых эмпириков» против единой и стройной теории и их некритическая болтовня о «жизненной правде» как-раз наруку тем из бывших рапповских теоретиков, которые не хотят самокритики, которые приемлют решение ЦК партии о перестройке литературных организаций только формально, а по существу остаются на старых теоретических пози-

циях своей группы, пытаюсь отсидеться, отмолчаться и отписаться при помощи разговорчиков о «стиле нашей жизни» о «литературщине», об организационных ошибках и т. д., и т. п. Именно об этом свидетельствуют последние рассуждения бывшего теоретического главы РАПП т. Авербаха:

«В резолюции ЦК партии о ликвидации РАПП, — пишет т. Авербах, — говорилось о том, что рамки существовавших литературных организаций создавали в числе прочего опасность превращения их в средство «отрыва от политических задач современности». От бывших рапповских работников, желающих бороться за линию партии, требуется понимание прежде всего этого обстоятельства. Мало говорить только о групповщине, только о грубых извращениях в отношении к попутнической интеллигенции, только о тех или иных теоретических ошибках (разрядка наша), только об администрировании, — это все справедливо и необходимо. Но тот, кто обходит пункт об опасности отрыва от политических задач современности, тот вряд ли начал всерьез перестраиваться в соответствии с указаниями партии». (Альманах, «Год шестнадцатый», кн. 1-я, стр. 354. Разрядка наша.)

Смысл приведенного положения заключается в том, что отрыв от политических задач современности т. Авербах пытается по существу отделить от всей системы рапповских ошибок. Отрыв от политических задач современности возводится т. Авербахом в какую-то изолированную, почти мистическую сущность. Извращения и теоретические ошибки были, но не в этом, по мнению т. Авербаха, главное. Главное — «пункт об опасности отрыва от политических задач современности». И именно «понимание прежде всего этого обстоятельства» требует т. Авербах «от бывших раппов-

ских работников». Но отрыв от политических задач современности не есть нечто обособленное, неизвестно откуда взявшееся «обстоятельство». Этот отрыв не есть также явление, возникшее исключительно по вине «рамок существовавших литературных организаций». Отрыв от политических задач современности как-раз и нашел свое рельефное выражение в теоретических ошибках и извращениях, выраставших на почве этих теоретических ошибок. Вот это «обстоятельство» т. Авербах и пытается всячески запутать и затемнить. А затемняя и замазывая это обстоятельство, т. Авербах уходит от самокритики и потому ни в коей мере не помогает бывшим рапповским работникам «всерьез перестраиваться в соответствии с указаниями партии».

Итак, о чем говорят все названные выше факты? О том, что дальнейшее развитие советской литературы, как никогда, упирается сейчас в теорию. Именно в этом и заключается своеобразие положения в советской литературе. Надо не на словах, а на деле «порвать со старым», то-есть ликвидировать групповщину. Необходимо повести беспощадную борьбу с идеологией хвостизма, ибо «идеология «хвостизма»—логическая основа всякого оппортунизма» (Сталин). Без солидного теоретического обоснования невозможно подлинно конкретная и партийная критика, невозможно движение литературы вперед. Но солидное теоретическое обоснование критики предполагает в первую очередь серьезную переоценку тех рапповских теорий, которые до сего времени лежали в основе нашей критики и приводили на практике к культивированию групповщины, к отрыву от политических задач современности. Это значит, что вопрос о социалистическом реализме, то-есть вопрос о методе критики и методе советской литературы, необходимо ставить на конкретную почву: нельзя правильно поставить и разрешить вопрос о социалистическом реализме, если замалчивать вопрос об объективном содержании рапповского «реализма».



В вопросе о реализме так же, как и в вопросе о романтизме, бывшие теоретики РАПП исходили из отождествления реализма вообще с материализмом, а романтизма вообще с идеализмом. В сборнике «С кем и почему мы боремся?» теоретики РАПП писали: «Мы различаем методы реализма и романтики как методы более или менее последовательных материализма и идеализма в художественном творчестве».

Такая постановка вопроса является в корне ошибочной, а теоретический корень этой ошибочности заключается в точке зрения «плода вообще». Эта точка зрения защищается некоторыми литераторами и по сей день. Так например тт. Плиско и Левин, отстаивая рапповское понимание реализма, не признают, «что плод вообще есть нечто метафизическое. Плод вообще,—заявляют они,— есть вполне конкретное понятие» («Лит. газета», № 38 за 1932 г.). Теоретики РАПП и их последователи исходят из правильной мысли о том, что понятие «реализма вообще» существует. Но это не «вполне конкретное», а только самое общее понятие, которым нельзя злоупотреблять. Нельзя уразуметь конкретно существующие в литературе виды реализма, оперируя общим понятием реализма, как «плодом вообще». Точка зрения плода вообще в корне враждебна марксизму. Именно за эту самую точку зрения Маркс критиковал между прочим Евгения Сю, который в своем романе «Тайны Парижа» одичание среди капиталистической цивилизации и бесправие в капиталистическом государстве стремился представить как «плод вообще», как антиисторическое явление, как категорию «тайны». Объявляя такую точку зрения спекулятивной конструкцией, Маркс писал: «Минеролог, наука которого ограничивалась бы установлением истины, что все минералы в действительности суть «минералы вообще», был бы минерологом лишь в собственном воображении. При виде каждого минерала спекулятивный минеролог говорил бы: «Это — минерал». Его наука ограничивалась бы

тем, что он повторял бы столько раз это слово, сколько существует «действительных минералов» («Маркс и Энгельс об искусстве», стр. 64)

Известно далее, что теоретической основой оппортунистических извращений марксизма в вопросе о демократии и диктатуре является точка зрения «плода вообще». Именно с этой точкой зрения Ленин и вел непримиримую борьбу. Имея в виду довод оппортунистов из II Интернационала (особенно Каутского) против диктатуры пролетариата, Ленин в тезисах, читанных на I конгрессе Коминтерна, писал: «Этот довод оперирует с понятиями «демократия вообще» и «диктатура вообще», не ставя вопроса о том, о каком классе идет речь. Такая внеклассовая или надклассовая, якобы общенародная, постановка вопроса есть прямое издевательство над основным учением социализма, именно учением о классовой борьбе» (т. XXIV, 3-е изд., стр. 7). Эту же ленинскую постановку вопроса развивает т. Сталин (см. «Вопросы ленинизма», 2-е изд., стр. 39).

Мы видим, что точка зрения «плода вообще» находится в коренном противоречии с марксизмом. Однако недостаточно еще сопоставить исходную методологическую точку зрения бывших рапповских теоретиков и их последователей с основами марксизма. Необходимо еще выяснить сущность рапповского реализма. «Курс на реализм» — такова одна из главнейших творческих задач, стоящих перед пролетарской литературой» Так писал т. Авербах в сборнике «Творческие пути» (см. сб. I, стр. 7). Но рапповцы не только провозглашали «курс на реализм». Они конкретизировали этот курс. В книге «О задачах пролетарской литературы» т. Авербах писал: «Сказать «курс на реализм» — это значит сказать очень мало; это — алгебраическая формула, которую нужно наполнить арифметическим содержанием» (стр. 97).

Каково же то «арифметическое содержание», которое теоретики РАПП вкладывали в понятие реализма в теории и на практике? Основное и главное

в рапповском реализме — это «психологический анализ», или теория «живого человека». Чтобы правильно уяснить и оценить сущность этой теории, необходимо подойти к ней немножко исторически. Провозглашая курс на «психологический реализм», рапповские теоретики заявляли себя противниками метода поверхностного, чисто внешнего отражения жизни. Они стояли за то, чтобы литература не просто копировала и фотографировала действительность (как того требовали левы); чтобы она изображала не внешнее, а внутреннее противоречие действительности. Такая постановка вопроса сама по себе является совершенно правильной. Но, выдвигая на словах правильный принцип показа в искусстве внутреннего противоречия действительности (а не внешней схемы), рапповские теоретики на деле скатились на путь грубейшего извращения названного правильного принципа: они внутреннее противоречие конкретно-исторической действительности (то-есть сложное целое данной эпохи) подменили внутренним противоречием отдельной «живой личности» или «живого человека». Известно, что марксизм обязывает сводить элементы индивидуальности к социальным источникам. Теория классовой борьбы, говорит Ленин, «потому и составляет громадное приобретение общественной науки, что устанавливает приемы этого сведения индивидуального к социальному с полнейшей точностью и определенностью» (т. I, 3-е изд., стр. 296). Рапповские же теоретики исходили как раз из диаметрально противоположного принципа, а именно из того, что «анализ психологии индивидуальной является лучшим путем литературы к пониманию психологии социальной» (Авербах, «О задачах пролетарской литературы», стр. 129). С этой точки зрения реалистом объявлялся такой писатель, который умел как можно глубже уходить в «действенный самоанализ». Исследуя в свое время метод Толстого, Чернышевский писал о том, что Толстого интересует «всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души». Вот эту

«диалектику души» рапповские теории и объявили основным методом литературы: «Именно Толстой, — писал Авербах, — больше, чем кто-либо другой, улавливает переход одного психологического состояния в другое и т. д., это для нас важнейшая черта». («О задачах пролет. литературы», стр. 116. Разрядка наша)

К чему же конкретно сводилась «диалектика души»? Она сводилась к тихому брожению противоречивых начал в душе каждого субъекта, к эклектичному равновесию добра и зла «В каждом добром надо найти элементы злого, в каждом злом — элементы доброго». Так формулировал т. Авербах принцип «живого человека». Исходя из того, что каждый человек внутренне противоречив (в каждом добром — элементы злого, в каждом злом — элементы доброго), рапповцы логически пришли к отрицанию цельного человека. «Мы берем, — писал Либединский, — каждый тип не как цельную личность, ибо по существу цельной личности нет, и человек, который настаивает на стопроцентной личности, конечно ничего не понимает» («Генеральные задачи пролетарской литературы», стр. 10. Разрядка моя). Этот же тезис рапповцы защищали и в своей театральной платформе. «Ошибочно и наивно предполагать, — говорится в этой платформе, — что мы уже имеем некие образцы социалистического человека, которые можно показать как универсальный рецепт» («Советский театр», № 10—11 за 1931 г.). Но раз основной метод литературы — «диалектика души», раз каждый человек раздвоен и противоречив, раз цельной личности нет, раз нет образцов социалистического человека, то что отсюда следует? Отсюда следует, что основным героем советской литературы является не положительная, а отрицательная личность; основные герои советской литературы не цельные люди, не люди чести, доблести и геройства, а люди противоречивые и раздвоенные, люди колеблющиеся и сомневающиеся. Литература должна обнажать внутренние противоречия «живых

людей», изображать их муки, сомнения и колебания. В этом как-раз и заключается подлинный смысл знаменитого рапповского «разоблачения действительности» или «срывания всех и всяческих масок с объективной действительности». И эта задача литературы, или ставка на стихийную «живую личность», во-первых, не только пропагандировалась в теории, но, что гораздо важнее, реализовалась и реализуется на практике в художественных произведениях (например в произведениях Бахметьева, Либединского, Чумандрина, Фадеева, Киришона, Исбаха, Горбатова и целого ряда других писателей). Во-вторых, охарактеризованная выше задача литературы находится в полном соответствии с рапповской теорией культурной революции, то-есть с отрицанием социалистического характера пролетарской культуры. Исходя из антиленинских взглядов на характер переходного периода, то-есть исходя из того, что «годы диктатуры пролетариата», «переходный период характеризуется тем, что еще стоит вопрос «кто — кого», что еще продолжается борьба за путь развития»¹⁾, Авербах приходил к отрицанию социалистической культуры и социалистического искусства в переходный период. «По Слепкову, — говорит Авербах, — искусство, которое у нас сейчас создается, — социалистическое, культура переходного времени — социалистическая. Если бы дело так обстояло, то и споров бы не было между нами и Троцки м» («Наши литературные разногласия», стр. 129. Разрядка моя.—П. Р.). Мы видим, что теория «живого человека», или отрицание цельной социалистической личности, не есть случайность. Это отрицание тесно связано с антиленинскими взглядами бывших рапповцев на культуру и искусство переходного периода.

Исходя из теории «живого человека», рапповцы естественно и логически приходили далее к неправильному выбору литературного наследия: подходя к ли-

¹⁾ См «Спорные вопросы культурной революции», стр 40—42

тературному наследству не с точки зрения конкретно-исторической близости данного писателя к пролетариату, а с антиисторической точки зрения «психологического реализма», рапповцы ошибочно объявили нашим ближайшим литературным наследством Толстого, Флора и Золя. Но об этом в другой статье.

Теория «живого человека» по существу своему является выражением идейной капитуляции бывших рапповцев перед мелкобуржуазной философией искусства. «Диалектика души» всегда была основным методом писателей из мелкобуржуазной интеллигенции. Основной темой известной части «попутнической» литературы, особенно в рапповский период ее развития, была именно тема о «лишнем человеке». Основной герой этой литературы как раз и был «живой человек», или «Гамлет из Щигровского уезда», пересаженный на советскую почву. Теоретическое обоснование такого направления попутнической литературы было дано теоретиками «Перевала» — Воронским и Лежневым (см. например книгу Воронского «Искусство видеть мир»). Именно теоретики «Перевала» фактически являются первыми авторами теории «живого человека» в советской литературе и духовными отцами рапповского «реализма». Поучительно то, что они этого обстоятельства не скрывали и сами. В предисловии к альманаху «Ровесники» (№ 7 за 1930 г.) теоретик «Перевала» Лежнев писал: «Многие серьезно полагают, что мысль о необходимости психологизма, что идея о «живом человеке», об основном герое нашей переходной к социализму эпохи... что все эти положения выдвинуты и провозглашены ВАПП. «Перевал», разумеется, не заявляет патента на свои идеи. и потому он ничего не имеет против того, чтобы его идеи повторялись другими». Сказано ясно.

Ошибочность теории «живого человека» заключается в том, что она изображает реальную борьбу классов, изображение обостренных конфликтов нашей эпохи подменяет изображением внутренних противоречий мелких «жи-

вых личностей», изображением «диалектики души». Именно за эту «диалектику души» Маркс критиковал Прудона. На место конкретной исторической деятельности людей, на место страшных войн между классами, на место этого великого и сложного движения, — говорит Маркс, — Прудон ставит свое собственное противоречие, «ставит причудливое движение своей головы». «Мелкий буржуа, — говорит Маркс, — обожествляет противоречие, потому что противоречие есть основа его существования». (Письмо к Анненкову от 28 декабря 1846 г.)

Убийственную критику теории «живого человека» дал Ленин в полемике против Михайловского. Народник, — говорит Ленин, — уверяет, что он — реалист. Правильно утверждая, что историю делают «живые личности», он, народник, советует иметь дело только с «помыслами и чувствами» этих личностей. Ленина же интересуют не «помыслы и чувства», как таковые, не «диалектика души», а общественное поведение, практическая деятельность «живых личностей». Ленина интересует вопрос о том, «как «живые личности» свою историю сделали и продолжают делать».

Совершенно неоспоримо то, что художественная литература всегда имеет дело с реальными помыслами и чувствами живых людей. Но —

«По каким признакам, — спрашивает Ленин, — судить нам о реальных помыслах и чувствах реальных личностей? Понятно, что такой признак может быть лишь один: действия этих личностей, а так как речь идет только об общественных помыслах и чувствах, то следует добавить еще: общественные действия личностей, то-есть социальные факты... Другими словами: социолог-материалист, делающий предметом своего изучения определенные общественные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей, из действий которых и слагаются эти отношения. Социолог-суб'ективист, начи-

ная свое рассуждение якобы с «живых личностей», на самом деле начинает с того, что вкладывает в эти личности такие «помыслы и чувства», которые он считает рациональными (потому что, изолируя своих «личностей» от конкретной общественной обстановки, он тем самым отнял у себя возможность изучить действительные их помыслы и чувства» (т. I, 3-е изд., стр. 292).

Итак, рапповская теория «живого человека» есть не что иное, как реставрация теории «живой личности» Прудона и Михайловского. Эта теория в методологическом смысле есть точка зрения субъективного идеализма, а в конкретно-историческом смысле — точка зрения мелкого буржуа. Бывшие рапповские теоретики стремились изобразить дело так, будто восстание против теории «живого человека» есть восстание против психологии вообще, есть ликвидация искусства. Но, изображая таким образом дело, рапповские теоретики безусловно извращали истину. Отрицание теории «живого человека» не есть отрицание психологии. Подлинное искусство немислимо без показа типичных характеров, развитых с наибольшей определенностью. А изобразить типичные характеры с наибольшей определенностью — это значит показать не схемы, не манекены, а людей с глубокой содержательной психологией. Без показа общественной психологии нет и не может быть подлинно художественной литературы. Весь вопрос в том, как показывать общественную психологию. Общественную психологию нельзя правильно понять и изобразить в искусстве, если анализировать «диалектику души» «живых личностей», оставляя в стороне поведение, общественную деятельность, политическую практику этих «живых личностей». «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе... как внешне. То-есть можно понять психологию того или иного участника борьбы, но не смысл борьбы, не значение ее партийное и политическое». (Ленин, «Письмо к Горькому».) Именно из этого ленинского принципа всегда исходила и исходит наша партия. Так, про-

веря коммунистов на чистке, партия выдвигает критерием идеологической и практической ценности члена партии не то, что он сам о себе думает, не изолированные «помыслы и чувства» не «диалектику» его «души», а политическое поведение, конкретную практическую деятельность.

Опасность теории «живого человека» состоит в том, что она выражает и формулирует точку зрения стихийности или самотека в советской литературе. Почему это так? Потому что эта теория требует изображения не основного и главного в реальной действительности, не типичных характеров в типичных обстоятельствах, а изображения человека в о б щ е. С точки зрения названной теории в с я к и й человек представляет равновеликую ценность для художника. Человек берется в фейербаховском смысле, то-есть как «плод вообще». «Нужно брать человека таким, каков он есть» (Либединский, «Генеральные задачи», стр. 10). Внутренне противоречивые люди в действительности существуют, и их пока, к сожалению, больше, нежели людей внутренне цельных. Но не всякая противоречивая личность должна быть предметом литературы. Требовать изображения всех и всяких внутренне противоречивых «живых личностей» на том основании, что эти личности действительно существуют, — значит утверждать идеологию хвостизма в литературе. А что из этого следует? Из этого следует, что теория «живого человека» есть теория самотека и стихийности. Теория «живого человека» есть теория н а и в н о г о реализма, а не реализма социалистического, она есть теория п р а в д о п о д о б и я, а не правды.

Мы видим, что философия «плода вообще» зло посмеялась над рапповскими теоретиками: отправляясь в теории от того, что реализм в о о б щ е (то-есть в с я к и й реализм) есть более или менее последовательный материализм, рапповские теоретики на практике пришли к о п р е д е л е н н о м у реализму, но к реализму самому скверному, субъективно идеалистическому, м е л к о б у р ж у а з н о м у.

II

В письме к английской писательнице Маргарет Гаркенс Энгельс дает следующее определение реализма:

«На мой взгляд реализм подразумевает, кроме правдивости деталей, верность передачи типичных характеров в типичных обстоятельствах» (см. «Лит. наследство», кн. 2-я, стр. 1. Разрядка наша).

Что же такое типичные характеры в типичных обстоятельствах? Ответа на этот вопрос мы не имеем до сих пор, несмотря на то, что тема о социалистическом реализме уже насчитывает не менее дюжины статей и выступлений. Определение Энгельса, полное глубокого смысла, либо просто повторяется на все лады без всякой серьезной попытки разъяснить его смысл, либо недопустимо запутывается и извращается.

Приведем образчики и того, и другого. В статье «О социалистическом реализме» т. Кирпотин пишет: «Энгельс, определяя понятие «реализм», подчеркивал, что «реализм подразумевает, кроме правдивости деталей, верность передачи типичных характеров в типичных обстоятельствах». Приведа цитату, т. Кирпотин далее от себя добавляет: «В искусстве важны типичные характеры, типичные обстоятельства. В классовом обществе — классово-типичные характеры и обстоятельства» («Литературный критик», № 1, стр. 42) И все. Далее идут общие рассуждения об «основном классовом революционном конфликте эпохи», о «существенном содержании действительности» и т. п. Мы видим, что т. Кирпотин не идет дальше тавтологии. Другой «социалистический реалист», уже упоминавшийся выше, молодой «здоровый эмпирик» т. И. Разин, разъясняет: «Социалистическая правда — не сумма фактов, а обобщение фактов, отбор среди них типичного и характерного. Именно этого требовал Энгельс в своих неоднократных литературных высказываниях». И так далее, в том же духе (см. «Октябрь», кн. 5-я, 1933 г.). Перед нами — опять плоская тавтология.

На ряду с этой бессодержательной тавтологией мы имеем попытки некоторых литераторов причесать Энгельса под свой собственный кустарный «реализм». В своем выступлении на втором пленуме Оргкомитета т. Киршон говорил: «Нам нужны типичные характеры в типичных положениях», по замечательному выражению Энгельса Вот почему проблема характеров не является, как это кажется некоторым товарищам... чем-то давно разрешенным и устарелым, а представляет собой в сегодняшних условиях, на новом этапе нашего развития, важнейшую и актуальнейшую для нас проблему, ничуть не отрывную от задач углубления в правду действительности, в гущу жизни с ее «положениями» и «ситуациями» Итак, восклицает далее т. Киршон: «За создание полнокровных, полновесных образов», за «создание характеров» (см. «Лит. газету» от 11 апреля 1933 г. Разрядка наша). Смысл рассуждения т. Киршона заключается в том, что он реализм, охарактеризованный Энгельсом, старается причесать под старый рапповский реализм: на место качественно определенных или конкретно-исторических характеров (то-есть на место типичных характеров в типичных обстоятельствах) т. Киршон подсовывает характеры в ообще. Вообще, видите ли, очень важна «проблема характеров», очень важно «углубление в правду действительности», в «гущу жизни», вообще нужны «полнокровные образцы» и т. д., и т. п. Но, как показано выше, проблема характеров для т. Киршона, как и для всех теоретиков РАПП, это проблема «жизнеличности». Именно проблема «живой личности» была для РАПП проблемой «углубления в правду действительности», в «гущу жизни»... Таким образом, объективный смысл рассуждения т. Киршона о типичных характерах заключается в том, что он «полнокровный образ» «живой личности» («с ее положениями и ситуациями») пытается реставрировать и утвердить «в сегодняшних условиях на новом этапе нашего развития».

Особенно ярким примером извращения Энгельса являются рассуждения т. Астахова. Т. Астахов ставит своей задачей прежде всего уяснить значение «типичных обстоятельств». На вопрос, что такое типичные обстоятельства, т. Астахов дает следующий ответ: «Человек, производя то или иное действие, естественно руководствуется собственным сознанием, поступает «по велению» своего сознания, но ему часто не приходит в голову (в сознание), что характер его действий и самые действия вызываются и обуславливаются реальными обстоятельствами... Правдиво показать действия, поступки типичного лица невозможно вне типичных обстоятельств, ибо, показывая следствия (поступки), в этом случае художник не показывает причин (обстоятельств). Именно обстоятельства являются причиной, побуждающей человека к действиям, действия есть следствие обстоятельств» (Доклад «О соцреализме и революционном романтизме». См. газ. «За Магнитострой литературы» от 25/XII 1932 г. — орган Оргкомитета союза сов. писателей и уралобкома ЛКСМ, г. Свердловск.)

Суть приведенных рассуждений т. Астахова в том, что он глубокий смысл положения Энгельса о типичных обстоятельствах сводит к тому основному тезису марксизма, что бытие определяет сознание или что в основе поступков («следствий») лежат причины («обстоятельства»). То, что бытие определяет сознание, что в основе поступков и действий лежат причины и обстоятельства, это — основная истина марксизма. Но отвечать в о о б щ е: «бытие определяет сознание», когда поставлен конкретный вопрос: «что такое т и п и ч н ы е обстоятельства», — это значит превращать названную основную истину марксизма в общее место

Так обстоит дело с типичными обстоятельствами. Посмотрим, что понимает т. Астахов под типичными характерами. «В действительности, — утверждает Астахов, — писатель обычно наблюдает множество живых людей, индивидуальностей, из которых, по его мнению, ни одно лицо не удовлетворяет

уже сложившемуся в его сознании представлению о типе. В то же самое время каждая из индивидуальных личностей обладает теми или иными чертами типичного характера. В результате чего получается живое, конкретное представление об «одной» личности, обладающей всеми необходимыми качествами типа. Воображение не механически складывает типичные стороны характера разных людей, а все наблюдаемое подвергает творческому, художественному осмыслению, здесь можно сказать, обобщению» (там же).

Итак, согласно утверждению т. Астахова, «писатель обычно наблюдает множество живых людей, индивидуальностей». Ни одна из этих индивидуальностей «не удовлетворяет уже сложившемуся в его сознании представлению о типе». Как сложилось у писателя «представление о типе» и что оно собой представляет, — об этом т. Астахов молчит. Но на нет и суда нет. Пойдем дальше. Хотя «ни одно лицо» не удовлетворяет «уже сложившемуся представлению о типе», но «в то же самое время каждая из индивидуальных личностей обладает теми или иными чертами типичного характера». Что же делает писатель, чтобы получить не те или иные черты, а полный типичный характер? Он «не механически складывает типичные стороны характера разных людей, а все наблюдаемое подвергает творческому, художественному осмыслению», то-есть «обобщению». «В результате чего получается живое, конкретное представление об «одной» личности, обладающей всеми необходимыми качествами типа...» Итак, типичный характер, согласно разъяснению т. Астахова, это — как бы некая эссенция или вытекающая из бесчисленного множества «индивидуальностей». «Обобщение» в данном случае трактуется как арифметическое действие, как нахождение среднего: ни одна из индивидуальностей типом не является. В то же время каждая индивидуальность «обладает теми или иными чертами типичного характера» Художник наблюдает, выжимает, синтезирует, — получается тип. Такое же грубо-вульгарное толкование типичных

характеров находим мы и у т. Авербаха. Согласно утверждению последнего, создавать типичный характер — это значит «создавать художественный тип как синтез возможно большего количества наблюдений и исследований» («Год шестнадцатый», стр. 353. Разрядка наша). То-есть опять речь идет о некоей «эссенции», о вытяжке из бесчисленного множества живых личностей. Все это есть не что иное, как попытка превратить сугубо партийную и глубокую по своему содержанию формулу Энгельса в пустышку, в механическую формулу стихийности.

В полном соответствии с т. Астаховым и Авербахом рассуждает и т. Г. Лебедев. Порок рассуждений Г. Лебедева состоит в том, что он подходит к вопросу не с точки зрения конкретно-исторической, а с точки зрения саморазвития абстрактной истины, с точки зрения притянутых за волоса философических категорий («индивидуальное» и «типического»). Для т. Г. Лебедева «типичность» есть вообще «обобщенная индивидуальность, не похожая ни на какую конкретную индивидуальность» («Лит. критик», № 1, стр. 66). Мы видим, как т. Астахов варьирует т. Киришона, а тт. Авербах и Г. Лебедев варьируют Астахова. То-есть, выражаясь словами Гейне, мы видим, как «один ум запускает руку в карман другого, и это обстоятельство устанавливает между ними известную связь». Ошибка т. Г. Лебедева в том, что он подходит к вопросу с точки зрения «плода вообще». Вообще существует «этот» (или «индивидуальное») и вообще существует «тип» (или «типическое»). Все это не имеет ничего общего с Энгельсом, если не считать заимствования слов: «этот» и «тип». Все это, как говорил в таких случаях Ленин, — мумия истины. С точки зрения саморазвития абстраций («индивидуальное» и «типическое») нельзя понять Энгельса, ибо определение Энгельса по существу является конкретно-историческим.

Мы видим, что положение Энгельса — реализм, это — типичные характеры в

типичных обстоятельствах — не только не раскрыто, но недопустимо запугивается и извращается. В чем ближайшая причина этого явления? В том, что товарищи литераторы игнорируют Маркса и Энгельса и не хотят по-серьезному вдуматься в суть дела. Ведь именно у Маркса и Энгельса по существу дан совершенно точный ответ на вопрос о том, что такое типичные характеры в типичных обстоятельствах. Обратимся для начала к вышеупомянутому письму к Маргарет Гаркенс. В этом письме Энгельс подвергает критике «тот факт, что рассказ недостаточно реалистичен». Почему же рассказ Гаркенс («Городская девушка») «недостаточно реалистичен»? На этот вопрос Энгельс отвечает самым точным образом. Он пишет: «Ваши характеры достаточно типичны в тех пределах, в каких они вами даны, но нельзя того же сказать об обстоятельствах, которые их окружают и заставляют их действовать». Почему же обстоятельства у Гаркенс даны нетипично? Вот почему:

«В «Городской девушке», — пишет Энгельс, — рабочий класс фигурирует как пассивная масса, не способная помочь себе, даже не делающая попыток помочь себе. Все попытки вырваться из притупляющей нищеты исходят извне, сверху».

Правильно ли было такое изображение рабочего класса у Гаркенс? Нет, неправильно.

«Если, — говорит Энгельс, — это было верное описание 1800—1810 гг., времени Сен-Симона и Роберта Оуэна, то это не так в 1887 году для человека, который около 50 лет имел честь участвовать в борьбе воинствующего пролетариата и все время руководствовался принципом, что освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса».

Итак, недостаточная реалистичность рассказа Гаркенс заключается в следующем: в рассказе Гаркенс характеры достаточно типичны в тех пределах, в каких они ею даны (то-есть характеры у Гаркенс — «живые люди»: они угнетаются, страдают, любят, радуются и г. д.), — эти характеры не высосаны из пальца, а взяты из реальной жизни.

Следовательно они правдоподобны. Но тут как-раз и начинается различие между правдоподобием и правдой, между наивным реализмом и реализмом в истинном смысле этого слова. Характеры в рассказе Гаркенс правдоподобны, но не истинны. Почему? Потому, что реальная историческая действительность, представляемая которой выступают герои рассказа, была гораздо шире и глубже тех пределов, в которых Гаркенс изображает своих героев. Характерной особенностью современной Гаркенс исторической действительности (80-е гг. прошлого века) являлось то, что пролетариат, как класс, уже не представлял собой такой пассивной массы, какой он был во времена Сен-Симона и Роберта Оуэна и какой он объективно выступает в рассказе Гаркенс. Пролетариат уже проделал целый ряд революций (1830, 1848, 1871 гг.). Он уже закалился в боях на баррикадах, он уже выковал свою собственную, самую передовую и революционную философию — марксизм. Он создал штаб мирового рабочего движения — I Интернационал. Он имел уже за плечами первый опыт диктатуры пролетариата (Парижская Коммуна). Словом, это был уже не пассивный, а воинствующий пролетариат, не класс в себе, а класс для себя. Именно эти обстоятельства были типичными для той реальной исторической действительности, которую изображала Гаркенс. А последняя (то-есть Гаркенс) как-раз и прошла мимо всех этих обстоятельств. Она показала пролетариат как «живых личностей» и только. Она изобразила действительность, как таковую (то-есть действительность вообще), но не конкретно-историческую действительность; не главное, не типичное, а второстепенное и случайное в действительности. Именно поэтому обстоятельства в рассказе не типичны. Но если обстоятельства даны не типично, то-есть, если историческая действительность осталась в стороне, то это значит, что и характеры типичны только в условном, только в узко-житейском смысле («в тех пределах, в каких они... даны»), а по существу, то-есть с точки зрения исторического содержания эпохи, выведен-

ные в рассказе Гаркенс характеры не типичны.

Чтобы еще более уяснить вопрос, перейдем к другому чрезвычайно важному примеру — к трагедии Лассалья «Францу фон-Зикингену». Известно, что по поводу названной трагедии между Лассалем, с одной стороны, и Марксом — Энгельсом, с другой, велась большая переписка. Маркс и Энгельс выступили с обстоятельной критикой названной выше трагедии. Основной порок трагедии Лассалья состоял в том, что в ней извращалась историческая действительность эпохи крестьянской войны в Германии. Какие основные классы были субъектами этой войны? Во-первых, консервативно-католический лагерь, то-есть «имперские власти, духовные и отчасти светские князья, богатое дворянство, прелаты и городской патрициат», во-вторых, оппозиция умеренной дворянско-лютеровской реформы, под знаменем которой «собираются все владельческие элементы оппозиции, масса низшего дворянства, бюргерство», и наконец, в-третьих, плебейско-мюнцеровский лагерь крестьянской революции.

Известно, что подлинно революционной и движущей силой в крестьянской войне в Германии выступал только плебейско-мюнцеровский блок. Представители же дворянско-лютеровской оппозиции играли роль соглашателей, изменников и предателей по отношению к плебейско-крестьянской революции. Таковы исторические факты. Как же поступил Лассаль по отношению к этим фактам в своей трагедии? Он военно-политического представителя дворянской оппозиции (то-есть героя из дворянско-лютеровского либерального лагеря) представил в качестве вождя крестьянской революции. Такая постановка вопроса находится в непримиримом противоречии с историей. Ошибка Лассалья заключалась не в том, что он личную судьбу Франца фон-Зикингена задумал представить в виде трагедии. «Я, — писал Энгельс Лассалю, — отнюдь не оспариваю ваше право рассматривать Зикингена и Гуттена как деятелей, поставивших себе целью освобождение крестьян. Но тогда тотчас же получается то траги-

ческое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно против этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически необходимым постулатом и практической невозможностью его осуществления».

Это значит вот что: раз Лассаль задумал представить Зикингена как человека, субъективно борющегося за цели крестьянской революции, то в таком случае подлинная трагическая коллизия должна была состоять в том, что Зикинген впадает в неразрешимое противоречие, а именно, с одной стороны, он объявляет войну князьям и переходит на сторону крестьянства, а с другой стороны, он остается по существу на позициях тех же князей: он не ставит вопроса о характере крестьянской революции, то-есть не думает о разрешении аграрного вопроса. Он не думает вести войну против самого дворянства как класса, эксплуатирующего крестьян. Напротив, он борется с князьями за дальнейшее сохранение мелкого дворянства или рыцарства. А что это значит? Это значит, что по-настоящему Зикинген должен был предстать в трагедии как человек, который обманывает себя своими собственными идейными этикетками. Только в этом и могла состоять единственная трагическая коллизия в задуманном характере Зикингена. Но эту единственную трагическую коллизию Лассаль, по выражению Энгельса, «опустил», то-есть оставил без внимания. Истинную трагедию Зикингена (то-есть трагедию Дон-Кихота немецкого рыцарства) Лассаль подменил другой трагедией, трагедией крестьянского революционера, борющегося за прогрессивно-исторические цели, но еще не находящего в объективной действительности достаточных предпосылок для осуществления этих великих целей. Согласно утверждению Лассалья в образе Зикингена мы имеем «торжество высшего реалистического благоразумия революционных вождей, когда они считаются с данными конечными средствами, скрывают от других (и тем самым даже от самих себя) подлинные и последние цели движения и посредством этого

умышленного обмана господствующих классов, более того, посредством их использования приобретают возможность организовать новые силы, чтобы затем с помощью этой умно завоеванной части действительности победить самое действительность».

Так излагал Лассаль «спекулятивную идею драмы» в специальной рукописи о трагической идее, приложенной к письму Марксу (см. «Литературное наследство», кн. 3-я, стр. 8). Эта «спекулятивная идея» является совершенно неверной. Объективно Зикинген трагически погиб не потому, что он был действительно историческим борцом за осуществление крестьянской революции в условиях незрелых для этого общественных отношений. Он погиб не потому, что действительно, сражаясь за цели крестьянской революции и желая перевести на эти же позиции все остальное дворянство, не успел или не сумел во имя этих целей умышленно «обмануть» и «использовать» свой собственный класс. «Зикинген (и вместе с ним Гуттен в большей или меньшей степени) погиб не из-за своего лукавства. Он погиб потому, что как рыцарь и представитель гибнущего класса восстал против существующего или, вернее, против новой формы существующего» (Маркс). Новая форма существующего заключалась в том, что император рыцарей превращался в императора князей (носителей единственно возможной в то время в Германии провинциальной централизации). И поскольку Зикинген боролся против неотвратимого хода исторического развития, то-есть поскольку он восстал против князей, проводивших централизацию Германии, — «постольку, — говорит Маркс, — он на самом деле просто Дон-Кихот, хотя и оправданный исторически... Зикинген и Гуттен должны были погибнуть потому, что они в своем воображении были революционерами» («Литературное наследство», кн. 3-я, стр. 16).

Таким образом, Зикинген, изображенный в трагедии Лассалья, не соответствует историческому Зикингену. Что это значит? Это значит, что характер Зикингена, представленный в трагедии

Лассалья, не является типичным характером в типичных обстоятельствах. Он не является типичным характером ни в отношении плебейско-крестьянской революции, ни в отношении дворянско-лютеровской оппозиции. Типичный характер, соответствующий плебейско-мюнцеровской оппозиции, мы имели бы в трагедии Лассалья лишь в том случае, если бы Лассаль в качестве действительных революционеров со всей художественной силой показал нам не идейных представителей дворянства, а «плохо скроенные, но крепкие и сильные фигуры крестьянской войны». Но в таком случае главным героем трагедии должен был стать не Дон-Кихот-Зикинген, а Мюнцер, который «в качестве представителя зачатков пролетариата—класса, стоявшего вне существовавшего тогда официального общественного союза, — дошел до предчувствия коммунизма» (Энгельс, «Крест. война в Германии»). Как мы видели, Лассаль оставил в стороне этот характер. Крепкие и сильные фигуры крестьянской войны он подменил искусственно революционизированной, ходульной фигурой рыцаря. Мюнцера Лассаль подменил Зикингеном, которого представил в качестве вождя крестьянской революции, осуществляющего свою задачу силами дворянства, искусственно («посредством умышленного обмана») втягиваемого в революцию. Эта «спекулятивная идея» лассалевской трагедии является насквозь оппортунистической. Она была не чем иным, как косвенным обоснованием оппортунистической точки зрения самого Лассалья на роль немецкой либеральной буржуазии в революции 1848 года. Совершенно не случайно то обстоятельство, что и Маркс, и Энгельс оба поспешили выступить с развернутой и последовательной партийной оценкой трагедии Лассалья. В данном случае, по существу, речь шла о «лево-блокистской» тактике Маркса и Энгельса в революции 1848 года, то-есть речь шла о том, надо ли было в 1848 году ставить ставку на либеральную буржуазию (к чему склонялся Лассаль), или же надо было ставить ставку на пролетарско-крестьянский блок. А все это имеет самое злободнев-

ное значение и с точки зрения русской революции. Ведь именно русские меньшевики как-раз упрекали большевиков в «лево-блокизме». И, обосновывая именно «лево-блокистскую тактику», то-есть «союз современного пролетариата с демократическим крестьянством» (в противовес право-блокистской тактике меньшевиков, тактике блока с либеральной буржуазией), Ленин опирался между прочим на ту позицию, которую Маркс и Энгельс занимали в оценке трагедии Лассалья. Ленин писал: «Ставить «лютеровско-рыцарскую» (либерально-помещичью в переводе на русский язык начала XX века) оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской» (пролетарско-крестьянской в таком же переводе) и Маркс, и Энгельс считали явной ошибкой» (см. т. XV, 3-е изд., стр. 347). Мы видим, что проблема, затронутая трагедией Лассалья и вызвавшая такой живой отклик со стороны Маркса и Энгельса, является такой проблемой, которая теснейшим образом связана с историей нашей партии, с историей борьбы большевизма с меньшевизмом. Поэтому недопустимо и по существу антипартийно обходить трагедию Лассалья «Франц фон-Зикинген» в деле выяснения вопроса о том, что такое типичные характеры в типичных обстоятельствах.

Спрашивается: почему же характер Зикингена, представленный в трагедии Лассалья, не является типичным в отношении дворянско-лютеровской оппозиции? Потому что, как показано выше, Лассаль извратил историческую правду: как сказано выше, Лассаль мог изобразить Зикингена как Дон-Кихота. Это не был бы типичный характер, представляющий дворянство (ибо последнее как класс не донкихотствовало, а вполне трезво, в согласии с принципом «высшего реалистического благоразумия» шло на соглашение с князьями и предавало крестьянскую революцию), но все же, как замечает Маркс, это был бы характер «исторически оправданный». Мы видели, что Лассаль не пошел по этому пути: он усмотрел в Зикингене не Дон-Кихота, а умного крестьянского революционера. А такой характер не является

типичным, то-есть соответствующим классовой природе дворянства и его политической роли в крестьянской войне. Типичным характером, то-есть характером, соответствующим поведению дворянско-лютеровской оппозиции, Зикинген предстал бы пред нами лишь в том случае, если бы Лассаль изобразил его как человека, объективно половинчатого, жалкого и трусливого, то-есть, если бы Лассаль изобразил Зикингена так же, как изобразил Гете другого вождя немецкого дворянства эпохи крестьянской войны — Гетца фон-Берлихингена. На это обстоятельство указывает сам Маркс. «Если, — пишет Маркс, — отнять от Зикингена то, что принадлежит данному индивиду с его особенным образованием, природными задатками и т. д. (то-есть, если не считать, что Зикинген просто «живая личность».—*П. Р.*), то остается Гетц фон-Берлихинген. В этом жалком субъекте трагическая оппозиция рыцарства против императора и князей дана в своей адекватной форме. И поэтому Гете справедливо выбрал его в герои» («Литературное наследство», кн. 3-я, стр. 16).

Чтобы конкретизировать приведенное положение Маркса, обратимся к драме Гете. В драме «Гетц фон-Берлихинген» Гете показывает вождя немецкого дворянства (в той же крестьянской войне) как человека трусливого и половинчатого, как предателя. В произведении Гете Гетц объективно выступает как мелкий и трусливый либерал-реформатор. Ему нет, по существу, никакого дела до крестьянской революции. Он борется за «достоинство свободного рыцаря-мужа, который зависит только от бога, своего императора и самого себя». Гетц вступает в борьбу с князьями и епископами, но это не борьба, а фронда, комедия. Он держится, как благородный одиночка, совершенно обособленно от крестьянского восстания. А когда на время он входит в соприкосновение с крестьянскими отрядами, то делает все для того, чтобы сдерживать движение. Крестьян, громящих феодальные замки и их владельцев, Гетц так же, как и Лютер, называет «собаками». Когда Гетц, как блудный сын, был обезоружен князьями

и взят в плен, он требует только «рыцарского заточения». Финал в развитии характера Гетца — это снова его родовой замок, где он сочиняет мемуары.

Мы видим, что Гете в своей драме предстает пред нами как реалист. Он показывает дворянскую оппозицию в крестьянской войне в ее истинном конкретно-историческом значении. Иначе говоря, Гетца фон-Берлихингена Гете показывает как типичный характер в типичных обстоятельствах. Именно поэтому о Гетце фон-Берлихингене Гете Маркс говорит: «В этом жалком субъекте трагическая оппозиция рыцарства против императора и князей дана в своей адекватной форме». Мы видим, что два писателя, взявшихся за изображение одной и той же коллизии, диаметрально противоположным образом отражают историческую действительность. В Гетце фон-Берлихингене Гете мы имеем историческую правду; в Зикингене Лассалья — искажение исторической действительности, то-есть, по существу, неправду. В отношении дворянско-лютеровской оппозиции Франц фон-Зикинген Лассалья был бы типичным характером лишь в том случае, если бы Лассаль изобразил в своей трагедии не субъективную революционность Зикингена, а его объективную конкретно-историческую сущность, то-есть если бы Лассаль художественно показал нам «то систематическое предательство, то последовательное вероломство и коварство, которые составляли характерную черту поведения дворянства и князей в течение всей крестьянской войны» (Энгельс).

Обратимся к Шекспиру. Характерная особенность трагедии «Юлий Цезарь» — это некоторая двойственность и неопределенность в разрешении сюжета. Эта двойственность и неопределенность заключается в том, что симпатии Шекспира как бы раскалываются на две части: и Цезарь, и Брут объективно предстают, как бы оба оправданные. В пользу Брута говорит то, что он борется против тирании за республику. Он действует не из узко корыстных целей, а в интересах гражданской свободы. Это — человек идеальной честности. Даже его против-

ник Антоний вынужден признать над трупом Брута, что «другие заговорщики свершили поступок свой над Цезарем великим из зависти к нему, а Брут пристал к ним, руководясь лишь честной, благородной любовью к благу общему. Прекрасна была жизнь Брута». В трагедии Брут стоит неизмеримо выше Антония и его друзей, ибо хотя Антоний, Октавий и Лепид действуют, тоже исходя из бескорыстных и благородных побуждений, но тут налицо только чувство, сердце — чисто внутренняя правда. Исторически же как будто не они правы. Несмотря например на всю неотразимость и искреннюю чистоту речи Антония у трупа Цезаря, эта речь все же есть в известном смысле демагогия, поскольку у заговорщика Брута не было корыстных мотивов, поскольку это — герой без страха и упрека. И в то же время прав как будто бы и Цезарь с Антонием: кроме, как психологическими догадками Каски, Кассия и других, ничем не доказано, что Цезарь стремился к тирании. А главное — Цезарь предстает в трагедии как цельный и благородный человек, живущий целиком заботами о государстве. Ведь и враги его (Брут, Кассий и другие) уважали Цезаря: а) уважали, убивая его, и б) уважали, умирая сами. Не было ли, стало быть, убийство Цезаря фатальной ошибкой?

Таким образом, в сюжете трагедии Шекспира явная двойственность: как будто прав Брут, как будто прав Цезарь. Налицо несомненно имеется тенденция к перевесу правоты республиканского лагеря, ибо трагизм Брута глубже трагизма Цезаря. (Брут, совершивший убийство из благородных порывов, то есть во имя гражданственности, принужден далее убить себя. . Ведь у Цезаря по ходу пьесы хотя бы психологически, можно предполагать кое-что по части цезаризма, тогда как Брут чист, как кристалл.) Но общий итог трагедии тот, что нет достаточно определенного разрешения сюжета, нет достаточно определенного доказательства правоты одного из двух лагерей. Спрашивается: правдив ли Шекспир как художник? Безусловно правдив. Изображение ха-

рактеров в трагедии Шекспира соответствует исторической истине. Прежде всего надо учесть, что мировоззрение самого Шекспира не было вполне определенным. Шекспир стоял на рубеже двух веков (XVI и XVII вв.) и двух эпох. Позади — эпоха великих открытий, гуманизма, реформации и итальянского Ренессанса (Коперник, Гуттен, Эразм, Рабле, Томас Мор, Мюнцер, Боккаччо); впереди — нидерландская революция, Великая английская и Великая французская революции. Шекспир, современник Сервантеса и Бекона, стоит как бы на перевале, он живет в переходную эпоху. Он еще не оторвался от пуповины феодального прошлого и в то же время он человек новой эпохи. Прогрессивность его мировоззрения выражается в повороте к человеку с его страстями, к изображению эпопеи «кровавых, неестественных убийств, суда случайного, нечаянных кончин и козней, павших на главу злодеев». Это мировоззрение еще не доросло до определенных революционных идеалов. Вот эта особенность мировоззрения Шекспира несомненно сказалась на подходе к изображению характеров трагедии «Юлий Цезарь». Но главное, разумеется, не в этом. Главное состоит в том, что исторически борьба партии Брута и партии Цезаря была не борьбой двух непримиримых классов, а борьбой двух фракций внутри одного и того же аристократического и рабовладельческого класса. И поэтому, когда Шекспир колеблется, когда он как бы не решается, кого оправдать и кого осудить, то он поступает правдиво в историческом смысле. Это значит, что характеры Брута и Цезаря показаны Шекспиром, как типичные характеры в типичных обстоятельствах.

Известно, что Маркс и Энгельс давали очень высокую оценку реализму Бальзака. Основные действующие лица в произведениях автора «Человеческой комедии» — это добродетельные торгаша и фабриканты мазей для рращения волос (Цезарь Бирото), заматерелые скопидомы и алчные стяжатели (папаша Гранда, старик Сешар), молодые мечтатели, устремляющиеся в Париж за сла-

вой, счастьем и богатством и возвращающиеся на запятках карет, оставив позади «утраченные иллюзии» (Люсьен, де-Рюампре), хищные ростовщики (Гобсек, истлевшие наподобие мумий, и аморальные представители некогда славной и гордой дворянской аристократии (маркизы д'Эгриньоны, — «Музей древностей, рафинированные кокетки, наймиты капиталистической прессы, отъявленные каналы судебно-адвокатского мира, виртуозы супружеских измен, пираты книжно-издательского дела, возводящие на пьедестал бездарность и свергающие мимолетных кумиров Парнаса в бездну. Все это крутится и вертится в безумном вихре страстей и вожделений, и в основе всего этого — одна и та же движущая пружина — золото, деньги.

Таковы основные действующие лица в произведениях Бальзака. И именно эти действующие лица являлись типичными для эпохи Бальзака, то есть для той эпохи, в которую крепко утвердившаяся в седле буржуазия пожинала тучный урожай, на почве, уготованной якобинской революцией и войнами Наполеона. Бальзак мог бы по примеру Евгения Сю выискивать непорочных ангелов среди аристократии и буржуазии и противопоставлять их испорченным и порочным людям из тех же классов, то есть Бальзак мог бы так же, как и Евгений Сю, разрешать мещанскую антиномию «добра» и «зла» с точки зрения «плода вообще». Он мог бы например кроткие и наивные характеры (в роде Эжени Грандэ) изображать как типичных людей своей эпохи. Это было бы правдоподобно (ибо такие люди существовали во всякие времена), но не истинно в историческом смысле. Бальзак, несмотря на свои монархические убеждения, пошел по другому пути: он изображал не «живую личность» вообще, а именно типичные характеры в типичных обстоятельствах своей эпохи. Именно поэтому Энгельс и отмечает, что Бальзак «дает нам самую замечательную реалистическую историю французского общества», описывая в виде хроники нравы год за годом, с 1816 до 1848 г., все усиливающийся нажим под-

нимающей буржуазии на дворянское общество».

Приведем пример из русской литературы. В «Господах Головлевых» Салтыков-Щедрин рисует нам жизнь русского провинциального дворянства, как мерзкую и тупую, как архиреакционную. Мерзкими и тупыми стяжателями-дешевладельцами выступают главные действующие лица — Иудушка и Арина Петровна. Такое изображение представителей дворянского класса является без сомнения типичным. Почему? Да потому, что, несмотря на нависшую реформу (1861 г.), несмотря на то, что Россия делала первый шаг по пути к превращению в буржуазную монархию, это был именно только шаг о к. Основным содержанием помещичьей действительности оставались именно заскорузлость и реакционность феодальных пережитков. Поэтому носители этой заскорузлости — Головлевы — являются у Щедрина типичными характерами в типичных обстоятельствах. То же в отношении либеральной российской интеллигенции. Щедрин изображает либералов и любителей русского просвещения как «мышинных жеребчиков», как болтунов, ханжей и соглашателей с царизмом, как людей, действующих по принципу: сначала — «по возможности», потом — «хоть что-нибудь», затем — «применительно к подлости». Такая характеристика либералов вполне соответствует оценкам Чернышевского и Ленина. Именно такие характеры либералов являлись типичными для эпохи буржуазно-демократической революции в России.

Итак, что такое типичные характеры в типичных обстоятельствах? Типичные характеры в типичных обстоятельствах — это не характеры в о б щ е, то есть не правдоподобные «живые личности» в о б щ е, не механически обобщенные (или «синтезированные») «индивидуальности» в о б щ е. Типичные характеры в типичных обстоятельствах — это такие характеры, в которых выражается в истинном виде сущность и конкретно-историческая роль тех классов, представлятеля-

ми которых являются данные характеры. Из этого следует, что понятие типичных характеров — конкретно-историческое понятие! Это понятие есть не догма, а руководство к действию. Не понимая основного содержания той или иной эпохи, не понимая расстановки и объективной роли классов на том или ином конкретно-историческом этапе, нельзя понять, являются ли данные в том или ином произведении характеры типичными, или же не являются. Таким образом, и здесь, в определении существа последовательного реализма, критерием является основное положение марксизма-ленинизма: истина конкретна. Реализм есть не типичность в узких пределах, не верность отдельным деталям, а верность основным и характерным чертам того или иного конкретно-исторического этапа. Короче — реализм есть не правдоподобие, а историческая правда.

А что это значит — применительно к советской литературе? Это значит, что подлинный реализм несовместим ни с кустарным реализмом лефов, то-есть с реализмом поверхностного копирования и фотографирования, ни с кустарным реализмом бывшего РАПП, то-есть с реализмом антиисторической «живой личности», как таковой. Оба вида кустарного реализма — и реализм лефов, и реализм «живого человека» — две стороны одной и той же медали. Только в первом случае мы имеем правдоподобие чисто внешнее (фактография, или вульгарный материализм), а во втором — правдоподобие чисто внутреннее (субъективный идеализм, «диалектика души»).

Защищаемое в настоящей статье определение сущности типичных характеров в типичных обстоятельствах целиком основывается на взглядах Маркса и Энгельса. Маркс же и Энгельс рассматривали образчики реализма прошлого. Могут спросить: при чем же тут социалистический реализм? На этот вопрос ответ может быть только следующий: с точки зрения исторической преемственности, с точки зрения ленинского учения о культуре социалистиче-

ский реализм должен быть закономерным продолжением и развитием самых передовых и самых лучших образцов последовательного реализма в литературе предшествующих классов. Иначе говоря, социалистический реализм является продолжением и развитием таких образцов реализма прошлого, в которых имеется налицо передача типичных характеров в типичных обстоятельствах той или иной эпохи. Социалистический реализм так же, как и последовательный реализм прошлого, есть показ типичных характеров в типичных обстоятельствах. Для того, чтобы показать типичные характеры в типичных обстоятельствах нашей эпохи — эпохи империалистических войн и пролетарских революций, — для этого необходимо точно знать расстановку классов и в адекватной форме отражать в литературе объективную роль этих классов. Но что значит в адекватной форме отражать в литературе объективную роль классов в нашу эпоху? Это значит — смело и последовательно, безоговорочно стоять на точке зрения пролетариата. Создавать типичные характеры в типичных обстоятельствах нашей эпохи, это значит — активно выражать и защищать в художественных произведениях интересы диктатуры пролетариата. В этом и заключается отличие социалистического реализма от реализма прошлого.

Рассмотрим с этой точки зрения некоторые примеры из советской литературы. В произведении «Мать» Горький показывает Ниловну, мать рабочего, не как слабую и безвольную женщину, не как придавленную и пассивную личность (не знающую, как и чем себе помочь). Горький показывает Ниловну как цельную и обаятельную личность, как непоколебимого героя, смело становящегося вместе с сыном в передовые ряды революционных бойцов за дело пролетариата. Именно такой характер пролетарской женщины является типичным для эпохи 1905 года.

Суть дела совсем не в том, наблюдал ли Горький Ниловну в действительности

такой, какой показал, или же не наблюдал. Суть дела в том, что Горький в названном характере дает не правдоподобие, а правду. Можно было бы показать женщину, слабую, забитую, униженную и оскорбленную, раз'едаемую противоречиями, сомнениями и муками. Такие женщины среди рабочего класса безусловно были и есть. И образ такой женщины был бы правдоподобен. Но правдоподобие не есть правда. Социалистический реализм Горького со всей силой и проявился в том, что он изобразил типичный характер в типичных обстоятельствах, то-есть показал такой характер пролетарки, который адекватно отражал своеобразие исторического этапа — политическую зрелость пролетариата для открытой борьбы за власть. Тем самым Горький художественно доказывал правоту большевистской линии в революции. Величайшее значение «Матери» Горького как типичного характера необходимо еще подчеркнуть и потому, что в большинстве произведений советских писателей современная советская женщина, как правило, изображается в высшей степени антихудожественно. Никогда в истории женщина не стояла на такой общественной высоте, как в советском государстве. Между тем в большинстве случаев советская женщина предстает в литературе как «человек вообще», как физиологическая особь своего пола, как любовница и т. д., то-есть предстает в правдоподобии, но не в истине, не в качестве типичного характера в типичных обстоятельствах.

Вторым замечательным по типичности характером является Клим Самгин Горького. В образе Самгина современная мелкая буржуазия предстает перед нами гнусной и подлой, то-есть в ее истинном конкретно-историческом значении. А чтобы уяснить, насколько это важно, необходимо остановиться на произведениях такого крупного советского писателя, как Леонид Леонов. В романе «Барсуки» мы имеем как бы две плоскости, в которых развивается действие: во-первых, существование городской мелкой буржуазии — мелкие лавочки, трактирчики, потомки Макаров Девушкиных, словом,

мелкобуржуазная городская моль — «Зарядье». Во-вторых, деревня с ее густопсовым идиотизмом, с извечной враждой из-за Зинкина луга, звериной злобой одного на другого, с животной тупостью. Октябрьская революция прошла как бы мимо деревни: она как бы задела ее крылом. И деревня, растревоженная, гудит, как шмелиный рой, в атмосфере казенной продразверстки, казенных комиссаров и зеленого бандитизма. Словом, деревня предстает как инобытие или продолжение «Зарядья». В романе «Вор» — «Зарядье» в эпоху расцвета нэпа. В остальных романах («Соть», «Скутаревский») Зарядье измельчается и выветривается. На сцену выступает действительность пятилетки (строительство комбината, фронт науки). Однако, несмотря на выветривание Зарядья, основные действующие лица во всех романах Леонова — это представители мелкой буржуазии: это либо взбесившиеся мелкие буржуа в роде Семена Брыкина («Барсуки») и Митьки («Вор»), открыто бунтующие против советской действительности, либо замаскированные вредители, в роде Виссариона («Соть») и Петрыгина («Скутаревский»), либо наконец лояльная советская интеллигенция (Бурого, Скутаревский). Диктатура пролетариата, по существу, остается где-то сбоку, она ощущается как некий таинственный и непостижимый «железный палец», который с неумолимостью рока наступает и карает трепещущую «селезенку», то-есть взбесившегося мелкого буржуа во всех его разновидностях. Противопоставленные мелкобуржуазным зрякам представители диктатуры пролетариата слабые и бесцветные (Павел в «Барсуках», Аташев в «Воре», Увадьев, Потемкин и Жезлов в «Соти»; Черимов в «Скутаревском»). Все эти лица либо механические щупальцы «железного пальца», карающего «селезенку» (таковы Павел, Аташев); либо ходульные фигурки, персонифицирующие власть и партию (таковы Увадьев, Жезлов, Черимов). Таким образом основной фон и основные действующие лица во всех произведениях Леонова — это мелкая буржуазия и я. Герои этой классовой среды раз-

виты Леоновым с большой психологической глубиной. Как же Леонов изображает в своих произведениях представителей мелкой буржуазии? Следуя за Достоевским, он изображает их прежде всего как «живых личностей», то-есть с точки зрения «плода вообще». Взбесившиеся и мятущиеся между буржуазией и пролетариатом мелкие буржуа предстают в произведениях Леонова как вообще ущемленные и оскорбленные. «Нет розовощеких, все подшибленные, все с калечинкой». «На земле никогда не переведутся пришибленные и уязвленные». Так говорят о себе мелкобуржуазные герои у Леонова, и такими они об'ективно предстают в произведениях. Но мало этого; они предстают далее как люди, становящиеся в философскую позу и ведущие, якобы принципиальный, спор с диктатурой пролетариата. «Разницы нет, — говорит бандит Семен в «Барсуках», — кто у них там... в городе... Мы-то — все одно мужики. Разве ж может мышь из своей кожи вылезти? Мышь растет, и гора растет. Но не сравняется мышь с горой. А если не сравнятся мышу с горой, так какая нам тогда разница?» Этот же тезис о несовместимости мыша и горы развивает далее Евграф Подпрятков в сказке о «Калафате», продолжая в данном случае философию главного героя Семена. В этой сказке индустриализация, город, социализм предстают в виде бессмысленной Вавилонской башни. Некий строитель Калафат задумал до всего добраться и мир удивить. «На рыб поставил клейма, птицам выдал пачпорта, каждую травину записал в книгу... И все кругом погрузнело. Шутки дело: полнейший ералаш в природе. Медведь, и тот чахнет, не знает, человек он или зверь, раз пачпорт ему на руки выданы. А уж Калафат задумал башню строить до небес. «Посмотрю, сказал, какой оттуда вид открывается. Кстати, и звезды поклеймим...» Некий лесной старичок пытается вразумить Калафата, зачем-де тебе башня? «Вырасти хочу» — отвечает Калафат. «Так ведь уж и так велик. Сказывали, будго воробей у тебя до десяти фунтов распух?...» —

«Это еще что! — Калафат похвалился. — У меня вошь, и та до десяти фунтов дошла!» Старичок засмеялся: «Зачем же тебе расти, коли и вошь рядом с тобой растет? Ты — с гору, а вошь — с полторы...» Победителем в сказке конечно выходит старичок, а Калафат оскандалился. С башней ничего не вышло. «Не вынесла башня Калафатовой тяжести, все уходила в землю. Ни на вершок не поднялся он: он шаг вверх, а башня шаг вниз, — в землю. А вокруг сызнава леса шумят, а в лесах — лисицы: благоуханно поля цветут, а в полях — птицы. Поскидала э себя природа Калафатовы пачпорта...» («Барсуки». ГИЗ, 1932 г., стр. 294—295). Смысл сказки весьма ясен: с точки зрения мелкого буржуа у пролетариата (Калафата) ничего не выйдет с социализмом (с «башней»): нельзя на природу надеть пачпорта, нельзя заклеить звезды и каждую травину записать в книгу. Этот же Калафатский тезис развивают в различных вариантах основные герои и остальных романов. Так вор, Митька, заявляет: «Человек может машину сделать, и она может конфеты варить, но, чтобы одну ягоду смастерить, как она есть, нехватит и сорока веков. Разумом нельзя человека постичь». Так Виссарийон в «Соти», этот «неудавшийся предтеча Атииллы», прикрывает свою контрреволюционность философией: «Мир на небывалом еще ущербе», «Человек есть то, что он есть», «Земле нужен большой огонь», «Душа изгоняется из мира» и т. д., и т. п. Даже лояльные интеллигенты, работающие на советскую власть, не расстаются с Калафатским тезисом. Так Скутаревский, резюмируя свой жизненный путь, говорит «комсомлке» Жене: «Будучи нелюдимым, я прожил одиноко. Такое состояние продлится, повидимому, и впредь. Наверное я умру один. Меня похоронит милиция. Гроб оклеят красненькими обоями. Черимов, если управится сбежать с заседания, скажет благоразумное слово о попутчике, которому приспичило вылезать на таком неказистом полустанке. Вы застудите ноги на похоронах и получите насморк...» Нетрудно ви-

деть у Скутаревского в этой иронической и скептической оценке своей жизни все тот же Калафатский тезис в разжиженном виде. Даже на вершине своей лойяльности мелкобуржуазный интеллигент приемлет диктатуру пролетариата как побеждающую мощь гуннов: «Это новое, просвещенное язычество, идущее на землю, я благословляю, брат!» (Федор Скутаревский). Замечательно то, что изображаемые Леоновым большевики тоже подчас рассуждают в созвучии с Калафатским тезисом. Так Увадьеву (в «Соти») наша советская действительность, политика партии представляется почти в виде «башни». Увадьев «мнился незамысловатый образ корабля, который потрясает ночь и буря. Нужны были чрезвычайное умение и воля, чтобы вести его при перегруженных когнях через море, не помеченное ни на каких картах. Корабль кренился то в одну, то в другую сторону. И всякий раз волны свирепей вскидывались на покачнувшуюся вертикаль. Ломались рули, их заменяли новыми, и было страшно небытие многих зашиканных вождей. Теперь уже от самой команды зависел успех рейса туда, куда еще не заходили корабли вчерашнего человечества... Начинаясь пора великого маневрирования, и, может быть, именно в этом заключалась истинная героика революции». (Разрядка моя. — П. Р.)

Таковы варианты Калафатского тезиса. Мы видим, что мелкие буржуа в произведениях Леонова, во-первых, — уязвленные и оскорбленные «живые личности», во-вторых, они — якобы идейные, принципиальные люди: они пускаются в свою собственную «нейтральную» мелкобуржуазную философию и ведут спор с диктатурой пролетариата. Соответствует ли такое изображение мелкой буржуазии ее современной конкретно-исторической роли? Нет, не соответствует. Налицо конечно имеется много реалистических моментов: правдивость деталей, относительная типичность «живых личностей» в известных пределах и т. д. Но главное и решающее состоит в том, что

все эти «живые личности», представляющие мелкую буржуазию, не являются типичными характерами в типичных обстоятельствах! Почему? Потому что в качестве самостоятельной или «нейтральной» силы мелкая буржуазия не способна в нашу эпоху играть никакой прогрессивной исторической роли. В нашу эпоху, в эпоху империалистических войн и пролетарских революций, мелкая буржуазия в качестве «нейтральной» силы является подлой и гнусной. Либо мелкая буржуазия последовательно и до конца переходит на позиции пролетариата, — тогда снимаются всякие Калафатские тезисы, всякие споры с диктатурой пролетариата, — либо мелкая буржуазия бросается в объятия контрреволюционной буржуазии, в объятия фашизма, и тогда она должна предстать в искусстве в этой своей определенности, то-есть в своей ярко контрреволюционной сущности, а не в виде уязвленных и ушибленных «живых личностей». Разумеется, мелкой буржуазии зачастую свойственно занимать «неопределенное» положение, то-есть свойственно колебаться. Но в данном случае речь идет не об отрицании такого естественного мелкобуржуазного свойства, а об объективном значении такой якобы неопределенности, такого колебания. Речь идет о том, что уязвленные и ушибленные должны предстать не в их субъективной «нейтральности», а в объективной конкретно-исторической роли. Это значит, что всякое философское позерство, прикрывающее неприятие диктатуры пролетариата, всякие попытки вести с эпохой социализма спор на основе Калафатского «тезиса» должны быть беспощадно и безжалостно разоблачены. А такого разоблачения у Леонова кар и нет: он как бы стоит в стороне в роли свидетеля и со спокойным объективизмом наблюдает за единоборством «селезенки» (мелкого буржуа) с «железным пальцем» (с диктатурой пролетариата).

Спокойному объективизму не должно быть места. «Неудавшиеся предтечи Атиллы», то-есть жалкие и гнусные мелкие буржуа, не приемлющие дикта-

туры пролетариата и ведущие с ней борьбу, должны предстать не уязвленными и мятущимися «живыми личностями» вообще, а объективно агентами и пособниками контрреволюции, развитыми до полной определенности. В творчестве Леонова несомненно имеется поступательное движение вперед. Однако это поступательное движение совершается туго.

Остановимся теперь на произведениях Фадеева, Панферова и Шолохова («Поднятая целина»). Этих больших писателей советской литературы характеризует то, что они стремятся показывать действительность как обостренный конфликт классовых интересов. Действующие лица в произведениях этих писателей противопоставляются друг другу и выступают как представители различных классов и направлений. А главное состоит в том, что эти писатели смело и открыто становятся на партийную точку зрения, — на точку зрения защиты интересов диктатуры пролетариата. Все эти моменты являются неотъемлемыми признаками социалистического реализма. Но такая высокая оценка произведений названных писателей вовсе не означает того, что в этих произведениях нет существенных недостатков. Недостатки, разумеется, есть, и их нельзя замалчивать. Советская литература не двигалась бы вперед, если бы она не подвергала себя смелой самокритике.

Основные недостатки в произведениях названных писателей идут по линии влияния кустарного рапповского реализма, по линии изображения действующих лиц в их правдоподобии, в виде «живых личностей» вообще. Так в «Разгромах», в этом замечательном произведении, помимо волнующей эпопеи самой партизанской войны, показывается, как мелкобуржуазную стихию дисциплинирует и направляет в бой организующая сила диктатуры пролетариата. Наиболее рельефному представителю мелкобуржуазной стихии, мятущемуся и сомневающемуся Мечику, противопоставляется большевик — командир отряда Левинсон. Но это противопоставление не является определенным и развитым до конца. Почему это так? По-

тому, что сам Левинсон — противоречивая и раздвоенная «живая личность». «Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает, отчего все происходит и куда ведет, что в этом нет ничего необычного или страшного и что он, Левинсон, давно уже имеет прочный и безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как ученик, которого заставили сразу решать множество задач со множеством неизвестных». «Он знал также, что... глубокий инстинкт живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждодневных насущных потребностей и забот о своей такой же маленькой, но живой личности, потому что каждый человек хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб» («Разгром»). Итак, большевик Левинсон — раздвоенный и колеблющийся человек: он только в своем виде показывает, что знает, «отчего все происходит и куда ведет». На деле же он ничего этого не знает, на деле он — растерянная и маленькая «живая личность», усвоившая правило: «каждый человек слаб». А что это значит? Это значит, что Левинсон есть по существу разновидность Мечика. Характер Левинсона не является типичным характером ни в отношении самого стихийного партизанского движения, ни в отношении представительства интересов диктатуры пролетариата. В отношении самого стихийного партизанского движения типичным характером является не Левинсон, а Чапаев у Фурманова. Чапаев тоже противоречив, но эта противоречивость совсем иного сорта, чем противоречивость Левинсона. Чапаев — анархист, он с недоверием относится к военной науке, к штабам, к центральной власти. Но Чапаев не знает внутренней раздвоенности. Он не раздается изнутри червяком сомнения, пустяковой интеллигентски-толстовской рефлексией о том, что «каждый человек слаб». Он стихийно, но сознает, «отчего все происходит и куда ведет». Но почему же Левинсон не является типичным характером в отношении пред-

ставительства интересов диктатуры пролетариата? Потому что «живая личность», действующая по принципу «каждый человек слаб», не является типичной для пролетариата. Типичным характером для пролетариата является непреклонно-последовательная и цельная личность. Что Левинсоны были и есть в действительности, что характер Левинсона правдоподобен, в этом нет сомнения. Но правдоподобие не есть правда.

Недостатки «Брусков» Панферова (помимо формальной растянутости и опростительского метода сказа) идут, по существу, по той же линии, что и недостатки Фадеева, то-есть по линии засилья «живой личности», или человека, как такового. В «Брусках» взята огромная, сложная и сугубо ответственная тема—тема о коллективизации и ликвидации на ее основе кулачества как класса. Изображается острая классовая борьба в деревне в восстановительный и реконструктивный периоды. Действующие лица резко противопоставляются друг другу и выступают представителями борющихся классов. Кто же они, эти действующие лица? Во-первых, это—кулаки старой и новой формации, выступающие под руководством бывших белых и осколков контрреволюционных партий. Во-вторых, это—бедняцкое и середняцкое крестьянство, идущее по пути колхозов. В-третьих, это—представители диктатуры пролетариата, представители партии и советской власти, руководящие переделкой деревни, направляющие деревню по социалистическому пути. Можно ли сказать, что все эти действующие лица показаны правдиво, то-есть правильно выражающими объективную роль представляемых ими классов? К сожалению, этого сказать нельзя. Прежде всего необходимо отметить, что, несмотря на яркие картины жестокой классовой борьбы, развертывающейся вокруг колхозов, характеры, представляющие кулацкую контрреволюцию, не развиты с достаточной полнотой в своей истинной определенности. Так, два основных кулацких характера—Плакушев и (отчасти) Чухляв—объективно, с одной стороны, явные

контрреволюционеры, прямые или косвенные организаторы кулацкого восстания, а, с другой стороны, они выглядят, как трудящиеся, как жертвы вековой тьмы, привычки и т. д.

Но самый слабый пункт заключается в изображении представителей колхозной деревни и представителей партии. Все действующие лица, должностные представлять своим поведением политику партии, крайне противоречивы и двусмысленны. Так, Степан Огнев сначала предстает как энтузиаст, как истинный герой колхозного движения, как настойчивый организатор коммуны. А потом тот же Огнев вдруг, в силу неизвестных и неоправданных мотивов, внезапно спотыкается и объективно становится врагом советской власти. С одной стороны, он стоит на непримиримой классовой позиции в борьбе за линию партии, с другой—он, не прочь втянуть кулаков в колхоз вплоть до Чухлява и Плакушева. Кончается тем, что он, Степан, «восстал против партии», то-есть перешел на кулацкую точку зрения: «Что делается государству, если наше село не вывезет хлеб?» По смыслу романа Огнев в итоге—«гниль, гнида, мертвяк». На ряду с Огневым и Жаркиным в деревне действуют представители руководящих органов партии и советской власти—Жарков, Богданов, Сергей Огнев и другие. Жарков знает деревню по плакату и в своей работе на селе практически проводит линию на вращение кулака в социализм, то-есть линию правого оппортунизма. Сергей Огнев не лучше, если не хуже Жаркова. Этот «член Наркомзема», бывающий на заседаниях секретариата ЦК в присутствии т. Сталина, исходит в своей деятельности из правооппортунистической ставки на самотек. Он стоит на той точке зрения, что крестьянское хозяйство «должно прежде обогатиться, взять сг природы (!) все, что оно может взять индивидуальным порядком, а потом оно само кинется в коллектив» Выступая на сходе против кулака Ильи Гурьянова, Сергей в то же время заявляет, что «Илья советскую власть будет защищать» и т. д. Агроном и большевик Богданов выглядят, как человек

в футляре учености, как мыслитель, голова которого работала, фантазируя, «строя планы, уводя его в глубины истории». В «глубинах» Богданов действительно плавает, как карась: он много распространяется о Джордано Бруно, о солнечной энергии, о торфе, о тайнах геологии и т. п., но на практике в основном — это тень, абстракция. А что такое главный герой Кирилл Ждаркин? Это — не менее противоречивая и двусмысленная фигура, чем Степан Огнев и Жарков. В деятельности Ждаркина (бывшего красноармейца) — два периода: а) период индивидуального обогащения, б) период перехода на позицию колхозов и борьбы за колхозы. В первый период Ждаркин растет в фермера, на него ставит ставку кулацкая верхушка, он — объективно агент штаба Плакущева в сельсовете. «Социалистическая» деятельность Ждаркина протекает во второй период, после того, как Ждаркин побывал на заводе и поучился политике у рабочего Сивашева. Ждаркин — сначала председатель коммуны, потом директор МТС. Масштабы и виды его деятельности необъятны: организационно-хозяйственное укрепление коммуны (учет, сдельная плата, применение усовершенствованной агрономии и т. д.); строительство металлургического завода, С.-Х. академия, заседания секретариата ЦК. Ждаркин — на автомобиле, Ждаркин — на самолете, словом, Ждаркин — революционный размах и американская деловитость. Но все эти грандиозные масштабы не поднимают Ждаркина, а принижают, делают его смешным. Порок Ждаркина в том, что ему не по плечу те грандиозные масштабы, в которые он поставлен. Характер этого «хорошего, здорового эмпирика» (так его рекомендует автор) по своему идейному содержанию чрезвычайно низок и беспомощен. Ждаркин не освещает себе путь революционной теорией, а когда случайно берется за Ленина, то получается конфуз. Так стремление кулака Ильи Гурьянова итти своим кулацким индивидуальным путем Ждаркин пытается об'яснить «силой привычки» (ссылка на Ленина) Ждаркин не ставит массу в известность о сво-

их планах: «пусть сами доходят». По смыслу романа кулацкое восстание в Полдамасове подготовлялось на основе сознательного провоцирования тактики «левого» загиба. Но ведь Ждаркин сам проводит эту тактику: «Надо всех дринуть в коммуну» — говорит он. Ждаркин ни с того, ни с сего от одного любовного попрека Стешки бросается в попойку и безумствует, «мыкаясь на рысаке, растеряв задние колеса». К оценке кулацкого восстания в Полдамасове Ждаркин подходит с точки зрения борьбы света и тьмы: «Победила тьма. Она нагрязнула на коммунистов, всполошилась в мужике, пробудив в нем необузданную ярость зверя». Это тогда, когда по смыслу повествования восстание было инспирировано, спровоцировано и тщательно организовано кулацким штабом.

Вообще говоря, «здоровый эмпирик» Ждаркин не уверен в своем деле, не уверен в правильности политики партии. «А, может быть, то, что проделявает героическая партия, — пустая брехня, фантазия, безумие людей, взявших власть в боях, на баррикадах?! Такие сомнения одолевали Кирилла... сомнения терзали его: ему временами казалось, что переделать крестьянина, привыкшего к своему клочку земли, — всличайший бред» («Твердой поступью». Разрядка моя — П. Р.). Необходимо ко всему добавить, что все женщины в романе предстают исключительно с физиологической стороны. Известно, какая из них с кем спит, какие у той или иной коленки и т. п., но неизвестно, кто и что они в общественном смысле. Таковы — Зинка, Стешка, Маша Сивашева, Феня, Улька и другие. Единственная общественная функция самой яркой женской фигуры Стешки — управление автомобилем. Но этого поразительно мало.

Таковы действующие лица, руководящие колхозной деревней. Эти действующие лица не являются типичными характерами в типичных обстоятельствах. Они не являются подлинными представителями диктатуры пролетариата. А если это так, то смешным становится, когда «здоровый эмпирик» Ждаркин

искусственно поднимается на ходули, когда он вводится в круговорот больших событий и ставится в отношения с великими людьми (когда например он сидит на заседаниях секретариата ЦК вместе с т. Сталиным). Если уж писатель дерзает вводить в роман ЦК и т. Сталина (такое дерзание, разумеется, похвально), то он должен художественно оправдать такой шаг: во-первых, писатель обязан отвести и ЦК, и т. Сталину надлежащий фон и надлежащую роль в произведении, во-вторых, писатель обязан и ЦК, и т. Сталина поставить в отношения с такими типичными действующими лицами, за которых бы не пришлось краснеть прежде всего самому писателю. Если по ходу повествования герой романа вводится на заседания секретариата ЦК, то надо художественно-убедительно доказать, что данный герой заслуживает того, чтобы им занимались вожди партии на заседаниях секретариата ЦК. А неоправданно вводить «здорового эмпирика» Ждаркина на заседания секретариата ЦК и сталкивать его с т. Сталиным так же нелепо, как нелепо садиться на океанский пароход и раскладывать морскую карту, когда всего-навсего предстоит переехать лужу. Таким образом, коренной недостаток романа заключается в том, что выведенные в нем действующие лица не являются типичными характерами в типичных обстоятельствах. Что противоречивые люди и «здоровые эмпирики» есть в нашей партии, это несомненно (об этом свидетельствует чистка). Однако социалистический реализм — не правдоподобие, а правда. Нельзя «здоровых эмпириков» возводить в положительные герои советской литературы, то-есть изображать их как проводников линии нашей партии и ее ЦК.

Как уже отмечено выше, достоинство «Поднятой целины» Шолохова в том, что в этом произведении показаны обостренные конфликты классовой борьбы, обнажены экономические и политические пружины этих конфликтов. Автор с большой художественной силой правильно в основном передает историю событий, имевшую место в ряде колхозов в период проведения сплошной коллекти-

визации. Однако искусство не есть простая передача истории событий. Искусство есть передача типичных характеров в типичных обстоятельствах. А в этом отношении в произведении Шолохова имеются недостатки. Эти недостатки опять-таки идут по линии правдоподобия. Выведенные характеры типичны в известных пределах, но не типичны с точки зрения содержания нашей эпохи. В романе недостаточно типичны как характеры кулаков, так и характеры, представляющие политику партии.

Так кулак Яков Островнов по существу — один из активных и выдержанных главарей контрреволюции. Он укрывает белогвардейских офицеров, соучаствует в убийстве ненадежных сообщников, осуществляет по заданиям бывшего есаула вредительство в колхозе, сеет антисоветские слухи, поощряет толпу на расхищение государственного хлеба и науськивает ее на самосуд над коммунистами. Он рассчитывает на интервенцию. Словом, Островнов — от начала до конца последовательный и цельный герой кулацкой контрреволюции. Объективная логика этого образа, то-есть условие соответствия этого характера действительности, требует того, чтобы Островнов был показан в полной определенности, как последовательный и сознательный контрреволюционер. Такой показ соответствовал бы истине. Между тем в романе происходит как бы смещение плоскостей или подмена характеров: Островнов выступает и как активный воротила кулацкого подпольного штаба, и как колеблющийся середняк. Так, будучи председателем колхоза и осуществляя вредительство и другие антисоветские планы в колхозе, он вдруг проникается «социалистическим» духом. Он почувствовал, как «неожиданно для него самого попал в родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности». И в этой «деловой суете» он жил «раздвоенной, диковинной жизнью», — он ревностно брался за укрепление базов, за «строжку капитальной конюшни». Укрывая есаула Половцева, Островнов «почувствовал обычную раздвоенность» «Я

промеж ними (белогвардейцами) и колхозом раздерусь» — так говорит Островнов о себе. А в конце романа он испытывает «острое сожаление о том, что не пришлось стряхнуть советскую власть...» Итак, что же такое Островнов? Это нето матерый волк, нето заблудшая овечка, нето стопроцентный контрреволюционер, нето «Хамлет» и колеблющийся середняк. Что это значит? Это значит, что подлинный характер Островнова, как представителя кулачества, в значительной мере подменяется несвойственным ему характером середняка. Происходит в известной степени примерно то же самое, что и с характером Зикингена у Лассала. А это значит, что характер Островнова не является типичным характером в типичных обстоятельствах, то-есть характером, адекватно выражающим классовую сущность кулацкой контрреволюции.

Не намного лучше обстоит дело и с характерами руководителей колхозной деревни. Секретарь райкома Корчжинский — бюрократ и оппортунист, Разметнов и Давыдов — объективно противоречивы: с одной стороны, они — люди, представляющие партию и проводящие во многом правильную политику, а, с другой стороны, они не понимают обстановки, не обладают партийной бдительностью, не способны различать и разоблачать маневры классового врага За спиной Давыдова Островнов орудует, как у бога за пазухой. Давыдов, с одной стороны, — молодец (он политику партии в отношении кулака понимает лучше секретаря райкома, он борется за твердую классовую линию в колхозе), с другой стороны, — шляпа (не видит под носом кулацкой контрреволюции, объективно ее в лице Островнова прикрывает). По мнению Давыдова, «Островнов — преданный нам колхозник». На сходе «Яков Лукич (Островнов) выступил с призывом вступать в колхозы и несказанно обрадовал Давыдова своей разумной, положительной речью...». Единственный человек, который в отношении классовой бдительности дальновиднее всех (и секретаря райкома, и Давыдова, и Разметнова). — это секретарь ячейки Нагульнов. Но Нагульнов по смыслу

романа предстает как «левый» загибщик, не согласный с линией партии, не согласный со статьей т. Сталина о колхозах. Таким образом, защита правильной партийной линии в деревне повисает в воздухе, ибо проводники этой линии объективно дискредитируются. Что же можно сказать об этих характерах? Они правдоподобны (то-есть в действительности они были и есть), но они не истинны, ибо они по существу не представляют линии партии. Это значит, что характеры руководителей колхозной деревни (Разметнова, Нагульнова, Давыдова и других) не являются типичными характерами в типичных обстоятельствах.



В заключение остановимся на двух вопросах: а) на вопросе об отношении социалистического реализма к социалистической романтике; б) на вопросе об отношении социалистического реализма к диалектическому материализму.

Социалистический реализм не находится в каком-либо противоречии с социалистической романтикой. Социалистический реализм, как выяснено выше, есть историческая правда, выраженная в образах. Но социалистическая романтика есть и должна быть также исторической правдой, вернее, предвосхищением исторической правды, выраженной в образах. О романтике недопустимо рассуждать «вообще» так же, как недопустимо рассуждать и о реализме «вообще». Подобно тому, как под флагом реализма сплошь и рядом выступает внешнее или внутреннее правдоподобие, то-есть историческая неправда, подобно этому и романтика, как еще разъясняли Писарев и Ленин, может быть истинной, а может быть и ложной, — может предвосхищать историческую истину, а может затемнять и извращать последнюю, хватая в сторону. Сравнивая социалистическую романтику великих утопистов с мелкобуржуазной и реакционной романтикой Сисмонди, Ленин писал:

«Сисмонди был утопистом, основывал свои пожелания на абстрактной идее, а не на реальных интересах, — и эти писатели (то-есть Оуэн,

Фурье. — П. Р.) были утопистами, основывали свои планы тоже на абстрактной идее. Но именно характер их планов совершенно различен вследствие того, что на новейшее экономическое развитие, поставившее вопрос о «вечных нуждах», они смотрели с диаметрально противоположных точек зрения. Указанные писатели (то-есть великие утописты. — П. Р.) предвосхищали будущее, гениально угадывали тенденции той «ломки», которую прodelывала на их глазах прежняя машинная индустрия. Они смотрели в ту же сторону, куда шло и действительное развитие (Разрядка моя. — П. Р.); они действительно опережали это развитие. Сисмонди же поворачивался к этому развитию задом; его утопия не предвосхищала будущего, а реставрировала прошлое; он смотрел не вперед, а назад» (Том II, 3-е изд., стр. 99).

Мы видим, что романтика может угадывать и предвосхищать будущее, ускоряя тем самым ход исторического развития, а может и тянуть назад, то-есть замедлять ход исторического развития. Мы стоим за первого рода романтику. Это значит, что в общем плане или в широких пределах (в которых здесь, собственно, и рассматривается вопрос) между социалистическим реализмом и социалистической романтикой нет противоречия и различия: и социалистический реализм, и социалистическая романтика есть конкретно-историческая правда, выраженная в образах. Социалистическая романтика не есть самостоятельный художественный метод, существующий наряду с методом социалистического реализма. Социалистическая романтика есть сторона или специфическое проявление метода социалистического реализма. Таким образом, в широких пределах между социалистическим реализмом и социалистической романтикой нет различия. И в то же время между социалистическим реализмом и социалистической романтикой все же есть различие. Это различие состоит в том, что реализм в узком смысле есть более точная копия или наиболее близкое

отражение непосредственной реальности, чем романтика. Какой бы конкретный реализм мы ни взяли, при ближайшем рассмотрении мы всегда будем иметь налицо более или менее близкое сходство копии (произведения) с оригиналом (с жизнью): будем иметь налицо ту или иную степень типичности характеров, ту или иную степень правдивости деталей (например: «Утраченные иллюзии» — Бальзака, «Анна Каренина» — Толстого, «Деньги» — Золя и др.). Между тем о романтике в ее чистой форме этого сказать нельзя. Романтика есть мечта и фантазия. Более или менее непосредственной близости к реальности, более или менее близкого сходства копии (произведения) с оригиналом (с жизнью) здесь налицо нет (примеры: «Война миров» — Уэллса, «Инженер Менни» — Богданова, «Иной свет» — Сирано де-Бержерака и т. п.). Здесь близость к действительности или связь с действительностью опосредствованные. Здесь та или иная степень правдивости деталей и типичности характеров не сразу бросается в глаза, а уясняется путем длительного и вдумчивого анализа произведения.

Таким образом, различие между социалистическим реализмом и социалистической романтикой формальное. Но это формальное различие нельзя забывать или игнорировать. Нельзя механически растворять понятие романтики в понятии реализма. Забвение и игнорирование различия между тем и другим ведет к огульному отрицанию романтики вообще, к попыткам отмахнуться от изучения и использования романтики прошлого, к попыткам вычеркнуть романтику из современной советской литературы, объявить ее идеализмом вообще, обманом и мистификацией. Именно к этим глубоко ошибочным выводам и приводит многих наших литераторов забвение формального различия между социалистическим реализмом и социалистической романтикой (бывшие рапповцы, Усиевич, Плиско, Левин и другие).

Ну, а в каком же отношении стоит социалистический реализм к диалектическому материализму? Некоторые товарищи считают, что диалектический ма-

териализм не имеет отношения к литературе. Так в статье «О социалистическом реализме» т. Васильковский, имея в виду письмо Энгельса к Гаркенс, пишет: «Энгельс, критикуя произведение писательницы в 1886 г., ни словом не обмолвился о диалектическом материализме как методе, из которого пролетарский писатель должен исходить» Другие идут дальше, восставая объективно не только против диалектического материализма, но и против диалектики вообще. Так «здоровый эмпирик» И. Разин самодовольно и наставительно цитирует в своей статье («Социалистический реализм») грубо ошибочное, л е ф о в с к о е положение Маяковского:

Мы диалектику учили не по Гегелю
Бряцанием боев она врывалась в стих

«Здоровые эмпирики» забывают, что Ленин учил диалектику между прочим и по Гегелю. Они «забывают», что не кто иной, как именно Ленин, в «Что делать» подчеркивал положение Энгельса о том, что «без предшествующей ему немецкой философии, в особенности философии Гегеля, никогда не создавался бы немецкий научный социализм,—единственный научный социализм, который когда-либо существовал» (Т. IV, 3-е изд., стр. 381). Восстание «здоровых эмпириков» против диалектического материализма и диалектики есть не что иное, как испуг, нездоровая реакция на ту «диалектико-материалистическую» галитацию, которая процветала в РАПП. Но зачем же от одной крайности шарахаться в другую крайность? Если Энгельс в письме к Гаркенс не упоминал о диалектическом материализме, то это не значит, что Энгельс был против того, чтобы критики и писатели умели исходить из метода диалектического материализма. Это значит только то, что Энгельс так же, как и Маркс, так же, как Ленин и Сталин, не любили и не любят говорить общие слова о диалектическом материализме. Надо не шуметь впустую о диалектическом материализме, а ставить и решать конкретные вопросы с точки зрения диалектического материализма. В этом суть. Основной конкретный вопрос нашей литературы есть вопрос о социалистическом реализме. Социалистический реализм не особый метод, отличный от диалектического материализма. Социалистический реализм есть конкретное выражение диалектического материализма в искусстве подобно тому, как исторический материализм есть конкретное выражение диалектического материализма в истории.

2. О „ВЕНЕРЕ МИЛОССКОЙ“

А. Старчаков

(К 50-летию со дня смерти И. С. Тургенева)

Венера Милосская, пожалуй, несомненное римского права или принципов восемьдесят девятого года

И С Тургенев — «Довольно»

I

Перечитывая теперь Тургенева, мы заново открываем его, — все причудливо-ново, неожиданно и так непохоже на далекое воспоминание о писателе.

Усадьбы Орловской и Тульской губерний, — здесь жила и спорили тургеневские герои. Ни усадеб, ни самих губерний больше нет. И споры, которые

вели его герои, уже решены историей, — ее приговор ни обжаловать, ни пересмотреть нельзя. Но Тургенев живет. И, перечитывая его, мы не можем не испытывать благодарности: художник-реалист сумел запечатлеть в своем творчестве дела и дни далекой эпохи.

Мы внимательно слушаем речи его героев и пристально следим за их делами. Мы заново судим их. И многое из

того, что казалось Тургеневу смешным, мы воспринимаем как трагическое. И там, где Тургенев видел трагедию, мы часто от души смеемся.

Тургенев остро подмечал слабые стороны революционного народничества. Но трагическая оторванность революционной интеллигенции от широких масс, слабая сторона движения, была для Тургенева источником смешного. Именно на эту сторону он обрушил свою иронию, свой сарказм. Ночные беседы Нежданова, Меркулова, Машуриной из «Нови» кажутся ему смешной и ненужной болтовней, почти бредом. Но для нас ясно, что в этих спорах решался основной вопрос всякой революции, вопрос о массах, — где найти точку опоры в предстоящей борьбе.

« — А мужики? — спросил Меркулов.

— Мужики? Кулаков меж ними уже теперь завелось довольно и с каждым годом больше будет, а кулаки только свою выгоду знают. Остальные — овцы, темнота.

— Так где же искать?

Соломин улыбнулся». (И. С. Тургенев. — «Новь».)

Меркулова вяжут и предают в руки врага его мнимые союзники. Меркулов страшен в своей общественной и личной трагедии. Но для Тургенева Меркулов — смешон. Тургенев иронически обыгрывает его взаимоотношения с Дутиком и Еремеем из Голоплек, с крестьянами, которых Меркулов пробовал привлечь к движению и которые предали его при первой же попытке поднять восстание. Мы читаем Тургенева иначе, не так, как читали его современники. Мы уже знаем, почему в полемике с левыми западниками был снижен образ Рудина и зачем в романе «Накануне» Тургеневу понадобилась освободительная борьба славян: болгарин Инсаров — родной брат гончаровского немца Штольца. Наше отношение к Тургеневу определяется нашим мировоззрением, потребностями нашей борьбы.

Мы восхищаемся той остротой, с которой Тургенев анализировал общественные явления. Эта острота объяснялась прежде всего непрерывным ростом писа-

теля. От «Записок охотника» до «Нови» был пройден огромный путь. В своем последнем романе Тургенев писал: «Наши предшественники устроили освобождение крестьян. Что же, могли они предвидеть, что одним из последствий этого освобождения будет появление целого класса помещиков-ростовщиков, которые продают мужику четверть прелой ржи за шесть рублей, а получают с него, во-первых, работу на все шесть рублей да сверх того целую четверть хорошей ржи, да еще с прибавком, то-есть высасывают последнюю кровь из мужика».

Уже в обстановке пореформенной России он остро чувствовал паразитизм дворянства, которое «заводит собственные кабаки да променные мелочные лавочки, да ссужает мужичков хлебом и деньгами за сто и за полтора процента». «Я подобные операции не могу считать настоящим финансовым делом» — говорит один из его героев.

От Тургенева не ускользнула хищническая роль деревенского кулака, «буржуя в дубленом полушубке», ксати «буржуй» — слово тургеневское, как и «нигилист».

Этот критицизм — одна из наиболее сильных и неуязвимых для времени сторон тургеневского творчества.

Как мастер романа Тургенев выслушал немало упреков в однообразии и вялости. Обвинение не совсем основательное. Он умел развернуть действие на небольшом отрезке времени, — в его лучших романах действие разворачивается в пределах одного-двух летних месяцев. Роман «Новь» — один из самых больших по объему и глубоких по анализу — ограничен во времени двумя летними месяцами. В пределах одного лета развернуты «Отцы и дети» и «Дым». Эта уплотненность во времени, несмотря на однообразие любовной интриги, позволяла Тургеневу усилить драматизм его произведений. К тому же любовная интрига сама по себе не была единственной движущей пружиной его романов. В этом отличие Тургенева от его французских друзей, собратьев по перу. Тургенев отлично умел усложнить любовную интригу классовыми, идейными противоречиями.

И совершенно не изучена технология тургеневского очерка, рассказа. Его очерк «Помещик Радилов» на первый взгляд — только звено из «Записок охотника», только одна из охотничьих встреч. Но вчитайтесь внимательно в концовку этого очерка — в нескольких строках дана трагедия. Очерк поворачивается своим «вторым планом» и неожиданно разрешается побегом Радилова, возмущившим весь уезд.

II

Тургенев говорил: «Политика для литератора яд». Он утверждал: «Венера Милосская несомненное принципов во семьдесят девятого года». Мысли эти давно оторвались от своего контекста и зажили самостоятельной жизнью. Так возникают изречения, крылатые слова.

Но любопытно, что Тургенев, видевший в Венере Милосской противоядие от всяческой политики, в своих романах, да и не только в романах, ставил и по-своему решал важнейшие политические вопросы, волновавшие его современников. Горжественно объявляя в многочисленных декларациях незыблемость и неизменность красоты, он видел долг художника в том, чтобы торопливо запечатлеть, уловить современность в ее переходящих образах.

Как это часто бывает, декларации писателя не всегда и не во всем совпадают с его творчеством. Тютчев декларативно заявлял: «Мысль изреченная есть ложь». Но поэзия его давно стала классическим образчиком «поэзии мысли». В своих лаконических, словно высеченных из мрамора, стихотворениях он воплотил сокровенные чувства и мечты, идеалы не только личные, но и общественные, идеалы своего класса.

Тургенев хорошо знал Тютчева, — по совету Тургенева поэт собрал свои разрозненные стихотворения. По всему вероятно пессимистическая концовка романа «Дым», да и самое заглавие этого романа были навеяны тютчевским стихотворением.

Как дымный столб светлеет в вышине
Как тень внизу скользят неуловимо.
«Вот наша жизнь, — промолвила ты мне, —

Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма».

В заключительных страницах тургеневского «Дыма», посвященных печальным раздумьям героя, мы читаем:

«Он сидел один в вагоне, никто не мешал ему. «Дым, дым» — повторил он несколько раз. И все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь, — все людское, особенно все русское. «Все дым и пар, — думал он. — Все как будто беспрестанно меняется, все новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же. Все торопится, спешит куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая... Дым, — шептал он, — дым».

Тургенев цитирует Тютчева в своем кокетливо написанном «Довольно». Философия этого насквозь декларативного произведения — противопоставление смертного человека с его страстями равнодушной природе, бессмертному космическому потоку — является кругом тех же мыслей, которые неоднократно высказывал и Тютчев между прочим в своих стихотворениях «Через ливонские я проезжал поля» и «По дороге во Вжищ».

«Довольно» было написано двумя годами позже «Отцов и детей», когда над головой Тургенева прошумел шквал общественного негодования, вызванного его романом, и разрыв с революционной общественностью, с молодой Россией обозначился во всей глубине.

Тургенев любил говорить о том, что общественная реакция на его роман «Отцы и дети» была для него совершенной неожиданностью. Думается все же, что элемент неожиданности был несколько преувеличен Тургеневым. Он вносил в свой разрыв с молодежью некоторую долю поэзерства, — недаром писатель так охотно цитировал шекспировского короля Лира.

Если Тургенев мог еще сомневаться, как будет принят его Базаров, то образ нигилистки Кукшиной не мог оставлять для писателя никаких сомнений. В своих литературных воспоминаниях Тургенев пишет:

«30 июля. Воскресенье. Часа полтора тому назад я кончил наконец свой ро-

ман. . Не знаю, каков будет успех. «Современник» вероятно обольет меня презрением за Базарова и не поверит, что во все время писания я чувствовал к нему невольное влечение».

Скорее всего для Тургенева неожиданностью была не общественная реакция на его роман «Отцы и дети», но ее размах, глубина.

«Довольно» стало ответом, откликом на разрыв. Это была дипломатическая нота по поводу разрыва, врученная Тургеневым революционной демократии. В своем «Довольно» Тургенев говорит, что народность, право, свобода только вздор, только «грубая приманка, на которую легко попадается многоголовый зверь, людская толпа». Аристофан, осмеявший две тысячи лет тому назад в своих комедиях демократию, был прав. Но что же делать, если все повторяется! Превыше всего в жизни искусство. Однако равнодушная природа спокойно разрушает величайшие памятники. «Она покрывает плесенью божественный лик Фидиасовского Юпитера и отдаёт на съедение презренной моли драгоценные строки Софокла».

Писатель не ограничился в своем «Довольно» общими пессимистическими высказываниями. Взаимоотношения между ним и революционной Россией нашли отражение в следующих строках:

«Разве не та же стихийная сила, не сила природы сказалась в палице варвара, бессмысленно дробившего лучезарное чело Аполлона, в звериных воплях, с которыми он бросал в огонь картину Апелласа. Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой, слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая. Как устоять против этих тяжелых, грубых и неустанно надвигающихся волн, как поверить наконец в значение и достоинство тех бранных образов, которые мы в темноте, на краю бездны лепим из праха и на миг».

— Довольно! — заявляет художник. Он грозит своим современникам уходом, отказом от искусства, молчанием, — декларация его заканчивается призывом к молчанию, которое является последним уделом оскорбленного художника. «Молчи, скрывайся и тай...»

В этой декларации дышит личная обида. И Достоевский, прекрасно понимавший происхождение тургеневского «Довольно», заставляет в «Бесах» своего Кармазинова написать пародийное «Мерси». Кармазинов, как известно, был карикатурой на Тургенева.

III

Но проходит несколько лет, и живая жизнь опрокидывает многоречивую декларацию. Тургенев пишет свой роман «Дым», который снова бросает его в водоворот политической борьбы. Каждая страница романа целеустремлена, роман пересыпан лозунгами, сентенциями.

Пафос романа конечно не в карикатурном изображении петербургской аристократии и не в иронических и достаточно беглых портретах разночинцев из кружка Губарева. Пафос романа в речах Потугина, в его пламенных дифирамбах буржуазной культуре Запада. Речи Потугина должны были разить в двух направлениях, — то был двойной удар и по московским славянофилам с их утверждением российской самобытности, и по петербургским социалистам, по революционному народничеству.

Тургенев говорил о себе: «Западник я неисправимый». От квасного патриотизма, от слов «наш брат русак» у него, по собственному выражению, «сосало под ложечкой и внутренность щек наполнялась кислой водой тошноты». Речи Потугина—речи неисправимого западника. В его отрицании есть что-то от философских писем Чаадаева. По поводу лондонской выставки Потугин говорит: если бы вышел такой приказ, чтобы «вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли должно было бы исчезнуть все то, что тот народ выдумал, наша матушка-Русь православная могла бы провалиться в тартарары и ни одного

гвоздика, ни одной булабочки не потревожила бы, родная. Все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар и лапти, и дуга, и кнут, эти наши знаменитые продукты, не нами выдуманы».

Потугин полон полемического задора, он перехлестывает через край, запрашивает лишнее.

Достоевский, веривший в избранность православной Руси, принципиально отрицавший буржуазную культуру Запада, никогда не мог простить Тургеневу этих строк. Во время поездки Тургенева в Россию в 1879 г. встреча Достоевского с Тургеневым едва не окончилась открытым столкновением. Когда на литературном обеде в присутствии Достоевского он прочитал по писанному коротенькую речь — Тургенев был плохим оратором — и в речи своей пожелал России «новых и лучших порядков, свойственных всем просвещенным народам», Достоевский подошел к нему и с трудно передаваемой раздражительностью потребовал объяснения.

— Повторите, повторите, что вы хотели сказать, раз'ясните прямо, чего вы добиваетесь, что хотите навязать России!

Выступления Тургенева и Достоевского на празднествах по поводу открытия памятника Пушкину в 1880 году присутствующие воспринимали как своего рода поединок, при чем симпатии большинства явно принадлежали Достоевскому.

Тургеневский Потугин в своих речах обрушивается не только на славянофилов, но и на народников, которые подняли «старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурье, и почтительно возложив его на голову, носят, с ним, как со святыней». Потугин напутствует героя романа, уезжающего в Россию, следующими словами:

— Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя, служите ли вы цивилизации в точном и строгом смысле слова, проводите ли одну из ее идей, имеет ли ваш труд тот педагогический европейский характер, который единственно полезен и плодо-

творен в наше время у нас. Если так, идите смело вперед, вы на хорошем пути, и дело ваше благое. Вы не один теперь, вы не будете «сеятелем пустынным», завелись уже у нас труженики-пионеры.

В романе «Дым» этих тружеников-пионеров еще нет. Они появляются позже в другом романе Тургенева «Новь». Здесь читатель знакомится с теми длинными людьми, которым, по мысли Тургенева, суждено в России делать «дело благое». В своей «Нови» Тургенев мужественно становится на защиту тех самых принципов 89-го года, которые еще недавно об'являлись только прахом.

IV

В минуту откровенности между Тургеневым и его другом Я. Полонским завязалась любопытная беседа. Тургенев предложил Полонскому определить пятью буквами его характер. Полонский решительно не знал, что ему ответить.

— Скажи «трус», и это будет справедливо.

«Тургенев настаивал на том, что он трус и что у него нет ни на копейку воли» — рассказывает Полонский.

Кетчер, которому Герцен в своем «Былом и думах» посвятил столько теплых строк, шутя говорил Тургеневу: «Ростом ты со слона, а душа у тебя с горошину». Тургенев уже не сомневался в той оценке, которую получит его «Новь». Он писал тому же Я. Полонскому: «Никакого нет сомнения, что, если за «Отцов и детей» меня били палками, за «Новь» меня будут лупить бревнами и точно так же с обеих сторон».

И все же в какую-то решающую минуту в Тургеневе побеждает художник-реалист. Он отбрасывает в сторону многочисленные декларации о своем невмешательстве в область политики, он забывает о том, что еще недавно в пылу раздражения звал к одиночеству, к молчанию, презрительно называя борьбу и тревоги человечества «бессмысленной возней». «К чему доказывать, да еще подбирая и взвешивая слова, округляя

и сглаживая речь, к чему доказывать мошкам, что они точно мошки» — еще недавно писал Тургенев.

В своем парижском одиночестве, окруженный французскими друзьями, восхищавшимися блеском его ума и таланта, казалось, он целиком уходил в область служения чистой красоте. Он страстно наслаждался музыкой, собирал картины, посещал званые обеды, жил рассеянной жизнью светского человека, между прочим занимающегося и литературой. Но в ту минуту, когда в Тургеневе побеждал художник, он преодолевал свой скептицизм, свою робость, боязнь «быть избитым с двух сторон» и снова становился изобразителем тех сложных процессов, которые заполнили его эпоху.

Цензура потребовала сожжения «Нови». Цензуру возмутили портреты ростовщиков в дворянских фуражках. Вожди революционного народничества встретили «Новь» артиллерийским огнем.

Тургенев построил роман по своему излюбленному принципу, который вытекал из самого существа его политической позиции, — оставаясь в центре, он вел наступление на два фланга. Он давал убийственную характеристику усадебному дворянству, вскрывая его хозяйственную несостоятельность, его паразитизм. Но сурово доставалось и революционерам-народникам. Нужно отдать справедливость Тургеневу, что в своей критике народничества он был намного выше тех «обличителей», которые в движении не видели ничего, кроме «польских происков» и «взбаламученного моря». В образе своего Соломина Тургенев в известной мере предвосхитил дальнейший путь народничества, растерявшего в 90-х годах прошлого века свое оружие и превратившегося в радикальную партию, отражавшую идеологию кулачества и мелкой буржуазии.

Ленин в своей статье «Л. Толстой и его эпоха» писал о том, что Англия для Толстого была пугалом (Ленин, том XV, стр. 100). Л. Толстой с гениальной силой воплотил в своем творчестве самое существо «перевала русской истории».

Но что ожидало Россию впереди, в чем была сущность того нового порядка, который укладывался в России в пореформенное время, — это было совершенно неясно для Толстого. «Он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что укладывается в России никакой иной, как буржуазный строй» (Ленин). Толстой проповедывал феодальный социализм и воспроизводил в своем личном быту отдельные подробности архаического натурального хозяйства.

Для Тургенева Англия была обетованной страной. Достаточно было его Соломину прикоснуться к английской культуре и перенести на русскую почву кое-что из английских порядков, и Тургенев прощает ему даже его различничество, свойство, которое Тургенев вообще прощал неохотно. Среди революционеров-народников он отделял «агнцев» от «козлищ», аристократов, случайно пришедших к революции, от людей «черной кости», «природных революционеров». Не разоряющиеся дворяне и не революционеры, но Соломин, представитель буржуазного прогресса, демократ и радикал, однако «свободный от крайностей», является тем героем, которому, по мысли Тургенева, суждено перепахать и засеять поднятую новь.

Писатель—полновластный хозяин судеб своих героев. Инсаров из его романа «Накануне», подорванный борьбой, погибает до срока. Базаров нелепо умирает в расцвете сил. Рудин, всю жизнь посвятивший красноречию, падает смертельно раненный на парижской баррикаде. Но Соломин благополучно пристает к тихой пристани, он организует артель (не из числа ли тех, о которых писал Тургенев: «У нас артели построены на бесчеловечно эксплуататорских началах, не имеющих ничего общего с принципами братства»). В награду за гражданские добродетели — и прежде всего за деловитость — Тургенев отдает Соломину сердце прекрасной Марианны.

Кригикой тургеневского романа занялся в числе многих других такой видный и авторитетный представитель революционного народничества, как Герман Лопатин.

Он прекрасно понимал, что «Новь» гораздо опаснее писаний реакционных публицистов и прозаиков, подвизавшихся в семидесятых годах, — за плечами Тургенева была европейская слава. Герман Лопатин предъявил обвинение писателю в том, что в своем романе он искал образы революционеров. Воздав должное Тургеневу за то, что он «не натравливает общество на носителей новых идей, как это делают другие», Лопатин все же сожалел, что писатель «способствует составлению уродливого представления о новом историческом моменте и его деятелях». Он называл роман лубочным. После выхода в свет «Нови» Тургенев не решался навредить зарубежную колонию, боясь быть осужденным.

Примирение пришло позже, незадолго до смерти писателя. Инициатива исходила от Тургенева. Но на примиренческую встречу не пошли «корифеи», «хранители заветов» — Михайловский и Шелгунов. Они еще живо помнили споры вокруг первых тургеневских романов. Но зато на призыв откликнулась молодежь.

Н. Златовратский и П. Русанов дают красочное описание этой встречи, происходившей в доме миллионера К. М. Сибирякова.

В богатой гостиной, убранной тропическими растениями, встретились представители двух миров. Литераторы-разночинцы, плохо одетые, робкие и застенчивые, до дикости были смущены видом зала, где в центре стояло одинокое кресло для «богоравного» Тургенева в окружении стульев для остальных смертных. Неожиданно зазвенели электрические звонки, хозяин, сломя голову, бросился вниз, навстречу, — по лестнице поднимался величественный, седой Тургенев — джентльмен с головы до ног, безукоризненно одетый, изящный и любезный, со свободно-величавыми жестами. Он, как истинный «король литературы», широкими и твердыми шагами пошел к приготовленному для него месту. Публика заняла полукруг стульев вокруг него, и Тургенев, «давно привыкший ко всевозможным салонам, тотчас, кажется, понял свою роль. Пока публика терялась, не зная, с чего начать разго-

вор, он сразу взял все дело в свои опытные руки и начал свободно, оживленно и остроумно рассказывать о своей заграничной жизни, о встречах с разными особами, затем мимоходом упомянул о современных русских делах, выразил сожаление об «обойднх крайностях» и закончил дифирамбом народу, который, по его мнению, «растет не по дням, а по часам и скоро будет совсем большой».

«Вольные хлеба крепостного права, питавшие Тургенева в его молодости, пошли впрок, — говорит Русанов. — Все мы, по большей части разночинцы, казались возле Тургенева какими-то «гвоздями», сухопарыми, испитыми, что называется без цвета и радости. Но на громадном, благообразном лице Тургенева не было ни морщинки... Седые волосы, белая борода еще больше оттеняли молодость этого наполовину библейского, наполовину джентльменского лица. Его речь, плавная, сытая, я бы сказал, серебряная, как он сам, лилась на нас сверху».

Между прочим на этой встрече присутствовал и Кривенко, которого так беспощадно разоблачил Ленин в своей работе «Что такое друзья народа». Кривенко в глазах Ленина был одним из образчиков эволюции, проделанной в 90-х годах народничеством. Кривенко прочно усвоил урок «об обоюдных крайностях», преподанный когда-то Тургеневым. Порвав с лучшими традициями движения, Кривенко в 90-х годах решительно защищал «дельных людей» в духе тургеневского Соломина, противопоставляя их «плодотворной работе безрезультатную деятельность революционной молодежи».

V

Впоследствии народнические оценки тургеневского творчества слились в одном русле с высказываниями либеральной критики.

Тургенев был объявлен художником «общечеловеческих идеалов», служителем «вечных идей прогресса, добра и красоты».

Друг Тургенева Анненков когда-то писал: «П р и б л и ж а л о с ь в р е м я

общественных в прямом смысле слова романов и для Тургенева, превративших его в политического деятеля». Анненков ясно знал: эпоха подсказала Тургеневу его роман. Он ставил знак равенства между его творчеством и политической деятельностью. Но либеральная критика достаточно потрудила над тем, чтобы затушевать тот полемический и партийный характер, которым были пронизаны произведения Тургенева.

Писатель, в обстановке варварской монархии всем своим творчеством защищавший принципы буржуазной революции — принципы 89-го года, — объявлялся парнасцем и служителем чистой красоты. В конце девятисотых годов ранние символисты пошли дальше. Они взяли у позднего Тургенева его мистические поэмы, его «Стихотворения в прозе», проникнутые сознанием старческого бессилия, страхом перед всепобеждающей смертью, и объявили Тургенева, художника-реалиста, одним из основоположников русского символизма.

Более поздняя эстетская критика занялась упразднением Тургенева в целом. Айхенвальд доказывал, что Тургенев «не глубок», что в равнодушии своем «он прошел мимо жизни», что проза его однообразна и даже несравненный и тонкий тургеневский юмор «вымышлен его почитателями и лежит за пределами его дарования». Правда, он соглашался признать в Тургеневе способного изобразителя всего «уходящего, умирающего, старого».

Стало признаком хорошего тона несходительно противопоставлять общественный роман Тургенева его мистическим повестям, его «Стихотворениям в прозе», как противопоставляют неудачу достижению.

Эти высказывания и оценки пережили свое время. Они просочились и к нам. Совсем недавно в областной газете, призванной руководить молодежью, в статье, посвященной Тургеневу, мы могли прочитать следующую оценку его творчества.

«Плох «Дым», и очень хороши «Стихотворения в прозе». Неудачна «Новь»,

и очень удачна драма умирания «Клара Милич».

Это противопоставление Тургенева-полемиста Тургеневу-художнику и является традиционным для либеральной критики. «Стихотворения в прозе» имеют мало равных по мастерству не только в русской, но и в европейской литературе. Но значит ли это, что плоха «Новь»?

Колебания Тургенева между принципами 89-го года и «Венерой Милосской» были закономерны. Достаточно пронизательный для того, чтобы видеть все бессилие «образованного меньшинства», к которому он обращался в своих романах, — «Другой публики нет» — говорил Тургенев, — он не мог не проникнуться глубоким неверием, глубоким пессимизмом. Он называл себя «либералом в английском династическом вкусе» и не любил деспотизма. Но еще больше боялся он народной революции. Крестьянский мятеж был одним из его ночных кошмаров.

Он всю жизнь пытался сохранить связь с революционным разночинством, зная, «что реформы сверху не даются без нажима снизу». Но он взывал к самодержавию о помощи каждый раз, когда ему начинало казаться, что революция угрожает «принципам его класса».

Отрицательные черты И. С. Тургенева, вызывавшие такую острую неприязнь его современников, могут быть объяснены не только свойством его характера. Неустойчивость, шаткость, страсть к компромиссам и лавированию, «иезуитизм» вытекали, помимо всего прочего, из самого существа общественно-политической позиции Тургенева, двусмысленной и шаткой.

«Иван Сергеевич разыгрывает левого с левыми и правого с правыми. Это — непозволительная игра. Иезуитизму нет места среди русских» — писал эмигрант Гинтовт-Дзевалтовский.

Придя как-то к Тургеневу, Гинтовт-Дзевалтовский не был принят писателем. у Тургенева запросто коротал время русский посол.

Тургенев щедро помогал эмигрантам, он субсидировал журнал «Вперед», который издавал в изгнании Лавров Но

это не помещало Тургеневу в печати отказать от всякого знакомства с П. Лавровым. Тургенев присутствовал на панихиде после покушения Каракозова и называл демонстрацию у Казанского собора, в которой принимал участие молодой Плеханов, «грязной пеной». Но в то же время он восхитился личным мужеством Софьи Перовской, посвятил ей стихотворение в прозе «Порог» и даже написал предисловие к книжке эмигранта-террориста.

С точки зрения либерального гуманизма все эти шатания легко объясняются преклонением Тургенева перед «красотой всечеловека». Для нас этажность, которая так часто ставила в тупик его современников, была чертой, характерной не только для Тургенева, но и для русского либерализма в целом.

И в те минуты, когда им овладевала бесконечная усталость, когда ему становилась докучной эта двусмысленная игра, он снова возвращался к декларативным заявлениям, в которых говорил о несомненности Венеры Милосской, о неизбежности вечных принципов красоты. Тогда рождались отравленные скорбью и безнадежностью «Стихотворения в прозе», лирические повести, отражавшие его общественное одиночество, недостижимость его общественного идеала.

VI

Столетие от дня рождения И. С. Тургенева совпало с первой годовщиной Октябрьской революции. «Когда говорит оружие, музы безмолвствуют». Столетняя дата не была отмечена. В те дни молодая советская республика с оружием в руках защищала свое право на существование.

Осенью этого года минуло полвека со дня смерти И. С. Тургенева. В самом размахе тургеневских поминок оказался культурный рост нашей страны. Кажется, нет ни одного рабочего клуба, который не включил бы в свой календарь доклады о жизни и творчестве Тургенева. Мы уже не говорим об университетах, театрах, литературных издательствах, отметивших пятидесятилетие торжественными собраниями, поста-

новками тургеневских пьес, выпуском сборников.

Каких-нибудь полтора десятка лет отделяют нас от первого молчаливого юбилея. За это время революционный пролетариат под руководством своей великой партии не только покончил с политическим и хозяйственным господством помещиков и буржуазии, но и вырвал с самым корнем возможность воспроизводства капиталистических отношений в нашей стране. Ушли с исторической арены не только Кирсановы и Сипягины, не только Соломины и Голушкины. Вслед за ними ушел и тургеневский кулак, приторговывавший «дегтишком и маслишком», подлинный хозяин старой деревни.

Чернышевский видел в крестьянстве один монолитный класс, по природе своей социалистический. Он последовательно требовал передачи всей земли крестьянству, считая это достаточным для утверждения социализма. Объективно он отстаивал американский путь развития.

Сорок лет тому назад Ленин навсегда похоронил иллюзии народнического социализма и повел пролетариат на штурм принципов 89-го года, построенных на «священной» частной собственности», на эксплуатации человека человеком.

Гениальный ученик Ленина, Сталин, продолжил дело учителя — он покончил внутри партии с рецидивами народничества, и построение бесклассового общества стало уже конкретным повседневным содержанием нашего труда.

Разрыв между искусством и действительностью, «между Венерой Милосской и принципами 89-го года» — черта, характерная для общества, вышедшего из горнила буржуазной революции. В том обществе, которое создаем мы сегодня, искусство органически связано с действительностью. Наша действительность требует от личности раскрытия всех ее творческих сил. Никогда еще в истории человечества роль художника, в какой-нибудь степени помогающего человеку в его освободительной борьбе, не стояла так высоко, как стоит у нас. Одно из свидетельств этому — недавние прошедшие тургеневские поминки.

3. ПИСЬМА ФЛОБЕРА ¹⁾

К. Локс

Имя Флобера освящено традиционным преклонением людей с самыми разнообразными литературными вкусами.

Он — «классик» в подлинном смысле этого слова, учитель формы, знавший какую-то высшую меру прекрасного. Такова общая оценка, в достаточной степени набившая оскомину. Легко восхищаться Флобером, гораздо труднее правильно понять его дело и раскрыть подлинные источники его творчества. Закованное в броню совершенства, оно не сразу и не всегда «восхищает». Подлинное восхищение требует в данном случае большой подготовительной работы и, кроме того, большого художественного воспитания. «Г-жу Бовари» надо читать не только как роман; пройти по его страницам путь мастерства — значит самому приобщиться к художественному творчеству. Письма Флобера помогают произвести эту подготовительную работу. Они были и останутся лучшими комментариями к его произведениям.

Прочитав первый том, мы знаем, чего стоило Флоберу его предельное совершенство, как он работал над «Г-жей Бовари». Но прежде — несколько слов о его литературных вкусах. Здесь, собственно, следовало бы начать изда-лека. Юность его, как и полагается в большинстве случаев, была наполнена бурями воображения. Она наивно-гиперболична. Он мечтает о звездах пустыни и восточных женщинах с пафосом настоящего провинциального романтика.

Во все это вносится слишком много «литературы», сразу чувствуется будущий ритор. Действительно, с риторичностью Флобер боролся всю жизнь, и понадобилось такое сильное противо-ядие, как обыденный сюжет, чтобы окончательно преодолеть ее.

Но, несмотря на всю словесную шумиху, уже очень рано в его письмах чувствуется подлинное страдание. Флобер не любит ни окружающей его среды, ни современной ему цивилизации:

«О, эта милая цивилизация, эта милая распутная девка, она придумала железные дороги, тюрьмы, резиновые клизмы, сливочные торты, королевскую власть и гильотину».

«О, Атилла! Когда наконец вернешься ты, любезный филантроп, с четырьмя сотнями тысяч всадников и подожжешь эту прекрасную Францию, страну подметок и подтяжек».

Эти вопли типичны для «молодой Франции» того времени. Ненависть в цивилизации и буржуа питали будущие нотариусы и учителя чистописания, что не мешало им со временем усвоить мудрость аптекаря Гоме. Флобер замечателен тем, что эта ненависть стала двигателем его творчества. Всю жизнь он сражался с апокалиптическим зверем — буржуа, но никогда не верил в возможность другого социального строя. Здесь начинаются самые сложные вопросы поэтики Флобера. Отношение художника к «действительности», источники его моральной или эстетической неудовлетворенности редко даны в чистом виде. Чтобы вскрыть его классовые мотивы, нужна очень тонкая работа, и поэтому нам кажется, что Эйхенгольц чрезвычайно упрощает проблему, выводя «пессимизм Флобера» из его «рантье́рской асоциальности». Почему «рантье́рская асоциальность» (кто установил такую категорию?) должна была привести к пессимизму, — неизвестно. Каким рантье́м был Флобер, — об этом тоже стоило подумать немного больше. Во всяком случае ясно одно: художник может быть проникнут буржуазным или рантье́рским духом, но не всякий буржуа или рантье́ становится художником. По своим классовым мотивам Флобер — довольно типичный буржуазный интеллигент. Его асоциаль-

¹⁾ Г Флобер Письма (1831—1854) Перевод Б А Грифцова, Т Ириновой, М И Ромм Статьи и примечания М Э Эйхенгольца ■ Ю И Данилина ГИХЛ 1933 Стр 441 Ц 5 р, пер 1 р 25 к

ность — чисто интеллигентская, и если прибавить к этому, что она была осложнена эстетическими переживаниями, то станет ясным, что пессимизм Флобера несколько иного порядка, чем пессимизм рантье, трясущегося за целостность своих купонов.

Ранний пессимизм, который у человека другого склада мог привести к выводу «социальным», закрепляется у Флобера ближайшими событиями истории Франции — неудачей революции 48-го года и захватом власти Луи-Наполеоном. Вот как он характеризует то время: «В эпохи, когда разрушена всякая связь между людьми, когда общество представляет собой сплошную более или менее организованную шайку разбойников (правительственный термин), когда плотские и умственные интересы отрываются друг от друга и воют в сторону, точно волки, — в такие эпохи нужно замкнуться в эгоизме, как это делают все (только более красиво), и жить в своей берлоге». Выход — типично-интеллигентский, и он остался у Флобера на всю жизнь.

Письма Флобера полны глубокого интереса. Он здесь перед нами целиком со всей своей экспансивностью, мечтами и великолепными гротескными выпадами. Передавать живую ткань его настроений бесполезно. Еще менее было бы уместно критиковать отдельные мысли об искусстве, которые для нас теперь имеют значение главным образом в связи с его творчеством, но все же нужно отметить, что Флобер-художник, несмотря на свое преклонение перед чистой формой, оказывается более темпераментным, чем Флобер-мыслитель. Как и следовало ожидать, мысль у него идет вслед за непосредственным ощущением, вот почему он так быстро делает выводы, как только потрясена его эстетическая восприимчивость. В этом отношении Анатолий Франс был отчасти прав, иронизируя по поводу его «мыслей» об искусстве. Для нас они имеют значение относительное, для Флобера — безусловное, в особенности когда он отмечает ими собственный творческий опыт.

Свое одиночество он искупает тематикой своих романов. «Г-жа Бовари» для него — нечто в роде выполнения какого-то общесовременного долга. Совершенно ясно, что порой любовная тема отступает на задний план, на первом месте — изображение среды: «Ты, кажется, совершенно не представляешь себе, в каком духе будет эта книжка. Насколько я распоясываюсь в других своих произведениях, настолько тут я стараюсь быть сдержанным и геометрически прямолинейным. Никакого лиризма, никаких рассуждений, полное отсутствие авторской личности. Невесело будет чигагь эту книгу. В ней встречаются места, полные жесткой скудости и зловония»¹⁾. И дальше он говорит «о раздражении, которое переходит границы», «в чем виновата эта дрянная Бовари. Ее буржуазный сюжет мне претит». Работа над определением изобразительных средств, нужных для данной темы, занимала Флобера все время, посвященное ей. Внеличный сюжет, взятый из обыденной жизни да к тому же вызывающий сильнейшее отвращение (368 стр.), требовал объективных изобразительных средств. Отсюда — боязнь «непосредственно хороших фраз» и стремление создать продуманную концепцию стиля, где на первом месте было бы изображение. Объективизм Флобера объясняется все не тем, что он, как думает Эйхенгольц, находился под влиянием позитивной и естественно-научной мысли своего времени (это — поклонник Монтеня, называвший книги Огюста Конта «Калифорнией смеха»). Нет, Флобер хотел выбросить из искусства самую непосредственность переживания, то, что он называл «сентиментальностью» («Я уже пережил беспокойную пору, пору сентиментальности, и до сего дня, как каторжник, ношу ее позорное клеймо»). Объективность Флобера — это стремление найти такой способ передачи, когда явление говорило бы своей собственной пластичностью. Отсюда —

¹⁾ Перевод неверен, нужно «обделенности и зловония».

его работа над стилем, доставлявшая ему столько страданий: «Я хочу и добьюсь своего, чтобы ты воодушевилась цезурой, периодом, наконец самой формой по существу, вне зависимости от сюжета, как когда-то ты вдохновлялась чувством, сердцем, страстями. Искусство — изображение, и наше дело — изобразить¹⁾».

«Искусство — вторая природа», — «греческое искусство придерживалось именно такого принципа». Природа Флобера конечно не природа современного ему буржуазного позитивизма, с этой смесью метафизики и науки он не мог иметь ничего общего. Природа настоящего художника всегда реальна: она — неиссякаемый источник образов, сравнений, метафор, чувственный мир, и только он создает подлинную силу воображения: «Как жаль, что я не профессор французского коллежа! Я прочел бы лекцию, посвященную интереснейшему вопросу, о сравнительном описании сапог в литературе. «Да, сапоги заключают в себе целый мир» — сказал бы я и т. д. Какие красивые сопоставления напрашиваются по поводу котурна и сандалии». «Как жалок например Фигаро в сравнении с Санчо! Так и представляешь себе: вот он трусит верхом на осле, ест сырой лук и беседует со своим хозяином, прищипывая ослика. Так и видишь испанские проезжие дороги, которых никто не описывал». И все же работа над «Г-жей Бовари» с ее «обыденным сюжетом» доставляла ему немало трудностей. Вполне понятно, если принять во внимание исключительную требовательность Флобера к стилю: «Вся сущность моей книги — в стиле, а стиль-то и представляет вечную опасность. Я увлекаюсь фразой и теряю из виду идеи». Можно догадаться, что иступленная работа над языком заключалась именно в преследовании «фразы». Язык должен быть точным, предметным, иначе он не изобразителен, в то же время при помощи стиля должно осуществлять некоторый идеал прекрасного: «И все же я постигаю некий стиль, стиль, который

был бы прекрасным, который кто-нибудь однажды создаст через десять лет или через десять веков, который был бы ритмичен, как стих, точен, как научный язык, полновучен и насыщен, как виолончель, блестящ, как фейерверк. Стиль, который внедрялся бы в идею, как удар стилета, чтобы наша мысль наконец скользила по гладкой поверхности, точно лодка, подгоняемая попутным ветром». Если перечесть эти строки, становятся понятными такие сообщения друзьям: «Знаешь, сколько я написал за пять месяцев с конца августа? Шестьдесят пять страниц». «Бовари» подвигается туго. За целую неделю — три страницы». Действительно, в этом романе нет ни одного лишнего слова, вот почему он представляет такие невероятные трудности для переводчика. Сам по себе язык чрезвычайно прост, но каждое слово обозначает существенный комплекс реальности, и в этом смысле Флобер достиг своей цели — слияния языка художественного и научного, сознательно отбросив лиризм и так называемые «красоты стиля». И его письма, письма «взыскательного художника», навсегда останутся прекрасным памятником самоотречения и огромной волевой напряженности, без которой нельзя служить искусству.



У трех переводчиков, работавших над письмами Флобера, естественно, различные методы истолкования текста и собственные приемы перевода. Тем не менее эти различия не дают себя чувствовать у Грифцова и Ромма, чьи переводы вообще не вызывают возражений, что же касается Ириновой, то мы можем ее упрекнуть в недостаточно внимательном отношении к оттенкам флюберовской мысли, а иногда и в несвойственном русскому языку построении фразы. Например: «Это и есть как будто путь искусства в будущем», в тексте «как будто» отсутствует, сказано просто: «Je crois que l'avenir de l'art est dans ces voies». Вообще весь конец этого письма от 16 января 1852 года переведен спорно «liturgie» в данном

¹⁾ Разбивка наша.

случае нельзя переводить «литургийность» и т. д.). По-русски нельзя сказать: «под моими окнами не проходит ни одна собака» (*pas un chat qui ne passe sous mes fenêtres* — смысл: погода такая, что собаки не выгонишь). Нельзя сказать: «Франция — страна равенства и антисвободы», в том же роде «антипоэт» или «люди с большими переживаниями опасны, — им не повредит немного шутки»; нельзя также сказать: «публика почитает бюсты» (дословно). Все эти мелочи тем более неприятны, что легко могли быть устранены при более внимательном чтении.

Но хуже всего — «указатель собственных имен». Неприятительно напечатанный в самом конце книги петитом, он, несмотря на свою скромную внешность, таит ряд неожиданностей. Так, о Мирабо читаем: «Выдающийся оратор Великой французской революции, конституционный монархист, был гильотинирован». Мирабо, как общеизвестно, не только умер естественной смертью, но первоначально был даже погребен в Пантеоне. Геродот определяется как «отец истории» (кому нужно такое определение?). Парфенон был «посвящен богине Минерве и украшен скульп-

тором Фидием». Не проще ли было сказать, что название храма произошло от прозвища Афины — Парфенос, чья статуя работы Фидия стояла в нем? Зачем надо было заменять греческое название богини римским? «Фоблаз, или любовные похождения кавалера Луве де-Куврей», «многоотмный фривольный роман — история альковов и будuarов». Такого романа никогда не существовало, и он не был «историей». Был роман, написанный Луве де-Куврей, «Любовные приключения кавалера Фоблаза». Навуходносор «сошел с ума и жил семь лет среди зверей, после чего (?) снова воцарился». Мурильо — «автор мадонн и жанровых сцен», Вишну — «вторичное обозначение триединства у индусских браминов». Гюго написал рассказ «Последний день осужденного на казнь» — «в защиту отмены смертной казни» (?). Можно было бы привести еще достаточное количество примеров из этого «указателя», явная цель которого — увеселять читателей.

Зато радуют статьи Данилина о четырех друзьях Флобера, с которыми он переписывался. Они не оставляют желать ничего лучшего как в смысле языка, так и осведомленности автора.

4. ЛИТЕРАТУРА СОВРЕМЕННОГО ЕГИПТА

Л. Некора

I

Первым крупным идейным течением, отразившимся в новой литературе Египта, был панисламизм. Нажим европейского капитала, приведший к оккупации страны, вызвал отпор со стороны разных слоев египетского общества. Военные круги пробовали противопоставить империализму вооруженное восстание Араби-паши; официальные церковные круги — полное отрицание того, что приносят с собой «европейские шайтаны», вплоть до их науки, учения о шарообразности земли и т. д. Египетское крестьянство глухо волновалось, ненавидя и туземных господ, и эксплуатато-

ров-пришельцев, сочувствуя восстанию в Судане. Интеллигенция, усвоившая европейские знания, более развитая часть буржуазии, либеральные церковные деятели, некоторые представители высшей администрации выдвинули идеал панисламизма — синтез западных и национальных либеральных идей.

Панисламизм мечтал объединить все страны от Явы и Индии до Марокко на почве единой религии ислама, очищенного от догматической и обрядовой шелухи, вызывающей вражду между шиитами и суннитами (персами и турками), т. е. рационализированного настолько, чтобы он не противоречил современной

науке. Должен образоваться новый громадный халифат — мощная федерация мусульманских народов Востока, управляемых свободными конституционными учреждениями. Европейскую культуру надо усвоить, но переработать ее в духе ислама, органически слить с тем, что есть ценного в наследии национальной старины. Промышленность и торговля должны развиваться, оставаясь в туземных руках. Об'единенный мусульманский мир сумеет дать отпор — вооруженный, экономический, культурный — европейскому империализму.

Много было внутренних противоречий и в программе, и еще больше в тактике панисламизма. Его главный апостол — организатор Джемаль-эд-дин Афганский (1837 — 1897) — пользовался громадной известностью, но почти не оставил литературных произведений. Последователь его Мухаммед Абдо (1849 — 1905), достигший звания «муфтий», церковного главы Египта, был выдающимся публицистом, но не художником-писателем. Зато другой ученик, недавно умерший адвокат Мувайлихи, оставил очень любопытное литературное произведение; написанное еще в конце XIX века, оно очень популярно, часто переиздается и теперь.

II

Этот роман Мувайлихи — «Рассказ Исы ибн-Хишам» — снабжен одобрительным предисловием Джемаль-эд-дина. Большой том (около 500 страниц) заключает в себе несколько десятков сцен и картин, об'единенных стремлением сопоставить идеи, нравы и условия жизни середины и конца XIX века в Египте Иса ибн-Хишам (т.-е. сын Хишама), от имени которого ведется рассказ, занятый мыслями о бренности всего земного, провел ночь на кладбище. Под утро одна могила внезапно раскрывается, и из нее вышел старый паша, пролежавший в земле более 30 лет, погребенный еще до захвата Египта англичанами. Он успокаивает Ису и велит отвести себя в Каир, в собственный дворец. Паша не знает, что со времени его смерти прошли десятки лет, что жизнь очень из-

менилась; отсюда — ряд забавных и трагических недоразумений.

Поколотив по дороге нагло приставшего к ним погонщика ослов, паша, к своему удивлению, попадает в участок, подвергается затем обвинению в оскорблений действием чиновника, которого нечаянно толкнул, и присуждается к долгому тюремному заключению. Иса ибн-Хишам выручает воскресшего, наняв ему адвоката. В ряде глав рисуются все инстанции египетского суда, судьи и адвокаты старинного и европеизованного типа. Все время сопоставляется старое с новым и делается вывод: оба хуже. Потом паша отыскивает внуков-наследников, старых друзей, слуг. Снова сатирические сопоставления, на этот раз решительно не к выгоде современности. Все гонят воскресшего; наконец его признает некогда благодетельствованный им купец и снабжает его необходимыми деньгами. Старик, обеспеченный таким образом, принимается с помощью Исы изучать новый для него мир.

Они посещают собрания, празднества, частные дома, знакомятся с жизнью врачей, купцов, молодых вельмож, мусульманских ученых, наблюдают проникновение европейской цивилизации на Восток, рост эксплуатации. Десятки лет, проведенных в могиле, избавили старика от прежних предрассудков: он судит остро и здраво. В конце концов паша отправляется на выставку в Париж, чтобы изучить европеизм, так искавший лицо его родины.

Основная мысль книги: ряд обстоятельств довел Восток до крайнего упадка; затем предстала для Египта возможность возрождения. Перед ним лежали два пути: один вел к восстановлению всего доброго и славного, что было в древней высокой цивилизации ислама. Другой путь — путь рабского подражания Западу, преклонения перед всеми его пороками, т.-е. полного отказа от прошлого. Пошли, к несчастью, вторым путем. Разврат, пьянство, погоня за наслаждениями, безумная трата на европейскую роскошь остатков былых богатств, презрение к своему народу и прошлому, отказ от всякой морали, от

национального чувства, лакейское прислуживание иностранцам, — вот к чему привел этот путь. Воспользовались конечно техническими достижениями Европы, но результаты печальны. В Каире — прекрасные улицы с великолепными домами, но принадлежат эти дворцы иностранцам; открыт роскошный публичный сад, но заполнен публичными женщинами; применяется сила пара и электричества, но для разорительных забав; оживилась торговля, но купцов и земледельцев разоряет биржевая спекуляция. Прорыт канал, но владеют им англичане; покорен Судан, но распоряжаются им англичане. Иностранцев приглашают в администрацию, чтобы использовать их знания, но только даром тратят большие деньги, выколачиваемые из обиравемых всеми феллахов. Изображенный в одной из глав инспектор полиции вовсе не знает местного языка, почему не может бороться с злоупотреблениями и только следит, чтобы полицейские были одеты по форме. «Капитуляции» (привилегии иностранцев), особые суды для них позволяют европейским хищникам безнаказанно грабить туземцев. Ведут себя европейцы до крайности нагло: в одной главе рассказывается, как группа туристов ввалилась в частный дом, где праздновалась свадьба, чтобы наблюдать и щелкать «кодаками».

Есть и оппозиция европеизму, но исходит она от стариков, не желающих никакого развития, заинтересованных как-раз в сохранении худших сторон древнего уклада. Это — прежние администраторы, правившие с помощью двух слов: «деньги» и «кнут»; это — духовные шейхи, дорожащие сохранением доходных обрядов и суеверий, профессора духовных школ, приходящие в бешенство от ересей географии. Это не союзники Мувайлихи и его учителя, а худшие враги нового, реформированного ислама, камень на шее народа.

Отдельные сцены романа и диалоги его героев очень живы и остроумны. Оригинальная форма произведения очень интересна; она является удачной попыткой приспособления к новому содержанию старинного жанра. Образцом

для Мувайлихи служили «макамы», «плутовские» повести X, XI веков. В них короткие новеллы связаны между собой единством героя, талантливого, высокообразованного и эмансипировавшегося от всякой морали представителя интеллигентного люмпен-пролетариата. Мошенник каждый раз достигает своей цели хитростью или просто силой своей диалектики, поэтической способности импровизатора. Его фразы и стихи — поразительный образец богатой арабской речи, словесной инструментовки. Почти тем же стилем изложены и части макама, которые автор сообщает от себя. Форма речи в обоих случаях — рифмованная проза, короткие коллоны, заостренные на конце богатыми созвучиями; все это обильно пересыпано и настоящими стихами. Стилистические достижения и были главной целью создателей макама; но они не забывали и о всесторонней обрисовке типа героя — гениального проходимца.

Рафинированная форма макама оставалась модной и в следующие века; ею воспользовался и Мувайлихи, но интерес его уже другие. Он тоже пишет рифмованной прозой, но отделяет ее гораздо менее тщательно, чем писатели классического периода. Кроме того, как только начинается живой диалог, рифма исчезает вовсе. Для Мувайлихи главное не словесная форма, а идеология. Он огходит от макама и в другом смысле: его интересуют не столько тип иключения героя, сколько картины жизни, которые он наблюдает, суждения, которые он слышит. В этом отношении произведение египетского писателя ближе не к восточным, а к западным образцам, например к «Хромому бесу» Лесажа, который, видимо, и оказал на него влияние; об этом говорит и фантастика романа, совершенно чуждая классическим макамам.

III

Панисламистское течение стремится противопоставить империализму единый фронт всех мусульманских народов: арабов, турок, персов, индусов, малайцев. Эта идея представляется арабам на-

столько увлекательной и обоснованной, что некоторые писатели и публицисты, происходящие из христианских семей Ливана, сочли своей обязанностью принять хотя бы по внешности ислам, чтобы быть настоящими гражданами Востока. Но последнее время, особенно под влиянием антиклерикального движения в Турции и факта выделения чисто арабских стран в самостоятельные и полусамостоятельные единицы, национальное чувство перестает смешиваться с религиозным. Ибо есть другой, не религиозный цемент, связывающий народы Востока: это — общность их экономических и политических интересов в борьбе с империализмом.

Громадной известностью на Востоке и некоторой на Западе пользуется Жорж Зейдан (1881 — 1914), талантливый журналист, романист, ученый историк и филолог, «автор самых ученых книг и самых увлекательных романов», по отзыву восточной критики. Христианин, уроженец ливанской деревни, из бедной семьи, вынужденный еще в детстве сам добывать средства к жизни (чистой обуви), он сумел все же поучиться в американском колледже в Бейруте и отдался литературной и ученой деятельности. 25 лет он печатает свою работу: «Сравнительное языковедение и арабский язык». Затем переходит к ряду исторических и географических работ, из которых пятитомная «История исламской цивилизации» представляет очень значительную ценность. С 1892 года Ж. Зейдан, переселившись в Египет, редактирует литературный и научно-популярный журнал «Аль-Хилаль» («Полумесяц»); при его жизни это было лучшее и наиболее распространенное издание. Популярности журнала немало способствовала печатавшаяся в нем серия исторических романов самого редактора. Читатели встречали их восторженно; не вызвали они сердитых отзывов даже со стороны мусульманского духовенства, несмотря на то, что в них автор-христианин касался основных моментов истории ислама. Отчасти это объясняется осторожной примирительной позицией, постоянно занимаемой Зейданом в борьбе различных

партий; его публицистика поэтому в политическом смысле очень неярка; зато как писатель-«просветитель», передающий своему народу европейскую науку, он не имеет равных.

Романы Зейдана и сейчас — любимое чтение очень широких кругов в мусульманских странах. Они переведены на турецкий, персидский, азербайджанский языки и на индустани; некоторые изданы в английском, французском и немецком переводах; порусски, к сожалению, до сих пор нет ничего.

Их 20-томная серия в совокупности обнимает всю историю арабского народа от начала ислама до турецкой революции 1908 года. Каждый из них рисует действительно выдающийся момент в развитии цивилизации Востока. У Зейдана на первом плане — история народа, ее критические эпохи и переломы; частный сюжет и индивидуальные герои играют служебную роль; занимательность фабулы впрочем ничего от этого не теряет: история мусульманского Востока так богата драматическими моментами, что писателю не приходится выдумывать романтических эффектов. К тому же Зейдан — художник действия, движения; он редко дает описание психического состояния, предпочитая показывать его внешнее выражение в словах и поступках; он вовсе не останавливается на описаниях природы или обстановки в целях эстетических; зато, когда описание нужно для понимания действия или важной черты эпохи, он деловито прилагает даже планы и чертежи. Строгий реалист и эрудитный историк, он имеет в своем распоряжении громадный документальный материал и пользуется им очень хорошо. Действие развивается вполне последовательно, без всякого вмешательства таинственных сил, без мистики. Характеры вполне соответствуют эпохе, побуждения естественны, хотя иногда и несколько чужды нам; но нет нарочито придуманных «восточных» страстей и этнографических курьезов, которые, кстати сказать, в большинстве европейских романов больше удивляют восточного читателя, чем западного.

Зейдан — несомненно талантливый художник. Он стоит на высоте европейской науки, но он не идет дальше западных ориенталистов; он — либерал, иногда радикал, но прежде всего представитель мелкой буржуазии и как таковой склонен замазывать классовые противоречия даже в прошлом, выдвигая на первый план «общенациональные» стремления.

IV

Махмуд Теймур (родился в 1894 году) первый дал прекрасные образцы арабской новеллы, он утвердил ее в Египте, вызвал множество подражателей и соревнователей.

Новеллы Махмуда Теймура — безусловно высшее достижение новой арабской литературы. Прежде всего он почти свободен от сентиментальности, сильно портившей работы предшественников. Теймур примкнул к трезвому реализму Ж. Зейдана, дав и то, чего не доставало последнему, — психологический анализ; кроме того, обратился к изображению египетской современности. Большую часть его рассказов можно определить старинным термином эпохи Белинского — «физиологические очерки». Перед читателем проходит чиновник европейской складки; в школе египетской и заграничной он был чемпионом футбола, теперь хочет первенствовать, поражая товарищей показательными тратами, широким образом жизни; наивный юноша из деревни, искавший в Каире интеллигентного труда, увлеченный дорогим кафе с «женской прислугой», истративший все, что имел, и устроившийся наконец гарсоном в этом же кафе; жалкий секретарь редакции, обязательный поставлять статьи за всех номинальных сотрудников газеты. Богатая, скупая барыня; целый мир слуг знатных домов; курьезные типы старины, дожившие до наших дней: каллиграф, переписывающий по заказу старинные рукописи; «путешественник», начитавшийся старых сказок и всю жизнь собирающийся открывать острова, посещенные некогда Синдбадом — мореходом из «1.001 ночи»; дряхлый

партизан Махди; старозаветные представители духовенства и чиновничества; новомодные врачи и т. д.

Зарисовывая то, что действительно видят глаза, писатель не отступает и перед сценами грубо-натуралистическими. Он изображает увядшую даму каирского полусвета, лишенную покровителя и доходов, но сохранившую разорительные привычки; извозчика, вламывающегося к ней и требующего задержанную плату; соглашение и уплату долга «натурой». Он внимательно присматривается к «футуватам», организованным в банды хулиганам, становящимся иногда бичом египетских поселков и предместий; предлагает читателю картину дома свиданий, где муж натывается на собственную жену. Но не видно, чтобы Теймур любил и смаковал подобные сцены; он дает их по принятому обязательству — говорить только истину и всю истину.

Но есть и другие темы, которые он разрабатывает охотнее всего. Одна из них — воспитание и его недостатки в Египте. В очень сильной повести «Отец и сын» Теймур дает картину отношений в семье мелкого чиновника: грубость и бестолковая строгость отца, убежденного, что сыну-подростку надо «сокрушать ребра, чтобы он покоил родителей в старости»; преступное баловство сына матерью, потакающей всем его дурным наклонностям; ужасное влияние улицы и наконец отцеубийство. В ряде других новелл изображаются нелепые школьные порядки, воспитание девушек на старинный и модный европейский манер, рознь отцов и детей и т. д. По этим рассказам можно сосгавить ясное представление о жизни египетской молодежи в семье, школе, кругу товарищей и на улице.

Обилие признанных святых и сравнительная легкость достижения этого почетного (и выгодного) звания еще при жизни очень занимают писателя. Повесть «Шейх Сейид» дает историю жизни идиота-юрродивого, его возвышения в глазах людей; болезнь идиота, принявшая буйный характер, заставляет духовенство объявить «святого» одержимым бесом, и он гибнет от рук толпы.

Четкое изображение процесса освящения и развенчания героя делает повесть весьма замечательной.

С явным антирелигиозным уклоном разрабатывается близкая тема в повести «Шейх Наим Многобрачный». Для мужчины-мусульманина развод чрезвычайно легок, стоит только трижды повторить жене: «Ты разведена». Немудрено, что, когда раздражение проходит, многие хотели бы вернуть прогнанную супругу, но, по странному церковному закону, это возможно лишь в том случае, если сначала кто-нибудь другой женится на ней и даст развод. Для такой операции подыскивается или нанимается лицо, которому можно доверять, которое не станет удерживать условно отданную ему женщину. Вот таким посредником и восстановителем браков был для всей округи почтенный шейх Наим, известный своей святостью и аскетизмом, получающий во сне откровения от самого бога. Но беспрестанно повторяющихся соблазнов не выдержал и святой. В конце концов он удержал понаравившуюся ему женщину, получив в ночном видении специальное предписание на этот счет, и натравил толпу своих поклонников на ее негодующего мужа. Специальная пикантность темы для мусульманина заключается в том, что в самом коране и преданиях имеются такие же сообщения пророка Мухаммеда об откровениях, ниспосланных небом по поводу его гаремных делишек.

Не мог, разумеется, Махмуд Теймур пройти мимо вопросов о положении египетской женщины, ее эксплуатации, ее рабстве в семье и обществе. В повести «Хаджж Шелеби» он рассказывает о негодяе, устроившем себе доходную статью из постоянно заключаемых им браков и разводов. Он — поставщик молодых и крепких кормилиц в богатые дома; после рождения ребеночка он каждую из своих жен сейчас же устраивает на место, а собственное ее дитя быстро погибает, так как никто не заботится о нем.

Затрагивая вопросы брака, любви, страдания женщины, Теймур не уделяет им исключительного внимания; между

тем для европеизирующегося Востока все это — сейчас острые и волнующие проблемы. Целый ряд произведений других авторов посвящен именно им. Наибольшей известностью пользуется в Египте роман «Зейнаб», принадлежащий перу талантливого и образованного журналиста доктора Хайкала. Это — история крестьянской девушки, полюбившей безземельного батрака. Их нежная и чистая любовь не приводит к браку. Бедняк не имеет средств, он не может откупиться от воинской повинности и скоро отправляется в полк, стоящий в Судане. Отец выдает Зейнаб замуж за другого крестьянина. Внешнего драматизма в романе нет: отец вовсе не знает о любви дочери, муж ласков с нею, девушка покорна и молча страдает и умирает от тоски по милом. Выразителем протеста является другой герой, молодой студент. Он не только произносит горячие речи против традиционного уклада жизни, устраняющего из нее самое ценное и радостное, но оставляет родителей и идет искать по свету девушку, которая полюбила бы его сама, свободно, а не по приказу отца. На Востоке, особенно у читательниц, роман имеет громадный успех. Безусловно хороши в романе поэтические картины деревенской природы, крестьянского труда, праздников, тонко показаны переживания героев.

О женской доле больше всего пишут женщины. Писательниц теперь и в Египте, и в Сирии много; совокупными усилиями, в публицистических статьях, журналах, посвященных женскому вопросу, беллетристических произведениях они раскрывают язвы семьи. Их темы — выдача замуж малолетних (по 12-му году), полный произвол родителей при заключении брака, бесправие женщины в семье, постоянно висящая над ней угроза развода и вечный страх перед ним; традиционная грубость мужа-повелителя, многоженство, покрывало, отрезающее зажиточную девушку и женщину от мира, неудовлетворенность ее духовных запросов, отсутствие любви, доверия и уважения в браке; растущая эксплуатация труда женщины, иногда едва прикрытая торговля собственной

женой; разрушение семьи под влиянием широко развившейся эмиграции мужчин в Америку, где они нередко женятся вновь; препятствия, стоящие на пути женщины, стремящейся к самостоятельности и участию в общественной жизни.

Последняя тема разработана в повести Исы Убеида «Дневник Хикмет» (1921 г.). Здесь переживания и стремления женской души изображены на фоне национального движения в Египте 1919 года. Первые страницы дневника — грустная картина ничем незаполненной жизни девушки: постоянное молчаливое горе матери, редкие появления в доме холодного отца, почти покинувшего семью для новой молодой жены, посещения свахи, неудачные «смотрины», устроенные для матери неведомого жениха; тоскливое ожидание новых покупателей: кто-нибудь из них даст Хикмет «новую жизнь», такую же «счастливую», какую ведет сейчас ее мать; робко поднимающийся протест и попытки заглушить его жалкими рассуждениями о высокой ценности традиций, оберегающих нравственность. Потом врываются совсем новые ноты. Англия не разрешает египетским делегатам приехать на конференцию; вожди национальной партии арестованы. Устраивается в Каире грандиозная апрельская демонстрация, и девушка, за которой заехали подруги, принимает в ней участие. Хикмет возвращается, опьяненная энтузиазмом толпы и горячей любовью к родине. Теперь жизнь ее будет полна, она знает, что надо делать. Вместе с подругами она организует женское патриотическое общество, отдает свою жизнь народу, «как делали это русские женщины». Уже налажены первые шаги, как вдруг конец мечтам: нашелся жених, мать радуется тому, что удалось пристроить уже двадцатилетнюю дочь хоть и за старика. И для сопротивления нет сил. «Когда я решаюсь огказаться, мне представляется бедная мама; она обнимала меня так радостно... И вдруг я увижу, как светлая улыбка сменится печалью, как выступят слезы на ее милых глазах... Ах, мамочка, не могу я огорчить тебя. Нет, я дам чуточку

счастья тебе, не знавшей счастья всю жизнь».

Попытки героини начать самостоятельную жизнь Убеид рисует в грустных и безнадежных тонах; наоборот, картины политического движения окрашены бодрим и светлым настроением. Жизнь внесла свои коррективы, не соответствующие ожиданиям автора: участие женщины в общественной жизни быстро растет, а борьба за независимость Египта пока не дала прочных результатов, повидимому, именно потому, что страна недостаточно усвоила мысль, подчеркнутую в новелле: свобода не дается, а берется с бою.

Во всяком случае эта повесть Убеида до сих пор. — наиболее художественное отражение стремлений арабской женщины выйти на политическую арену.

Как это ни странно, но эта повесть Исы Убеида — почти единственное ее произведение, говорящее о борьбе с империализмом (если не считать лирических стихотворений). Эта борьба, всколыхнувшая все слои и классы египетского общества, конечно заполняет почти сплошь столбцы газет, но почти не вдохновляет авторов романов и новелл. Скучно отражая даже национальную борьбу, они совсем ничего не дают по социальному движению — крестьянскому и рабочему. И то, и другое существует, принимает иногда яркие и бурные формы, но до сих пор не стало предметом художественного изображения. Для этого, разумеется, есть и объективные, например цензурные, препятствия, но главная причина, повидимому, просто в незрелости самой литературы, не решающейся или не умеющей еще вплотную подойти к жизни и ее самым глубоким проблемам.

Резко выделяются по своей тематике лишь две повести эмигрировавшего в Россию египетского писателя доктора Хамди Салляма, члена МОРП. Первая из них, «Феллах», передает историю разорения и ухода в город египетского крестьянина. Рассказ вскрывает целый комплекс причин, вызывающих пауперизацию и пролетаризацию крестьянства долины Нила: мы видим биржевые спекуляции хлопком, заставляющие произ-

водителя отдавать урожай по цене ниже себестоимости; нелепую податную систему, лишаящую феллаха возможности отложить хотя бы на несколько дней продажу; отсутствие дешевого кредита; мошеннические проделки защищенных своими привилегиями иностранных «рыцарей наживы», за которыми тянутся и местные кулаки-ростовщики. Повесть интересна и в бытовом отношении, но главная ее ценность в том, что она впервые касается самых острых вопросов крестьянской жизни.

Другая повесть Салляма, «Камера № 17», в начальных главах рисует первые шаги того же феллаха в городе;

ему удается найти себе работу в Александрии. Дальше первоначальный герой отходит на задний план; изображается рабочее движение в Александрии в 1923 г., забастовка, личность самоотверженного вождя движения адвоката Маруна, вмешательство администрации и суд, голодовка в тюрьме и т. д. Такая повесть в Египте напечатана быть не может; первым произведением пролетарской и крестьянской литературы арабов суждено появиться сначала в русском переводе: отрывок «Феллаха» уже помещен в 4-м номере «Литературы мировой революции» за этот год.

5. ПУШКИН И ГОРЬКИЙ В ИСКУССТВЕ ПАЛЕХА

Е. Вихрев

(Из книги «Палех»)

1. Пушкин — Палех

Это случилось не преднамеренно. Это случилось в силу каких-то важных и скрытых причин.

Александр Сергеевич Пушкин — солнце нашей поэзии — едва ли когда-нибудь думал о Палехе. И уж совсем он не мог предполагать, что через сто лет — после величайшей из революций — творчество его встретится с творчеством палешан.

За сто лет многие художники искали в произведениях Пушкина красок для своей палитры, но ни один из них не создал картины, которая была бы достойна его пера.

Потребовалось столетие. Потребовалось падение иконописного Палеха, потребовалось возрождение, как естественное следствие революции, — Палех жил, умирал и поднимался вновь, — и вот наступило время, когда Пушкин нашел своего художника.

Пушкин — Палех, — рано или поздно сочетание этих слов станет общеизвестным. Сейчас есть к этому довольно веские предпосылки.

Это случилось не преднамеренно. Это случилось в силу каких-то важных и скрытых причин.

«Руслан и Людмила» была первой поэмой, полюбленной палешанами. И это понятно: «Руслан и Людмила» была естественным продолжением излюбленных палешанами песенно-сказочных мотивов.

Первым палехским «пушкинистом» стал Дмитрий Буторин.

«Двух великих художников слова избрал я, — пишет он в своих записках, — Пушкина и Горького. У них много красок. Когда читаешь, чувствуется картина».

Дмитрий Буторин начал с «Лукоморья» — вступления в поэме, где, что ни строка, то законченный образ. Это было в 1926 году. Тогда Дмитрий Буторин только еще начинал работать в артели древней живописи. Тогда у него композиция не умещалась еще на плоскости, она распирала рамки орнамента. Кот ученый был непропорционально велик, русалка возлежала на сучьях дуба блаженно и тяжело. Все было привлекательно, мило, но и несколько неуклюже. Это было на заре Возрождения.

Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу, —

как будто хотел сказать Буторин Пушкину своим «Лукоморьем». Потом, на

протяжении пяти лет, Буторин сделал несколько вариаций «Лукоморья», и последняя его композиция отличается от первой приблизительно так же, как первый пушкинский черновик — от окончательной редакции текста.

Здесь, в этом последнем варианте, Буторин — со свойственной ему изощренностью — разработал вступление к поэме, не пропустив ни одного слова.

Если в первом варианте были всего-навсего избушка на курьих ножках, дуб, кот на золотой цепи, леший, витязи и русалка, то последний вариант представляет собой уже окончательную и полную расшифровку пушкинского текста.

Раз в «Лукоморье» говорится:

И там я был, и мед я пил,
У моря видел дуб зеленый,
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил, —

значит, справедливо рассудил Дм. Буторин: «я» — это Пушкин и, одев Пушкина в златотканый кафтан, он посадил его, внимательного и задумчивого, около дуба с бумажным свитком в одной руке и с гусиным пером в другой.

Буторин шел по строкам стихотворения, не пренебрегая ни одним словом. Так например у Пушкина сказано:

Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя

Мимоходом, казалось бы, — деталь, не стоящая внимания. Но у Буторина все очень точно: королевич шел мимо, остановился и берет в плен грозного царя.

У Пушкина говорится:

Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатых.

Художник не забыл изобразить тут и народ.

В первом варианте русалка возлежала, в последнем — она сидит.

В последнем варианте выражение «на курьих ножках» было трактовано прямо противоположно первому варианту: там избушка была без окон, без дверей, — открытая для всех, сквозная, напоминающая каменную беседку или портал,

здесь она тоже «без окон, без дверей», но уже закрытая, бревенчатая.

Расширив и уточнив композицию «Лукоморья», Буторин коренным образом переработал ее и в стилистическом отношении. Первый вариант был написан еще тогда, когда Буторин находился под сильным влиянием Голикова. В первом варианте дуб имел подчеркнuto орнаментальный характер, при чем он целиком был взят с голиковских миниатюр, в частности с голиковской «Парочки» 1924 года. В последнем варианте этот дуб трактован совсем иначе: он дан более реалистично, он представляет собой изумрудный центр картины, вокруг которого — не мешая друг другу и в то же время с чисто пушкинской сжатостью — размещены все другие элементы композиции.

Подобным же образом видоизменились и другие элементы картины. Если в первом варианте леший имел также скорее декоративное значение, то в последнем он трактован динамически.

Так эволюционировал буторинский образ «Лукоморья» на протяжении пяти лет, — на протяжении 15 вариаций.

Мы потому так подробно остановились на этой композиции, что это была первая попытка палешан иллюстрировать Пушкина.

Вслед за «Лукоморьем» Буторин разработал и еще целый ряд сцен из поэмы «Руслан и Людмила»: «Бой Рогдая с Русланом», «Бой с головой», «Руслан и Черномор» и многие другие.

За эту поэму вскоре взялись и другие художники Палеха. Аристарх Дыдыкин в 1930 году написал большой холст (в дальнейшем им было сделано несколько вариаций на папье-маше) «Ратмир у волшебного замка» к словам:

Он на долину выезжает
И видит, замок на скалах
Зубчаты стены возвышает
Чернеют башни на углах,
И дева на стене высокой,
Как в море лебедь одинокий,
Идет, зарей освещена
И девы песнь едва слышна
Долины в тишине глубокой
Она манит, она поет,
И юный хан уж под стеною
Его встречают у ворот
Девиды красные толпою

Иван Зубков написал картину к словам Пушкина:

Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушках осторожно
Седую голову несет и т д

Иван Баканов изобразил плененную Людмилу в саду Черномора.

Вообще на тему «Руслана и Людмилы» написано палешанами не менее пятидесяти оригинальных композиций. Освоив, так сказать, эту поэму, они взялись за разработку в живописи и других сказочных образов Пушкина.

Ив. Вакуров, Голиков, Катухин, Блохин трижды изображали — каждый по-своему — «Сказку о рыбаке и рыбке».

Буторин, Ив. Вакуров, Зубков, Николай Парилов, Алексей Ватагин — «Песнь о вещем Олеге».

Вакуров, Зубков, Маркичев, Павел Парилов — целый ряд сцен из «Сказки о царе Салтане».

Буторин, Мих. Вакуров по-новому показали «Сказку о попе и работнике его Балде».

Иван Баканов и Иван Зубков написали несколько сцен из «Сказки о золотом петушке».

Вот далеко не полный перечень сказочных образов Пушкина, воплощенных палешанами в живописи. Оговариваюсь, что я здесь беру главным образом старых мастеров, не затрагивая работ «второго поколения». Среди всех этих композиций особенного внимания заслуживают две сцены из «Золотого петушка» Ивана Баканова: «У шатра шемаханской царицы» и «Последний разговор царя с колдуном». Кстати, это — позднейшие работы Ивана Баканова, и по ним можно судить о том, насколько значительней стал этот художник, как усовершенствовал он свое мастерство, которое и раньше было у него на самом высоком уровне. Необходимо также отметить великолепную тарелку Ивана Маркичева «Три чуда» (из «Сказки о царе Салтане») и неповторимую композицию Ивана Вакурова из той же сказки — «Гвидон стреляет в коршуна».

Естественным переходом от сказок был переход к «Песням западных славян», к «Воеводе» Мицкевича, к сценам из «Русалки». Здесь Буторину принадлежит несколько вариаций к стихотворению «Будрыс и его сыновья», Алексеем Ватагиным — «Воевода», Ив. Зубков и Дм. Буторину — сцены из «Русалки». После этого палешане стали изучать пушкинские поэмы.

Иван Баканов создал совершеннейший по композиции «Бахчисарайский фонтан». Иван Голиков по заказу Большого театра написал десять сцен из «Бориса Годунова». Последние заслуживают специального исследования, потому что это — шедевры. Трагедию «Борис Годунов» затрагивали и другие художники Палеха: Иван Зубков и Александр Баканов (племянник и ученик Ивана Баканова).

«Цыгане» нашли отражение в трех картинах трех мастеров — Бугорина, Ив. Вакурова, Зубкова.

И затем Иван Зубков написал сцену из «Графа Нулина» и из «Полтавы».

Разработка пушкинских поэм в настоящее время в самом разгаре, и палешане обещают еще очень много дать в этой области. Они уже раскрыли по своему «Евгения Онегина» (Ив. Зубков — «Встреча Онегина с Татьяной», Дм. Буторин — «Дуэль Онегина с Ленским», Аристарх Дадькин — «Сон Татьяны»).

Наконец и лирика Пушкина не прошла мимо внимания палешан.

Иван Маркичев — художник женственных образов — был очарован пушкинской «Бурей» («Ты видел деву на скале») и создал прекрасную композицию на эту тему. Иван Голиков множество раз повторил теперь уже славных своих «Бесов», которые так отвечают характеру его творчества.

И все же здесь перечислено не более половины того, что сделано палешанами в области пушкинской тематики. Все это ждет своего исследователя, все это ждет популяризации в широких читательских массах.

Я читаю Пушкина. Я раскладываю фотографии с палехских рисунков. И

всякий раз мне приходят на ум пушкинские слова: «Мы ленивы и не любопытны». В самом деле, спросите у любого пушкиниста: знает ли он, кто за сто лет лучше и больше всего иллюстрировал Пушкина, — и он вам не скажет. И еще я думаю о том, что придет время, когда мы будем держать в руках собрание сочинений Пушкина с иллюстрациями палешан.

II. Максим Горький и Палех

«... Искусство Палеха вполне достойно более широкой и грамотной оценки, чем та, которой оно пользуется у нас, достойно и более высокой оценки материальной»

М. Горький.

(Из неопубликованного письма)

Прошло полвека с тех пор, как никому неизвестный подросток Алеша Пешков жил «в людях». Тогда, полвека назад, жизнь столкнула его с иконописцами. В иконописную мастерскую, куда он поступил учеником, работали и «богомазы» села Палеха: Виктор Салаутин, Павел Одинцов, Ситанов; первые два — коренные палешане, третий — уроженец деревни Поганино, что под Палехом.

Алеша Пешков не учился писать иконы, он только растирал краски. Но работа в иконописной мастерской, как и другие его работы в людях, была одним из его университетов: все было нужно для главного, ничто не пропало даром. В жизни художника нет таких мелочей, которые не стоили бы его внимания. И Алеша Пешков — будущий Максим Горький — запоминал все, чем богата была жизнь тогдашних «богомазов». А богата она была скукой, пьянством, безнадёжностью и чахоткой. Лишь изредка жизнь дарил «богомазам» минуты светлой радости и непринужденного веселья.

Таким радостным событием в их жизни был тот вечер, когда Алеша Пешков прочитал им «Демона» Лермонтова. Иконописцам открылся новый, до того неведомый им мир, они твердили отдельные стихи поэмы, переписывали поэму в свои тетради, они философствовали о

жизни и смерти, о рае и аде, о боге и дьяволе.

В мастерской лучшим живописцем-личником был Жихарев. Он нередко говорил:

— Связали нас эти подлиннички... Надо прямо сказать, связали¹⁾.

В душе он был настоящим художником. Он писал свои иконы так, что ему было жалко расставаться с ними («жальность эта не всем доступна»), и по окончании работы напивался. Так вот этот самый Жихарев, услышав чтение «Демона» Пешковым, сказал слова, которые мог сказать только художник:

— Демона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные — сурником, а личико, ручки, ножки до-синя белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Но Жихарев тогда не мог написать «деймона», ибо искусство его принадлежало не ему, а церкви, — он не был волен в выборе тем и композиций. Связанный «подлинничками», он мог лишь мечтать о «демоне». К тому же его мастерство было ограничено писанием только «ликов» — лиц и ручек, — то есть очень небольшой, хотя и самой важной, частью производственного процесса. В повести «В людях» Максим Горький так изображает этот процесс делания иконы:

«Иконопись никого не увлекает: какой-то злой мурец раздробил работу на длинный ряд действий, лишённых красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. (Разрядка всюду моя.—Е. В.) Косоглазый столяр Панфил, злой и скупой, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров: чахоточный паренёк Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет «левкас», Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор; «доличчики» пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без

¹⁾ См. повесть М. Горького «В людях».

лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников».

Ограничение творческой личности мастера путем стандартизации художественного процесса (личники, доличники), с одной стороны, и тематический мертвый круг (подлиннички), с другой, привели к тому, что иконопись как искусство еще задолго до революции выродилась в безрадостное ремесло.

Революция же произвела удивительную метаморфозу в судьбе художественного Палеха: уничтожив иконопись, она открыла бывшим «богомазам» неограниченные тематические возможности и вновь соединила работу в один неотрывный процесс. Палешане рисуют теперь не иконы, а картины и миниатюры на самые различные «светские» темы. Бывший палехский иконописец, а ныне художник, рисует свое произведение с начала и до конца единолично, не передавая его, как по конвейеру, другому.

И только теперь, через полвека, мечта Жихарева — одного из героев горьковской повести — сбылась. Иван Вакуров, один из лучших художников возрожденного Палеха, прочитав повесть Горького «В людях», решил осуществить замысел Жихарева и написал «Демона». К сожалению, у нас не сохранилось его картины. Поэтому приходится только констатировать этот знаменательный факт: то, о чем полвека назад мечтал «богомаз», осуществлено теперь... «Демон» Вакурова — это голос из столетия в столетие, это наглядное доказательство той принципиальной разницы, какая существует между Палехом прошлого века и Палехом сегодняшнего дня.

Современный Палех — это творческая школа. Неслучайно о нем сказано одним неизвестным поэтом:

Ты — единственное, Палех,
Академия-село

И это не преувеличение. Село Палех, когда-то центр иконописного промысла, ныне стал средоточием неподражаемого искусства, в котором светятся все огни нашей эпохи.

И Максим Горький вложил немалую долю личных своих забот в дело воз-

рождения палехского искусства, в дело укрепления артели древней живописи.

Через полвека произошла новая встреча писателя с Палехом — сначала в плане искусства, а потом и личная встреча с палешанами.

Горький оказался одним из любимейших писателей палехских художников, и творчество его облеклось в их краски. Это было естественным результатом той творческой свободы, какую революция открыла Палеху.

Палех имеет богатое разнообразие тем. В круг палехских образов входит сказка, песня, пейзаж, идиллия, гражданская война, реконструктивный период и множество образов, заимствованных у художественной литературы. Живописная переработка литературных сюжетов в творчестве Палеха занимает приблизительно пятую часть всех композиций. И в числе этих литературных образов творчество Горького стоит на втором месте (после Пушкина).

Первым из палехских художников за реализацию горьковских образов в живописи взялся Дмитрий Николаевич Буторин. Вот что пишет он в своей автобиографии:

«Стал читать произведения Максима Горького. Тут еще больше нашел я тем, и они современнее, как например рассказ старухи Изергиль о смелом Данко, как он жертвовал собой, чтобы вывести людей из мрака к свету. Это мне очень напоминает нашу коммунистическую партию, которая тоже ведет нашу республику и пролетариат всего мира к социализму»¹⁾.

«Данко» — любимейший герой Дмитрия Буторина. Идейная сущность этого художника — отвага, смелость, самоотверженность, готовность принести себя в жертву. Неслучайно Буторин впоследствии написал картину «Смерть Чапаева», ибо, по Буторину, Чапаев — тот же Данко. Путь Дмитрия Буторина — от «Смелого Данко» до «Смерти Чапаева» — это закономерный лирический путь художника. На этом пути нет ни-

¹⁾ Эта и другие цитаты взяты из книги «Палешане», готовящейся к печати. — Е. В.

чего случайного, все взаимно обусловлено, каждое произведение «преломляемо всем рядом смежно-лежащих»¹⁾). Художественная манера Дмитрия Буторина — это порыв, скованный ясной мыслью и твердой волей, это краски, чеканно сжатые золотом и серебром. Композиции его всегда экономны, строги по рисунку, и лица его героев всегда выразительны, хотя по отношению к миниатюре это является обязательным. Колорит картины всегда соответствует тому психологическому колориту, которым проникнута тема.

Дмитрий Буторин написал около десяти вариаций на тему «Смелый Данко». Вот одна из них. На фоне дремучего пейзажа движутся люди. Данко с горящим сердцем в руке ведет их вперед, сквозь серебряные дожди к золотому солнцу. Во всей картине одно волевое начало, одна целеустремленность: фигуры людей устремлены почти по диагонали — снизу вверх — в едином порыве. Данко — в центре картины. Из его груди течет кровь.

Дмитрий Буторин создал едва ли не лучшую иллюстрацию к поэме Максима Горького. Композиция его относится к 1926 году. Он сделал почин. Вслед за ним многие художники Палеха раскрыли собрание сочинений Максима Горького и стали искать у него красок.

Так началась новая дружба между писателем и Палехом.

Для того, чтобы показать, как палешане перерабатывают в своей живописи сочинения М. Горького, достаточно остановиться на двух темах: «Буревестник» и «Песня о Соколе».

«Буревестник» был осуществлен двумя палехскими художниками — Николаем Зиновьевым и Иваном Вакуровым. Каждый из них по-своему подошел к этой теме.

«Буревестник» Николая Зиновьева — это прямоугольник, разделенный горизонтально на пять частей — с портретом писателя посередине и с четырьмя миниатюрами по краям. Бурное море, гроза, лежащие пгицы — все это написано со свойственной Николаю Зиновьеву

свежестью. Но художник осуществил эту тему не органически, а чисто иллюстративно. Декоративный характер зиновьевского «Буревестника» виден уже в самой симметричности расположения отдельных картин с портретом посредине.

Совсем по-иному подошел к этой теме Иван Вакуров. Его «Буревестник» — это не только иллюстрация к «Буревестнику» Горького, это вернее «Буревестник» Ивана Вакурова, порожденный «Буревестником» Горького, это самостоятельное произведение искусства. Художник внес здесь много своего, чего нет у Горького, но что, естественно, скрывается за кулисами горьковской поэмы. Сама птица — буревестник — занимает в этой композиции второстепенное место, ибо ее заменила та большая социальная символика, которую Вакуров почувствовал в горьковском «Буревестнике».

И еще одно важное обстоятельство: Иван Вакуров, прочувствовав «Буревестник», вложил в него не столько символику революционного предгрозя, сколько символику современности, эпоху капиталистического кризиса, эпоху активизации революционных сил всего мира.

Композиция Ивана Вакурова очень проста: могучий человек, весь в красном, стоит на скале, выросшей из моря: в волнах гибнет корабль, старый мир, разбившийся об эту скалу. Но простота ее только внешняя, формальная. Иван Вакуров в своем сочинении, озаглавленном словами Горького: «Человек — это звучит гордо», так пишет об этой своей картине:

«Горького я люблю все книги. Его «Буревестник» я считаю пророческим предсказанием революции. Я не забуду, как в девятнадцатом году декламировал это произведение один провинциальный артист в заводском клубе, в Перми, где я работал в качестве гримера. Так было сильно сказано, что, помню, мурашки по спине пробегают. Тогда-то мне и пришла в голову мысль написать картину о песне «Буревестник». Мне в своей картине хотелось угадать, что думал

¹⁾ Выражение А. Белого.

автор этого стихотворения. Мне хотелось написать, чтоб море вместе с небом кипело, как металл в котле, чтоб бурей кидало горы И все исходило бы от того человека, который стоит на красной горе. Человека нужно создать нового, как будто он родился из этой горы. Человек, чтоб был силен, — я не говорю, чтоб он был силен, как бык, а наоборот. умен, то-есть велик умом, чтоб мог он побеждать и подчинять себе море и воздух и все, чтоб капитал сотрясаясь от его орлиного взгляда Мне хотелось, чтоб человек этот был похож на рабочего и на писателя, и на строителя и чтоб мог он мудро управлять государством.. Наверное я не передал всего этого своей кистью, — Горький наверное это думал.

И дальше Иван Вакуров переходит уже от темы «Буревестника» к размышлениям над тем, каким должен быть человек в искусстве и в жизни будущего:

«Человек нового искусства должен быть одет просто, с открытой головой и с открытой душой, но — силен и привлекателен.. Мужчина должен быть создан в искусстве величествен, то-есть силен волей, могуществен, грациозен и умен, он должен уметь все подчинять своей воле, а не грубой силе. Если поставить рядом с таким мужчиной миллиардера в цилиндре и сорочке, с моноклем, — он должен казаться смешной куклой».

Так пишет малограмотный Иван Вакуров, житель села Палеха и член пахотского колхоза, — один из крупнейших художников нашей эпохи.

Человек, которого он смело поместил, как главную фигуру в «Буревестнике», мог быть создан именно теперь, когда на наших глазах творится новое сознание, когда человек социалистического общества встает во весь рост.. И не случайно Иван Вакуров в своем сочинении упомянул о миллиардере в цилиндре: его «Буревестник» — это вызов тому

миру, который зовется капитализмом. Человек Ивана Вакурова символизирует собой всю нашу страну — ударную бригаду мирового пролетариата. А в целом «Буревестник» Ивана Вакурова — это документ нашей эпохи так же, как «Буревестник» Максима Горького — документ эпохи революционного предгрозья.

Николай Зиновьев, которому принадлежит первая композиция «Буревестника», задался целью разработать тему «Песни о Соколе». К этой теме он подошел уже более органически, чем к теме «Буревестника». Здесь, как и у Вакурова, самостоятельный идейный момент превалирует над орнаментально-иллюстративным.

Композиция «Песни о Соколе» состоит как бы из трех «этажей»: художественное повествование идет снизу вверх — от реального к мечтаемому — от горьковского рассказа, как такового, через песню — сердце рассказа — к его социальной сути. Внизу, на первом плане картины, эта реальность заключается в том, что не кто иной, как сам Алексей Максимович слушает песню, которую рассказывает ему старый чабан. Горький и старик сидят возле костра, у скалы, на берегу моря. Алексей Максимович захвачен поэзией песни, взгляд его высокий и созерцательный. Старик распустил свои руки в песенной ритмике. Выше, на скале, веревкой свисая уж, за скалу цепляется раненый сокол. Второй «этаж» — это сама песня, тогда как первый — лишь рассказ о песне. Первый «этаж» написан живыми красками, с яркими тенями и светотенями, ибо это — реальность, ибо это — действительный Горький, который, действительно, как в рассказе, слушает песню старого чабача. Выше реальность превращается в символику, теряя тяжесть красок, в возвышенность в прямом и переносном смысле: сокол и уж написаны прозрачнее, менее густо, менее плотно и весомо. И наконец красочная реальность истаявает в золотое в самом верху, как бы заменяя облака, написаны одним золотом, с легкой приплавкой багряца, силуэтные фигуры восстание, бабочка, знамена и герои революционных

бить. Третий «этаж» наиболее условен и наименее реалистичен.

Живописный ритм под'ема — от реальности к мечте—от краски к золоту—снизу вверх — очень соответствует тому поэтическому ритму под'ема, которым проникнута поэма:

О, смелый сокол!
В бою с врагами
Истек ты кровью

И не спроста Николай Зиновьев на третьем «этаже» своей композиции, — там, где изображено восстание, — не спроста он золото оттенил багрецом. багрец, оттеняющий баррикадное золото, — это как бы кровь раненого сокола, о которой сказано:

«... Но будет время, — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света. . Безумству храбрых поем мы песню».

Иван Маркичев — самый женственный по характеру своего творчества — написал картину на тему «Мать». Послушаем, что сам он говорит об этой картине:

«.. Я захотел написать тот момент, когда мать и Софья пришли к дегтярям с нелегальной литературой, и их беседу. В лесу у шалаша дегтярей было четверо: Рыбин, Игнат, Ефим, Яков и свидетель. Прежде всего нужно было передать типы участников этой беседы, как их рисует Горький: мать, слушающую с улыбкой радости и удивления, с приподнятой правой бровью от полученного когда-то шрама. Софья, бледная и худая интеллигентка. Обе в деревенских платьях. Рыбин с расстегнутым воротом красной рубахи, с худым лицом, неровной бородкой и хищно загнутым носом. Остальные трое дегтярей, молодые парни, внимательно слушают рассказ. Силантий сидит на пне, протянув руки к огню, худой, бледный и длинный. Все семь человек сидят около костра. Говорит одна Софья, с поднятой вверх рукой, как бы показывая на то, о чем говорит, и перед слушателями проходят карти-

ны борьбы народов за свободу. Это изображено мной вверху над деревьями, окружающими поляну, золотом. Мужики слушают рассказ со строгим вниманием, боясь пошевелиться. Лишь порой кто-нибудь из них подкладывает дров в огонь. А Софья говорит:

— Настанет день, когда рабочие всех стран поднимут голову и твердо скажут: довольно, мы не хотим больше этой жизни. Тогда рухнет призрачная сила сильных своей жадностью, уйдет земля из-под ног их и им не на что будет опереться...»
Нельзя не упомянуть и других произведений Горького, которые послужили темами для палешан.

Александр Котухин написал миниатюру к словам рассказа «Старуха Изергиль»:

«Однажды во время мира одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пушечные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю».

Наконец ряд палехских художников — Буторин, Дадыкин, Зубков, Павел Париков, Солонин и другие — каждый по-своему — не раз изображали различные сцены из пьесы «На дне», «В харчевне», «Зазубрина» и другие.

История поступила мудро: творчество Горького, когда-то мальчика иконописной мастерской, жившего среди палешан, нашло лучшего своего художника в лице палешан же, бывших иконописцев.

В свое время палешане преподнесли Алексею Ивановичу Рыкову письменный прибор, состоящий из двенадцати предметов, расписанный Иваном Голиковым Рыков переподал этот прибор Алексею Максимовичу. Это было еще до приезда Горького в Советский Союз, до весны 1928 года.

Там, в Сорренто, Алексей Максимович был поражен исключительной тонкостью и великим мастерством, с какими были выполнены все миниатюры письменного прибора. Тогда он наверное вспомнил свое отрочество, проведенное

в людях, вспомнил палешан, работававших с ним. Рассказывают, что, получив прибор, он поставил его на столе и каждого иностранца, входившего к нему, брал за руку, подводил к письменному столу и много говорил о палехском искусстве, о художниках-самоучках.

Наступило время его приезда в Советский Союз. Один из любимых его поэтов, житель Иваново-Вознесенска, Дмитрий Семеновский писал тогда в «Рабочем крае»:

Хорошо голубое Сорренто,
Но прекрасна и та страна,
Где быллинного Волхова лента
В большевистский бетон вплетена

Возвращайся же к нам, буревестник,
Нашей встречи ничто не мрачит
Горький — речи родимой кудесник,
Человек — это гордо звучит!

И тогда же, в дороге, Алексей Максимович еще ближе познакомился с Палехом.

Вот что пишет председатель Палехской артели древней живописи А. И. Зубков в своей «Истории артели»:

«Весной 1928 года тов. Ганецкий с тов. Халатовым, Скворцовым-Степановым и другими выезжали встречать Максима Горького, и на пути в Советский Союз тов. Ганецкий познакомил Алексея Максимовича с некоторыми произведениями наших художников. Горький и другие, ехавшие с ним, очень заинтересовались. Вскоре тов. Ганецкий при активной поддержке М. Горького собрал для артели десять тысяч рублей — на оборудование помещения для нашей мастерской: Госиздат дал 3 тыс., Госторг — 3 тыс., «Известия» — 3 тыс., «Красная газета» — тысячу рублей. Деньги немедленно были переданы в Палех с объяснительным письмом Ганецкого».

Затем Алексей Максимович прислал в Палех богатую библиотеку по истории искусств. В настоящее время при очень близком участии его в Палехе создается музей.

Весной этого года Максиму Горькому привелось вновь встретиться с палеша-

нами, только уж не с теми, у которых он учился иконописи, а с художниками, известными миру, — с Иваном Голиковым, Дмитрием Буториным, Александром Зубковым, А. А. Глазуновым. Они встретились, как старые приятели, как люди одной профессии.

Вот что пишет об этой встрече несравненный Иван Голиков в своих мемуарах «Сквозь бури эпохи»:

«... Алексей Максимович расспрашивал нас об искусстве и нуждах артели и вспомнил наших отцов — иконописцев. Некоторых он знал в детстве, когда был учеником в иконописной мастерской в Нижнем. Рассказал нам, какой интерес наше искусство имеет за границей и какой упадок наблюдается в искусстве Запада. А. М. спрашивал меня, как я живу материально. У него в это время находились две мои миниатюры. А. М. спрашивает, сколько я потратил времени на эти миниатюры. Я сказал, что месячный заработок от этих работ 250 рублей.

— Мало, — говорит, — на семью в десять человек.

И добавил:

— Пишите, в чем вы нуждаетесь.

Тут же лично А. М. дал нам ряд художественных изданий по искусству. Рассказал нам, как поторговываю нашими вещами коллекционеры и какая нашим вещам стоимость. Цифры я забыл, но что-то очень дорого.

Пожелал мне успехов в иллюстрировании книги «Слово о полку Игореве».

А Дмитрий Буторин — автор «Смелого Данко» — в своих записках «Век живи — век учись» так рассказывает о встрече с Горьким:

«.. Этого великого художника я видел и говорил с ним. Когда я был весной 1932 г. в Москве, Зубков мне, Голикову и Глазунову сказал, что сегодня мы поедем к Горькому. «Вот это номер, — думаю, — увидеть того человека, произведения которого мы передаем на картины. Наверное, думаю, проберет за нашу работу». Почему-то по портретам он мне казался

сердитым. И что ж, когда пришел, увидел — совсем не то, что я видел в изданиях: не седой, мягкие черты лица, добрая улыбка и, когда говорит или спрашивает, — один глаз прищурит. И не только не бранил нас за работу, но спрашивал, чего у нас не хватает, в каком материале нуждается, чем нам еще помочь... Очень одобрил мысль Е. Ф. В. об издании нашей коллективной книги».

Затем палешане рассказывают, что Алексей Максимович показал им фотографический снимок с его портрета работы Павла Корина. История этого портрета такова. Осенью 1931 г., перед отъездом в Сорренто, Алексей Максимович познакомился с палехскими художниками, живущими в Москве, — братьями Павлом и Александром Коринными. Убедившись в их талантливости,

Алексей Максимович понял, что им не хватает близкого знакомства с лучшими произведениями мирового искусства, и увез братьев-художников с собой в Италию. Летом этого года они вернулись, вооруженные новыми знаниями и обогащенные впечатлениями. Там, в Сорренто, Павел Корин и написал портрет Максима Горького.

— Это лучший из всех портретов, написанных с меня художниками, — сказал Алексей Максимович палешанам.

Это очень знаменательно: лучший портрет Горького написан художником, вышедшим из Палеха, потомственным иконописцем.

Так через полвека повстречались старые друзья.

Связь Горького с Палехом не случайна, — это органическая связь.

6. ОБ АРИСТАРХЕ ЛЕНТУЛОВЕ

А. Эфрос

(Выставка 25-летия его творчества)

Он был самым веселым художником своего поколения, пожалуй, даже веселее Ларионова, «Миши Ларионова», — главного изобретателя наших «измов», верховного пугала уравновешенных зрителей, живописца огромного дарования, но и редкого бездельника в искусстве из-за излишней деятельности в сочинительстве забавных и нечуждых теорий о том, как надо писать; картины служили Ларионову иллюстрациями к домыслам; он расходовал себя на манифесты, монологи и споры; он обожал произносить речи на диспутах; он развертывал убедительнейшие аргументы, начинавшиеся свежесочиненными парадоксами, переходившие, под действием топота и криков слушателей, к поминованию родителей оппонентов и кончавшиеся полетом разных предметов с эстрады в аудиторию, а иногда и дракой с полицейскими последствиями. Ларионовские скандалы мы, молодежь девятьсот десятых годов, еще очень помним; а юнцы сегодняш-

него дня могут заглянуть при случае в газетную хронику тех лет. Было весело.

Лентулов — другого склада. Склонностей к теоретизированию он не чувствовал. Он был весельчаком-практиком. Он не говорил, а делал. Он писал много, выставлялся охотно, работал всюду; но все, что он производил, он производил так задорно, смешливо, шумно, жовиально, так похохатывал и погрохатывал, что зритель ежился. Он держал ухо востро. Он подозревал, что все это делается нарочно. У него складывалось убеждение, что Лентулов в сущности показывает ему язык и хочет оставить его в дураках. Зритель оборонялся. Он пустил в оборот утверждение, что Лентулов — несерьезный художник; искусство для него не дело совести, а дурачество; он и к себе самому относится не лучше; он шутует с собой, как с другими.

За аргументами не нужно было далеко ходить. Они сами давались в руки

тому, кто их искал. Кто в десятых годах сооружал страхальные, кубистические автопортреты такого вида и размера, что слабонервным рекомендовалось не подходить? — Лентулов! Кто в пятнадцатых годах под футуристическим самоизображением, пестрополосным, вызолоченным, высеребрённым, подписал название: «Grand Peintre Russe» — «Великий русский живописец»³ — Лентулов! Кто в первомайское празднество революции размалевал насквозь весь Охотный ряд, от Тверской до Дмитровки, цветным супрематизмом, загогулинами и завитками, слепившими глаза и мутившими мозги? — Лентулов! Кто в октябрьскую годовщину выкрасил деревья и газон скверов Театральной площади в неистово-фиолетовый цвет, темперой, какой пишут в театре декорации? — Лентулов! К этому так привыкли, что ему приписывали даже то, чего он не делал. Это прилипло к нему само собой. Он был на положении какого-то художественного «Каннитферштана».

Его веселость опорочивалась и с другого конца. Ей противопоставлялась серьезность его сотоварищей и соратников. Разве они были такими? Основные фигуры русского кубизма, футуризма, кубо-футуризма, лучизма, супрематизма и т. д., и т. п., строявшие рядом с Лентуловым в 1910—1920-х годах, выглядели иначе. Они были важны и собраны. Они веровали и проповедывали. В их действиях была значительность. У Кончаловского уже была осанка верховного вождя, у Малевича — вид столпника, у Татлина — облик великомученика, у Филонова — фигура апостола, даже Ларионов был явственно подбит одержимостью юродивого. Если их нельзя было признать и трудно было уразуметь, то все же с ними хотелось считаться: какая-то тайная робость шевелилась в зрителе: чорт их знает, может быть, в самом деле... А в руках Лентулова весь этот смертоносный и сложный арсенал левейших «измов» оказывался безделицей. Он превращался в набор занимательных шуток, в живописное престижигаторство, в игру жизнерадостного темперамента,

так расходующего свою потребность и свое умение писать. Кто-то кого-то разоблачал: то ли Лентулов товарищей по «измам», то ли товарищи по «измам» — Лентулова. Ответ напрашивался сам собою: вот их серьезность — вот его веселье.

Так складывались отношения с ним. Год подбирался к году, пяток к пятку, — оказалось, стукнуло двадцать пять лет. Теперь Лентулов — юбиляр. Это представляется неправдоподобным. У нас ощущение забавного казуса и никакой почтительности. Подмывает сказать почеховски: «Дорогой и многоуважаемый шкаф...» — и в ответ лишний раз увидеть собранные в серьезную складку брови и необъятную в ширине своей улыбку на круглом лентуловском лице.

Однако в зале «Всекохудожника» большая выставка, по щитам вытянулись ряды холстов, акварелей и рисунков, вещи размещены в музейном порядке, собраны по периодам, датированы, аннотированы, линии переходов очерчены точно и наглядно, у входа — стопки каталогов со статьями, перечнями и воспроизведениями. Как это ни удивительно, но Лентулов в самом деле подводит итоги. Он юбилярствует. Он требует, чтобы его изучили заново и расценили всерьез.

Что же, может быть, в самом деле пора! Мы и впрямь никогда не видали Лентулова собранным так вместе. Еще ни разу не доводилось сопоставлять его в таком количестве и с такой отчетливостью. Ретроспективные выставки вообще дают незнакомый облик знакомому художнику. В этом их особенность. Никогда наперед не знаешь, что они принесут. Шутки с ними плохи. Старой репутацией тут не отделаешься. Это — тяжелое испытание, особенно для мастера не первых сил. Достоинства не исчезают, но куда явственнее проступают слабости. Зато если новый итог складывается в пользу испытуемого, — приговор становится окончательным; он выверен и крепок. Так обстоит дело с Лентуловым. Бой со своим двадцатилетием он выиграл; его история интереснее, нежели мы привыкли думать. Но он вышел из тяжбы в таких синя-

ках, что его благополучие все облеплено свинцовыми примочками.

Две черты выдвигаются вперед: самое настоящее дарование и самая настоящая несамостоятельность этого дарования. Какой превосходный талант, — и какое бабье одеяло этот талант! В любом положении он находит выход, — но почему, собственно, спрашиваешь себя, оказался он в таком положении? В какой бы «изм» Лентулов ни забрел, он с непринужденной эффектностью выпутывается из трудностей, — однако что заставило его притти и что заставило уходить? Несомненно, у Лентулова блестящая легкость кисти, но, сдаваясь, и легкость в мыслях необыкновенная.

Я стою в центре зала: линия щитов тянется беспокойно и извилисто; она следует особенностям помещения; в нем есть углы, закуты, завороты. Для экспозиции это — из'ян; для Лентулова это — выигрыш. В каждом разделе у него особый «изм». Их много, — их больше, чем у кого-либо из его сотоварищей. В сравнении с ними Лентулов кажется всеядным. Те были скупее и разборчивее. У них есть свое и несвое. Там можно говорить о линии развития и о системе элементов. Нетрудно изобразить эволюцию Кончаловского, того легче — Машкова или Куприна, совсем прост Татлин или Малевич, одnodумы и тяжелоходы. Но я не знаю, как обозначить и как связать воедино то, что именуется искусством Лентулова. Это можно описать, но не определить. Это — лоскутное царство. Какой набор живописцев в одном лице и какая пестрота вкусов у этих живописцев! Почему одно сменяло другое, и одно соседствовало с другим так, а не иначе? Что заставило Лентулова переходить от течения к течению, от манеры к манере, от приема к приему? Если это опыты, — в них нет системы; если это развитие, — в нем нет обязательности.

Пост-импрессионизм лентуловской живописи 1910-х годов вовсе не обуславливал необходимости перехода к футуристическим опытам, заполнившим 1912 — 1918 гг., а эти футуристические холсты совсем не обязывали к

кубизму, которым были заняты 1918 — 1922; точно так же нет прямого пути для превращения кубистической сюиты в декоративный натурализм 1923 — 1925 гг.; от этого натурализма прямо не пройдешь в декоративную романтику полотен, помеченных 1925 — 1929 гг.; и уж никак иначе, как прыжком, нельзя отсюда попасть к лентуловскому реализму сегодняшних лет.

Это — кривая эклектики. Она неорганична. Ее напряженность пассивна. Лентулов — не вождь и не открыватель. Он повторяет чужие слова, — но убежденно, словно собственные. Обстоятельства его использовали чаще, чем он их. Он шел за приманками всех мод и тянулся за погрешками всех чудачеств. В нем есть нечто неискоренимо ребячливое. Его вечно берет за руку какая-нибудь очередная тетя, — и тридцатилетний, сорокалетний, пятидесятилетний бутуз послушно идет туда, куда его ведут. О художниках такого склада Бардбе д'Оревильи говорил когда-то: «Un jeune homme, qui promet tousjours» — «Вечный, многообещающий молодой человек».

Однако у него есть то второе качество, которое умеет заставлять если не забыть о первом, то мириться с ним. Оно не раз и не два успешно заслоняет его бедную породу эклектика. Это — подкупающая талантливость. Что бы ни приходилось ему делать, он делает, как подлинный художник. Он не натужлив и не кропотлив. Он как-то естественно удачлив. В нем есть настоящий артистизм. Он легко и просто решает свои задачи. Ему не приходится блуждать, пробовать, копить эскизы, слаживать композицию. В его картинах чувствуется быстрота замысла и непринужденность выполнения. У него огромный темперамент, но он не давит. Он разрешается фейерверком декоративных веселостей и жизнерадостной живописностью. Он обладает даром сообщать путаным теориям занимательность легкой практики. Мрачнейшие «измы» кажутся привлекательными. Надо поглядеть, чем стал под кистью Лентулова центральный период его искусства, эти кубо-футуристические композиции, чтобы оценить

неизменную улыбочивость его дарования. То, что Гийом Аполлинер, основной теоретик и пропагандист французских «измов», один из талантливейших лукавцев и изобретательнейших мистификаторов западного искусства, писал о Фернанде Леже, кубо-футуристическом учителе Лентулова, может сойти и за лентуловскую характеристику этой поры: «un petit maitre galant du XVIII siècle» — «галантный щеголь XVIII века». Такое определение неожиданно; однако оно не только забавно, но и верно.

В самом деле, полотно, у которых должна была быть страшная внешность, приобрели нарядно-манерный вид. Это — кружево цветных стружек («Война 1812 года») или веера декоративных плоскостей («Самовар»), или планиметрия пышных красочностей («Пакет М. П. Л.», «Звон»), или картонажи расцветенных и раззолоченных выклеек («Василий Блаженный», «Москва»). Это так весело, что забываешь спросить, для чего это надо. Смотришь на них, — и дивишься ловкости рук человеческих. Она вынуждает даже согласиться, что в таком искусстве есть своя прелесть и свой смысл. То, за что Лентулова когда-то корили, превратилось теперь в его достоинство. Его несерьезность к «измам» стала серьезным качеством. Там, где его упрямые футуро-супрематические друзья увязали, он оставался цел. Он садился на их «измы» стрекозой, снимал то, что блесло поверху, — и улетал. Он превращал все в живописный аттракцион. В конце концов, если «измы» и выносятся, то только в таком лентуловском облиции. Это — эстрадное искусство красок, эквилибристика кисти, сальто-мортале палитры. Это какие-то вторые жанры живописи.

— Неужели не больше? — Неужели стоило на это тратить целое десятилетие истории искусства, и такое количество способностей, и такую плеяду художников? — Праздный вопрос, хотя и понятный! Историю уже не пустишь обратным ходом. Но выводы из нее делать нужно. Нужно понять, что если для «измов» и существует дополнитель-

ная площадь, она отведена в задних комнатах искусства. Конечно есть законная область экспериментаторства, лаборатория мастерства, опыты форм и пробы материалов. Но это — область ремесла, а не творчества. Когда же кухня профессионала утверждает себя целью и нормой искусства, надо крепче запираеть двери, чтобы в искусство не тянуло чадом.

В самом деле, — пора сказать вслух, что король гол. Уже нестерпимо глядеть не только на меньших богов абстрактной живописи, на эпигонов супрематизма, на подражателей футуризма, на последышей сюрреализма и «духовного искусства», — но и на верховников беспредметничества, на деформаторский генералитет. Решимся признаться, друзья мои, отечественные французолубы, художники и критики, что даже Пикассо «после-голубого» периода, Пикассо — вождь, Пикассо — абстрактивист и развеществитель, Пикассо живописных головоломок и пластических шарад, стал уже невыносим совершенно так же, как невыносим академический лизун кистью, какой-нибудь Бугро, как невыносим анекдотический рассказчик живописи, какой-нибудь Вотье, как невыносим бутафор исторических картин, какой-нибудь Альма-Тадема. Что же говорить о мастерах второго ранга, о разносчиках вручную, какую бы марку они ни носили, французскую, русскую, немецкую, итальянскую или испанскую, и как бы ни именовались — Леже или Пауль Клее, Хуан Миро или Бранкузи, Озанфан или Кандинский, Макс Эрнст или Малевич.

И впрямь достаточно, — отыграли! Не хотим больше линейных лабиринтов, об'емных схем, цветовой зауми. Хотим огромной жизненности тем, больших вопросов истории, заражающего мастерства форм. Хотим стоять перед современным искусством, как стоим перед классиками, — волнуясь и любя. Хотим, чтобы картина была густокком жизнегнесущей энергии, повестью человеческой борьбы, обобщением дел и дней. Хотим, чтобы искусство строило в нас и нами молодое человечество, новое

общество, социалистическую жизнь. — Значит, придется пересмотреть старые привязанности и каноны? — Несомненно! — Не обойдемся без драки и даже повреждений? — Разумеется! — Но с каких это пор повороты в искусстве можно делать без оббитых носов у вчерашних кумиров? — А наша молодость, сегодняшних сорокалеток, разве была не такова? — Разве ларионовские скандалы, бурлюковские выходы, маяковские грохоты, лентуловские озорства не шли напролом, не стремились быть «пощечиной общественному вкусу» (вот как осмеливался называть когда-то свой боевой сборник молодой футуризм!), — тому общественному вкусу, на который «левые измы» наседали без обиняков и по которому хлопали всей пятерней? Почему же сегодня на иных заслуженных кубо-футуристических лицах лежит такая академическая чинность? Откуда это благовоспитанное негодование против потрясений художественного строя? Не заакадемились ли крушители академических традиций? Или им кажется, что под флагом нового реализма пробивается старая эстетика российских лаптей и сермяги? Но ведь не туда перестраивается наша жизнь. У нее слишком невиданный облик и небывалая суть. Наш реализм — не данное, а искомое. Он будет добит только с бою. Сам собой он не дается. Старыми рецептурами с ним не обойдешься. Анекдотизм и бытовщина тут помогут так же мало, как формализм и абстрактничество. Надо думать и искать. Западное наследство понадобится для этого так же, как и русское. Нам не к чему прикидываться непонятыми родственниками. Но надо уметь и отводить непрошенных родственников. Во всяком случае победителями будут те, кто сумеет глубже взглянуть в жизнь и лучше ее отразить.

Ни отчураться, ни отвертеться, ни отклониться не удастся никому. Придется выбивать из искусства совсем или браться за новые задачи. Центр тяжести в нем уже перемещается с совершенной наглядностью. Нет ничего более захватывающего, чем эта возможность самому, голыми пальцами про-

щупать передвижение элементов. Возьмите в руководители собственное и свободное чувство, побродите по музеям, перелистайте страницы художественных журналов, пересмотрите мастеров и течения: творческий инстинкт и критическое раздумье вычертят вам одну и ту же кривую. На ее изломах будут стоять одни и те же пометки и имена. Вот тот же сегодняшний пантеон Запада. Почему «голубой», ранний Пикассо еще влечет нас, еще нужен, еще держит возле себя? — Потому что в его «Акробатах», «Женщине с абсентом», «Циркачах» и т. д. есть то, чего нет в его деформациях: настоящая жизненность, действительная трагичность, общезначимая реалистичность образов. Что спасает Брака? — Не его пластическое беспредметничество, опустошенное и ненужное, а замечательные натюрморты, в которых есть такая близость к жизни вещей Шардена, — та же жизненная теплота, только выраженная сегодняшними средствами. Скучен, когда не противен, Дюфи, виртуозный кондитер декоративной графики; но прекрасен Утрилло, мучительный живописец парижских предместий, невольный обличитель язв великого города. Пошlostью несет от академических портретов блестящего Фурджита; но никаким зоилам мы не уступим Модильяни, раннего обреченца, вложившего в свои модели такую пронзительную человечность. Уже непочтительную улыбку вызывают экспрессионистические чудовища Руо, но победоносно, всеми соками цветет полнокровное рубенсовское здоровье картин Ренуара. Отчего Матисс, у которого шла исконная борьба за первенствование с Пикассо, выиграл именно теперь старое соперничество? — Потому, что его декоративизм и конструкторство не переступали реалистической основы людских обликов, вещей и жилищ. Он соблюдал это даже в те девятьсот пятнадцатые годы, когда оправлял свои модели в напряженнейшие созвучности цвета и линии. И недаром сейчас, когда Пикассо продолжает прямо бродить по зауми, Матисс все настойчивее смягчает отвлеченность своих форм и все усиливает жизненность

своих образов. Но этот путь стал уже общим для всех, кто не омертвел. Приникновением к реализму сейчас спасает себя каждый художник, который хочет жить сегодняшней, а не вчерашней величиной.

Об этом — больше всего об этом — думаешь на лентуловской выставке. Это мысль об участии целого поколения и о его пригодности для будущего. Смотришь на Лентулова, но думаешь не о нем, — чтобы вернуться к нему. Ибо если его судьба — не только тень левых «измов», он обязан этим нашей революции. Она спасла его. У его длинного двадцатипятилетия оказалось короткое заключение, которое можно назвать «советским эпилогом».

Это — эпилог кризиса и возрождения художника. Я имею в виду совсем не все то, что Лентулов написал с 1918 года. Его живопись послеоктябрьского периода мало чем отличалась от прежней. Он вошел в революцию на инерции прежних навыков. Его кубистические холсты 1918—1922 гг. могли бы спокойно благоденствовать и раньше. И превосходный «Пейзаж с домами и сухими деревьями», и добротный «Автопортрет со скрипкой», и вялые «Девочки», и другие подобные же работы нашли бы себе место и по ту сторону восемнадцатого года. Если есть нечто новое в серии картин 1923—1925 гг., то только смятение: это растерянность, переминание с левой ноги на правую, из декораторства в натурализм и обратно, это — смешные и растрепанные пейзажи какого-то театрализованного Шишкина, — наивное и откровенное пылепускание в «Сборе яблок», то ли надуманно-расцвеченном, то ли реалистически переданном. Так Лентулов лукавил с АХР, когда вошел в него. Так было и тогда, когда вышел. Он решил, что бенгальский огонь и громыхание железным листом за кулисы сойдут за пафос строительства. Таков сырой декоративизм его картин 1926—1929 гг. Это — только грузная суетня. Пейзажи освещены цветными вспышками; здесь короткий блеск и долгая копоть. Огромный «Разин» — оперный певец в древнерусском костюме; он мо-

жет не переодеваясь обслужить еще и «Садко», и «Князя Игоря», и «Аскольдову могилу», и «Бориса Годунова», и «Жизнь за царя». Даже «Переход через Сиваш», первая дань советской тематике, — только фальшивая батальная сцена, тем более несносная, чем больше думаешь о том, какую суровую, многокровную и героическую тему обтreshал так художник.

Это были старые погудки на новый лад. Лентулов, не скажу, отгораживался, но отговаривался от революции. Советским эпилогом можно назвать только самую последнюю пору его искусства. Это работы двух-трех последних лет, — масла и акварели 1930—1932 гг. Лентулов круто и увлеченно, как все, что он делает, повернул к реализму. У его картин непривычный вид. Они заряжены не лентуловским отношением к жизни. В них есть жизнерадостность, но нет балагурства, они сделаны мастером, но не виртуозом, они темпераментны, но без озорства.

Хорошее ли это искусство? — Да! — Большое ли это искусство? — Нет! Оно хорошо, потому что оно достаточно жизненно и достаточно добротно. Оно невелико, потому что его темы еще значительнее лентуловского понимания их и его умения их выразить. Вот две группы этих картин: пейзажи севастьяпольские и пейзажи индустриальные. Для видов Севастополя у Лентулова нашлась тонкость импрессионистической палитры. Это — артистично и воздушно, приятно и даже изысканно. Но это давно уже знакомо, испытано и старомодно. Тут — своего рода лентуловская интерпретация крымских пейзажей Константина Коровина двадцатилетней памяти. Можно начинать и с этого, если Лентулову нужен такой разбег. Но мы, зрители, здесь в стороне, потому что в нашем чувстве и сознании уже существует понятие «советский пейзаж», с его новым смыслом, новым ощущением и, следовательно, — новой формой. Это означает, что уже есть «социальный заказ», что зритель ждет его выполнения и что дело художника его выполнить.

Но еще больше это относится к серии индустриальной — к «Кауперам» и «Крекингам». Они совсем неплохи — эти большие акварели с причудливыми выгибами и коленами труб; они запоминаются, в них есть и темпераментность и техничность, — пафос глаза и пафос руки. И все же в конечном счете Лентулов глядит и нас заставляет глядеть на эти трубы, как дикарь на граммофон. Он бьет себя от восторга по ляжкам, а подойти не смеет. В индустриальном пафосе Лентулова есть убедительная шумливость, как в его акварельной технике все та же нарочитая декоративность.

Словом, если для юбилейного эпилога этого достаточно, — этого куда как мало, чтобы Лентулов мог уже числить себя среди основных мастеров новой эпохи. С таким багажом, как у него, и с такими навыками к кочевничеству это вовсе не просто. Он должен будет выдержать искусство. Верим новому его увлечению, но не верим его постоянству. Ему придется доказать, что это — взаправду и накрепко, а не только очередная интрижка легкого на вспышки человека, заслуженно проносившего в искусстве двадцатипятилетнее звание «цыганского барона».



Книжное обозрение

1. СЕМЕН КИРСАНОВ — «Товарищ Маркс» М. Малишевского. 2. В. ВЕРЕСАЕВ — «Сестры» В. Бойчевского. «Звенья». Сборник первый Ф. Раскольников

Семен Кирсанов.—«Товарищ Маркс». ГИХЛ. 1933 г. Стр. 141. Цена 4 р. 50 к. Тир. 10.000.

Посвятить целое произведение раскрытию образа Маркса — попытка чуть ли не единственная в художественной литературе. Но к этой в высокой степени ответственной задаче тов. Кирсанов, автор поэмы «Товарищ Маркс», отнесся легкомысленно. Тов. Кирсанов формально использовал источники, освещающие образ Маркса, и не поступился ничем из своего лефовского эпитомства.

«Товарищ Маркс» и «Мери-Наездница» написаны одним пером. Это — родные брат и сестра. За несколько лет творческой практики Кирсанов не приобрел ничего, чем бы мог отличить Маркса от Мери. Симпатичное фоксунничество, уместное для образа Мери, здесь, в условиях ответственной поэмы, превратилось в ничего не падающее рифмачество, жонглирующее именем Маркса. Но, если там был безвестный ученик, то здесь широко известный поэт с большим печатным стажем.

Как художник Кирсанов неправильно использовал источники. Он изучал их не с тем, чтобы содержанием насытить свой образ. Тощий образ Маркса он просто уснащал фактами источников.

Неглубокое изучение материала, с одной стороны, заставляет автора сплюсывать эпизоды в рамках данной прочитанной книги из боязни отступить от действительности; с другой стороны, соблазняет его плавать в безудержной «фантазии», на этот раз без всякой связи с источником и действительностью. Отсюда простота и хаотичность фантастического сюжета и искаженный показ Маркса не в жизни, а в какой-то расписанной ярмарочной карусели.

Это видно хотя бы из содержания шести главок поэмы.

I. Сегодняшняя Москва превращается в Париж 47-го года. Невидимка (?) автор идет на поиски (?) Маркса. В трех-четыре местах он его не находит (например на лекции френолога N. N. (?), докладывающего дамам, что «у рабочего мозга — не выдать ни зги» (21). В погребке автор встречается с Гейне, который пишет письмо Марксу в Брюссель.

II. В Брюсселе автор находит Маркса за окончанием Коммунистического Манифеста.

Маркс черкает строки и руку торопит,
И строчка на строчку нанизана (!):
Призрак бродит по Европе,
Призрак коммунизма (49).

На мновенье входит Женни в капоте. Появляется призрак Ленина, у которого «в руках экземпляр „Правды“» (55). «Смотрит на Маркса, Маркс—на него» (56). Это — «октябрьский канун у Маркса в комнате» (56). Затем входят Энгельс и Сталин; начинается «совещание необычайного политбюро» (59). «На повестке... проверка работ советских вперед на полвека», а кстати, «о последней главе Манифеста» (60). Затем «ветерок» и «история» подтверждают написанное Кирсановым:

Мои стихи ветерок прочитал
И понял, что это — так...
Фантазия, греза, стихи, мечта...
Но история скажет: «Факт» (62).

III. Краткая биография Маркса. Его доклад в брюссельской пивной. В связи с упоминанием о кризисе автор переносится в современную Германию. Снова в пивной в Брюсселе.

IV. Фантастическая картинка искажения учения Маркса Каутским и другими ренегатами.

V. 24 февраля 48-го года Марко о Женни на Брюссельском вокзале ожидают вестей из Парижа. Семейная картинка. Арест Маркса.

VI. Высылка Маркса из Брюсселя. Марко попадает в СССР. В Москве, на Красной площади, на трибуне, вероятно мавзолея Ленина, Ворошилов, Сталин и Маркс смотрят парад 15-летия Октябрьской революции. «Вот и я (!) мечтал о такой (?) революции, о такой (?) диктатуре труда» (139) — старчески говорит Маркс Ворошилову, в тоне, мало соответствующем «Марксу-большевику» (140).

Автор в роли невидимки, подсматривающего за Марксом:

Невидимко сплюдяной
Иду, поблескивая седной (?).
Люди думают, это — пыль,
А это — я (26), советской земли доверенный
(36).

Опояляет образ Маркса его «выглядывание».

Как отодрать навар холста,
Чем клей голов отваришь,
Чтоб выглянул из-за полста
Огромных лет — товарищ (9).

Маркс вовсе не закрыт непроницаемым «холстом» и не залеплен «клеем годов». Это — Маркс из какого-то музейного подвала. Для нас образ Маркса живет полной жизнью и не боится ни воздуха, ни солнца.

Впрочем и Октябрь у Кирсанова охарактеризован не иначе: «Вот это — революция! Вот это — да!» (141).

В тоне, соответствующем этому, ведется основное изложение. За небольшими исключениями содержание снижено и вульгаризировано на протяжении всей книги. Это заставляет определять и вкус, и мастерство автора очень невысоко. Все дальнейшие характеристики Маркса беспомощны и комичны.

У Маркса был мироздание ум,
Уйма ума, и если б не умер (кто? — М. М.),
Весь СССР, как студент МГУ,
Сдал бы зачеты марксовой думе (20).

Или: Маркс

Миру раскрыл историю мира,
Как чудо Мозера часовщик (45).

Или:

Его уму такая пирь открыта
Со всех боков,
Он Эпикура кроет Демокритом,
Казня богов (68).

Преувеличенной фактографичностью Кирсанов местами (стр. 75—76) превращает Маркса в фигуру из паноптикума, которая превращает марксово учение. Текст такой речи Кирсанов списывает у Меринга из его книги о Марксе (стр. 117).

Для того, чтобы речь Маркса-Меринга переложить в стихи, Кирсанову приходится или подрифмовать, или прибавлять от себя.

Вот например: Маржо

(Слов спот
В глаза впечатал):
Бумагопрядильный станок
Есть машина для пряжи хлопчатой,
И только в определенных условиях
Капиталом становится он.
Вечер гуще, темней, лиловее,
С башни — десятичасовой звон.

Иногда Кирсанов приписывает Марксу слова, не соответствующие характеру Маркса, например:

Негр есть негр, говоря о любом.

Это для Маркса слишком вульгарно-залихватски.

Или:

Вне этих условий, не в этой судьбе... —

для Маркса слишком мистически-неопределяемо.

Местами дело доходит до того, что не столько Кирсанов выражает Маркса, сколько Маркс — Кирсанова. Например в следующем монологе (!) Маркса:

Маркс говорит просто,
Хлеба простого проще,
Такие слова, что просто
Чувствуются на ощупь.
Капитализм течет (?) на всех парах (?).
Цветет берега реки Просперити,
Но часто банковский крах
Напоминает о смерти.
Выходят за край (?) товаров потоны,
И паводки кризисов близятся,
И тапач с собой капитал гекатомбы
Рабочих, гибнущих в кризисах.
Это (!) рассказывает Маркс,
Над миром слушающим выспись,
И выплывает в глазах у нас
Сегодняшних лет кризисо (80 — 81).

Учению Маркса и Октябрьской революции Кирсанов придает крайне упрощенное значение:

Я командирован рабочей семьей...
... ему (Марксу.../и. /и.) рассказать о том, как
Марксов ум отозвался в потомках.
... о том,
Как домгой (?) становится марксов том (17).

Наиболее удачна IV глава о «рентегадинах», исправляющих Маркса. Относительно связано написана V глава и часть VI. Местами хороша песенка о паровозе (111), отдельные строки о Гейне (32—35), с десятком отдельных выражений: о машине, «широкой в косяках» (27), о песне, которую можно «за пуговку брать» (92), и некоторые другие. Большинство же строк при малейшей попытке в них углубиться рассыпаются от фальши.

В отличие от Маяковского, которому Кирсанов подражает рабски, Кирсанов не владеет ни ритмом, ни рифмами.

Ритм у Кирсанова только сопровождает стихи и обычно непадает смыслу. По существу, одним и тем же ритмом, ужимчатым и триллибувалюющим, катати и некатати Кирсанов «рисует и Гильфердинга о Каутским (93), и дружбу Маркса с Энгельсом (50), и шаг красновардейца (57), и ожидание поезда (111). Часто ритмы сменяют друг друга без всякой логики и причины. Вот кусочек страницы с тремя такими ритмами.

- 1) Меня не звали, меня не просили,
Я сам рассказал, что я из России.
- 2) Я сюда прошел без виз,
без таможен без виз,
Я — ехал.
страны социализм
отраженье, вхо;
3) Все, что здесь, в глазах экрансь (?),
Говорил товарищ Маркс,
станет явственной реальностью,
завоеванной у нас (86).

Если рассматривать рифмы Кирсанова как материал для пополнения известного рифмовника Абрамова, то они подобраны превосходно. Исключения невелики, но показательны, например: света—выступит я (85),

égalité—те (24), жуя—буржуа (21), стула—колдуя (94). Но вне произведения пенить и рассматривать рифмы нельзя. Если есть рифмовник, то поэту не нужно и подбирать рифм, — важно уметь употреблять их. К сожалению, этим искусством Кирсанов не владеет. Хорошо, если рифма приводит его к более или менее терпимой смысловой гримасе, в роде в глазах экранящегося Маркса (86). В других случаях рифма толкает невзыскательного автора на смысл неожиданный и не совсем желательный, например едва ли Кирсанов с полной ответственностью и без дальнейших комментариев будет отстаивать то положение, что будто бы ребята во время МЮД стонут, что они устали:

Как на советской площади
ребята
в МЮД'е,
Женя стонет:
Ich bin müde (123).
— Пощади.

Что хотел сказать Кирсанов этими до стонув утомленными ребятами? Ничего. Просто надо было рифмовать и рифмовать. Ради этой процедуры Кирсанов отыскивает все новые и новые образцы чужих рифм: от Маяковского до Плещеева, от «Гегель—забегал» (122) до «юность—озорница—мысль—зарница» (87).

Прорифмовав слова «Карл» и «Маркс» о чем только было возможно, на стр. 130—131 Кирсанов придумывает сопровождающих Маркса трех воронов, чтобы получить повод срифмовать «Карл» с «карр!...». Этот зловещий эпизод кончается так:

Вдалеке воронье
Оидя спит
в вагоне
«карр!...»
Карл (131—132).

Что же хотел выразить своими рифмами поэт, выпирая имя Маркса в соединении с вороньим карканьем? Ведь для чего-нибудь рифмы да служат!

Невзыскательность Кирсанова велика. Кажется, нет области, где бы он не изменил ей. Вот несколько строк из сотен и сотен подобных:

Лепя рукой оперся о (?) подбородок (56).
Когда говорит Маркс, то от него «отвернуть
нельзя головы» (20).
Контверту клент марку (34).
Мысль сверкнула в ум (87). О голода тонкий
(80).
В блиндажах (101), подъяв (114), слобст (131).

То непереваженными кусками выделяется Маяковский: жизница (7), домина (18), лядки, эдрате (26), стовольною речью лучица разветвив (74).

То через страницу старохрестоматийная елейность:

В тихом шелесте тетрадном,
вскинув прядь со лба,
проплывают светом радужным
все его слова (76).

То сюсюканье пошленького романса:

Мои стихи ветерок прочитал,
И понял, что это — так... (62).

У Маяковского:

Какому небесному Гофману
Выдумалась ты, проклятая.

У Кирсанова:

Сон омерзительный в темное
кошмарится,
Разве что у Гофмана похожие сказки (93).

Кирсанов и Маяковский, в меру своих вкусов, по-разному понимают Гофмана.

В отношении изысканности Кирсанов не брезгает и Игорем Северянином, неуклюже переделывая его «озкранен» на «вэкранено» (95).

Иногда Кирсанов подымается до образов символистской и мифологической мистики, в которых рисует страшное рождение Маркса:

Родился Маркс...
Качнулся (!) Трир,
и трижды (!) воды Рейна
шепнули: «Карл!» (65).

Свои стихи Кирсанов считает выражением диктатуры пролетариата:

И мои стихи — тиски,
Диктатура эта (58).

Не менее нескромно он изображает заседание политбюро вингером: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Кирсанов (61). На этом заседании Кирсанов не только «может», но и «обязан» присутствовать в качестве олицетворения самой поэзии:

По взглядам собравшихся
ясно:
поэзия может
присутствовать здесь
и даже больше —
обязана.

Молодому автору трудно видеть свои недостатки, особенно вскоре после написания произведения. Указанные во время, до написания, многие из них конечно были бы Кирсановым исправлены. Кирсанов заслуживает самого серьезного упрека за порчу такой ответственной поэмы. Но еще большего упрека заслуживает ГИХЛ, выпустивший в полиграфически безукоризненной форме заведомый художественный брак.

В целом поэма, если не везде дает Маркса в карикатурном изображении, то почти везде дает Маркса в карикатурном изложении.

М. Малишевский.

В. Вересаев. — «Сестры». Роман. ГИХЛ. 1933 г.

Задача, которую поставил перед собой в романе «Сестры» Вересаев, — это раскрытие пути глубокой перестройки мировоззрения девушек, вышедших из интеллигентской семьи и постепенно вступающих в борьбу за социалистическое строительство.

Книгу Вересаева мы раскрыли для чтения с большими надеждами. Писатель, так прав-

диво изобразивший искания русской интеллигенции в дооктябрьскую эпоху и ярко показавший в романе «В тупике» интеллигентов в состоянии растерянности и идейной безвыходности, взялся за изображение детей этой интеллигенции, выросших в условиях советской действительности.

К сожалению, последний роман Вересаева не оправдывает надежд читателя, привыкшего находить у этого автора углубленное освещение поставленных им вопросов. Роман начинается с дневника, который ведут сестры — Лелька и Нинка. Дневник отражает внутреннее сматение, переживаемое ими. Старое поколение в лице их матери воспринимается ими как отжившее и неспособное ни к какой перестройке.

Нинка о высоте победоносного величия своей юности так характеризует это поколение: «Милые детишки от пятидесяти лет и выше! Нам с вами никогда и ни о чем не столкнуться. Мы настолько старше вас, настолько опытнее и мудрее, что речи ваши нам кажутся наивным лепетом. Нам приходится суюкать, чтоб разговаривать с вами, а это очень скучно».

Обе сестры чувствуют на себе тяжесть индивидуалистических настроений, что выражается в мечтах Нинки стать «великим шарлатаном».

Индивидуалистические настроения находят выражение в «символе лестницы», который набрасывает в своем дневнике Нинка: «Пришлось мне раньше победать по всей лестнице вверх и вниз, постоять на каждой ступеньке, все узнать самой и продумать все самой же». Вересаев в общем дневнике двух сестер стремится показать различие их путей к пролетариату.

Лелька освобождается из-под влияния своей сестры и решает идти в производство. «Да, ухажу в производство, чтобы выпрямить совышание и «душу» — записывает она в дневнике.

Нинка отвергает ее путь. Не желая стать «стандартным» человеком, она надеется прийти в партию позже Лельки, быть внутренне богаче ее и не убивать искусственно свою личность.

Часть вторая изображает Лельку в производстве, на работе на большом галашном заводе. Она входит в рабочую среду как сила, ведущая за собой отсталую, порой инертную массу. Мы узнаем об ее находчивости, неотразимом красноречии. Все его восхищаются, смотрят на нее с восторженным удивлением. «Тебя у нас агитпропом нужно сделать» — восхищаясь Лелькой, говорит ей секретарь ячейки вальцовочного цеха Камышов. И она сама опьянена своей внутренней силой:

«Все молчали и с удивлением на нее смотрели. По губам Лельки бегала озорная усмешка. И ей приятно было устремленное на нее общее внимание».

Бурлящая интересами социалистической стройки жизнь завода, несущая в своих волнах Лельку, изображена Вересаевым в ряде

сцен, из которых каждая написана ярко и правдиво. Социалистические начала, вытесняющие пережитки старого быта, показаны в работе легкой кавалерии, в ударных бригадах, в соцсоревновании, охватывающем завод. Но эти отдельные сцены, из которых особенно удачно описание приема комсомольцев в партию — «счастливого дня в жизни Лельки», — не дают тем не менее раскрытия процессов социалистического строительства.

Происходит это потому, что, поставив во главу угла переживания Лельки, Вересаев не дал цельных и законченных образов представителю той рабочей массы, под влиянием которой перестраивается его героиня. Кроме Лельки, постоянно агитирующей, неутомимо активной, вы не видите образов людей, в переживаниях которых раскрывался бы рабочий коллектив в его борьбе за социалистическое строительство. Жалкий, лишенный всякой инициативы, рабски идущий за Лелькой Юрка является чуть ли не единственным индивидуально очерченным комсомольцем. Ведерников с его преубежденным презрением к интеллигенции, высокомерным отношением к крестьянству, скатившийся в период борьбы за коллективизацию к самым безобразным проявлениям левых загибов, не может конечно выражать лучшие устремления рабочей массы. Это отсутствие в романе людей, которые являлись бы выразителями основных тенденций эпохи социалистического строительства, приводит к тому, что соцсоревнование, ударничество изображаются автором в очень общих чертах. Вересаев говорит о подъеме энтузиазма рабочих, но когда он называет отдельных энтузиастов, «всею душой живущих в деле, как Гриша Камышов, Ведерников, Матюхина, Ногаева, Бася», то дальше этого перечисления он, по существу, не идет. Лелька восторгается энтузиазмом рабочих, он изображен через приему ее восприятия, но все перечисленные энтузиасты или совсем не раскрыты автором, или изображены схематически, бледно, как Бася, или даны, как Ведерников, в плане, характеризующем его отнюдь не как подлинно положительного представителя рабочей массы.

Третья часть романа с особенной наглядностью подчеркивает его отмеченные нами недостатки. Начало борьбы за коллективизацию, ошибки в ее проведении и путь, указанный Сталиным в его исторической статье «Головокружение от успехов», — все это изображено в очень общих чертах. Неожиданно в конце романа появляется другая сестра — Нинка, которую читатель уже успел почти забыть, и оказывается, что она осуществила свои принципы, высказанные ею когда-то в дневнике. Она не подчинилась среде, как Лелька, которая под влиянием Ведерникова впала в грубые ошибки в проведении коллективизации. Путь же Нинки оказался правильным. Но каким образом она от наивных порывов к «великому шарлатанству» пришла к такой внутренней зрелости, к идейной выдержанности, — этого Вересаев совершенно не показал.

Обрывки дневника в первой части и необычайная политическая дальновидность в заключительной части романа, спасающая ее от каких-либо ошибок, — вот все, что дает автор в характеристике ее пути.

Если Лелька слишком легко шагает себя и свое место на заводе, то путь вратания сестры ее в социалистическое строительство совершенно не показан автором. А ведь различие путей двух героинь к участию в социалистическом строительстве являлось для Вересаева основной его задачей.

Слабые стороны романа «Сестры», снижающие ценность изображения им сегодняшнего дня социалистического строительства, вытекают из особенностей метода психологического реализма.

Путь двух сестер автор замкнул в тесные рамки их обособленной психологии. Одна из них участвует в заводском строительстве, но слишком слабо показано перевоспитывающее ее воздействие коллектива. Другая сама по себе от юношеского дневника с его воинствующим индивидуализмом достигает большой политической зрелости. Взаимоотношения между личностью и коллективом, трудности переделки человека в горниле социалистического строительства не показаны в романе.

Вересаев во всех своих произведениях — большой реалист, ценящий выше всего правду изображения жизни. В поэтически-философском этюде «Состязание» он хорошо показал победу художника, утверждающего красоту жизненной правды, над своим соперником в искусстве, который стремится к отвлеченной красоте, парящей над живой жизнью.

Лелька видит отрицательные стороны нашей действительности, но они не подрывают ее веры в социалистическое строительство. «Корявая, трудная, с темными провалами, подлинная жизнь прельщала ее больше, чем бездарно яркие, сверкающие дешевым лаком картинки газетных строчил».

Вересаев несомненно и в последнем своем произведении верен принципу реалистического изображения жизни, далек от чуждой ему лакировки действительности. Но реализм «Сестер» не поднимает нас на высоту обобщающе-углубленного изображения эпохи социалистического строительства. Отдельные черты, авторские наблюдения и записи реалистически правдивы. Но эти черты не слились в цельную картину развернутой социалистической стройки. Отсюда и путь двух сестер обозначился очень слабо, и замысел писателя о различных путях интеллигенции к пролетариату не получил подлинной реализации.

Недостатки романа Вересаева говорят о том, что вся наша советская литература должна подняться на высоту более углубленного, обобщающе-целостного реализма. Путь к этому социалистическому реализму требует преодоления многих препятствий и трудностей. Вересаев, подойдя вплотную к тематике социалистического строительства, разработал ее в плане психологического реализма. Но за-

слуга этого значительного писателя — в том, что он, как изображенные им сестры, с энтузиазмом вглядывается в нашу действительность, которая в ее непрерывном росте и перестройке так трудна для достойного ее изображения, и требует соревнования советских художников слова.

В. Бойчевский.

«Звенья». — Сборники материалов и документов по истории литературы, искусству и общественной мысли XIX века. Под редакцией Влад. Бонч-Бруевича. Л. В. Каменева и А. В. Луначарского. Сборник первый. Издан. «Academia». Москва—Ленинград, 1932.

Сборники «Звенья» — большое культурное достижение. Тов. В. Д. Бонч-Бруевич удалось составить прекрасный сборник материалов по истории русской культуры от декабристов и А. С. Пушкина до Н. Г. Чернышевского и Л. Н. Толстого. Сотрудники «Звеньев» извлекли из архивов ценные материалы, в том числе письма Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Огарева. В особенности важны письма Н. П. Огарева к Т. Н. Грановскому с компетентными комментариями Н. М. Мендельсона. Письмам Огарева не повезло. Их вообще напечатано мало. Уже давно М. П. Драгоманов опубликовал письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Затем в полном издании сочинений А. И. Герцена М. К. Лемке собрал большое количество писем А. И. Герцена к Н. П. Огареву. Но ответные письма последнего к А. И. Герцену и М. А. Бакунину до сих пор хранятся под спудом. Из всего эпистолярного наследия Н. П. Огарева до сих пор опубликованы лишь его ранние письма («Русская мысль», 1889, 1890 и 1891) и в самое последнее время в «Архиве Н. П. и Н. А. Огаревых» — его письма к Мэри Стэрленд в предсмертный период его жизни.

О письмах Н. П. Огарева к Т. Н. Грановскому уже раньше имелись указания в литературе; они относятся к сороковым годам. Эти письма проливают свет на философские взгляды Огарева и лишний раз подтверждают, что даже в сороковых годах Огарев так же, как Герцен, находился на пути развития от Гегеля к Фейербаху. Например 14 февраля Огарев пишет Грановскому: «Вот тут мы с тобой и согласимся, что абсолютной истины нет, и никогда тебе не проповедывал абсолютную (мне впрочем неизвестную) истину. Истина может быть много, но истины абсолютной быть не может; абсолютная истина была бы принцип в его полном развитии; а где же эта апогея развития? А если она грань принципа, то вместе с своей апогеей принцип доходит до конца, до своей смерти, что всегда и бывает с истинами относительными. Из этого нетрудно заключить, что абсолютная идея есть сама в себе противоречие и, ergo, существовать не может». (Разрядка моя.—Ф. Р.)

Отсюда видно, что уже в сороковых годах Огарев начал преодолевать гегельянство с его абсолютной идеей. Одним словом, он проходил путь развития от Гегеля к Фейербаху, уже сделанный в то время философской мыслью Западной Европы.

Интересны опубликованные в «Звеньях» два письма эмигранта П. В. Долгорукова к историку М. П. Погодину. Между прочим в одном из них Долгоруков заявляет: «В 8-м и 11-м номерах «Русского архива» под псевдонимом Петрушка Бартешев уверяет, что или я, или Гагарин писали безыменное письмо Пушкину. Ведь знает меня этот подлец, знает, что это вещь невозможная, но клеветает в угоду моим врагам. Уж если я этого подлеца где-нибудь встречу, то сломаю ему трость на его, столь гибкой, спине... Обвинение на Гагарина — также клевета...»

Обвинение Долгорукова в составлении анонимных пасквилей, по нашему мнению, нуждается в пересмотре. Нам кажется, что монархисты Аммосов и Бартешев сознательно оклеветали революционного эмигранта и либерально-буржуазные историки литературы П. Е. Щеголев и Б. Л. Модзалевский бессознательно поддались этой клевете. Аргументы, выдвинутые против Долгорукова, недостаточны. Графологическая экспертиза, произведенная П. Е. Щеголевым, вызывает у нас большие сомнения. Сам А. С. Пушкин подозревал в составлении пасквилей барона Геккерн-отца. Большинство его современников также приписывало анонимные послания голландскому посланнику или его окружению. В эту сторону и следует направить поиски авторов подметных писем и виновников роковой дуэли, сравнившей великого поэта.

В кратком предисловии М. И. Барсуков, касаясь политических взглядов Долгорукова, высказывает такие соображения: «Программа его была махрово-дворянской, с необходимыми уступками в сторону нараждавшейся буржуазии и с ярко выраженным, говоря современным языком, фашистским уклоном: Долгоруков хотел и царя оставить, и дворян с купцами приравнять к власти». (Разрядка моя. — Ф. Р.) «Махрово-дворянская программа... с ярко выраженным фашистским уклоном» — это определение ни в какой степени не отражает политической идеологии Долгорукова. Долгоруков сотрудничал в «Колоколе». Герцен тоже хотел оставить царя, но смешило обвинять его в фашистском уклоне. Фашизм выражается не в том, чтобы «царя оставить и дворян скупцами и власти приравнять», как явно полагает М. И. Барсуков. Фашизм — определенная реакционно-буржуазная идеология эпохи империалистических войн и пролетарских революций. В сороковых годах прошлого столетия не могло быть ни фашизма, ни фашистского уклона. Краткое предисловие М. И. Барсукова показывает, что он одинаково плохо знаком и с фашизмом, и с политическими взглядами Долгорукова.

Неправильно и другое утверждение Барсукова: «А. И. Герцен поддерживал отношения

с Долгоруковым, хотя не только относился отрицательно к его политической программе, но и весьма скептически к его личности».

В силу личных качеств Долгорукова, его придирчивости и несдержанной вспыльчивости, примеры которой приведены в воспоминаниях Н. А. Огаревой-Тучковой, Герцен действительно относился к нему с некоторым скептицизмом.

Но в печали Герцен отзывался о Долгорукове с неизменной благожелательностью. Когда появился первый том «Записок» Долгорукова, Герцен дал о нем в «Колоколе» очень благоприятный отзыв. «С нетерпением ждем второй части великого обличения и разоблачения аристократической дворян» — писал А. И. Герцен.

Долгоруков сотрудничал в «Колоколе», писал статьи, вместе с Огаревым составлял материал для «Смеси», а ведь к участию в «Колоколе» допускался не всякий. Разногласия по отдельным вопросам между Герценом и Долгоруковым конечно были, как имелись они и между Герценом и Огаревым, но это не нарушало близости их программ и возможности политического союза.

Украшением сборника «Звенья» служит неопубликованная статья Н. Г. Чернышевского «Борьба пап с императорами». Этой незаконченной статье, писавшейся незадолго до смерти, сам Н. Г. Чернышевский придавал большое значение, как содержащей переработку понятий об истории человечества, и даже хотел обратиться с этой статьей к европейским читателям на одном из иностранных языков.

В небольшой вводной заметке Н. Чернышевская-Быстрова рассказывает историю этой рукописи. Она отмечает, что, несмотря на благоприятный прием со стороны редактора «Русской мысли» В. М. Лаврова, статья Н. Г. Чернышевского долгие годы пролежала под спудом.

Н. Чернышевская-Быстрова не объясняет причин непопечения этой статьи в «Русской мысли». Почтенной исследовательнице, повидимому, осталась неизвестной заметка В. Гольцева: «Из воспоминаний и переписки» («Русская мысль», 1903, № 1, стр. 126—129), где он, сообщая о предложении Чернышевским этой работы, замечает: «Мы ответили конечно согласием, но работа приняла такие размеры, что Чернышевский отказался от помещения ее в журнале (я не знаю участи этой работы) и прислал нам другую статью: «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь».

Таким образом, при жизни Н. Г. Чернышевского он сам отказался от помещения этой статьи в журнале. Вернее всего, он даже не успел ее закончить; по плану автора его работа должна была состоять из двух статей: политическая деятельность палы Григория VII и политическая деятельность Иннокентия III. До нас дошла только часть статьи, посвященной Григорию VII. Она была приобретена сыном писателя М. Н. Чернышевским еще в 1905 году.

«Возникает вопрос, — пишет в подстрочном примечании Н. Чернышевская-Быстрова, — почему статья, найденная в 1905 г., не вошла в полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского 1906 г.» Это действительно очень интересный вопрос. К сожалению, наш автор не дает на него ответа, откладывая свои объяснения до другого раза.

Сын А. Н. Пытинга поделился воспоминаниями о своих троюродных братьях — сыновьях Чернышевского.

В. И. Срезневокий опубликовал любопытные письма И. С. Тургенева к Марии Николаевне Толстой, изображенной Тургеневым в его «Фаусте».

Воспоминания Екатерины Летковой читаются легко, но не вносят ничего нового в литературу о Ф. М. Достоевском.

Кроме перечисленных материалов, заслуживают внимания затерявшаяся в одном французском альманахе статья А. И. Герцена: «Дуализм—это монархия», неопубликованный ранний рассказ М. В. Салтыкова-Щедрина «Глава» и неизданная статья П. Л. Лаврова «Последовательные люди».

Сборник «Звенья» ограничивает себя рамками XIX столетия. В этом нет ничего плохого. Девятнадцатый век настолько богат событиями в истории литературы и общественной мысли, что установленные редакцией хронологические рамки нужно признать вполне законными.

Дефектом сборника является отсутствие материалов, относящихся к марксизму, зародившемуся как раз в XIX столетии. Опубликованное содержание второго сборника не идет дальше П. А. Кропоткина, а намеченный третий сборник замыкается на В. Г. Короленко.

Правда, Институт Маркса—Энгельса—Ленина выпускает свои специальные сборники. Но издание, претендующее публиковать материалы по истории общественной мысли всего XIX столетия, не должно упускать из своего поля зрения марксизм.

Внешность издания безукоризненна. Переплет, бумага, шрифт, портреты, иллюстрации, факсимиле—все радует глаз любителей книги. Сборник «Звенья» делает честь советской издательской технике.

Ф. Раскольников.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Редакция: А. И. Безыменский,
Ф. В. Гладков,
В. В. Григоренко,
И. М. Гронский,
Л. М. Леонов,
А. Г. Малышкин,
В. П. Ставский.
Отв. редактор И. М. Гронский.